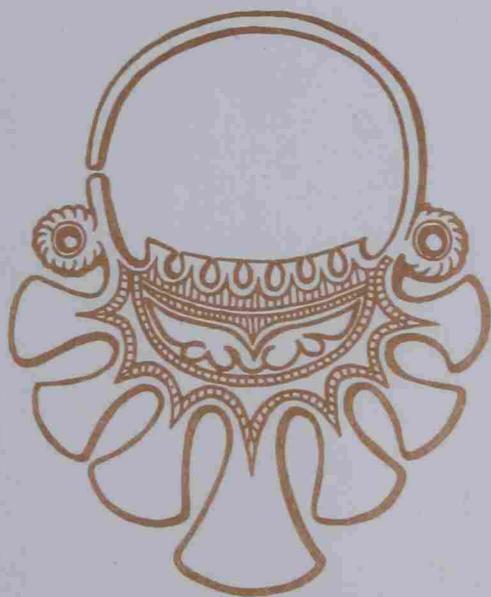


ISSN 0869-6063

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ



1995 **1**

- 25 ms -

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. Плетнева (главный редактор),

А. А. Аскаров, **Л. А. Беляев** (зам. главного редактора),
А. В. Виноградов, **В. И. Гуляев** (зам. главного редактора),
А. П. Деревянко, **О. М. Джапаридзе**, **Г. А. Кошеленко**,
В. П. Любин, **Т. И. Макарова**, **В. М. Массон**,
Н. Я. Мерперт, **Э. С. Мугуревич**, **Р. М. Мунчаев**,
В. С. Ольховский (отв. секретарь), **Т. М. Потемкина**,
Б. А. Рыбаков, **В. В. Седов**, **П. П. Толочко**, **В. Л. Янин**



Журнал основан
в январе 1957 г.

Выходит
4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Лисицын Н. Ф. К вопросу о начальном этапе позднего палеолита Сибири	5
Потемкина Т. М. Проблемы связей и смены культур населения Зауралья в эпоху бронзы (ранний и средний этапы)	14
Мелюкова А. И. Новые данные о скифо-фракийских взаимоотношениях в IV—III вв. до н. э.	28
Буюклиев Хр. К вопросу о фракийско-сарматских отношениях в I — начале II века н. э. .	37
Мартемьянов А. П. Из истории земледелия Фракии и Нижней Мезии в первых веках н. э.	47
Зубарь В. М. Культ римских императоров в Северном Причерноморье	57
Варенов А. Б. Древнерусские шумящие браслеты	64

Дискуссии

Сидоров В. В. Неолит Десны и Волго-Окского бассейна	71
Циркин А. В. В защиту кошибеевской культуры	81

Публикации

Гиля Е. Ю., Питулько В. В. Вкладышевые орудия и индустрия обработки камня мезолитической стоянки на о-ве Жохова	91
Телегин Д. Я. Неолитическая керамика романковского типа в Киевском Поднепровье . . .	110
Соловьев С. Л. Новые данные о типологии жилищ Березанского поселения в классическую эпоху	121
Фиалко Е. Е. Фракийская узда из кургана Огуз	133
Сергацков И. В. Новые данные к хронологии раннесарматской культуры	148
Трейстер М. Ю., Косяненко В. М. Бронзовые фигурки Минервы из собрания Ростовского музея	159
Федоров М. Н., Мокеев А. М. Серебряная чаша XI в. из Кыргызстана	165

Жилина Н. В. Пластина из Старой Рязани («оправа для креста»). Методы изучения технологии древнерусской скани и зерни	175
--	-----

История науки

Тихомиров Н. А. Историческая социология Б. Ф. Поршнева и проблема формирования материальной культуры	187
--	-----

Заметки

Коваль В. Ю. Каменный топор из Ростиславля Рязанского	190
Енукова О. Н. Роменское погребение из Лебяжьего	193
Белецкий С. В., Кильдюшевский В. И. Печать Тимофея Васильевича, тиуна новгородского из раскопок в Пскове	195
Прошкин О. Л., Фролов А. С. Камень с чашечными углублениями с «Чертова городища» под Козельском	199
От редакции	203
Петренко В. П., Смирнов В. Н. Каменная иконка «Вход в Иерусалим» из Старой Ладogi	204
Седова М. В., Мухина Т. Ф. Каменная иконка из Владимира	206
Макаров Н. А., Захаров С. Д. Три каменных образка из Белоозера	209

Критика и библиография

Абрамова З. А. <i>Петрин В. Т.</i> Палеолитическое святилище в Игнatieвской пещере на Южном Урале. Новосибирск, 1992	217
Васильев С. А. <i>Деревянко А. П., Маркин С. В.</i> Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). Новосибирск, 1992	221
Цетлин Ю. Б. Этнокультурные процессы в пограничье разных природных зон (в связи с выходом книги А. С. <i>Смирнова</i> «Неолит Верхней и Средней Десны». М., 1991)	224
Белова Г. А. <i>Dziobek E.</i> Das Grab des Ineni. Theben Nr. 81. Ph. von Zabern. Mainz am Rhein. Archäologische Veröffentlichungen 68. Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo, 1992	227
Бруяко И. В. <i>Полин С. В.</i> От Скифии к Сарматии. Киев, 1992	230
Горелик А. Ф. Ethnoarchaeological Approaches to Mobile Campsites. Hunter-Gatherer and Pastoralist Case Studies/Ed. Gamble C. & Boismier W. Ann Arbor, Michigan, 1991	238

Хроника

Седов В. В. XII Конференция по изучению истории, экономики, литературы, языка Скандинавских стран и Финляндии (Москва, 1993)	243
Памяти Даниила Антоновича Авдусина (1918—1994)	246
Любин В. П., Праслов Н. Д., Амирханов Х. А., Кулаков С. А. Памяти Игоря Ильича Коробкова (1934—1993)	251



ROSSIYSKAYA ARKHEOLOGIYA

1995 I

Founded in 1957
Published quarterly

Editor-in-Chief
S. A. Pletneva

ARTICLES

Lisitsin N. F. Concerning the Beginning of the Late Palaeolithic in Siberia	5
Potemkina T. M. Problems of the Cultures Contacts and Changes in the Region beyond the Urals in the Bronze Age (the early and the middle periods)	14
Melukova A. I. The New Data about the Scythians and Thracians Relation in the 4th-3rd centuries B. C	28
Bujukliev Khr. Concerning the Thracian-Sarmatian Relations in the 1st — the beginning of the 2nd centuries A. D.	37
Martemjanov A. P. The Thracian and the Low Mesia Agriculture History of the First Centuries A. D.	47
Zubar V. M. The Roman Emperors Cult in the Northern Pontic Area	57
Varenov A. B. The Ancient Russian Tinkling Bracelets	64

Discussions

Sidorov V. V. The Neolithic in the Desna and Volga-Oka Rivers Basins	71
Tsirkin A. V. To the Defence of Koshibevo Culture	81

Publications

Girya E. J., Pitulko V. V. Tools and the Stone Industry from the Mesolithic Site on Zhokhova Island	91
Telegin D. J. The Neolithic Romankovo Type Pottery in the Dnieper River Region near Kiev	110
Solovjev S. L. The New Data about the Dwelling Types of the Berezan Settlement	121
Fialko E. E. The Thracian Bridle from Oguz Barrow	133
Sergatskov I. V. The New Data about the Early Sarmatian Culture Time Frame	148
Treister M. Y., Kosyanenko V. M. The Bronze Figures of Minerva in the Collection of Rostov-on-Don Museum	159
Fedorov M. N., Mokeev A. M. The 11th Century Silver Cup from Kirghizia	165
Zhilina N. V. The Plate from Staraya Ryazan („The Cross Setting“). Methods of the Ancient Russian Granulation and Filigree Technology Investigation	175

History of science

Tikhomirov N. A. Porshnev's Historical Sociology and the Problem of the Material Culture Forming	187
--	-----

Notes

Koval V. J. The Stone Axe from Rostislavl Ryazanskiy	190
Jenukova O. N. Romenskaya Culture Burial from Lebyazhye	193
Beletsky S. V., Kildjushevsky V. I. Timofei Vasiljevitch's seal from Pskov's Excavation	195
Proshkin O. L., Frolov A. S. The Stone with the Cup-shaped Hollows from «Tchertovo Goroditshe» near the City of Kozelsk	199
The Editorial	203
Petrenko V. P., Smirnov V. N. The Stone Icon „Entry to Jerusalem“ from Staraya Ladoga	204
Sedova M. V., Mukhina T. Ph. The Stone Icon from the city of Vladimir	206
Makarov N. A., Zakharov S. D. Three Stone Icons from Beloozero	209

Critique and Bibliography

Abramova Z. A. <i>Petrin V. T. Paleoliticheskiye Svyatilitshe v Ignatievskoy Petshere na Juzhnom Urale. Novosibirsk, 1992</i>	217
Vasiljev S. A. <i>Derevjanko A. P., Markin S. V. Mustje Gornogo Altaya. Novosibirsk, 1992</i>	221
Tsetlin J. B. <i>Smirnov A. S. Neolit Verkhney I Sredney Desny. Moscow, 1991</i>	224
Belova G. A. <i>Őziobek E. Das Grab des Ineni. Theben Nr. 81. Ph. von Zabern. Mainz and Rhein. Archäologische Veröffentlichungen 68. Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo, 1992</i>	227
Brujaljo I. V. <i>Polin S. V. Ot Skifii k Sarmatii. Kiev, 1992</i>	230
Gorelik A. Ph. <i>Ethnoarchaeological Approaches to Mobile Campsites. Hunter-Gatherer and Pastoralists Case Studies. Ed. Gamble C. and Boismier W. Ann Arbor, Michigan, 1991</i>	238

Chronicle

Sedov V. V. XII Conference on the History, Economics, Literature and Languages of the Scandinavian Countries and Finland (Moscow, 1993)	243
In memory of Daniil Antonovitch Avdusin (1918 ^c —1994)	246
Lubin V. P., Praslov N. D., Amirkhanov Kh. A., Kulakov S. A. In memory of Igor Iljitch Korobkov (1934—1993)	251

Н. Ф. ЛИСИЦЫН

К ВОПРОСУ О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА СИБИРИ

Вопрос о начале позднего палеолита в Северной Азии является одним из наименее разработанных. Сочетание в инвентаре стоянок архаичных галечных орудий, изделий с мустьерскими приемами обработки и типично позднепалеолитического мелкого инвентаря прослеживается во многих регионах Сибири вплоть до голоцена. Смешение в одном комплексе типологических форм раннего, среднего и позднего палеолита, неизвестное для европейских коллекций, являлось долгое время свидетельством своеобразия сибирского палеолита. Еще одна особенность — господство техники изготовления орудий на отщепах.

Проблема хронологической границы между средним и поздним палеолитом стала решаться только после открытия ряда стоянок, в инвентаре которых развита пластинчатая индустрия и слабо представлены приемы мустьерской техники обработки камня. Существующая схема ранней поры позднего палеолита включает в себя «макаровский пласт» и толбагинскую культуру в Восточной Сибири, «кара-бомовский пласт» на Алтае, индустрию стоянки Малая Сыя в Минусинской межгорной области. Возраст «макаровского пласта» определяется в пределах больше 40 тыс. лет, остальных памятников — больше 30 тыс. лет.

Многолетние исследования в Саяно-Алтайской горной области позволяют по-новому взглянуть на проблему генезиса пластинчатой техники Сибири. Поздний палеолит Монгольского Алтая органически вырастает из древнего. В инвентаре местонахождений практически нет изделий на пластинах; основными орудиями являются скребла, отщепы с ретушью. В коллекциях 100 позднепалеолитических памятников встречено всего 148 пластин со вторичной обработкой [1]. В Туве процентное содержание пластин с ретушью в орудийном наборе еще меньше [2]. Аналогичная ситуация прослеживается и на российской стороне Горного Алтая, где исследована целая группа стоянок конца среднего палеолита. Разновременные культурные комплексы пещерных стоянок характеризуются однородным материалом мустьерского облика, причем в верхних горизонтах встречается меньше изделий на пластинчатых отщепах, чем в нижних [3]. В наборе орудий основное место занимают скребла различных вариантов.

В бассейне Среднего Енисея мустьерские орудия встречены в нижнем слое стоянки Куртак-4 в Северо-Минусинской котловине. Возраст находок по радиоуглеродным определениям 32—31 тыс. лет. В верхнем культурном слое, отделенном от нижнего пятиметровой толщиной супесей, зафиксирован позднепалеолитический комплекс со значительными элементами мустьерской техники обработки камня. Орудия изготовлены только на отщепах. Получена серия дат по углю в пределах 25—24 тыс. лет. Судя по находкам на стоянке Куртак-4, формирование позднего палеолита в этом районе началось значительно позже 30 тыс. лет.

В свете новых данных представляется очевидным, что «классический сибирский» палеолит имеет истоки в мустье Саяно-Алтая. Афонтовская позднепалеолитическая культура может служить эталоном данной линии развития.

Пластинчатая техника появляется в Сибири уже в полностью сформированном виде. Вопрос о времени ее появления остается открытым. Возраст стоянок с

пластинчатой индустрией, относимых к ранней поре позднего палеолита Сибири, должен быть пересмотрен в сторону омоложения.

В Забайкалье, в свете новых данных самые древние находки Санного Мыса теперь датируются временем 20—18 тыс. лет назад [4]. Работы на Варваринной Горе в 1991—1992 гг. доказали многослойный характер стоянки: находки из разнородного материала встречались в четырех разновозрастных литологических слоях. Выделены два педокомплекса, первый имеет дату $17\,035 \pm 400$ (СОАН—3053), второй $29\,895 \pm 1790$ (СОАН—3054). В коллекции каменных изделий смешаны раннесартанские и позднекаргинские комплексы [5]. Пластинчатые изделия Варваринной Горы, вероятно, близки по времени коллекции Санного Мыса, так как находят аналогии в инвентаре этого памятника.

Вопрос о возрасте стоянки Толбага также далек от своего решения: находки встречались в трех разных литологических горизонтах и явно переотложены вниз по склону. Есть сведения и об исследовании на стоянке финально-мустьерского слоя. Геолого-геоморфологические данные позволяют датировать горизонты временем малохетского потепления (43—33 тыс. лет) или липовско-новоселовским потеплением (30—25 тыс. лет). Большой хронологический разброс радиоуглеродных дат от 15 тыс. лет до 35 тыс. лет также противоречит утверждению об однородности коллекции Толбаги [6]. Необходимость разделения находок на одновременные комплексы очевидна.

В Забайкалье открыт недавно еще один памятник с пластинчатой индустрией — стоянка Каменка-1. Судя по радиоуглеродной дате комплекса А этого поселения техника изготовления орудий на пластинах появилась здесь после 30 тыс. лет [7].

Первые радиоуглеродные даты, полученные для стоянок «макаровского пласта» на Верхней Лене, позволяют поставить вопрос о более позднем возрасте этих комплексов [8]. В Приангарье пластинчатая индустрия представлена на местонахождении Игетейский Лог-1. Получена серия дат в диапазоне 24—21 тыс. лет [9]. Коллекция каменных изделий находит аналогии в инвентаре стоянок Малая Сья и Сабаниха в Хакасии.

Стоянка Сабаниха, открытая в 1986 г., расположена на горном склоне в отрогах Батеневского кряжа на Енисее на высоте более 40 м над бывшим берегом реки (ныне дно Красноярского водохранилища). Подъемный материал концентрировался между устьями двух оврагов в 0,5 км ниже по течению Енисея от речки Сабаниха [10]. В стенке берегового обрыва прослеживалась следующая стратиграфия: 1 — дерн и гумус — 0,0—0,30 м; 2 — коричневая супесь — 0,30—0,45 м; 3 — светло-серая пылевидная супесь, обильно произвесткованная — 0,45—1,45 м; 4 — красноватая супесь — 1,45—1,50 м; 5 — светло-серая слоистая супесь — 1,50—2,10 м; 6 — серо-бурая слоистая супесь, ограниченная в кровле и подошве двумя прослойками красноватой супеси, обильно насыщенными дресвой, мощностью около 0,10 м — 2,10—2,70 м; 7 — серая горизонтально-слоистая супесь с отдельными железистыми включениями — 2,70—3,50 м; 8 — красноватый легкий однородный суглинок с мелкими железистыми включениями — 3,50—3,60 м; 9 — серая, постепенно переходящая в светло-коричневую супесь с обильными железистыми включениями, в ней на глубине 4,30 м от современной поверхности расположен культурный слой — 3,60 м и до видимой глубины 4,50 м.

Судя по зачистке обрыва к востоку от раскопа ниже залегает горизонт бурой слоистой супеси мощностью до 2,0 м, затем слой серо-голубой слоистой супеси мощностью более 2 м. На глубине 9,6—9,8 м встречено денудированное скальное основание. Выходы песчаниковых плит фиксируются на восточной и западной границах стоянки у устья логов.

Геологический возраст культурного слоя стоянки Сабаниха определяется залеганием находок выше мощного горизонта ископаемой каргинской почвы, выявленной в береговом обрыве ниже по течению Енисея от стоянки. Стратиграфическое положение каргинской почвы соответствует горизонту № 10 — бурой

слоистой супеси. Геологогеоморфологические наблюдения позволяют датировать комплекс изделий Сабанихи временем моложе 30—25 тыс. лет назад.

Фауна стоянки, по определениям Н. М. Ермолаевой, представлена благородным оленем, бизоном, аргали. По данным И. Е. Кузьминой, наряду с этими видами встречены немногочисленные кости северного оленя, песка, белой куропатки. Видовой состав палеофауны указывает на время существования стоянки в конце каргинского межледниковья или начале сартанского оледенения и дает возможность датировать находки в рамках 25—20 тыс. лет назад.

По образцам угля из кострищ получены даты: $22\,930 \pm 350$ (JE-3611) и $22\,900 \pm 480$ (JE-4701). Фрагменты рогов благородного оленя из подъемного материала — $25\,950 \pm 500$ (JE-3747).

На береговом пляже в 1986, 1989—1990 гг. найдено 2590 каменных изделий, в раскопе 1991 г. — 3295. Инвентарь распределяется по следующим группам: отщепы — 2823, пластины — 947, пластинчатые отщепы — 46, обломки галек — 468, чешуйки — 616, реберчатые сколы — 37, гальки с единичными сколами — 335, нуклевидные обломки — 37, нуклеусы — 204, орудия — 372 экз. Подъемный материал и изделия из раскопа составляют единый комплекс и рассматриваются вместе.

Соотношение отщепов, пластинчатых отщепов и пластин среди отходов производства — 73,9; 1,2; 26,9%; в группе орудий пластин 86,0%; отщепов 14,0%.

Нуклеусы представлены изделиями в разной стадии расщепления: односторонние одноплощадочные — 101, одноплощадочные двухсторонние — 1, двухплощадочные односторонние — 22, двухплощадочные односторонние со встречным принципом расщепления — 13, двухплощадочные двухсторонние — 5, двухплощадочные продольно-поперечные — 20, трехплощадочные — 2, многоплощадочные — 1, радиальные — 7, крупные галечные торцовые — 23, специфичной формы — 1, аморфные — 8 экз.

Среди одноплощадочных односторонних ядрищ обычными являются изделия со слегка выпуклой, реже плоской поверхностью расщепления. Ударная площадка скошена к тыльной стороне гальки и на половине ядрищ подретуширована мелкими сколами. Негативы снятий субпараллельны или веерообразны (рис. 1, 7, 9). Использование полезной площади ядрища незначительно и галечная корка сохраняется на значительной поверхности камня. Усложнение процесса расщепления гальки заключалось в подготовке второй и последующих скошенных ударных площадок, в скалывании пластин не только в продольном и встречном направлении, но и в поперечном относительно длинной оси заготовки (рис. 1, 2, 3, 5, 6, 8). Конечную стадию раскалывания можно проследить на многоплощадочных ядрищах с радиальными сколами (рис. 1, 4).

В группе нуклеусов выделяются: изделие своеобразной формы, напоминающее большой срединный многофасеточный резец, и группа галечных торцовых ядрищ. Последняя серия интересна тем, что подобные формы отсутствуют на памятниках мальтино-буретской культуры, но широко представлены на более поздних стоянках кокоревской культуры, наряду с многочисленными торцовыми микроядрышками (рис. 1, 1, 10). Следует отметить, что на Сабанихе нет мелких ядрищ, за исключением одного аморфного, многократно переоформленного изделия. Техника скалывания микропластин в коллекции не представлена.

Изделий со вторичной обработкой 372. Орудия: пластины с ретушью — 126, пластинчатые отщепы с ретушью — 3, резцы — 2, остроконечники — 6, остря — 8, долотовидные орудия — 3, стамески на пластинах — 3, проколки — 10, скребки концевые — 94, скребки двойные концевые — 2, округлые скребки — 2, скребки концевые высокой формы — 9, скребки с тремя лезвиями — 2, обломки концевых скребцов — 7, скребла — 4, выемчатые орудия — 34, комбинированные орудия — 7, отщепы с ретушью — 5, песты — 6, чопперы — 17, обломки орудий — 22 экз.

Пластины с ретушью средние по размерам, крупных изделий немного. Половина пластин ретуширована по одному краю, вторая половина имеет два рабочих лезвия. Ретушь от пологой до крутой, от непрерывной до зубчатой (рис. 2, 7, 12;

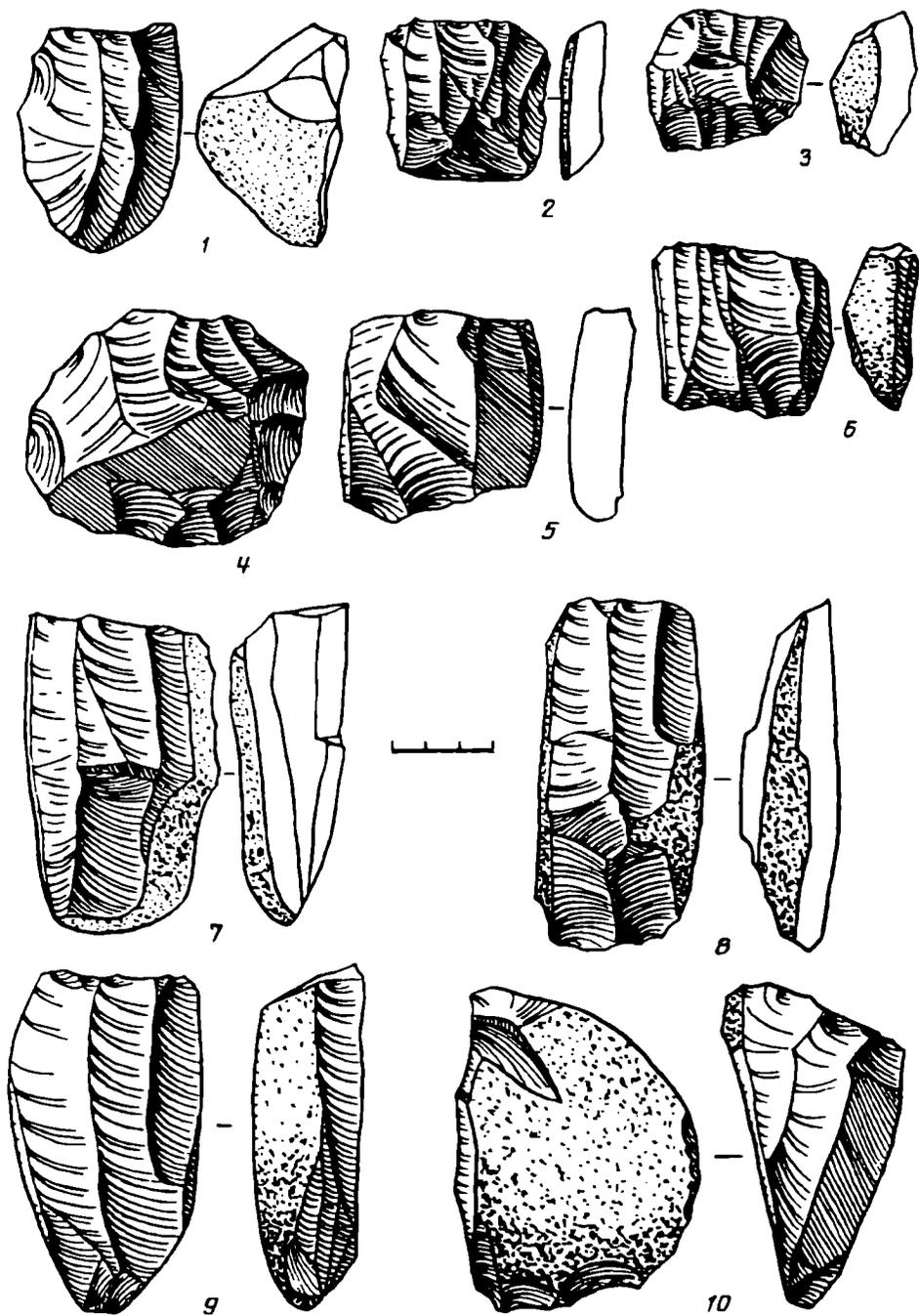


Рис. 1. Нуклеусы стоянки Сабаниха

рис. 3, 12, 13, 21, 22). К резцам отнесены два отщепа с грубыми сколами, оформляющими лезвие срединного типа. Среди остроконечников выделяется орудие с двумя остриями (рис. 2, 1) и изделия листовидной формы с обломанным основанием (рис. 3, 7, 8). Остальные орудия — фрагменты плоских остроконечников с краевой ретушью. В группу острий собраны пластинки с заостренным ретушированным симметричным или асимметричным лезвием (рис. 3, 1, 2, 4, 17). В этот же ряд включены два оригинальных изделия с острием, сформированным на краю пластинки и напоминающим клюв птицы (рис. 2, 9, 10). Среди проколов есть две одинарные с шипом в центре заготовки (рис. 2, 18), три одинарные со скошенным на углу заготовки лезвием (рис. 2, 12, 13). Имеется три двойных проколки, одно изделие с двумя шипами и ретушированной выемкой между ними. Сложную форму имеет орудие с тремя лезвиями-шипами.

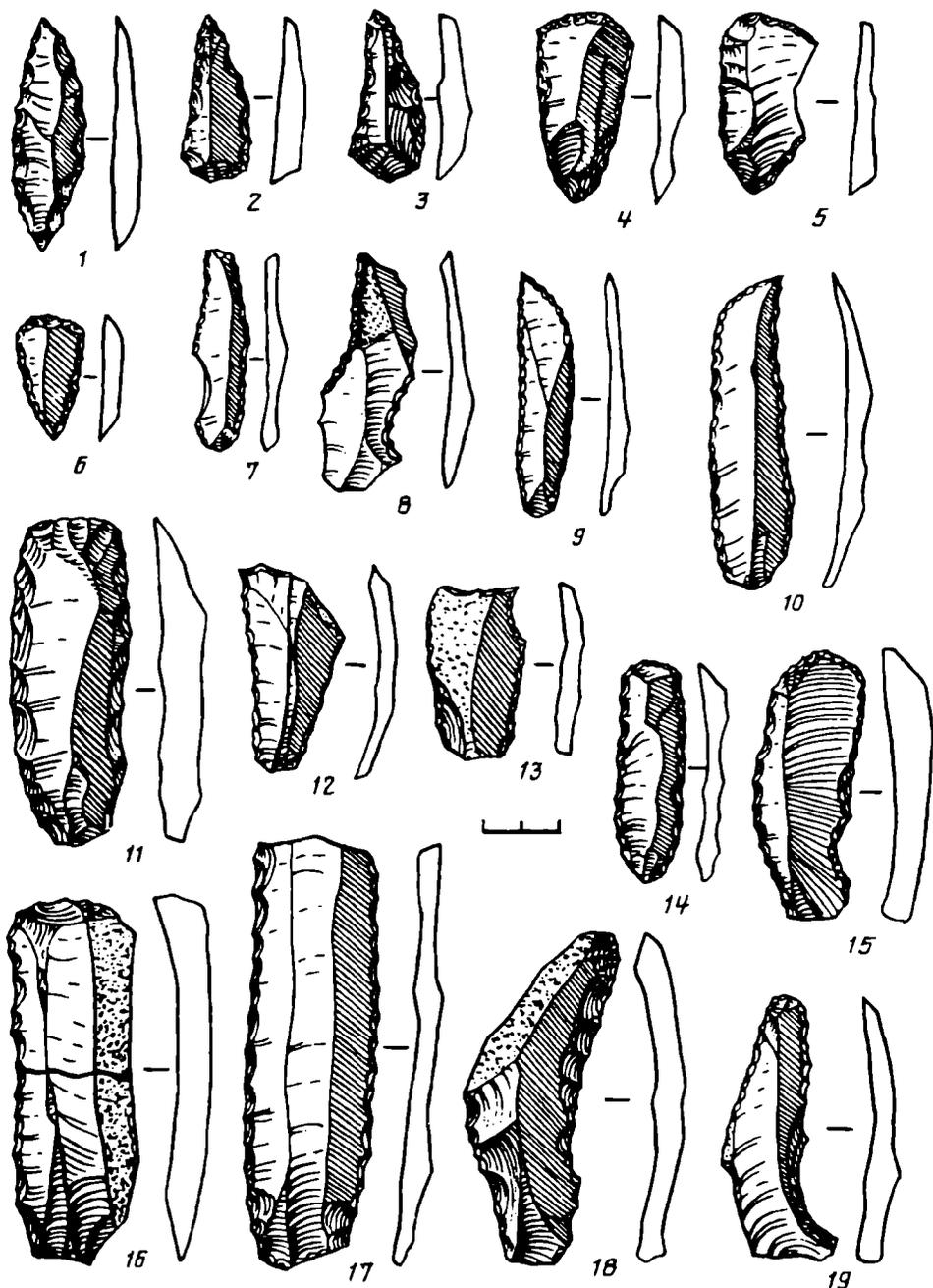


Рис. 2. Орудия стоянки Сабаниха. 1 — остроконечник; 2, 3 — скребки-острия; 4—6, 14—16 — скребки; 8, 18, 19 — выемчатые орудия; 7, 17 — пластины с ретушью; 9, 10 — скошенные острия; 11 — стамеска; 12—13 — проколки

Долотовидные орудия не выразительны. Изготовлены они на обломках галек. Среди стамесок обращает на себя внимание орудие с прямым лезвием (рис. 2, 11). Два других изделия имеют более грубую обработку (рис. 3, 14, 15).

Скрепки — вторая по количеству орудий группа в коллекции Сабанихи после пластин. Концевые формы составляют 93% всей серии. Преобладают обычные разновидности с выпуклым, реже скошенным лезвием (рис. 2, 14, 15; рис. 3, 5, 6, 19, 20). Из общей массы выделяются 12 скребок с суженным основанием (рис. 2, 4—6; рис. 3, 10, 11, 23). Скрепки высокой формы отличаются от других изделий только массивностью (рис. 2, 16; рис. 3, 11, 24).

Скребла на стоянке немногочисленны, но своеобразны. Три орудия изготовлены на истощенных дисковидных ядрищах и являются бифасами. Подобные изделия

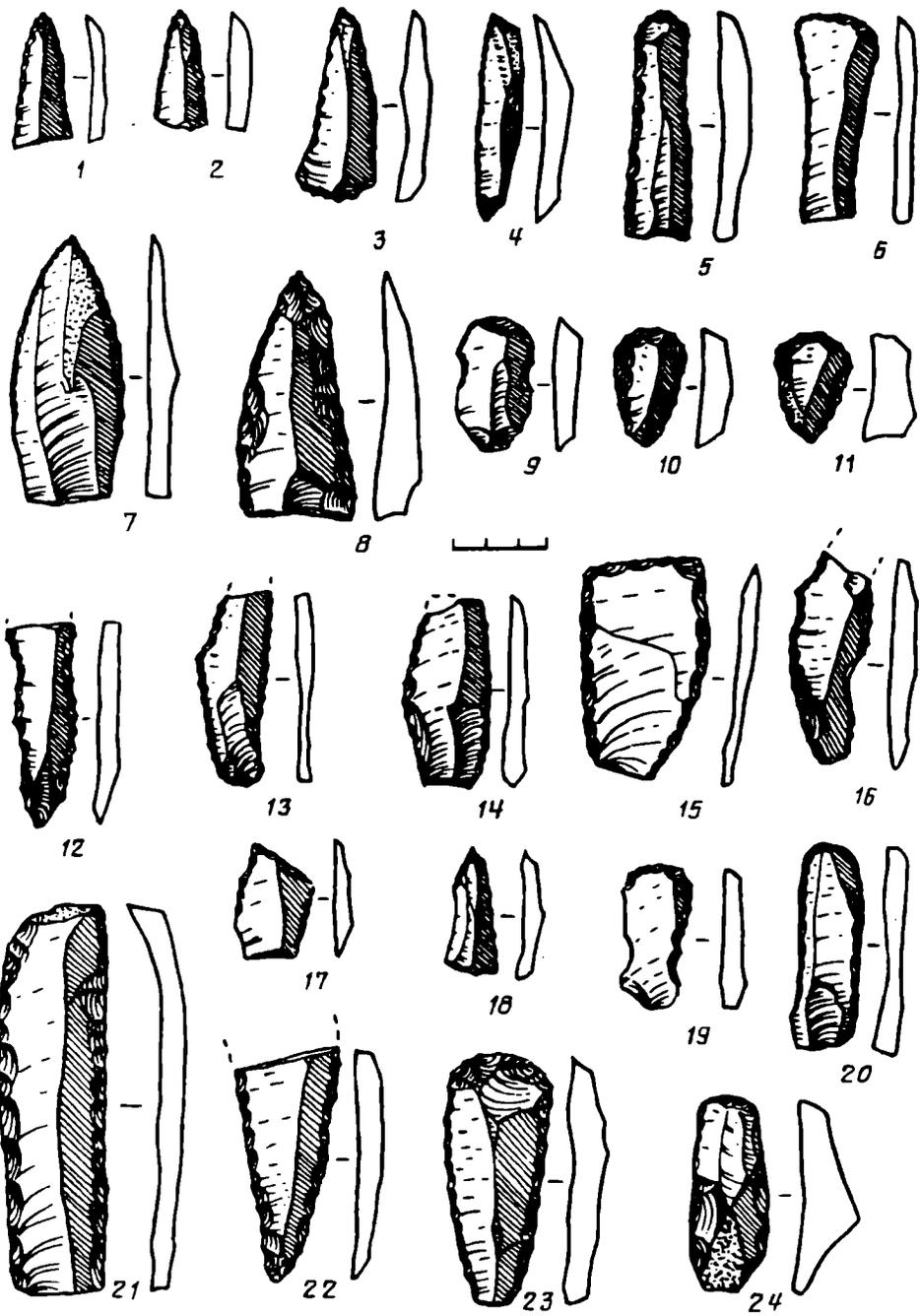


Рис. 3. Орудия стоянки Сабаниха. 1, 2, 4, 17 — острия; 3 — скребок-острие; 5, 6, 9—11, 19, 20, 23, 24 — скребки; 7, 8 — остроконечники; 12, 13, 21, 22 — пластины с ретушью; 14, 15 — стамески; 16 — выемчатые орудия; 18 — проколка

резко отличаются от скребел-унифасов енисейского палеолита. К скреблам отнесен и нуклеидный массивный отщеп с крутым рабочим краем.

Разнообразна серия изделия с ретушированными выемками. Выделяются пластины с вогнутым дугообразным лезвием, так называемые «коленчатые ножи» (рис. 2, 18, 19) и «ориньякские пластины» (рис. 2, 8). Ретушью часто обработаны не только выемки у пластин, но и боковые края. Среди комбинированных орудий имеются скребок-проколка, три скребок-острия (рис. 2, 2, 3; рис. 3, 3), два скребка, выемчатых форм, один резец-проколка.

Среди галечных пестов четыре предмета несут на себе следы пикетажной обработки, не характерной для сибирских стоянок. В группе чопперов часть

изделий, возможно, являются не орудиями, а заготовками нуклеусов в начальной стадии обработки.

Своеобразие каменному инвентарю стоянки Сабаниха придает и крутая «ориньякская» ретушь, охватывающая по периметру значительную часть изделий и особенно выразительная на скребках.

Изделия из кости и рога: тесла — 4, иглы с ушком — 2, обломки иглолок — 4, обломки небольших острий — 5, фрагменты верхней части наконечников из рога — 4 экз. Последние отличаются от изделий афонтовской и кокоревской культур Енисея овальным сечением и отсутствием продольных пазов для вставки каменных пластинок-вкладышей. Из украшений найдена маленькая плоская бусинка из камня и мелкая бусинка с намеченным, но до конца не просверленным отверстием.

Стоянка Малая Сья считается «классическим» памятником начала верхнего палеолита в Южной Сибири. Анализ имеющихся в настоящее время данных позволяет высказать иное суждение о возрасте этого поселения. Малая Сья является однослойной стоянкой, но находки здесь встречались в трех разновременных литологических горизонтах. Очевидно, что стратиграфия поселения далеко не безупречна, так как культурный слой смещался вниз по дну древнего лога. Геолого-геоморфологические наблюдения позволяют датировать находки в широких пределах от 18 до 35 тыс. лет. Для обоснования древнего возраста находок есть даты по кости в пределах 33—34 тыс. лет назад [11, 12]. Эти даты получены до начала раскопок стоянки и привязка костного материала к культурному слою проблематична. Вероятно, палеофауна собрана Н. Д. Оводовым в 1975 г. в карьере, разрушившем часть древнего поселения. Наиболее достоверной является дата $20\ 370 \pm 340$ (СОАН-1124) по угольным образцам из культурного слоя.

Данные палинологии также указывают на возраст находок близкий 20 тыс. лет [13]. Подстилающий культурный слой литологический горизонт, отражающий фазу становления хвойно-таежного пояса, вполне вписывается в рамки позднего каргинского межледниковья. Пыльца из культурного слоя говорит об обезлесении прилегающих гор и распространении по низкогорью холодной злаково-полянной степи и холодной межгорной полупустыни. Все это более соответствует раннесартанскому похолоданию, чем малохетскому потеплению.

Териофауну также можно привлечь для уточнения возраста находок, древность которых обосновывалась присутствием среди костных остатков носорога. Во-первых, остатки этого вида очень немногочисленны и, вероятно, собраны, как уже отмечалось, Н. Д. Оводовым в 1975 г. до начала раскопок стоянки в карьере. Во-вторых, носорог вымер на Енисее около 20 тыс. лет назад и находки его костей на стоянке вполне могут говорить о раннесартанском периоде формирования культурного слоя. Основной охотничьей добычей в Малой Сье был северный олень, который в Южной Сибири является индикатором наступления холода. В мустьерских (каргинских) отложениях этот вид животного, судя по пещерным стоянкам, не представлен. Нет его и на открытых стоянках в диапазоне 30—24 тыс. лет назад (Куртак-4). Впервые северный олень появляется в незначительном количестве около 23 тыс. лет назад (Сабаниха), значительна его роль среди остатков охотничьей добычи в первой половине сартанского оледенения в хронологических рамках 20—18 тыс. лет назад (мальтино-буретская культура). Во второй половине и конце сартанского оледенения этот вид животного составляет 90% всех костных остатков на древних поселениях (Новоселовские стоянки). В данном случае большое количество костей северного оленя в фауне Малой Сьи позволяет датировать находки в пределах первой половины сартанского оледенения или, в более узких рамках, 22—20 тыс. лет назад.

В каменном инвентаре Малой Сьи среди нуклеусов представлены формы с прямыми и скошенными ударными площадками и с субпараллельным принципом расщепления. Есть крупные галечные торцовые, немногочисленны дисковидные, единичны микроформы. В орудийном наборе преобладают средние и крупные пластины с ретушью, концевые скребки на пластинах, в том числе двойные.

Есть скребки со стамескообразным лезвием. Очень представительна группа зубчато-выемчатых орудий, среди которых выделяются пластины с вогнутым краем. Найдены плоские наконечники — унифасы с краевой ретушью, двойные проколки и проколки со скошенным на углу пластины шипом. Единичны долотовидные орудия, комбинированные формы, немногочисленны резцы. К последним часто отнесены изделия со случайными сколами.

В коллекции Малой Сыи нет типичных скребел. К этому типу орудий отнесены крупные пластины с ретушью, ретушированные отщепы и скребловидные орудия на гальках. Кроме того, как отмечает В. Е. Лихачев, «скребла из галек часто оказываются заготовками крупных торцовых по типу нуклеусов, а знаменитые чопперы и чоппинги — не рубящими орудиями, а заготовками леваллуазских и иных по разновидностям нуклеусов» [14].

Среди костяного инвентаря выделяются наконечники удлиненной формы, овальные в сечении и без характерного для енисейских памятников продольного паза.

Нетрудно заметить, что комплекс каменного и костяного инвентаря Малой Сыи находит полные аналогии в коллекции стоянки Сабаниха. Инвентарь двух этих памятников резко отличается от всех известных комплексов в Приенисейском крае. Судя по данным абсолютного датирования по углю, данным палинологии, биостратиграфии, которым не противоречат и геолого-геоморфологические наблюдения, Малая Сыя может быть даже моложе Сабанихи. Стоянка, которая считалась эталонным памятником начального этапа позднего палеолита Сибири, по всем показателям должна датироваться временем 22—20 тыс. лет назад. Интересно отметить, что даже топография сравниваемых стоянок сходна: поселения располагались на склонах горного обрамления рек, высоко над урезом воды.

В последние годы очень большие работы по выявлению раннего пласта позднего палеолита ведутся в Горном Алтае, но результаты известны только по небольшим предварительным публикациям [15—17]. Наиболее изучена стоянка Кара-Бом, в коллекции которой есть свыше 10 тыс. предметов из камня. К сожалению, стратиграфия памятника осложнена крупными нарушениями в литологических горизонтах, связанными с деятельностью воды. Находки встречались как на поверхности раскопов, так и в перепаде глубин до 5 м. По итогам работ 1990—1991 гг. делается вывод о многослойном характере поселения. Выделяются две пачки культурных слоев: мустьерская и относящаяся к началу позднего палеолита. Вероятно, речь идет не о стратиграфическом разделении, а типологическом, так как самые массовые позднепалеолитические изделия — ретушированные пластины — встречаются и в нижних мустьерских горизонтах, а леваллуазские ядрища и мустьерские остроконечники есть даже в коллекции подъемного материала с поверхности пролювиально-делювиального шлейфа. Настораживает очень большое количество (более 130 экз.) торцовых ядрищ достаточно развитых форм, резцов и изделий переходного характера от нуклеусов к резцам. Аналогии подобным предметам встречаются в Южной Сибири пока только на памятниках моложе 20 тыс. лет. Возможно, коллекция Кара-Бома составлена из разновременных находок, более 1 тыс. из которых собрано с поверхности до начала раскопок. Радиоуглеродные даты $33\ 800 \pm 600$ (ГИН-5935), $32\ 200 \pm 600$ (ГИН-5934), полученные для этой стоянки с нарушенной стратиграфией, указывают, вероятно, не на время формирования позднепалеолитического комплекса, а на возраст мустьерских изделий. Утверждение, что комплекс Кара-Бома имеет наибольший коэффициент сходства с коллекциями Малой Сыи, Варвариной Горы, Толбаги и Санного Мыса, еще больше затрудняет проблему определения хронологических рамок позднепалеолитического компонента этой интересной стоянки [18].

Таким образом, вопрос о раннем этапе позднего палеолита Сибири остается пока открытым. Намечаются две линии развития позднепалеолитического комплекса. «Классический» поздний палеолит, с традициями изготовления орудий на отщепках и обилием скребел в инвентаре стоянок, генетически связан с мустье Центральной и Северной Азии. Судя по находкам в Саяно-Алтайской горной

области, формирование позднепалеолитического комплекса этой линии развития начинается не ранее 30 тыс. лет. Место и время формирования позднепалеолитической пластинчатой индустрии Сибири еще необходимо выяснить. Не исключено, что истоки ее надо искать на Русской равнине. Возраст подобных комплексов в Сибири пока не древнее 28 тыс. лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Петрин В. Т.* Палеолит Западной Монголии: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 1991.
2. *Астахов С. Н.* Палеолит Тувы: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. СПб., 1993.
3. *Деревянко А. П., Маркин С. В.* Мустье Горного Алтая. Новосибирск: Наука, 1992.
4. *Константинов М. В.* Основные проблемы исследования палеолита Забайкалья//Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1989.
5. *Лбова Л. В.* Варварина Гора — «памятник леваллуазского этапа»? (проблема определения индустрии)//Исторический опыт освоения восточных районов России (тез. докл. конф.). Вып. 1. Владивосток, 1993.
6. *Константинов М. В.* Основные проблемы исследования палеолита Забайкалья//Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та. 1989.
7. *Лбова Л. В., Волков П. В.* Инструментарий палеолитического местонахождения Каменка-1: типология и функция//Культуры и памятники эпохи камня и раннего металла Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1993.
8. *Аксенов М. П.* Донеолитические местонахождения Верхней Лены//Исторический опыт освоения восточных районов России (тез. докл. конф.). Вып. 1. Владивосток, 1993.
9. Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1990.
10. *Лисицын Н. Ф.* Палеолитическая стоянка на Енисее//Природа. 1992. № 5.
11. *Ларичев В. Е.* Искусство верхнепалеолитического поселения Малая Сья, датировка, виды его и образы, их художественный стиль и проблема интерпретации (предварительное сообщение)//Изв. СО АН СССР. Сер. обществ. наук. № 11. Вып. 3. Новосибирск, 1978.
12. *Муратов В. М., Оводов Н. Д., Панычев В. А., Сафарова С. А.* Общая характеристика палеолитической стоянки Малая Сья в Хакасии//Археология Северной Азии. Новосибирск; Наука, 1982.
13. *Сафарова С. А.* Природная среда обитания людей в палеолите в Минусинской котловине (по данным спорово-пыльцевого анализа)//КСИА. 1985. Вып. 181.
14. *Ларичев В. Е.* У истоков верхнепалеолитических культур и искусства Сибири (к открытию в Кузнецком Алатау поселения Малая Сья и скульптурного изображения черепахи)//Рериховские чтения. Новосибирск, 1976.
15. *Окладников А. П.* Палеолитическая стоянка Кара-Бом в Горном Алтае (по материалам раскопок 1980 г.)//Палеолит Сибири. Новосибирск: Наука, 1983.
16. *Петрин В. Т., Чевалков Л. М.* О возникновении микролитической торцовой техники скалывания на примере палеолитической стоянки Кара-Бом//Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. (Тез. докл. Междунар. симпозиума). Красноярск, 1992.
17. *Петрин В. Т., Рыбин Е. П.* Нуклеусы стоянки Кара-Бом: к вопросу выделения культурной традиции//Проблемы культурогенеза и культурное наследие (тез. конф.). Ч. 2. СПб., 1993.
18. Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая. Новосибирск: Наука, 1990.

Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург

N. F. LISITSIN

CONCERNING THE BEGINNING OF THE LATE PALAEOLITHIC IN SIBERIA

Summary

The Late Palaeolithic developed in two ways in Siberia: 1 — the numerous flake tools, Mousterian type scrapers and worked pebbles, small tools were used together with the large ones. The sources can be found in the Northern Asia Mousterian. The Mousterian traditions of the stone treatment remained the same till the Neolithic. The first Palaeolithic finds are younger than 30,000 years. 2 — the blade technique. There are a number of ideas about the origin of this stone treatment tradition. It is dated back to 30,000—40,000 years ago. The main sites are Malaya Sya, Tolbaga, Sannyi Mys, Varvarina Gora, Kara-Bom. The new data change these sites age. For example Malaya Sya site has the complete analogies with Sabanikha site in the Yenisey river valley which is 23,000 years old. The blade industry probably came to Siberia from the Eastern Europe 23,000—28,000 years ago.

Т. М. ПОТЕМКИНА

ПРОБЛЕМЫ СВЯЗЕЙ И СМЕНЫ КУЛЬТУР НАСЕЛЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ В ЭПОХУ БРОНЗЫ

(ранний и средний этапы) *

Контакты и взаимодействия древних культур — один из главных факторов исторического прогресса. Именно связи в различных формах их проявления выступают определяющими в культурном синтезе и культурной трансформации — главных факторах культурогенеза. Формирование нового культурного образования происходит, как правило, в контактной зоне при условии взаимодействия двух и более культур или их вариантов.

Этническая интерпретация массивов степного и лесного населения

Рассматривая связи населения лесной, лесостепной и степной зон Восточной Европы и Западной Сибири в первобытную эпоху, мы вольно или невольно в той или иной степени (в зависимости от характера и точности используемого материала), обращаемся к исследованию вопроса о взаимодействии культур различных этнических массивов. Для Уральского и Западно-Сибирского регионов особенно актуален вопрос о взаимодействии финно-угорских и индоиранских народов. Это естественно, так как финно-угороязычное население, начиная с эпохи неолита и до современности, занимало огромную территорию южнотаежной и северолесостепной зон на протяжении от Финляндии до Иртыша, а ираноязычное — лесостепи и степи Евразии. Урал и прилегающие к нему районы (так называемый «Большой Урал») на протяжении нескольких тысячелетий оставались центральным стержнем огромных этнических массивов, своеобразным «котлом», где «варились» различного рода культурогенетические процессы.

Возможности археологической науки в вопросах этнической истории, особенно первобытного общества, весьма ограничены. Обычно для их решения археологи широко привлекают помимо собственных археологических материалов этнографические, фольклорные, лингвистические, антропологические, топонимические и другие данные, а также письменные источники, если они сохранили сведения об изучаемом периоде или культуре. Добросовестное сопоставление комплекса источников, как правило, дает положительные результаты в определении этнической принадлежности населения, оставившего после себя те или иные памятники. В Урало-Сибирской археологической науке многие исследователи обращались к вопросу этнической интерпретации древнего населения исследуемого региона различных эпох. Что касается эпохи бронзы, то, опираясь на археологические источники и данные указанных выше смежных наук, специалисты высказывают мнение об угорской принадлежности носителей ряда культур южнолесной — северолесостепной зоны Зауралья (черкаскульской, межовской, в основной своей части сузгунской) [1, с. 49—65; 2, с. 347, 373—374; 3, с. 19—20; 4, с. 12, 62, 63; 5, с. 97; 6, с. 37; 7, с. 314—317; 8, с. 23; 9, с. 59, 60] и финноязычности

* Продолжение статьи (поздний и финальный этапы) будет опубликовано в следующем номере журнала.

лесостепных и лесных культур Приуралья (волосовской, гаринско-борской, поздняковской, приказанской и др.) [3, с. 26—27; 10, с. 23—28]. Определение этноса как индоиранского связано с миром массивов населения степных и южнолесостепных культур — ямной, катакомбной, полтавкинской, срубной, синташтинской, петровской, алакульской и др. [1, с. 49—51, 56—62; 2, с. 347; 5, с. 90, 91; 10, с. 29; 11, с. 131; 12, с. 269; 13, с. 206—208, 343; 14, с. 135, 136, 154, 155, 165; 15; 16, с. 6—10, 375—376; 17, с. 51—57; 18, с. 55; 19, с. 44—47; 20, с. 32—34]. По вопросу этнической интерпретации андроновского (федоровского) населения мнения исследователей расходятся: одни считают его угорязычным [1, с. 49—51, 56—62; 6, с. 36—37; 7, с. 314—317; 21; 22, с. 30, 81], другие — ираноязычным [18, с. 55; 23, с. 111]; третьи — восточной своей частью связанными с угорской языковой средой, а западной, видимо, с индоиранской [2, с. 347]. В археологической литературе получили освещение и вопросы взаимодействия массивов индоевропейских и финно-угорских культур в древности, где исследователи отмечали главным образом участие степного (индоиранского) населения в генезисе многих культур лесной зоны Восточной Европы и Сибири [4, с. 62; 5, с. 97, 98; 7, с. 282—287, 314—317; 10, с. 27—29; 24, с. 159, 160, 239; 25; 26]. Аналогичные выводы получены также на основании данных этнографии, антропологии, лингвистики, топонимии. Так, этнографы отмечают большую роль андроновских орнаментальных традиций в изобразительном искусстве народов угорских и самодийских языковых групп Урало-Сибирского региона [27, с. 161; 28]. Антропологи указывают на сложный антропологический состав населения данного региона в результате интенсивного и длительного (начиная с неолита, а возможно и раньше) смешения монголоидных (северных и восточных) и европеоидных (южных и западных) компонентов [29, с. 250; 30, с. 117—120; 31, с. 85; 32, с. 3—14, 104]. Лингвисты выявили почти у всех финно-угорских народов Евразии индоиранские лексические заимствования, значительная часть которых связана с понятиями, относящимися к скотоводству, земледелию, типам оружия [33, с. 21—35; 34]. Специалисты по топонимии связывают происхождение части гидронимов лесной и лесостепной зоны Урала с индоиранскими языками [35, с. 14—16; 36, с. 167—169], в то же время свидетельствуя о финно-угорских заимствованиях в иранских языках, что говорит о древних контактах этих групп населения.

Ниже, рассматривая связи лесного — лесостепного — степного населения Зауралья в эпоху бронзы, автор привлекает в основном общие археологические материалы, наблюдения и выводы, полученные исследователями Урала и Западной Сибири за последние годы. Конкретный анализ источников, обоснование хронологии, этнической принадлежности и т. д., равно как и классификация признаков и содержания связей, не входят в задачу данной публикации. Впрочем, это и невозможно было бы сделать, учитывая общую историко-культурную направленность последней. Здесь автор полагается на точность исследований и выводы своих высокопрофессиональных коллег, результаты которых изложены в многочисленных работах, использованных при подготовке данной статьи. Главную свою задачу автор видит в стремлении проанализировать направленность, динамику, широту охвата и основные мотивы связей культурных групп населения Зауралья на разных этапах эпохи бронзы.

Определенный интерес в плане изучения формирования культурных традиций в условиях контактов и взаимосвязи представляет лесостепное и южнолесное Зауралье, расположенное в пограничье трех географических областей — Южного Урала, Казахстанских степей и западносибирской тайги, что несомненно внесло специфику в характер взаимоотношения населения и общий историко-культурный облик региона. Именно здесь наиболее выразительно проявились контакты степных и лесных групп населения, имели место условия для сосуществования в отдельные периоды эпохи бронзы двух или нескольких культурных групп. Удобное расположение р. Тобол и ее притоков, спокойно текущих в равнинных условиях, с

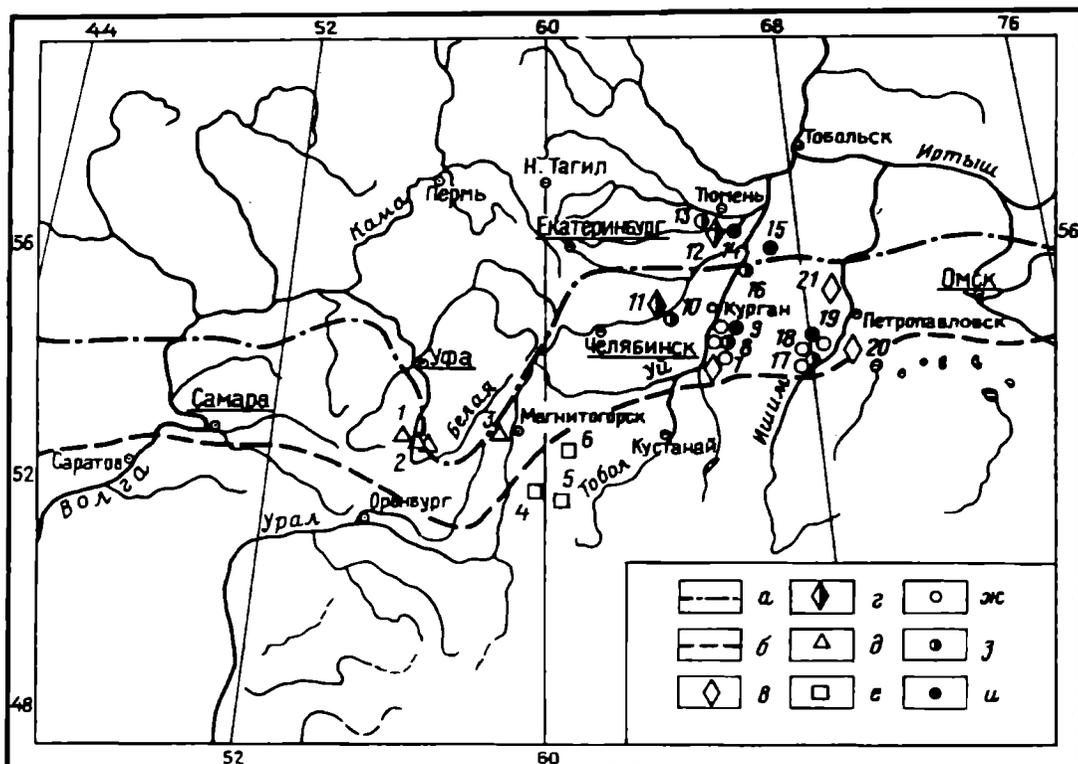


Рис. 1. Карта опорных памятников культур ранней и средней бронзы лесостепного Зауралья, а — граница леса и лесостепи; б — граница лесостепи и степи; в — памятники одиновско-крохалевского и вишневого типов; г — ташковские; д — приуральские абашевские; е — синташтинские; ж — раннеалакульские и петровские; з — алакульские постпетровского этапа; и — алакульские классического и позднего этапов. 1 — Баланбаш; 2 — Береговское I, II; 3 — Мало-Кизильское; 4 — Аркаим; 5 — Синташта; 6 — Устье; 7 — Верхняя Алабуга; 8 — Раскатиха; 9 — Камышное I, II; 10 — Алакуль; 11 — Ташково II; 12 — Южно-Андреевское озеро (ЮАО) XIII; 13 — ЮАО VI; 14 — Дуванское XVIII; 15 — Ук III; 16 — Чистолепяжье; 17 — Петровка; 18 — Петровка II; 19 — Новоникольское; 20 — Вишневка; 21 — Одино

широкими поймами, а также многочисленные озера издревле привлекали население и облегчали его продвижение в меридиональном направлении.

Контакты лесостепного населения со степным и лесным четко фиксируются в данном районе начиная с эпохи неолита. Но только в бронзовом веке, со становлением производящего хозяйства, освоением металлообработки и увеличением численности населения эти связи становятся более постоянными, широкими и действенными. Естественно, взаимосвязи населения носили различный характер, их причины и социальное содержание были неодинаковы — от сезонных перекочевков до военных столкновений и резких изменений природной среды [37, с. 165—179]. Археологические материалы не всегда фиксируют все аспекты связей, чаще всего лишь факт их существования. Самым надежным и массовым археологическим источником при изучении различного рода контактов является керамика, наиболее чутко реагирующая на все происходящие изменения в обществе, что и дает нам право в своих построениях опираться главным образом на данные анализа керамических комплексов.

Контакты и связи в эпоху ранней бронзы

В эпоху ранней бронзы (доандроновский период, рубеж III—II тыс. до н. э. — первая четверть II тыс. до н. э.) лесостепные и северостепные районы Зауралья были заняты населением, оставившим памятники одиновско-крохалевского типа (поселения Одино, Верхняя Алабуга; рис. 1), характеризующихся плоскодонной посудой с выбивкой внешней поверхности «под текстиль», орнаментированной по всей поверхности или под венчиком отпечатками гребенчатого штампа, насечками,

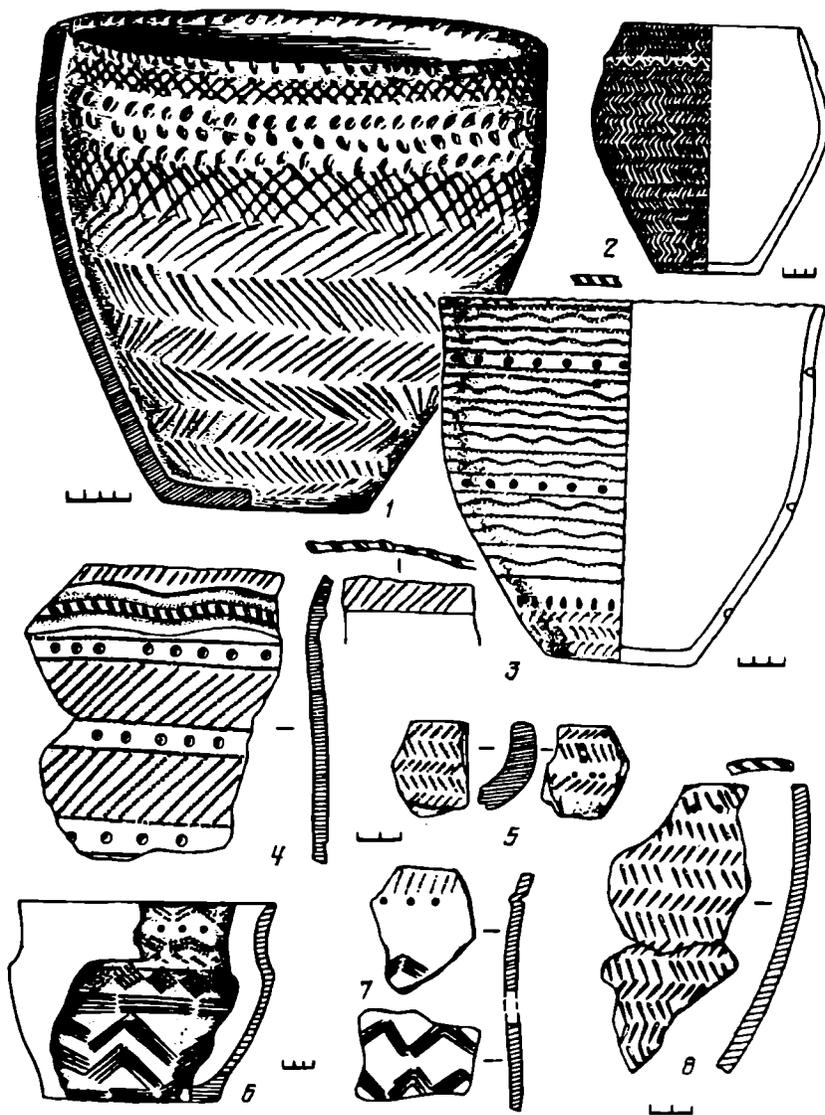


Рис. 2. Керамика с поселений эпохи ранней бронзы Зауралья. 1 — Верхняя Алабуга; 2, 3 — Ташково II; 4—8 — Южно-Андреевское озеро (ЮАО) XIII

образующими чаще всего елочный узор, ряды наклонных линий, решеточки, взаимопроникающими треугольниками (рис. 2, 1) [38, с. 74—77; 39, с. 157—162]. В основе сложения данных комплексов просматривается местный гребенчатый энеолит и древности ямного круга, существовавшие на данной территории в предшествующее время [39, с. 275—276; 40, с. 159—172]. Несомненно также присутствие в одиновско-крохалевских комплексах Притоболья (Верхняя Алабуга) керамики гаринско-борского типа, что является результатом контактов с населением Приуралья. Одиновско-крохалевские древности являлись частью массива памятников западносибирской лесостепи с текстильной керамикой, куда входили вишневецкие Северного Казахстана [41, с. 38—40; 42, с. 100—113; 43, с. 106—110], одиновские Пришимья [44, с. 65—95] и Прииртышья [45, с. 19, 20], крохалевские Приобья [46; 47, с. 28—30]. Существует мнение, основанное на анализе керамического материала, о пришлом характере населения с текстильной керамикой в районы Пришимья и Приобья с запада (Урал), но четко исходная территория не указывается [48, с. 116—121].

В лесном Зауралье, включая пограничье леса и лесостепи, в эпоху ранней бронзы была распространена ташковская культура (рис. 1), представленная двумя группами памятников: южной (р. Исеть, поселение Ташково II) и северной

(бассейн рек Ница, Тура, Пышма, Ук; поселения Андреевское озеро X, XIII, Ук III и др.) [49, с. 25]. Ташковская культура сложилась на основе культуры позднего неолита и энеолита Среднего Зауралья [50, с. 29—47]. Для керамического производства ташковской культуры характерна преимущественно плоскодонная посуда, наряду с остродонной и круглодонной, орнаментированная по всей поверхности движущимся инструментом — отступающей палочкой, лопаточкой, протасенной и шагающей гребенкой, ямочными наколами, образующими горизонтальные зоны из поясков прямых и волнистых линий, зигзагов, реже — наклонных оттисков, елочки, взаимопроникающих заштрихованных треугольников (рис. 2, 2—5, 8). Оттиски гребенчатого штампа встречаются редко, текстильная выбивка отсутствует. На памятниках южной группы (Ташково II) орнаментация состоит из графических элементов со значительным числом геометрических знаков, а на поселениях северной группы (ЮАО — X) керамика выглядит более архаичной, набор мотивов беднее (рис. 2, 4, 5, 8) [49, с. 31].

При всей своей специфике одиновско-крохалевские и ташковские (особенно южной группы) комплексы во многом близки, поскольку в основе их формирования находились гребенчатая и накольчато-струйчатая традиции, длительное время (с эпохи неолита) сосуществующие и взаимодействующие в Зауралье. Близость была обусловлена также сходством общего уровня развития, прежде всего хозяйственной деятельности, основанной на многоотраслевой экономике [51, с. 71—73] с началом формирования производящего хозяйства (скотоводства) и появлением металлообработки. Свидетельство тому — сходная топографическая приуроченность поселений на возвышениях в поймах (Верхняя Алабуга), по берегам рек (Ташково II) и озер (ЮАО — X), что было вызвано повышенной увлажненностью раннего суббореала — конец III — начало II тыс. до н. э., не способствующего заселению прибрежных пониженных участков. Наличие сходной керамики в обоих случаях, а также присутствие ташковской посуды в одиновско-крохалевских и вишневских комплексах, а последних — в ташковских подтверждает сказанное выше и является свидетельством связей двух групп населения.

В. Т. Ковалева считает ташковскую культуру индоиранской, принадлежащей к одному этническому и хронологическому пласту с синташтинскими комплексами, хотя первая и являлась более ранней [52, с. 85]. Представляется, что данный тезис об этнической принадлежности нуждается в дополнительной аргументации, поскольку ташковская культура, как полагают ее исследователи, сложилась на основе культур местного лесного-северолесостепного накольчатого и гребенчато-ямочного неолита и энеолита [50, с. 44, 45], носители традиций которых рассматриваются рядом исследователей как финно-угорские племена [7, с. 315, 316; 10, с. 21—23, 25]. Индоиранский компонент, вероятно, присутствовал в ташковской культуре в основном в южной части ее ареала как результат взаимодействия с южными соседями: на ранней стадии — с одиновско-крохалевским и вишневским населением, в керамических комплексах которого геометризм более выражен по причине участия в его сложении древностей ямного круга [39, с. 275, 276]; на позднем этапе — с раннеалакульскими, абашевскими и синташтинскими группами населения, относящимися к индоиранской ветви индоевропейских народов [15; 16, с. 375, 376; 17, с. 51—57]. Эти связи нашли отражение в восприятии новых элементов орнамента (елочки, меандра, валика, геометрических символов на днищах сосудов — круга, креста, спирали) и связанной с ними символики, выражающей определенное мировоззрение [49, с. 32, 33]; металлообработки, первоначально на основе привозного металла и металлического лома; навыков ухода за скотом и, возможно, в появлении новых видов домашних животных (крупного и мелкого рогатого скота), неизвестных в данном регионе в предшествующую энеолитическую эпоху, соответствующую лишь начальному этапу приручения лошади (Савин) [53, с. 85—90].

Точка зрения о формировании ташковской культуры (прежде всего таких ее элементов, как планировка поселков и связанных с ней общественных структур)

под влиянием передневозточных цивилизаций, самых первых предгородских процессов урбанизации, носители которых двигались через Среднюю Азию на север [54, с. 107, 108], не имеет под собой достаточного основания. Наиболее яркие черты ташковской культуры (круговая планировка поселений, знаки-символы на керамике и др., отражающие сложную иерархическую структуру общества) — результат происшедших хозяйственных изменений и дальнейшего развития мировоззренческих представлений о вселенной и месте человека в ней, связанных с традициями народов индоевропейской языковой общности, начиная с эпохи позднего неолита — энеолита. Эти процессы нашли отражение на широкой территории лесостепи с заходом в южнолесную и степную зоны от Европы до Зауралья и особенно ярко проявились в памятниках типа круглых святилищ — обсерваторий (вудхенджей, рондел), наиболее известные из которых Стоунхендж в Англии, Кийовица в Чехии и др. [55, с. 258—264; 56; 57; 58; 59, с. 23—27]. В последние годы такого рода святилища-обсерватории, относящиеся к эпохе энеолита (середина III тыс. до н. э.), открыты и исследованы на территории Зауралья: Савин — в Курганской области, Велижаны — в Тюменской [60, с. 236—237; 61, с. 153—157; 53, с. 85—90].

На более позднем этапе (в эпоху ранней бронзы) именно на этой территории возникли ташковские поселения с круговой планировкой, которые, на мой взгляд, являются результатом сохранения ташковским населением традиций предшествующей эпохи в области мировоззрения и связанных с ним ритуалов, но уже на новом уровне, в соответствии с новыми историческими условиями. Думается, что исследованные ташковские поселения, типа Ташково II, учитывая целый ряд особенностей (строго определенное количество построек и специфика застройки архитектурных ансамблей поселков, характер вещественного материала и его местонахождения, незначительная насыщенность культурного слоя, несвойственная бытовым памятникам, и др.), не являлись стационарными поселениями, где проходила постоянная и длительная (обыденная) жизнь населения. Эти поселки строились целенаправленно, в соответствии со специальными расчетами и функционировали как культовые и в определенном смысле административные центры, где жрецы (они же вожди племен), являющиеся потомственными хранителями и продолжателями традиций, совершали различного рода обряды, регулирующие жизнь общества. Авторитет жрецов (вождей) строился на знании календарей, окружающей природы, прежде всего связанном с человеческой деятельностью, естеством человека вообще. В ташковскую эпоху по сравнению с предшествующим энеолитическим периодом (предполагаемый разрыв во времени 500—800 лет) происходят изменения не только в архитектуре культовых центров (в энеолите — это круглые площадки, окруженные рвом, с метами в виде столбов, ям, кострищ в центре и по окружности, ориентированных в направлении восхода и захода светил в различные времена года; в раннебронзовый век — поселки с постройками вплотную стоящими по кругу, и одной внутри замкнутой площадки), но и в их основных функциях, что находит отражение в характере обрядов. В энеолите к числу основных функций святилища относились наблюдения за изменением времени, измерение смены сезонов, определяющих сроки коллективной охоты, отправление обрядов-жертвоприношений, связанных с различными церемониями в обществе, и в первую очередь с периодами интенсивной весенней и осенней охоты и временем оптимальной охоты на отдельные виды животных, что хорошо коррелируется имеющимися ориентирами положения светил и значительными скоплениями костей определенных видов животных; в эпоху ранней бронзы, если судить по характеру находок (в основном керамики и определенных видов орудий труда) и их распределению в культурном слое памятника, первостепенную роль играли ритуалы социальной направленности, связанные со структурой общества [62, с. 251—254, рис. 1—4]. В последнем случае можно предположить, что поселения типа Ташково II, могли служить специальными центрами, где в основном проводились обряды инициаций и другие ритуалы, имеющие отношения к различным сторонам жизни ташковского общества. Этому предположению не

противоречат выводы авторов раскопок: планировка поселка отражает образ вселенной и в то же время образ единства мужского и женского начала, соответствующего единству двух фратриальных групп. «Модель космоса, выраженная цифровой формулой, отражает структуру общества — эндогамные общины с экзогамными половинами» [52, с. 85]. Если наше предположение о культовом назначении указанных ташковских поселков верно, то стационарные поселения следует искать где-то рядом.

Взаимодействие населения степной и лесостепной зон в период средней бронзы

На рубеже раннего и среднего бронзового веков (начало XVII в. до н. э.) в южных районах Зауральской лесостепи на месте одиновско-крохалевских памятников появляются комплексы с керамикой раннеалакульской (типа могильника Верхняя Алабуга) [39, с. 179, рис. 74; с. 262—263, рис. 106; с. 268, 269], синташтинской, абашевской, петровской и близкой культуре КМК [39, с. 184, рис. 77, 5, 6, 8; с. 193, рис. 83], стратиграфические позиции которых свидетельствуют о более позднем их появлении. Особенно показателен в этом плане могильник Верхняя Алабуга, где выделяется четыре группы погребений, оставленных носителями всех перечисленных групп керамики, функционировавших, судя по данным планиграфии, в один и тот же период без значительного разрыва во времени. Наиболее ранней представляется I группа погребений (57 могил и 24 жертвенные ямы с костями животных и сосудами) с керамикой преимущественно раннеалакульского облика, расположенных на наиболее возвышенной центральной части останца (рис. 3, 1, 2, 4). Остальные три группы погребений (соответственно 12 могил и 3 жертвенные ямы; 7 могил и 3 ямы; 7 могил и 6 ям; керамика — петровская и абашевская; раннеалакульская, петровская, синташтинская и близкая КМК; синташтинская, раннеалакульская и петровская (рис. 3, 3, 7, 9), располагались вплотную вокруг первой на более пониженных участках [39, с. 163—200; 63, с. 123—126]. Анализ керамики и металлических изделий из отдельных групп погребений, несмотря на общее сходство, показывает и их различие [64, с. 17, 18]. Существуют определенные отличия и в погребальном обряде. Керамика раннеалакульского типа из I группы погребений, в основном баночной и с намечающимся уступчиком формы, имеет ряд признаков, сближающих ее с одиновско-крохалевской и ташковской (южной группы) посудой по форме (преобладание — до 70% — баночных и слабопрофилированных сосудов), технологическим показателям (зачастую керамика грубой выделки с расчесами щепой или гребенкой на внутренней и реже внешней поверхности, с примесью крупнотолченого шамота и растительных добавок в глиняном тесте), орнаментации (из горизонтальных рядов оттисков, елочки, зигзагов, качалки, выполненных гребенчатым и гладким штампом, шнуром), покрывающей всю внешнюю поверхность сосуда (рис. 2, 1; 3, 1, 2, 4). Керамика из остальных групп погребений — синташтинского, абашевского, петровского типов, сопоставимая с КМК и переходных между ними форм — имеет мало сходства с посудой предшествующего периода: преимущественно горшковидной формы с ребристым плечом, более тщательно изготовленная, с примесью раковины и талька наряду с шамотом, орнаментированная, как правило, по трем зонам (венчик, плечико, придонная часть) в основном геометрическими узорами (зигзаги, треугольники, ромбы) (рис. 3, 7—9) [63, с. 122—124, рис. 2—4]. Аналогии последней известны в абашевских и синташтинских комплексах Южного Урала и Приуралья [16, рис. 24, 3—5; 29, 4; 55, 1—4; 64; 81 и др.; 65, с. 94, табл. XIX; 66, с. 5—7, рис. 7], петровских Южного Заруалья и Северного Казахстана [67, рис. 7, 17, 32, 33].

Определенные отличия наблюдаются и в инвентаре отдельных погребальных групп. Бронзовые изделия из I группы погребений единичны и невыразительны — несколько желобчатых браслетов, серьга с заостренными концами, скобы для крепления. Показательно наличие в этом комплексе архаичных по форме и

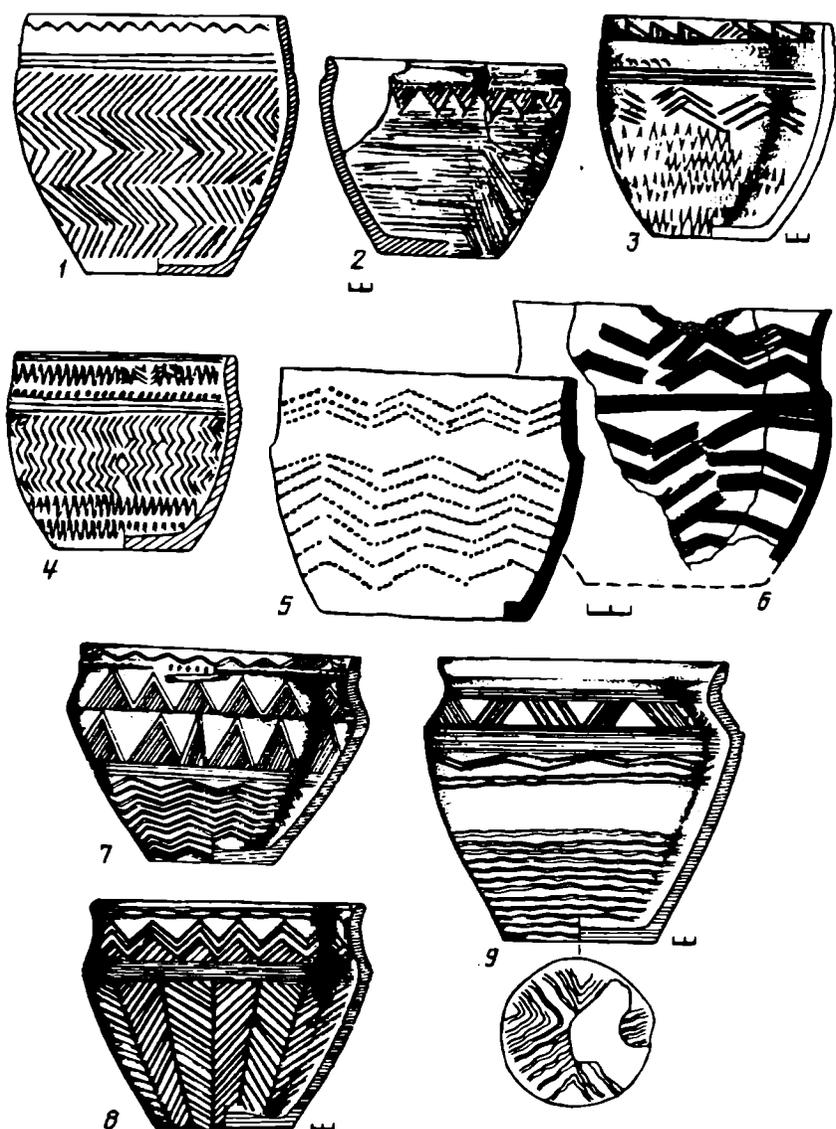


Рис. 3. Керамика из могильников эпохи средней бронзы Зауралья. 1—4, 7—9 — Верхняя Алабуга (1, 2, 4 — I группа погребений; 3, 7—9 — IV группа погребений); 5, 6 — Раскатиха (5 — раскоп IV, 6 — раскоп I)

приемам изготовления каменных орудий — скребков и ножевидных пластин [39, с. 171, рис. 68]. Металлический инвентарь из остальных групп могил намного богаче по численности и набору: наряду с разнообразными украшениями присутствуют оружие и орудия — ножи, тесла, шилья, кремневые наконечники стрел [39, рис. 47, 80, 82], более всего сопоставимые с бронзовыми изделиями абашевских и синташтинских комплексов. Спектроаналитический анализ металла из разных групп погребений могильника показывает несовпадение химического состава и различные рецептуры оловянистых бронз: в I группе погребений с раннеалакульской керамикой почти половина изделий (45,5%) изготовлена из чистой меди; во II и III группах с петровской, абашевской, синташтинской керамикой основная часть изделий — из оловянистых бронз (76,6%). Но основой того и другого комплекса является металл ЕУ. Следовательно, население, оставившее отдельные группы погребений, использовало рудное сырье из одних и тех же месторождений, а разница в рецептуре свидетельствует минимум о двух различных группах мастеров-литейщиков со своими традициями и приемами обработки металла [68, с. 365, 366].

Изложенные выше материалы позволяют высказать следующие соображения относительно становления культур средней (по восточноевропейской хронологии — поздней) бронзы в лесостепной зоне Зауралья, связанных с алакульской линией развития. Одиновско-крохалевская культура, синхронная начальной стадии уральской абашевской, позднеямной и раннеполтавкинской в Поволжье, на заключительной стадии своего существования в связи с началом развития производящей экономики (скотоводства), металлообработки и активных воздействий более развитых южных и западных культур (гаринско-борской, абашевской, полтавкинской) видоизменяется, что приводит к формированию раннеалакульского культурного типа, во многом сохранившего предшествующие традиции. Дальнейшие процессы активной трансформации и инноваций происходят в результате массового продвижения в зауральскую и североказахстанскую лесостепь, в первую очередь в пограничные со степью районы (до 53° с. ш.), абашевского и синташтинского населения, которое в силу исторических и природно-географических условий, главным из которых было обладание рудными источниками, находилось на значительно более высоком уровне развития. Пришлые племена с развитым скотоводческо-земледельческим хозяйством, мощным металлургическим производством, социально-стратифицированной общественной структурой, сложившейся солярно-астральной символикой в мировоззрении и ритуальной практике, несли с собой новые усовершенствования, которые благодаря активному взаимодействию быстро внедрялись в местную раннеалакульскую среду. Они несли с собой не только новые усовершенствования в области производства, но и в мировоззрении, что имело не менее важные последствия. Активному продвижению на значительные расстояния и оперативности контактов способствовало наличие колесного транспорта у синташтинского и абашевского населения.

Свидетельством указанных процессов является совместное нахождение на поселениях и в погребениях сосудов различных культурных типов — раннеалакульских, абашевских, синташтинских, петровских в разных сочетаниях, а также появление керамики смешанных (переходных) типов — алакульско-петровской, петровско-абашевской, петровско-синташтинской; устройство погребальных сооружений, захоронения коней и др. При этом пришлое абашевское и синташтинское население продолжало какое-то время сохранять тесные связи со своей исходной территорией (Южным Уралом), главным образом благодаря наличию там рудных источников и административно-военных, торговых, религиозных центров (типа Аркаима¹), тем самым содействуя новому притоку населения в зауральскую и североказахстанскую лесостепь. Активным контактам и миграциям способствовало удобное географическое положение района: крупные левые притоки р. Тобол (Уй, Аят, Синташта) берут свое начало в степной и пограничной с лесостепью зоне Южного Урала, в районах сосредоточения уральских абашевских и классических синташтинских памятников (рис. 1). Контакты синташтинского и уральского абашевского населения прослеживаются и в западном направлении, включая Поволжье, где в памятниках полтавкинской культуры также одновременно встречается керамика разнокультурных типов — полтавкинская, синташтинско-петровская, абашевская [69, с. 77]. Эти воздействия приводят, наряду с другими факторами, к сходным с Зауральем культурогенетическим процессам, особенно наглядно проявившимся в предсрубное время в формировании покровского и потаповского культурных типов [70, с. 83—85; 71, с. 54—56].

С притоком степного населения в южную лесостепь часть местного раннеалакульского населения была оттеснена в более северные и восточные районы, что, видимо, и явилось причиной сдвига ташковских племен в южнолесную зону, где они продолжали существовать синхронно с раннеалакульскими, абашевскими, синташтинскими до XVII в. до н. э. включительно [50, с. 45; 72,

¹ Представляется, что памятники типа Аркаима — результат продолжения традиций, связанных с круглыми святилищами и ритуальными поселками эпохи энеолита и ранней бронзы, но более масштабные и многофункциональные, соответствующие новому историко-культурному уровню.

с. 76, 77]. Подтверждение тому — находки сосуда близкого абашевско-синташтинскому с каплей меди на внутренней стороне на поселении Ташково II [73, с. 68] и раннеалакульского горшка совместно с ташковской керамикой в очаге жилища 12 на поселении Южно-Андреевское озеро XIII (рис. 2, б) (раскопки В. Т. Ковалевой и О. В. Рыжковой в 1993 г.) аналоги которому известны в раннеалакульских памятниках петровского этапа (рис. 3, 5, б). В последнем случае в комплексе с ташковской керамикой встречаются фрагменты не только раннеалакульской посуды (рис. 2, б, 7), но также вишневецкой и одиновско-королевской (рис. 2, 5, 8), в отдельных случаях с текстильной вышивкой на внешней поверхности.

Инфильтрация и миграция степного южноуральского населения в лесостепное и лесное Зауралье не были одноразовым явлением, а представляли собой многоволновый процесс разной степени распространения и воздействия, влиявший на местное население в соответствии с конкретными историческими и экономическими условиями. Данный процесс протекал в нестабильной обстановке: именно к началу среднего бронзового века относится возникновение укрепленных рвами и валами поселений как на Южном Урале (Синташта, Устье), так и в притобольской (Камышское II) и приишимской (Петровка II, Новоникольское I) лесостепи и далее на восток до Иртыша (Черноозерье I и др.) [16; 39; с. 76—103; 67, с. 26—57; 74, с. 80].

Результатом активного взаимодействия раннеалакульского, абашевского, синташтинского населения явилось формирование нового культурного типа — петровского, существовавшего какое-то время параллельно раннеалакульскому и в дальнейшем растворившегося в алакульской среде [75, с. 77—107]. Окончательное оформление петровской и начало становления классической алакульской культуры в Притоболье и Приишимье знаменовало собой утверждение скотоводческо-земледельческого хозяйства, развитой металлургии и резко дифференцированной социальной структуры, что явилось толчком для дальнейшего их интенсивного развития и расширения пространства обитания. Использовались также огромные богатства озер и лесов, что давало прекрасные возможности для рыболовства и охоты, особенно загонной, о чем свидетельствует значительный процент костей лося, косули, кабана среди остеологических остатков на поселениях, причем чем севернее, тем больше [39, с. 309, 310, 321].

На постпетровском этапе (вторая половина XVI в. до н. э.) алакульские племена заселяют север лесостепи вплоть до границы с лесной зоной — до 56° с. ш. (Чистолебяжье) [76, с. 106—146]. Отдельные их группы проникают в наиболее благоприятные для хозяйственной деятельности лесные районы (ЮАО — VI, раскоп 5) [77, с. 17, 18, рис. 7], что приводит к дальнейшему расширению контактов с лесными племенами.

Расселение петровско-алакульских групп по всей зауральской лесостепи, максимальное использование ее резервов (широких пойм, озер, лесов) приводит к окончательному оформлению алакульской культуры на рубеже XVI—XV вв. до н. э. и постепенному расширению ее ареала во всех направлениях [78, с. 13—31]. В Притоболье алакульское население в XV—XIV вв. до н. э. в массовом порядке продвигается в южнолесную зону до 57—57,5° с. ш. (Ук III, ЮАО — VI, раскоп 1; Дувани XVIII, Ипкуль II) [74, с. 76—79; 79, с. 22—30], последствием чего явилось ускорение темпов социально-экономического развития в южно-лесной зоне в результате освоения новых ресурсов, главным образом пойменных пастбищ и участков для земледелия. Южнотаежное население было подготовлено к восприятию скотоводства в силу внутреннего развития и географических условий, а воздействие степняков способствовало реализации этих возможностей.

Ко времени расселения в южнолесные районы алакульцев, а несколько позже федоровцев относится, вероятно, начало сложения культурных типов, предшествующих андроновидным. В Тоболо-Иртышье это были комплексы пахомовского типа, непосредственно предшествующие андроновидной сузгунской культуре [74, с. 81—82; 79, с. 30—33; 80, с. 50—61]. Вполне возможно предположить, что

именно к этому периоду относится и начало распространения на территории Восточного Урала и Западной Сибири группы гидронимов древнеиранского происхождения [35, с. 15; 36, с. 167, 168], а также появление основной части индоиранских лексических заимствований, связанных с понятиями, относящимися к скотоводству, земледелию и духовной сфере, что наблюдается почти у всех финно-угорских народов Евразии [10, с. 29; 81, с. 159—162]. Антропологи также относят усиление европеоидности угорского населения Западной Сибири к андроновской эпохе [13, с. 416]. Особенно значительная роль индоиранского субстрата по всем отмеченным показателям проявляется в культуре обских угров, главным образом манси.

Причины продвижения алакульцев в лесную зону следует искать в экономическом факторе, тесно связанном с климатическими изменениями. Начавшееся в третьей-четвертой четверти II тыс. до н. э. усыхание степи и лесостепи в связи с наступлением ксеротермического периода суббореала, отмечаемого палеоклиматологами, почвоведом, археологическими данными [82, с. 104, 105, 114; 83, с. 58—61; 84, с. 50], определяло направления передвижения населения в поисках пастбищ и более благоприятных условий для земледелия, охоты, рыболовства. В условиях интенсивного развития производящей экономики важным фактором подвижности населения были также быстрый рост человеческих коллективов и активное общение между ними. Это сочетание экономических, демографических и природных факторов и определяло направление передвижений скотоводческих групп. Надо полагать, массовое движение под силу большим объединенным коллективам, а не разрозненным группам, что может говорить о консолидации населения и, возможно, возникновении военных союзов.

Таким образом, в эпоху ранней и средней бронзы (или средней и поздней по восточноевропейской хронологии) в Зауралье наблюдаются связи, контакты и передвижения населения в основном в северном и северо-восточном направлениях: из степи в лесостепь, далее в лесную зону, которые приводят к синтезу местных и пришлых культур, их трансформации и последующим инновациям. Воздействия перерабатывались населением этих территорий в соответствии с конкретными историческими и экономическими условиями отдельных районов. С развитием производящей экономики связи охватывают все новые территории и играют определенную роль в развитии самого общества, усложнении его структуры и укреплении племенных объединений. Подобные связи могли осуществляться только в достаточно развитых обществах.

Причины следует усматривать в факторах внутреннего и внешнего порядка. К внутренним относится уровень развития производительных сил, в данном конкретном случае — интенсификация развития скотоводства и металлургии, которые привели к росту населения, стратификации общества и необходимости поиска новых пастбищ и новой территории обитания. Несомненна также значительная роль в данном процессе различных аспектов мировоззренческих представлений, которые находились в сложных отношениях развития и взаимодействия. Внешний фактор, связанный с изменением климата в сторону его сухости, усиливал эту тенденцию и определял направление и характер передвижений, общеисторическую ситуацию, поскольку изменения природно-географических условий нарушали привычные стереотипы жизнедеятельности: общество с развитым скотоводством особенно чутко реагировало на изменение природной обстановки и могло оказаться на грани катастрофы. В то же время общество пастушеских скотоводов Зауралья, оказавшись в середине II тыс. до н. э. в различных природных условиях, начинает развиваться различными путями. В степи-лесостепи наблюдается тенденция дальнейшего развития подвижного скотоводства и постепенного перехода к кочевому, а в южно-лесной зоне сохраняется оседлое скотоводство со значительной ролью в хозяйстве охоты, рыболовства, собирательства, т. е. укрепляется на новом уровне многоотраслевая экономика. В данном случае происходит завершение формирования в исследуемом регионе определенных хозяйственно-культурных типов, что нашло отражение в хозяйственной дифференциации для отдельных природных зон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья//МИА. 1953. № 35.
2. Сальников К. В. Очерки древней истории Южного Урала. М., 1967.
3. Бадер О. Н. О древнейших финно-уграх на Урале и древних финнах между Уралом и Балтикой// Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972.
4. Хлобыстин Л. П. Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье. Л., 1976.
5. Членова Н. Л. Археологические материалы к вопросу о иранцах доскифской эпохи и индоиранцах//СА. 1984. № 1.
6. Косарев М. Ф., Потемкина Т. М. Городище Чудская гора в свете этнической интерпретации андронеидных культур Западной Сибири//Урало-алтаистика. Новосибирск, 1985.
7. Косарев М. Ф. Бронзовый век Сибири и Дальнего Востока//Эпоха бронзы лесной полосы СССР/Археология СССР. М., 1987.
8. Шорин А. Ф. Среднее Зауралье в эпоху развитой и поздней бронзы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06. Новосибирск, 1988.
9. Обыденнов М. Ф. Поздний бронзовый век Южного Урала. Уфа, 1986.
10. Халиков А. Х. Основы этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья. Казань, 1991.
11. Смирнов К. Ф. Савроматы. М., 1964.
12. Грантовский Э. А. «Серая керамика», «расписная керамика» и индоиранцы//Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981.
13. Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989.
14. Пряхин А. Д. Погребальные абашевские памятники. Воронеж, 1977.
15. Генинг В. Ф. Могильник Синташта и проблема ранних индоиранских племен//СА. 1977. № 4.
16. Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В. Синташта. Т. I. Челябинск, 1992.
17. Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977.
18. Кузьмина Е. Е. Культурная и этническая атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии эпохи бронзы//ВДИ. 1988. № 1.
19. Кузьмина Е. Е. Лингвистический и археологический аспекты проблемы происхождения и расселения индоиранских народов//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конференции. Ч. 1. М., 1984.
20. Клейн Л. С. Археологические следы древнейших индоариев в Причерноморье//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конференции. Ч. 1. М., 1984.
21. Чернецов В. Н. К вопросу о месте и времени формирования финно-угорской этнической групп// Тез. докл. на совещании по методологии этногенетических исследований. М., 1951.
22. Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1981.
23. Кузьмина Е. Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.
24. Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тыс. нашей эры//МИА. 1957. № 58.
25. Косарев М. Ф. Некоторые вопросы этнической истории Западной Сибири в эпоху бронзы// СА. 1972. № 2.
26. Членова Н. Л. Археологические материалы к вопросу о контактах финно-угров с индоиранцами// Вопросы финно-угроведения. Сыктывкар, 1979.
27. Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник//ТИЭ. Новая серия. 1963. Т. 81.
28. Иванов С. В. Древний андроновский комплекс в современном орнаменте народов Сибири// VII Междунар. конгр. антропологических и этнографических наук. М., 1964.
29. Золотарева И. М. Черепа из Перейминского и Козловского могильников//МИА. 1953. № 35.
30. Алексеев В. П. О смешанном происхождении уральской расы//ВАУ. Вып. 1. Свердловск, 1961.
31. Шевченко А. В. Об антропологических особенностях носителей черкаскульской культуры//Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. Куйбышев, 1976.
32. Акимова М. С. Антропология древнего населения Приуралья. М., 1968.
33. Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974.
34. Абаев В. И. Доистория индоиранцев в свете арио-уральских языковых контактов//Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. до н. э.). М., 1981.
35. Муминов М. Т. К вопросу об иранских элементах в субстратной топонимике Среднего Зауралья// Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1969.
36. Пархимович С. Г. Индоиранский субстрат в традиционных культурах ханты и манси//Археологические и культурно-исторические общности Большого Урала: Тез. докл. XII Уральск. археол. совещ. Екатеринбург, 1993.
37. Косарев М. Ф. Западная Сибирь в древности. М., 1984.
38. Голдина Р. М., Крижевская Л. Я. Одино — поселение ранней бронзы в западносибирском лесостепье//КСИА. 1971. Вып. 127.
39. Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985.
40. Потемкина Т. М. Черты энеолита лесостепного Притоболья//Волго-Уральская лесостепь и степь в эпоху раннего металла. Куйбышев, 1982.
41. Зданович Г. Б. Керамика эпохи бронзы Северо-Казахстанской области//ВАУ. Вып. 12. Свердловск, 1973.
42. Зайберт В. Ф. Новые памятники ранней бронзы на р. Ишим//КСИА. 1973. Вып. 134.

43. *Татаринцева Н. С.* Керамика поселения Вишневка I в лесостепном Приишимье//Бронзовый век Волго-Уральского междуречья. Челябинск, 1984.
44. *Крижевская Л. Я.* Раннебронзовое время в Южном Зауралье. Л., 1977.
45. *Генинг В. Ф., Гусенцова Т. М., Кондратьев О. М., Стефанов В. И., Трофименко В. С.* Периодизация поселений эпохи энеолита и бронзового века Среднего Прииртышья. Томск, 1970.
46. *Полосьмак Н. В.* Крохалевка 17 — новый тип памятника крохалевского типа//Сибирь в древности. Новосибирск, 1979.
47. *Молодин В. И.* Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985.
48. *Глушков И. Г., Глушкова Т. Н.* Текстильная керамика как исторический источник (по материалам бронзового века Западной Сибири). Тобольск, 1992.
49. *Ковалева В. Т., Рыжкова О. В.* Проблема перехода от энеолита к бронзовому веку в лесном Зауралье//Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы Европейской части СССР. Йошкар-Ола, 1991.
50. *Ковалева В. Т.* Ташковская культура раннего бронзового века Нижнего Притоболья//Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1988.
51. *Косарев М. Ф.* Древняя история Западной Сибири: Человек и природная среда. М., 1991.
52. *Ковалева В. Т.* Динамика культуры и общества в Среднем Зауралье (неолит — бронзовый век)//Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала: Тез. докл. XII Уральск. археол. совещ. Екатеринбург, 1993.
53. *Потемкина Т. М.* Святилище-обсерватория — новый тип памятника эпохи энеолита в Зауралье//Научный семинар по теме: «Проблемы изучения духовной культуры древних обществ». Екатеринбург, 1994.
54. *Крижевская Л. Я.* Значение культурных связей для организации поселений и домостроительства эпохи ранней бронзы в Южном Зауралье//Археологические культуры и исторические общности Большого Урала: Тез. докл. XII Уральск. археол. совещ. Екатеринбург, 1993.
55. *Монгайт А. Л.* Археология Западной Европы. М., 1973.
56. *Вуд Дж.* Солнце, луна и древние камни. М., 1981.
57. *Хокинс Дж., Уайт Дж.* Разгадка тайны Стоунхенджа. М., 1984.
58. *Podborsky Vladimír.* Těšetice — Kyjovice IV. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Universita J. E. Purkyně v Brně, 1988.
59. *Гусаков М. Г.* Святилище — языческий храм (к постановке проблемы)//Религиозные представления в первобытном обществе: Тез. докл. М., 1987.
60. *Потемкина Т. М., Вохменцев М. П.* Раскопки в Курганской области//АО. 1983 г. М., 1985.
61. *Потемкина Т. М., Гусаков М. Г.* Религиозные представления населения эпохи энеолита Зауралья (по материалам раскопок святилища Савин)//Религиозные представления в первобытном обществе: Тез. докл. М., 1987.
62. *Потемкина Т. М., Ковалева В. Т.* О некоторых спорных проблемах эпохи неолита — ранней бронзы лесостепной и лесной зоны Урала. По материалам V полевого симпозиума (Тюмень, 1991)//РА. 1993. № 1.
63. *Потемкина Т. М.* О некоторых спорных вопросах ранней и средней бронзы Волго-Уральского региона//СА. 1990. № 1.
64. *Потемкина Т. М.* О происхождении алакульской культуры в Притоболье//Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983.
65. *Горбунов В. С.* Абашевская культура Южного Приуралья. Уфа, 1985.
66. *Горбунов В. С.* Некоторые проблемы эпохи бронзы лесостепной полосы Приуралья//Бронзовый век Южного Приуралья. Уфа, 1985.
67. *Зданович Г. Б.* Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.
68. *Кузьминых С. В., Черных Е. Н.* Спектроаналитические исследования металла бронзового века лесостепного Притоболья//Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985.
69. *Качалова Н. К.* Относительная хронология полтавкинских памятников и их соотношение с потаповскими и покровскими//Новые открытия и методологические основы археологической хронологии: Тез. докл. конф. СПб., 1993.
70. *Малов Н. М.* Покровский культурный тип памятников начального этапа эпохи поздней бронзы степного Волго-Уралья//Новые открытия и методологические основы археологической хронологии: Тез. докл. конф. СПб., 1993.
71. *Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П.* Погребения знати эпохи бронзы в Среднем Поволжье//Археол. вести. 1993. № 1.
72. *Стефанов В. И., Стефанова Н. К.* О соотношении кротовских и андроновских комплексов//Археология Волго-Уральских степей. Челябинск, 1990.
73. *Ковалева В. Т.* Этнокультурные и этногенетические процессы в Среднем Зауралье в конце каменного — начале бронзового века: итоги и проблемы исследования//ВАУ. Вып. 20. Екатеринбург, 1991.
74. *Корочкова О. Н., Стефанов В. И., Стефанова Н. К.* Культуры бронзового века предтаежного Тоболо-Иртышья (по материалам работ УАЗ)//ВАУ. Екатеринбург, 1991.
75. *Потемкина Т. М.* Роль абашевцев в процессе развития алакульской культуры//Эпоха бронзы Восточно-Европейской лесостепи. Воронеж, 1984.
76. *Могильников В. А., Куйбышев В. А.* Курганы Чистослебяжье — памятник эпохи бронзы предтаежного Притоболья//Проблемы археологии Евразии. М., 1991.

77. Юровская В. Т. Классификация и относительная хронология археологических памятников эпохи бронзы на Андреевском озере у г. Тюмени//ВАУ. Вып. 12. Свердловск, 1973.
78. Потемкина Т. М. Алакульская культура//СА. 1983. № 2.
79. Корякова Л. Н., Стефанов В. И., Стефанова Н. К. Проблемы методики исследований древних памятников и культурно-хронологическая стратиграфия поселения Ук. III. Свердловск, 1991. (Препринт).
80. Евдокимов В. В., Корочкова О. Н. Поселение Пахомовская пристань I//Источники этнокультурной истории Западной Сибири. Тюмень, 1991.
81. Пархимович С. Г. Индоиранский компонент в мировоззрении обских угров//Сургут, Сибирь, Россия. Международная научно-практическая конференция, посвященная 400-летию города Сургута, Екатеринбург, 1994.
82. Хотинский Н. А. Голоцен Северной Евразии. М., 1977.
83. Потемкина Т. М. Топографическая и гидрографическая приуроченность поселений эпохи бронзы в Среднем Притоболье//Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. Томск, 1979.
84. Демкин В. А., Лукашев А. В. Почвенно-ландшафтные условия Северо-Западного Прикаспия во II тыс. до н. э.— I тыс. н. э.//РА. 1993. № 4.

Институт археологии РАН,
Москва

T. M. POTECHKINA

**PROBLEMS OF THE CULTURES CONTACTS AND CHANGES
IN THE REGION BEYOND THE URALS IN THE BRONZE AGE
(the early and the middle periods)**

S u m m a r y

The author tries to analyse the relations between the population groups lived in the different areas (steppes, forest-steppes and southern taiga) beyond the Urals from the early up to the final Bronze Age (19th — 9th centuries BC). The analysis of the contacts (their directions, dynamics, degree, main causes and consequences) show that the different periods of the Bronze Age saw the different types and directions of the relations. In the early and middle Bronze Age the contacts had a north-eastern direction; the impulses were coming from the south-west (the South Urals steppe and forest-steppe). It was caused by the inner and outer factors. The first ones include the cattle-breeding and metallurgy development which led to the growth of the population and the society stratification. The local tribes needed the new pastures and territories. The outer changes connected with the drying climate intensified these tendencies and determined the directions and nature of the migrations, and the whole historical situation.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СКИФО-ФРАКИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
В IV—III вв. ДО Н. Э.

В течение последних 10—15 лет, благодаря исследованиям одесских и молдавских археологов, значительно увеличилось количество скифских курганных погребений в степях Днестро-Дунайского междуречья. Если в 1970-х годах на этой территории было известно немногим более 20 скифских курганов, и большинство из них располагалось на левобережье Нижнего Поднестровья [1, с. 90, рис. 29], то в настоящее время такие памятники открыты на правобережье Днестра, особенно возросло их число в Нижнем Подунавье. Судя по недавним подсчетам С. И. Андрух, только в этом районе исследовано около 250 скифских погребений [2, с. 23], а всего в Днестро-Дунайском междуречье к 1989 г. зафиксировано 364 интересующих нас захоронения [3, с. 190, 191]. Большинство из них, как и в других регионах степного Северного Причерноморья, датируется в пределах IV — начала III в. до н. э.

Гетские памятники в последнее 20-летие на этой территории специально не изучались, хотя, как пишет И. Т. Никулицэ, «в последнее время открыт ряд гетских поселений в Буджакской степи, относящихся к IV—III вв. до н. э., а возможно, некоторые из них возникли раньше» [4, с. 121]. К сожалению, сведения об этих памятниках в литературе отсутствуют, поэтому по-прежнему мы располагаем в основном теми же немногочисленными материалами о гетских поселениях и могильниках, которые были известны в Днестро-Дунайском междуречье к концу 1970-х годов. Лишь в низовьях Дуная в 1988 г. производились раскопки гетского поселения или городища римского времени, на котором имеются керамика и строительные остатки IV в. до н. э. [5, с. 117—121]. Таким образом в низовьях Дуная к известным ранее трем гетским поселениям IV—III вв. до н. э. присоединилось четвертое.

Отсутствие скифских оседлых поселений и грунтовых могильников на правобережье Нижнего Днестра и далее на запад до Нижнего Дуная, подобных тем, которые имеются на левобережье Днестровского лимана, позволяет говорить о том, что в Буджакской степи обитали лишь кочевые скифы. Процесс оседания кочевников на землю, столь ярко выраженный на левобережье Нижнего Поднестровья, здесь, очевидно, не имел места. На берегах степных озер и небольших пересыхающих летом рек открыто лишь несколько сезонных скифских стойбищ [3, с. 190].

Явное теперь значительное преобладание скифских памятников над гетскими в степной части Днестро-Дунайского междуречья делает необходимым внесение коррективы в высказанное мною ранее положение о скифо-фракийской границе [6, с. 61—80]. Теперь совершенно очевидно, что не только в эпоху, известную Геродоту, в VI—V вв. до н. э., но и в IV—III вв. до н. э. граница скифского царства на западе проходила не по Днестру, как я полагала раньше, а по Нижнему Дунаю и Пруту [2].

Изучение хронологии скифских погребений позволило С. И. Андрух и Е. Ф. Рединой показать, что расселение скифов на западной периферии Скифии происходило синхронно с освоением ими всего степного Северного Причерноморья. К VI в. до н. э. здесь относится только одно погребение, постепенное увеличение скифских курганов наблюдается в V в. до н. э. и резкий скачок — в IV в. до

н. э. При этом на основании новейших разработок датировки амфор и чернолаковой керамики, найденных в ряде курганов, упомянутым исследователям удалось разделить часть памятников IV — начала III в. до н. э. на более дробные хронологические группы и датировать одни из них концом V — первой половиной IV, а другие второй половиной IV — началом III в. до н. э. [2. 3]. К сожалению, все еще многие погребальные комплексы не имеют узкодатированных вещей, что не позволяет выяснить, к какому именно времени относится наибольшее количество скифских курганов данного региона. В связи с этим пока нельзя отрицать, как это делает С. И. Андрух, мое предположение о увеличении количества кочевников в Буджакской степи в связи с деятельностью царя Атея в середине IV в. до н. э. Ясно лишь, что после поражения скифов и гибели Атея в 339 г. до н. э. скифское кочевое население продолжало обитать здесь, составляя основную действующую силу по сравнению с гетами. Изменения наступают после начала III в. до н. э., когда по всей степи происходит резкое уменьшение скифских курганов.

Время появления гетских поселений в Днестро-Дунайском междуречье по-прежнему определить трудно. Во второй половине VI — первой половине V в. до н. э. присутствие фракийского, скорее всего именно гетского населения, фиксируется лишь на греческих поселениях и в г. Никонии на левобережье Днестровского лимана, что, как для Ольвии и ее округа, объясняется процессами, связанными с хозяйственно-экономической деятельностью греческих колонистов [7, с. 58]. Что касается левобережья Нижнего Дуная, а также удобных мест для занятия земледелием в прибрежной части Днестро-Дунайского междуречья и правобережья Нижнего Поднестровья, то пока нет достоверных данных для того, чтобы говорить о появлении фракийского населения здесь ранее IV в. до н. э. Единичные находки гераклийских клейм начала IV в. до н. э. на некоторых гетских поселениях, видимо, позволяют предполагать просачивание каких-то фракийцев в этот регион еще до подхода Атея [2, с. 31]. Однако основной материал с этих и других поселений принадлежит в целом к IV—III вв. до н. э., а среди амфорных клейм преобладают относящиеся к поздним группам IV в. до н. э. Поэтому по-прежнему можно думать, что активизация гетов в указанном регионе происходила после поражения скифов в войне с Филиппом II Македонским.

По всей вероятности, здесь, как и в других местах, где имело место проживание на одной территории кочевников и оседлых земледельцев, скифы и геты были не противоборствующими сторонами, а взаимовыгодными партнерами. Кочевники, занимая господствующее положение, были заинтересованы в получении продуктов земледелия от близких соседей, а потому не препятствовали их проживанию рядом со своими пастбищами и, вероятно, даже способствовали экономическому развитию земледельцев.

Иное соотношение между гетскими и скифскими памятниками наблюдается на правобережье Нижнего Подунавья, за Прутом и в Добрудже, где за последние 20 лет хотя и увеличилось число скифских погребений, они, как и раньше, малочисленны по сравнению с одновременными им гетскими [8, с. 11—41; 9, с. 69—83]. Совершенно очевидно, что здесь геты составляли основное население, тогда как скифы проникали сюда, преимущественно в эпоху Атея, в виде военных отрядов. Вполне возможно, что какая-то часть воинов скифского царя или сопровождавшего его обоза могла закрепиться на чужих землях. Об этом, как будто, свидетельствует компактный могильник с грунтовыми погребениями рядовых скифов у с. Кискани в Запрутье, где исследовано более 30 погребений второй половины IV в. до н. э. Это труположения в простых ямах, сопровождавшиеся набором наконечников стрел, а также типичной скифской керамикой. В одном из погребений кроме наконечников стрел был найден еще и скифский акинак IV в. до н. э. [8].

Относительно восточной границы расселения гетов ничего нового сказать нельзя. К востоку от Нижнего Днестра гетских поселений или погребений

по-прежнему не обнаружено. В связи с этим невозможно согласиться с К. К. Марченко, который считает, что появление во второй половине IV в. до н. э. гето-фракийской керамики на Березани, в Ольвии и ее округе объясняется усилением экспансии на восток гето-фракийцев, последовавшей вслед за поражением Атея в 339 г. до н. э. [10, с. 126]. Ведь на Каменском городище, на поселениях осевших на землю скифов в Нижнем Поднепровье и Побужье и погребениях IV—III вв. до н. э. фракийская керамика отсутствует [11, с. 17—30]. А это значит, что появление ее на античных памятниках, как и в VI—V вв. до н. э., происходило независимо от обстановки в близлежащих к ним районах степи, т. е. не могло быть следствием обитания гетов в окружавшей их варварской среде.

Возвращаясь к Днестро-Дунайскому междуречью, где в IV—III вв. до н. э. определенно проживали не только скифы, но и геты, следует отметить, что современное состояние источников не позволяет говорить о возникновении в результате этого скифо-фракийской культурной общности. Особенно показательны в этом отношении погребальные сооружения, обряд и керамика.

Как известно, фракийский погребальный обряд, гетский в том числе, характеризуется преобладанием трупосожжений на стороне с захоронением праха в урне или на дне неглубокой ямы. Лишь у фракийской аристократии довольно распространенным был обряд трупоположения в каменных гробницах. Сейчас уже совершенно очевидно, что не только скифы, кочевавшие в Буджакской степи, но и осевшие на левобережье Нижнего Поднепровья, хоронили своих сородичей лишь по свойственному им скифскому обряду [12, с. 25—34]. В VI—V вв. до н. э. это трупоположения только в простых могильных ямах, в IV—III вв. до н. э. — трупоположения в ямах и катакомбах первого — третьего типов, наиболее широко распространенных на всей территории степной Скифии [13, с. 95, 96]. Интересно, что в Нижнем Подунавье выделяется три группы могильников рядовых скифов IV—III вв. до н. э.: 1) только с простыми ямами; 2) с разнотипными могильными сооружениями, но с преобладанием катакомбных погребальных сооружений первого типа; 3) с катакомбами второго и третьего типов. В Поднепровье в течение всего скифского периода количественный перевес составляли погребения в простых ямах; лишь менее одной трети от общего числа известных в настоящее время погребений IV—III вв. до н. э. приходится на катакомбы преимущественно первого типа. Кроме того, на левобережье и правобережье Нижнего Поднепровья исследовано несколько курганов с мощными прожогами — остатками кострищ в насыпи [14, с. 109—129; 15, с. 3, 4]. Некоторые молдавские археологи трактуют такие прожоги как гетский погребальный обряд [16, с. 185]. Полагаю, что это неправильно, так как гетские и вообще фракийские трупосожжения совершались за пределами мест погребения, и специальных прожогов над ними не наблюдалось. Вместе с тем в скифских курганах следы огненного ритуала встречены неоднократно, как в степи, так особенно и в лесостепи Северного Причерноморья [13, с. 66, 95; 17, с. 82, 83]. Широко распространенным такой обычай был у многих ираноязычных народов древности. Много раз он зафиксирован, например, у племен савроматской культуры в Южном Приуралье [18, с. 96, 97].

С погребальным обычаем скифов следует сопоставлять и шатровые конструкции погребальных камер из дерева на древней поверхности, сожженные до насыпки курганной насыпи, обнаруженные в богатых курганах у г. Дубоссары [14, с. 109—111], а также шатровые перекрытия могильных ям без следов сожжения в курганах у с. Буторы [19, с. 82; 20, с. 110].

Что касается керамики, то в скифских курганах IV—III вв. до н. э. Днестро-Дунайского междуречья, как и в других районах степной Скифии, расположенных относительно недалеко от греческих городов и поселений, довольно обычны находки эллинистических амфор и чернолаковой посуды для питья. Вместе с ними, а также без сопровождения античной керамики, часто встречаются лепные сосуды, причем они находятся не только в детских, как это свойственно

многим могильникам рядовых скифов Нижнего Приднепровья, но в мужских и женских погребениях. Часто фрагменты лепных сосудов наряду с амфорным боем присутствуют в тризнах на древней поверхности под насыпью, в ровиках или в насыпи курганов. Е. Ф. Рединой учтено 34 лепных горшка, 24 миски и несколько курильниц: «Все они не выходят из типологических рамок лепной посуды степной Скифии» [21, с. 133]. Несколько чаще, чем в других районах, здесь находят только курильницы. Показательно полное отсутствие в погребениях керамики гето-фракийского облика. В небольшом количестве она найдена только на поселениях скифов, осевших на левобережье Днестровского лимана, что было мною отмечено ранее [1, с. 160—163]. Влияние фракийской посуды на скифскую прослеживается лишь по наличию на некоторых типично скифских по форме горшках небольших сосковидных налепов на тулове [22, рис. 2, 8].

Отсутствие фракийской керамики в скифских курганах, расположенных поблизости от оседлых гетских поселений, отличает Днестро-Дунайский регион от других, где известны одновременные памятники оседлого населения и кочевников. Так, например, скифские курганы на Северном Кавказе содержат керамику, сделанную местными гончарами [23, с. 46]. Не свою, а воспринятую у соседних оседлых племен посуду ставили в могилы при погребениях сородичей кочевники причерноморских степей предскифского времени [24, с. 22—40]. Объяснить отмеченную особенность скифов, кочевавших в Буджакской степи, по всей вероятности, можно тесными родственными связями кочевников с осевшими на землю скифами на левобережье Нижнего Поднепровья, которые могли производить посуду для их нужд.

И все же соседство с гетами не могло не отразиться на отдельных чертах материальной культуры скифов данного региона. В первую очередь это коснулось скифов Нижнего Подунавья и в меньшей степени тех, которые жили в Поднепровье. От гетов были восприняты бронзовые фибулы фракийского типа. Они найдены в женских, мужских и даже детских погребениях во всех могильниках Нижнего Подунавья [25, с. 62]. На левобережье Нижнего Поднепровья типичная фракийская фибула найдена лишь в одном скифском погребении в кург. 8 у с. Красное [26, с. 42, рис. 19, 4].

Из украшений, встреченных в скифских погребениях Нижнего Подунавья, к фракийским древностям относятся лировидные серьги или височные кольца и бронзовые колокольчики, входившие в состав ожерелий.

С фракийским воздействием, на мой взгляд, следует связывать довольно широкое распространение в Днестро-Дунайском районе однолезвийных мечей и кинжалов. По сообщению С. И. Андрух, только в одном из 20 погребений с находками этого рода был обнаружен обычный для IV в. до н. э. скифский двулезвийный акинак. Во всех остальных это однолезвийные с прямым или, реже, с кривым клинком мечи длиной 53—60 см [2, с. 26; 27, с. 41, рис. 2, 16, 17]. Большинство из них имеет брусковидное навершие и такое же перекрестье, лишь у некоторых перекрестья отсутствуют [28, с. 112, рис. 44]. Их связь по происхождению с боевыми ножами фракийцев, кроме сказанного мною ранее, подчеркивается сосредоточением таких находок именно там, где фракийское оружие знали лучше, чем в других местах Скифии. Полагаю, однако, что точка зрения В. П. Копылова и С. Ю. Янгулова о местном происхождении однолезвийных мечей и кинжалов, найденных в Елизаветовском могильнике на Нижнем Дону, не противоречит моему выводу. Отличаясь отсутствием наверший, находки из Елизаветовского могильника иллюстрируют другую линию развития оружия данного вида, независимую от фракийских боевых ножей [29, с. 80, 81].

Весьма показательно то обстоятельство, что большинство художественных изделий, найденных в богатых курганах изучаемого региона, по-прежнему не является фракийским по происхождению, а связано с античными центрами Северного Причерноморья. К числу таковых из новых находок принадлежит золотая гривна из кург. 5 Дубоссарского могильника, которую Н. Л. Серова обоснованно относит к изделиям одной из боспорских мастерских начала IV в.

до н. э. [30, с. 71]. Также из мастерских Северного Причерноморья, скорее всего Боспора, происходят набор золотых пластин от головного убора и калачиковидные серьги к нему из кург. 2 у с. Никольское на правом берегу Нижнего Поднестровья [16, с. 185]. К предметам, характерным для скифской материальной культуры, следует отнести и бронзовые навершия из того же кургана, отличающиеся от известных в других местах Скифии изображением нераспустившегося цветка лотоса на вершине конического прорезного бубенца [16].

К кругу фракийских или подражающих им украшений принадлежит лишь серебряный нащечник, найденный вместе с другими вещами, в том числе и с упомянутой выше золотой гривной, в прожогке кург. 5 у г. Дубоссары [14, с. 113, 114, рис. 3, 2]. По комплексу находок курган датируется издателями второй — третьей четвертью IV в. до н. э. В отличие от большинства известных по находкам в курганах скифской аристократии нижнего Приднестровья нащечников этого времени он имеет рубчатую разделку поверхности, что роднит его с фракийскими. Если правильна датировка кургана, то упомянутый нащечник является наиболее ранним из найденных в скифских курганах Нижнего Приднестровья, сделанных с применением орнаментальных мотивов фракийского искусства. Наиболее близок к нему серебряный нащечник из Гаймановой Могилы, но он относится к более позднему времени, к концу IV в. до н. э. [31, рис. 6, 10], как и большинство других с элементами фракийского искусства.

За пределами Днестро-Дунайского междуречья, в степях между Днестром и Нижним Доном, картина, отражающая взаимодействия скифов с фракийцами, по сравнению с описанной в конце 1970-х годов мало изменилась. Как и раньше, ни в духовной, ни в материальной культуре скифов не обнаружено следов глубокого проникновения фракийских элементов. К известным ранее фракийским изделиям из скифских курганов IV—III вв. до н. э. добавилось лишь несколько комплектов серебряных украшений конских уздечек явно фракийского происхождения из курганов скифской аристократии в Нижнем Приднестровье. Так, к давно найденным трем уборам из Огуза прибавилось еще три комплекта фракийских украшений уздечек, обнаруженных Ю. В. Болтриком в северной, боковой могиле Огуза [32, с. 3, 4]. Два комплекта конских украшений фракийского производства найдены в захоронении лошадей в кург. 2 у с. Великая Знаменка [33, с. 60, 61] и один — в кург. 11 Рогачикского курганного поля при одном из двух погребенных там коней [34, с. 270]. К сожалению, все упомянутые находки только бегло описаны, ни фотографий, ни рисунков их в изданиях пока нет. И тем не менее И. Маразов, очевидно, имея в виду не только ранее опубликованные, но и эти последние открытия, считает возможным утверждать, что комплексы фракийских украшений узды в скифских курганах, а в Хоминой Могиле еще и фракийских фиалы и фигурки кабана, являются показателями глубокого проникновения фракийцев в скифские земли, показателем того, что «отчасти и на какое-то время эти земли были заселены фракийцами» [35, с. 37]. В частности, погребение в Хоминой Могиле он считает принадлежавшим фракийскому вождю. С такими выводами болгарского ученого невозможно согласиться. Погребение в Хоминой Могиле, как и в остальных курганах, в которых были найдены конские захоронения с комплексами фракийских уздечных украшений, по погребальным сооружениям и обряду, а также по составу инвентаря не отличаются от остальных курганов скифской аристократии IV в. до н. э. К тому же эти комплексы находились вместе с удилами и псалями скифского типа, существенно отличающимися от фракийских. Все это позволяет рассматривать комплексы украшений уздечек, как и отдельные находки изделий фракийского производства, или как покупки, или как дары фракийских вельмож представителям скифской военной верхушки.

К изделиям фракийского происхождения И. Маразов склонен причислять и украшения уздечки коня, относящегося к центральному погребению Александропольского кургана [6, с. 35—38]. Особенное внимание он уделяет наноснику со скульптурной головкой лошади и орнаментом в виде стилизованных пальметок

на плоских его частях. Именно этот узор автор сопоставляет с узором на плоских частях наносников из Луковитского клада и Национального музея в Праге. На мой взгляд, как общее заключение И. Маразова о фракийском происхождении всего комплекса уздечных украшений из Александропольского кургана, так и упомянутого наносника лишено достаточно серьезных оснований. Дело в том, что изделия из Александропольского кургана, как и те, с которыми их сравнивает болгарский исследователь, не содержат черт, специфических только для фракийского искусства. В них более всего выступают художественные традиции античного творчества, свойственные для так называемых греко-варварских произведений как с территории древней Фракии, так и Северного Причерноморья.

Одним из ранних образцов применения такого рода орнамента на конском наноснике в Северном Причерноморье является находка из с. Лиманы Николаевской обл. Литой бронзовый наносник в виде головки орлиного грифона имеет овальную основу, украшенную семилепестковой розеткой, выше которой помещены волюты. А. С. Островерхов, опубликовавший наносник, относит его к ольвийской школе звериного стиля и датирует V в. до н. э. [37, с. 73, 74, рис. 2, 7; 3]. Более широко украшения, в которых сочетаются скифский звериный стиль и античные орнаментальные мотивы, были распространены в IV в. до н. э. [38, с. 31, 32]. Встречаются и отдельные украшения конских уздечек, сохранившие характерную для скифских изделий форму и сюжет, но исполненные античными мастерами в духе античного искусства. Таковыми являются, например, наносники из Чмыревой могилы с реалистическим изображением львиной головы на выступающей части и львиной морды в фас с лапами на плоском основании [31, с. 112, рис. 3, 5] и случайная находка на Лысой горе под Анапой [39, с. 305—307, рис. 1].

Гораздо чаще, чем фракийские комплексы украшений конских уздечек, в курганах скифской аристократии IV в. до н. э. встречаются наносники, нащечники и бляхи, выполненные из золота, серебра и бронзы в традициях скифского звериного стиля, но с применением декора, характерного для фракийского искусства [31, с. 116—125]. Уточнение хронологии этих курганов, предпринятое в последнее десятилетие А. Ю. Алексеевым [40, с. 28—38; 41, с. 156, 157], позволяет конкретизировать время появления фракийского влияния в орнаментации названных предметов конского убора, отмеченное мною ранее. Теперь очевидно, что это влияние отсутствует на изделиях из погребений, которые по А. Ю. Алексееву относятся к наиболее ранней группе памятников такого рода (группа А), к концу V — первой половине IV в. до н. э. Впервые оно заметно на украшениях уздечек из погребений из погребального кортежа кург. Толстая Могила [42, рис. 27, 28, 99, 100], который убедительно датирован А. Ю. Алексеевым периодом около 340—320 гг. до н. э. [40, с. 32]. Большинство же изделий, орнаментированных на манер фракийских, происходит из курганов групп В и Г, отнесенных А. Ю. Алексеевым к последним десятилетиям IV в. до н. э. К этому же времени принадлежат и упомянутые выше импортные из Фракии украшения уздечек.

Проследившая влияние фракийского искусства на орнаментацию наносников и нащечников из скифских курганов, я по-прежнему считаю ошибочной тенденцию И. Венедикова и Т. Герасимова, которой следует И. Маразов, о фракийском приоритете в решении вопроса о происхождении форм украшений оголовья коня [43, с. 28—34, 41, 42]. В качестве прообраза фракийских и скифских наносников болгарские ученые считают бляху из Софрониево конца VII или начала VI в. до н. э. [43, рис. 15, 16], которая по форме не имеет ничего общего с наносниками IV в. до н. э. В Северном Причерноморье же наносники со скульптурной головкой животного и щитком под ней, весьма близкие по общему виду к распространенным в IV в. до н. э., появились в конце VI — начале V в. до н. э. [17, с. 121]. С этого времени происходил непрерывный процесс их эволюции, выразившийся в смене образов и стилистических особенностей в связи с общими изменениями в искусстве звериного стиля и обособлением мастерских, изготовлявших украшения

для нужд скифской аристократии. Во Фракии сходные по форме со скифскими наносники появляются не ранее середины — второй половины V в. до н. э., что и позволяет говорить о заимствовании их из Скифии [31, с. 111—116] и самостоятельном развитии в дальнейшем.

Хорошо прослеживается параллельное формирование и развитие конских нащечников из скифских фракийских курганов, начиная с середины V в. до н. э., но и здесь происхождение исходной формы предметов в виде бедра и пары задних ног хищника или копытного животного связано со скифским миром Северного Причерноморья [31, с. 115, 116].

Сейчас невозможно определить, кем и в каких мастерских Северного Причерноморья производились украшения конского оголовья, в которых наблюдается сочетание скифского звериного стиля с декором, характерным для фракийского искусства. Однако разная степень мастерства, отличающая изделия с одинаковыми сюжетами и одинаковыми орнаментальными приемами, позволяет думать, что изготовителями их могли быть как античные, так и местные, а возможно, и фракийские мастера, работавшие на скифов. До недавних пор вклад фракийского искусства в скифский звериный стиль прослеживался преимущественно на конских украшениях из курганов степной Скифии. Сравнительно недавно Л. А. Булава опубликовала браслет с головками оленей на концах из ст-цы Старокорсунской Краснодарского края, на которых представлен орнамент, типичный для фракийской школы художественной обработки металла — рельефный рубчатый кант, обрамляющий наиболее значимые иконографические детали изображаемого персонажа [44, с. 243—248]. Датировка его второй половиной IV в. до н. э., предложенная Л. А. Булавой, в целом не вызывает возражений. Однако в свете всего сказанного наиболее вероятной датой браслета является последняя треть — конец IV в. до н. э.

Итак, известные на сегодня археологические материалы не подтверждают высказанное ранее положение о том, что только с деятельностью царя Атея на западных рубежах скифского мира и в Добрудже связано углубление культурных взаимодействий скифов с фракийцами и проникновение фракийских элементов в скифское искусство. Сейчас уже достаточно очевидно, что эти события не оставили заметного следа в жизни скифского общества, в его духовной и материальной культуре, даже на западных окраинах скифского царства. Сильно преувеличенным оказывается значение последствий скифо-македонского конфликта как знаменующих собой начало упадка Скифии, облегчившего завоевание северопричерноморских степей сарматами. Ведь как раз к послетеевскому времени относится большинство наиболее богатых курганов скифской аристократии, что скорее говорит об экономическом подъеме, чем об упадке Скифии. Препятствием продолжала оставаться западная граница царства, несмотря на присутствие в Днестро-Дунайском междуречье земледельческого гето-фракийского населения.

Наблюдающееся по находкам в скифских курганах оживление контактов с гето-фракийским миром в последней трети — конце IV в. до н. э., по всей вероятности, отражает ситуацию, сложившуюся в отношениях между скифами и фракийцами в 330—313 гг. до н. э., когда скифы были союзниками фракийцев в их борьбе с македонским владычеством на севере Балканского полуострова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. М.: Наука, 1979.
2. Андрух С. И. До питання про перебудовання скіфів у Північно-Західном Причорноморі// Археологія. 1991. № 1.
3. Редина Е. Ф. Хронология скифских памятников Северо-Западного Причерноморья//Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Київ: Наук. думка, 1989.
4. Никулицэ И. Т. Северные фракийцы в VI—I вв. до н. э. Кишинев: Штиинца, 1987.
5. Бруяко И. В., Гизер С. Н. Фракийская керамика из раскопок городища Новосельское I на Нижнем Дунае//Охранные историко-археологические исследования на ЮЗ Украины. Одесса; Запорожье, 1990.
6. Мелюкова А. И. К вопросу о границе между скифами и гетами//Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М.: Наука, 1969.

7. *Охотников С. Б.* Нижнее Поднестровье в VI—V вв. до н. э. Киев: Наук. думка, 1990.
8. *Sîrbu V. Cîmpia Vrăilei in sec. V—III î. e. n. Descoperiri arheologice și interpretari istorice//SCIVA. 1983. T. 34, 1.*
9. *Irimia M.* Date noi privind necropole din Debrogea//Pontica. 1983. T. XVI.
10. *Марченко К. К.* Варвары в составе населения Березани и Ольвии. Л.: Наука, 1988.
11. *Гаврилюк Н. А.* Керамика степових скифських поховань IV—III ст. до н. э.//Археологія, 1980. № 34.
12. *Редина Е. Ф.* Погребальный обряд скифов Днестро-Дунайских степей//Археологические памятники степного Поднестровья и Подунавья. Киев: Наук. думка, 1989.
13. *Ольховский В. С.* Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII—III вв. до н. э.). М.: Наука, 1991.
14. *Кетрару Н. А., Серова Н. Л.* Скифские курганы в Дубоссарском районе//Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. Кишинев: Штиинца, 1987.
15. *Борзияк И. А., Манзура И. В., Левицкий О. В.* Коржевские курганы//АИМ в 1979—1980 гг. Кишинев: Штиинца, 1983.
16. *Агульников С. М., Антипенко Е. О.* Скифские курганы в Нижнем Поднестровье//Тез. докл. областной конференции «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья». Запорожье, 1989.
17. *Ильинская В. А.* Скифы днепровского лесостепного левобережья. Киев: Наук. думка, 1968.
18. *Смирнов К. Ф.* Савроматы. М.: Наука, 1964.
19. *Мелюкова А. И.* Раскопки курганов у с. Буторы Григориопольского района//АИМ в 1972. Кишинев: Штиинца, 1974.
20. *Кетрару Н. А., Серова Н. Л.* Новые раскопки курганов у с. Буторы//АИМ в 1971—1978. Кишинев: Штиинца, 1982.
21. *Редина Е. Ф.* Лепные курительницы из скифских погребений Северо-Западного Причерноморья//Тез. докл. областной конференции «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья». Запорожье, 1989.
22. *Субботин Л. В., Охотников С. Б.* Скифские погребения Нижнего Поднестровья//Древности Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1981.
23. *Петренко В. Г.* Скифская культура на Северном Кавказе//АСГЭ. 1983. Вып. 23.
24. *Гаврилюк Н. А.* Лощеная керамика степных погребений предскифского времени//Памятники древних культур Северного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1979.
25. *Редина Е. Ф.* Скифы Днестро-Дунайских степей//Киммерийцы и скифы. Тез. докл. Всесоюз. семинара, посвященного памяти А. И. Тереножкина. Ч. II. Кировоград, 1987.
26. *Серова Н. Л., Яровой Е. В.* Григориопольские курганы. Кишинев: Штиинца, 1987.
27. *Редина Е. Ф.* Скифский могильник Чауш в низовьях Дуная//Памятники древней истории Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1985.
28. *Суничук Е. Ф., Фокеев М. М.* Скифский могильник Плавни I//Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1984.
29. *Копылов В. П., Янгулов С. Ю.* О времени появления скифских однолезвийных мечей//Киммерийцы и скифы. Тез. докл. Всесоюз. семинара, посвященного памяти А. И. Тереножкина. Ч. I. Кировоград, 1987.
30. *Кетрару Н. А., Серова Н. Л.* Золотая гривна из кургана у г. Дубоссары//Памятники древнейшего искусства на территории Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1989.
31. К вопросу о взаимосвязях скифского и фракийского искусства//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.: Наука, 1976.
32. *Болтрик Ю. В.* Огуз — крупнейший курган степной Скифии//Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. Тез. докл. республиканской конф. молодых ученых. Киев: Наук. думка, 1981.
33. *Ковалев Н. В.* Новая находка узды фракийского типа//Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. Тез. докл. республиканской конф. молодых ученых. Киев: Наук. думка, 1981.
34. *Болтрик Ю. В., Отрощенко В. В., Савовский И. П.* Исследование Рогачикского курганного поля//АО—1976 г. М.: Наука, 1974.
35. *Маразов И.* Трако-скитската културна общност//Раевский Д. С. Митология на скитите. София: Български художник, 1988.
36. *Маразов И.* Начелникът от Прага//Искусство. 1975. № 3—4.
37. *Островерхов А. С.* Образ птицы в искусстве ольвийской школы «звериного» стиля//Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1984.
38. *Артимонов М. И.* Скифо-сибирское искусство звериного стиля//ПСА. 1971.
39. *Покровский М. В.* Грифон Лысой горы//СА. 1937. Т. IV.
40. *Алексеев А. Ю.* Заметки по хронологии скифских степных древностей IV в. до н. э.//СА. 1987. № 3.
41. *Алексеев А. Ю.* Скифская хроника. СПб., 1992.
42. *Мозолевский В. М.* Товста могила. Киев: Наук. думка, 1979.
43. *Венидииков И., Герасимов Т.* Тракийското изкуство. София: Български художник, 1973.
44. *Булава Л. А.* Биметаллический браслет из Прикубанья//СА. 1988. № 2.

**THE NEW DATA ABOUT THE SCYTHIANS AND THRACIANS
RELATIONS IN THE 4th - 3rd CENTURIES B. C.**

S u m m a r y

The article deals with the new data and the conclusions made by the Ukrainian and Moldavian archaeologists which change our information about the Scythian-Thracian boundary in the 4th century BC. As in Herodotus time the boundary was the Low Danube and Prut rivers. The situation changed only after the beginning of the 3rd century BC. The latest investigations of the Scythian aristocracy burials carried by Alekseev A. J. testify to the fact that the closest contacts between the Scythians and the Getts can be dated not to the Ateï epoch as it was considered before but to the second half — the end of the 4th century BC.

К ВОПРОСУ О ФРАКИЙСКО-САРМАТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В I — НАЧАЛЕ II ВЕКА Н. Э.

Вопрос об отношениях между фракийцами и сарматами относится к числу малоисследованных проблем в истории раннего железного века Причерноморья. Причиной тому являются очень скудные литературные и археологические сведения, которыми мы располагаем; их можно найти в произведениях некоторых древних авторов: Диона Кассия, Страбона, Овидия, Тацита, Иосифа Флавия и Светония.

По разным поводам, в той или иной степени, современная историография комментировала сведения этих авторов, согласно которым в I в. до н. э. сарматы являются уже весомым фактором в политической истории античного мира [1, с. 81]. В результате передвижения на запад они вступают в активные контакты (мирные и военные) с греческими городами Северного Причерноморья, с государствами Закавказья, с Парфией и Ираном. В конце I в. до н. э., когда они уходят в глубь придунайских областей, в том числе к югу от Дуная, осуществляются их первые контакты с Римской империей. Есть основания считать, что около 16—15 гг. до н. э. фракийский царь Реметалк I помогал римскому военачальнику Гаю Луцию, который «победил савроматов и прогнал их за Дунай» (Dio Cass. LIV, 20, 1—3; [2, с. 85]). Вскоре после этого, по всей вероятности зимой 14/13 гг. до н. э., правителю Паннонии Гнею Корнелию Лентулу пришлось отбивать мощный удар даков, сарматов, бастарнов и гетов на границе Империи между Тиссой и устьем Дуная. В войне участвовали гарнизоны сформированного в 15 г. до н. э. военного управления западной части Мезии [3, с. 6].

Присутствие сарматов в нынешней Северо-Восточной Болгарии и Северной Добрудже в начале I в. н. э. засвидетельствовано Овидием, который в 8—18 гг. находился в ссылке в Томи: «Савроматы меня окружают со всех сторон, дикое племя...», и далее: «Часто по дорогам встречаются сарматы и геты...» (Ovid. Trist. III, 10; V, 7). В этой связи исключительный интерес представляет сообщение Страбона, который отмечает, что «и сегодня эти племена (в том числе и сарматы.— Х. Б.)... перемешались с фракийцами с той стороны Истра, но частично и за этой рекой», а также, что сарматы прочно закрепились на островах реки или южнее ее во Фракии (Strabo, VII, 3, 2, 13). Массированный натиск даков и особенно сарматов на провинцию Мезия в начале I в. н. э. подтверждается и Дионом Кассием (Dio Cass. LV, 30, 1—7).

Опустошительным нашествием даков и сарматов Мезия подвергалась во времена правления Тиберия (14—37 гг.) и особенно в период его отъезда на о-в Капри в 27 г. (Suet., Tib., 41). В 62—64 гг. императорский наместник Мезии Тиберий Плавтий Сильван переселил в провинцию около 100 тыс. задунайских варваров. Некоторые современные авторы считают, что часть этих переселенцев имела сарматское происхождение [2, с. 154 сл.; 4, с. 58 сл.], другие — что это переселение было вызвано сарматским нападением на задунайские племена [3, с. 8]. Для нас важнее отметить несомненное сарматское присутствие и активность сарматских племен в пограничной контактной зоне на Нижнем Дунае.

Зимой 69—70 гг. последовало новое опустошительное нашествие даков и сарматов на территорию современной Северо-Восточной Болгарии (Joseph. De

bell Jud, 7, 94). Особый интерес вызывает упомянутая Тацитом тяжеловооруженная конница (катафракта) роксоланов, которая уничтожила в 68 г. две когорты III Галльского легиона. Зимой 69/70 гг. она участвовала в упомянутых военных действиях в Мезии (Tac. Hist., I, 79).

Во время первой дакийской войны Траяна (101—102 гг.) известна одна диверсионная акция Децебала в Мезии, в которой приняли участие даки и роксоланы [3, с. 8]. Подробности осуществления этой акции нам не известны, поскольку она засвидетельствована только изображениями на колонне Траяна в Риме.

Перечисленные литературные источники по интересующей нас теме хотя и очень лаконичны, все же дают возможность оценить общий характер политических, демографических и, прежде всего, военных контактов между фракийцами и сарматами в конце I и начале II в. н. э. на Нижнем Дунае и в Северо-Восточной Болгарии. Археологические памятники фракийцев этого периода довольно скудны и недостаточно исследованы, хотя, как представляется, они могут значительно дополнить письменные источники.

Прежде всего речь идет о полном боевом комплекте наступательного и защитного вооружения всадника из богатой могилы № 2 фракийского курганного могильника в Чаталке [5, 6]. Могильник, насчитывающий 20 курганов, связан с расположенной там же *villa rustica*, существовавшей с I по IV в. н. э. [7].

Погребение открыто в кургане «Рошава Драгана» (высота 21, диаметр 90 м), являющемся самым большим не только в могильнике Чаталки, но и одним из самых больших в Болгарии. Кроме этого погребения, впущенного в насыпь на глубину 10 м, в кургане были открыты еще два: одно более раннего периода, основное, и другое более позднего периода, расположенное на вершине курганной насыпи [6, с. 11—14, 17]. Самое раннее погребение датируется серединой I в. н. э., самое позднее — первой половиной II в. Все захоронения совершены по обряду трупосожжения. Есть основания предполагать, что курган «Рошава Драгана» является своеобразным семейным мавзолеем членов фракийской аристократической фамилии, которой принадлежала вилла.

Останки погребенного в могиле № 2 находились в оловянной урне, установленной в каменный саркофаг. На крышке саркофага лежал золотой венок (рис. 1, 1). Остальной инвентарь, состоявший из глиняных сосудов, бронзовых предметов, туалетных принадлежностей и предметов вооружения, был размещен на могильной площадке размером 3×6 м вокруг саркофага. Предметы вооружения в значительной части сарматского происхождения и представляют собой полный боевой комплект тяжеловооруженного всадника.

Наступательное оружие комплекта состоит из частей 2 железных мечей, 6 железных наконечников копий, 55 железных трехгранных наконечников стрел и остатков колчана. Особый интерес представляет один из мечей, принадлежащий по классификации А. М. Хазанова к типу I группы сарматских мечей без металлического навершия рукояти [1, с. 17]. Насколько позволяет судить реконструкция меча [5, с. 19, рис. 1], он аналогичен мечу из кург. 2 Курпе-Байского могильника в Западном Казахстане и мечу из Кореи, обнаруженному в гробнице ханьского времени [1, с. 17, табл. X, 6, с. 26, табл. XV, 1, 2]. Хорошо сохранилось массивное серебряное перекрестие, представляющее собой удлиненную, изогнутую под тупым углом пластину. Обе стороны перекрестия инкрустированы: золотыми пластинами на одной из них представлены геральдически расположенные пантеры (рис. 2, 2), а на другой — выполненная зеленой эмалью ветка плюща (рис. 2, 3).

Навершие рукояти представляет собой круглую дисковидную шайбу из морской раковины (?), в центре украшенную конусовидной аппликацией, а по краям — золотой обкладкой, поле которой заполнено изображениями тамг (рис. 1, 2). Тамги расположены по две в трех равнозначных полосах орнамента, разделенных сердцевидными фигурами. Центральные части тамг и сердцевидные фигуры были заполнены светлой пастой, сохранившейся в некоторых из них. Знаки не повторяются, это шесть разных по форме, а следовательно, и по содержанию

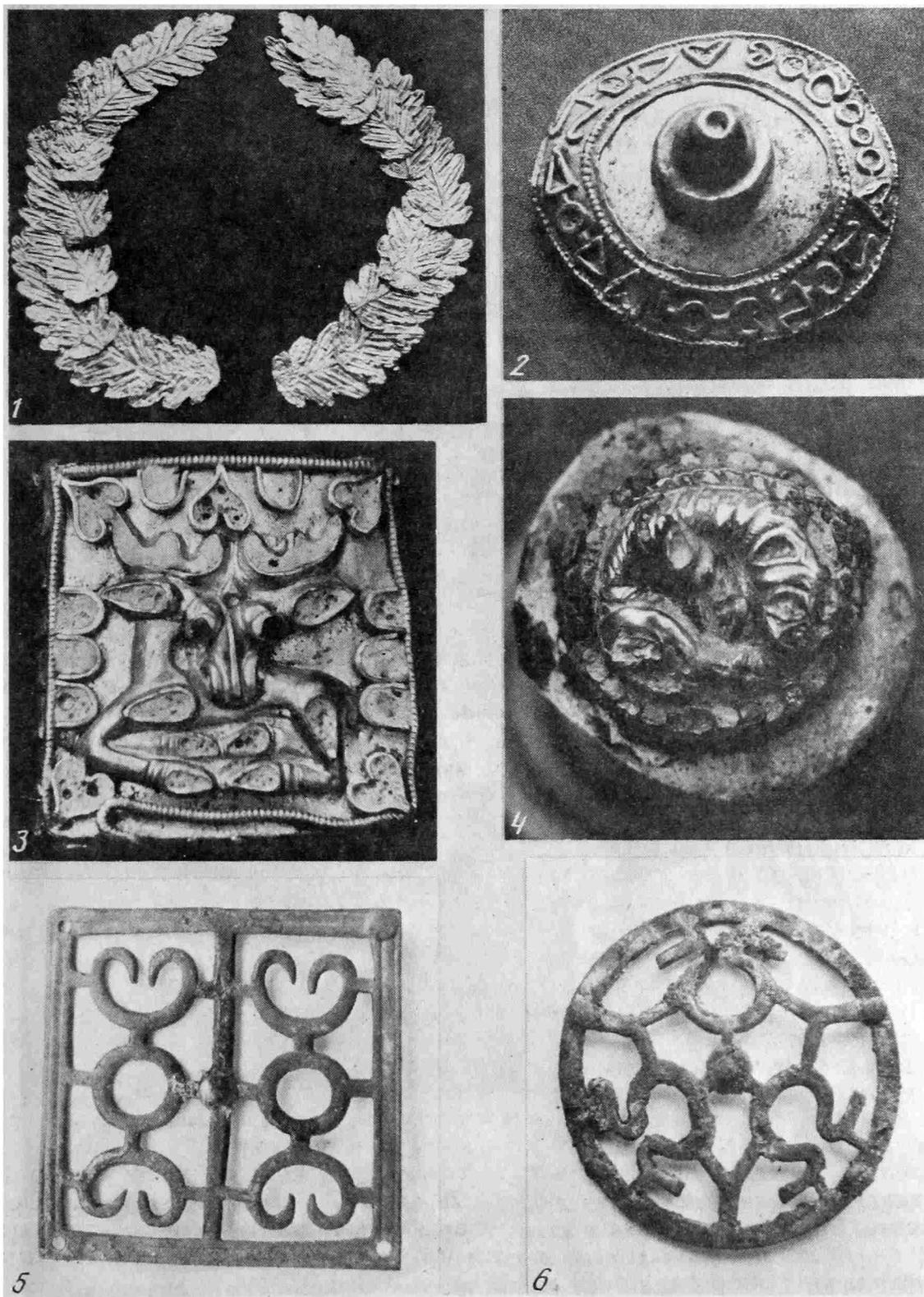


Рис. 1. Вещи из погр. 2 кург. «Рошава Драгана»: 1 — золотой венок; 2 — золотое навершие рукояти меча с изображением тамг; 3 — золотой наконечник ножен меча; 4 — золотое навершие рукояти меча с изображением свернувшегося животного; 5, 6 — бронзовые пряжки с тамгами



Рис. 2. 1—3 — нефритовая портупейная скоба и серебряное перекрестие меча из погр. 2 кург. «Рошава Драгана»; 4 — железный меч из кургана с колесницами у г. Стара Загора

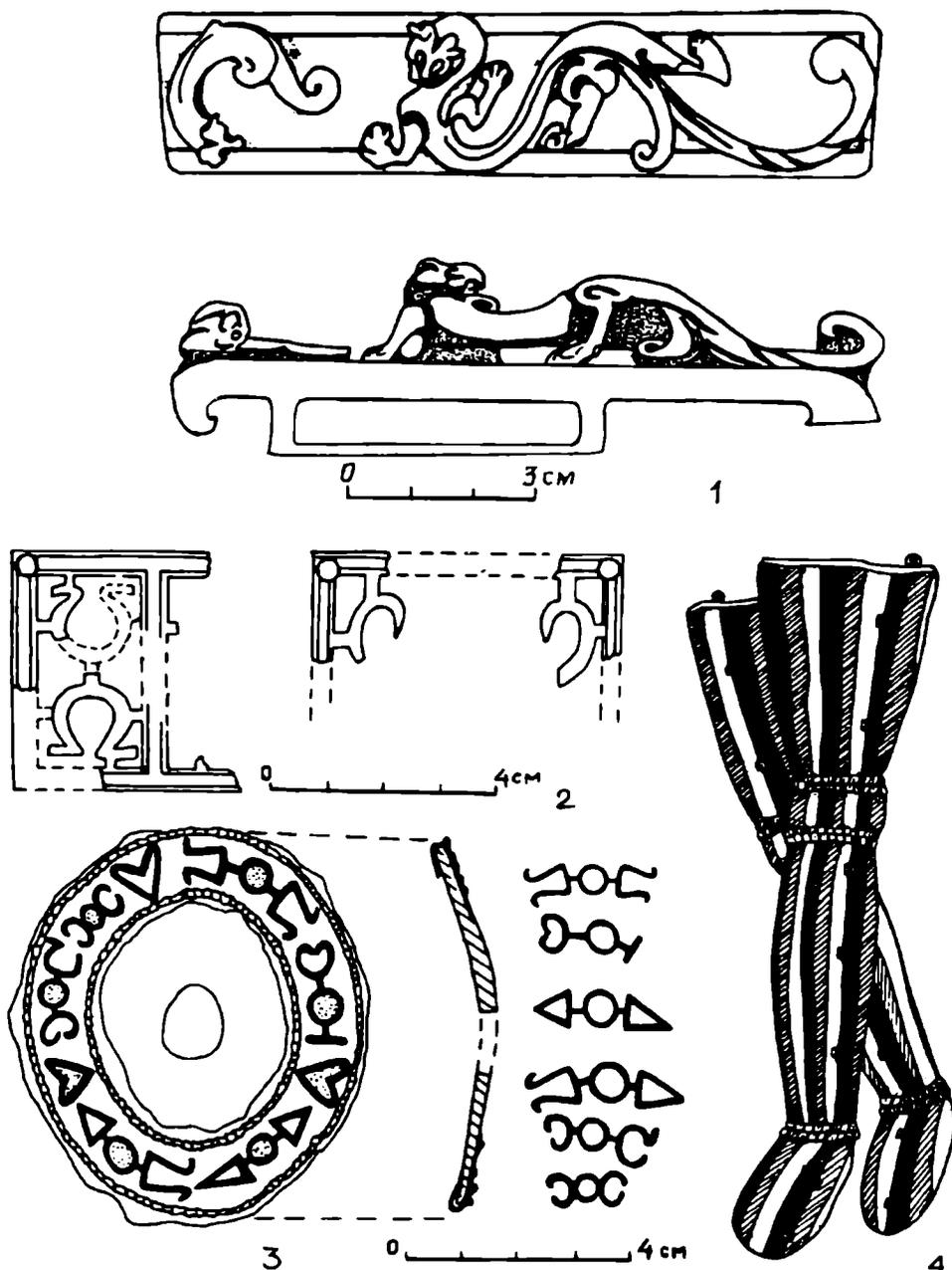


Рис. 3. Вещи из погр. 2 кург. «Рошава Драгана»: 1 — нефритовая портупейная скоба, прорисовка; 2 — фрагменты бронзовых пряжек с тамгами; 3 — золотое навершие рукояти меча, прорисовка; 4 — железные панцирные штаны (реконструкция)

символов (рис. 3, 3). В композиционном отношении каждый из них состоит из трех основных элементов: круга, общего для всех знаков, а также треугольников, волют и горизонтальной пяты, находящихся в разных комбинациях.

Представленные на навершии тамги не имеют точных аналогий среди известных в Северном Причерноморье (ср. [8, 9]). Отдельные элементы — круг, треугольник, двузубец и др. — встречаются в различных сарматских знаках на территории Боспорского царства [8, с. 64 сл.]. Два знака в третьей полосе имеют для нас особое значение, поскольку аналогичные тамги, в которых объединяющий круг ограничен с обеих сторон волютами, изображены на редко встречающихся серебряных монетах Инисмея — царя Ольвии в конце I — начале II в. н. э. [8, с. 58, табл. XI, 864; 9, № 155; 10, с. 137 сл., табл. XXIII, 27, 28]. На монетах знак расположен за головой Инисмея и, скорее всего, является родовым знаком

царя. М. Б. Щукин одну из тамг нашего навершия, не уточняя которую, считает принадлежащей Фарзою, правившему Ольвией до Инисмея [11, с. 80]. Аналогичная тамга изображена на нескольких предметах из сарматского погребения у с. Пороги [12, фото 37].

От почти полностью разрушенных ножен меча сохранилась нефритовая портупейная скоба длиной 11 и шириной 2,5 см. На тщательно отполированной лицевой поверхности в высоком рельефе изображены два животных — дракон и второе, фигура которого настолько стилизована, что вид его не определяется (рис. 2, 1; 3, 1). Это первая и пока единственная находка портупейной скобы во Фракии. Скобы такого же устройства и назначения, а в некоторых случаях и с аналогичным рельефным декором, найдены в широком ареале от Кореи до Англии [1, с. 25 сл., табл. XV; 13, с. 3 сл.; 14, с. 61 сл.]. Отдельные элементы подобных скоб изображены у варварских мечей на рельефах колонны Траяна и на керченских надгробных стелах [1, с. 26]. Скобы изготовлены из нефрита, халцедона (китайские) и золота. Как считает А. М. Хазанов, небольшое количество дошедших до нас скоб свидетельствует о том, что основным материалом, из которого их изготавливали, было дерево. Время использования скоб — I—II вв. н. э., но считается, что такой способ прикрепления меча возник значительно раньше [1, с. 27].

Особенно близка нашей скобе по форме, устройству и размерам нефритовая скоба из г. Покровска [15, рис. 2, 2], а по оформлению — нефритовая скоба из Китая, на которой изображены две аналогичные фигуры [1, табл. XV, 3; 16, с. 337].

К наружной стороне ножен, или к кожаному поясу, на котором висел меч, были пришиты ажурные бронзовые аппликации квадратной или прямоугольной формы, а также круглые. Из них хорошо сохранились только две (рис. 1, 5, 6). В обеих орнамент составляют сарматские тамгообразные знаки, как и на других аппликациях, сохранившихся фрагментарно (рис. 3, 2). На квадратной аппликации представлены два одинаковых симметрично расположенных знака, которые идентичны с родовым знаком Инисмея на золотом навершии рукояти меча. В довольно сложном орнаменте круглой аппликации четко видны три основных знака, расположенных радиально в круглом пространстве. Знаки в форме буквы «омега», которая в верхней своей части переходит в маленький кружок, общий для трех знаков и являющийся центром всей композиции. Возможно, что клиновидные знаки между «омегами» имели не только конструктивный характер, а также являются тамгами.

Снизу ножны завершает золотой наконечник. Широкие поля его заполнены рельефным изображением лежащего оленя, терзаемого грифоном (рис. 1, 3). Отдельные элементы фигур (копыта, уши, рога, бедра) инкрустированы белой и синей пастой. Изображение ограничено рельефным листовидным и овоидным орнаментом, выполненным инкрустацией синей и белой пастой. Сюжет изображения, впервые правильно прочитанный Б. А. Раевым [17, с. 209], как и своеобразная стилизация фигур животных, условность и орнаментальность изображения, характерны и широко распространены среди золотых украшений в степных районах Нижнего Поволжья и Северного Причерноморья в I в. до н. э.— II в. н. э. [18, с. 46 сл.; 19, с. 228 сл.; 20, с. 46, 50].

От второго меча сохранились лишь незначительные части, которые не дают оснований для реконструкции. Ножны были выкрашены в красный цвет, о чем свидетельствуют хорошо сохранившиеся отпечатки краски на грунте. Сохранилось навершие рукояти круглой формы, но меньшего размера, чем у первого меча. Оно представляет собой золотую пластину с рельефным орнаментом, внутри заполненную гипсом. На навершии изображена свернувшаяся в кольцо пантера (рис. 1, 4). Поза животного продиктована формой предмета. На обратной стороне имеется шип для прикрепления к рукояти меча. Самыми близкими нашему являются изображения «пантер» на золотых флаконах из кург. Хохлач в г. Новочеркасске и на фаларах из кург. 28 у с. Жутово в Волгоградской области [18, рис. 1, 1, 3].

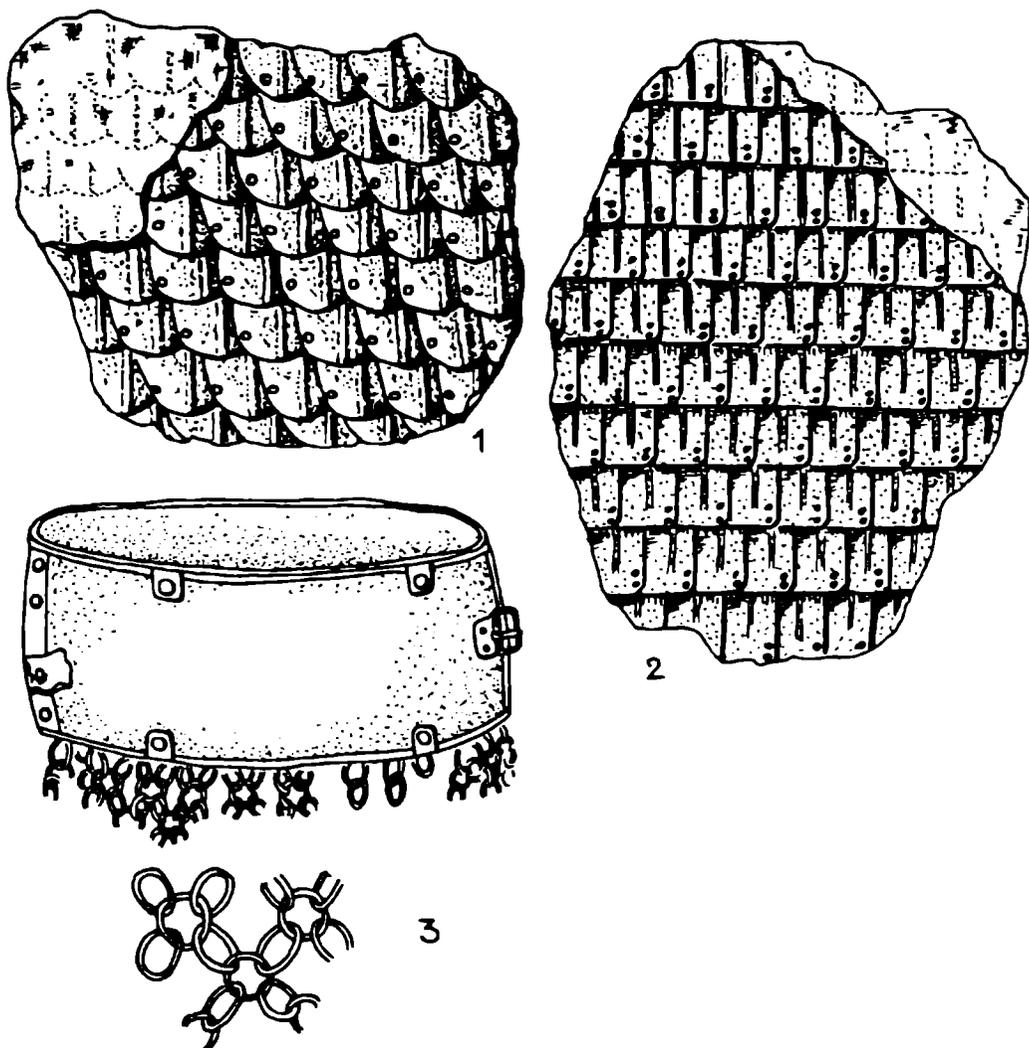


Рис. 4. Вещи из погр. 2 кург. «Рошава Драгана»: 1, 2 — фрагменты железных чешуйчатых панцирей; 3 — железный воротник кольчатой кольчуги

Все наконечники копий сильно разрушены коррозией, хотя форма их достаточно точно может быть восстановлена по фрагментам. Наконечники имели листовидную форму, длина их около 40 см, втулка конусовидная.

Стрелы лежали в колчане, о чем свидетельствует сохранившаяся на них красная краска. Их железные наконечники трехгранные, черешковые, длина около 3 см. У некоторых сохранились части древков и жил, которыми наконечники прикреплялись. Также были найдены костяные наконечники с раздвоенными концами для натягивания тетивы лука. Идентичные найденным в «Рошава Драгана» наконечники стрел известны в ряде погребений среднесарматского периода [1, с. 37 сл., табл. XIX, XXIII, 6].

Защитное вооружение в погребении состоит из хорошо сохранившегося шлема-маски [6, с. 41; 21, Каталог, № 026], кольчатой железной кольчуги, железных штанов, бронзовых умбонов от двух щитов и частей панцирной кольчуги.

Очень интересен железный обруч диаметром 16,2 и высотой 7 см, предназначенный для защиты шеи катафрактария (рис. 4, 3). Он служил опорой тяжелого шлема-маски, а к его нижнему краю крепилась кольчуга. Обруч состоит из двух частей, соединенных с одной стороны шарниром, а с другой — ремнями. Внешняя его сторона окрашена в красный цвет. Во Фракии кольчатая кольчуга I в. н. э. известна из одного погребения около г. Стара Загора [22]. Предполагается, что главным центром производства подобных кольчуг был Пантикапей [1, с. 42].

Единственная известная мне металлическая чешуйчатая кольчуга с обручем для шеи изображена на росписях в гробнице Кенамона, относящейся ко времени Аменхотепа II (XV в. до н. э.) [23, с. 163].

Уникальной находкой защитного снаряжения являются железные панцирные штаны (рис. 3, 4), сделанные из вертикально расположенных металлических пластинок, скрепленных бронзовыми заклепками. В области колен пластинки овальной формы соединены бронзовыми шарнирами. Пластины через одну были выкрашены красной краской, внутри панцирь имел подкладку из кожи или плотной ткани. Он сильно разрушен коррозией, приблизительно его длина около 1 м. Такой тип панцирного доспеха обнаружен во Фракии впервые. В археологических раскопках он, насколько известно, не встречается, за исключением нижней части подобных панцирных штанов, хранящейся в Эрмитаже [24, рис. 1236]. В подобных доспехах, защищающих и ступни ног, представлены сарматские всадники на колонне Траяна [25, табл. XXIII, XXVIII]. Изображения, однако, достаточно условны и не позволяют сопоставить отдельные их детали с нашим экземпляром.

Еще хуже сохранился чешуйчатый панцирь (рис. 4, 1). Трудно определить, является ли он частью защитного снаряжения всадника или коня. В первом случае он мог быть использован в комбинации с кольчугой или со шлемом, примеры чему можно найти в сарматских материалах [1, с. 60 сл., табл. XXXIV, 3—5]. Часть подобного чешуйчатого доспеха была обнаружена в курганном погребении около с. Брястовец Бургасской области. Автор публикации считает, что панцирь был прикреплен к задней части шлема и защищал тыльную часть головы и шеи [26, с. 16 сл., рис. 9].

Значительные части панцирного доспеха найдены в богатом курганном погребении около Визе в Турции [27, с. 175, рис. 203 а], которое по составу инвентаря относится ко второй половине I в. н. э. В чешуйчатых панцирях изображены сарматские воины на колонне Траяна и колонне императора Галерия [28, табл. IV, 1]. Подобные чешуйчатые панцири или их фрагменты часто встречаются на изображениях и в погребениях первых веков нашей эры на территории Боспорского царства и в прилегающих районах Причерноморья [1, с. 59].

От пластинчатого доспеха, составленного из пластинок, расположенных горизонтальными рядами, сохранились только отдельные фрагменты. Не исключено, что сохранившиеся пластины являются частью боевого снаряжения коня (рис. 4, 2). На наш взгляд, пластинчатый доспех является продолжением традиции древнефракийского вооружения, образцы которого обнаружены в трех курганных погребениях около сел Браничево, Янково и Кьолмен в Варненской области [29, с. 447 сл., рис. 3 а, б; 30, с. 75, рис. 19, 31, с. 218 сл., рис. 3]. К снаряжению всадника можно отнести и две железные шпоры, сильно разрушенные коррозией.

Как отмечалось, погребение находится в самом большом кургане могильника и совершено по фракийскому обряду, характерному для I—II вв. н. э. Погребенный, скорее всего, являлся одним из членов фракийской фамилии, которой принадлежало расположенное рядом имение [32, с. 48 сл.]. Наличие в могиле полного боевого снаряжения ставит вне всякого сомнения факт, что погребенный — это военное лицо из тяжеловооруженных воинов-катафрактариев. Богатство находок и особенно боевого снаряжения позволяет причислить их владельца к командному составу какого-нибудь легиона или, скорее, вспомогательных войск римской армии [6, с. 43].

Интересно, однако, что большая часть, если не все предметы вооружения имеют сарматский характер. Особенно важно наличие на оружии сарматских тамг, четыре из которых воспроизводят родовой знак Инисмея — царя Ольвии. Закономерен вопрос, каким образом сарматское вооружение оказалось во фракийской могиле? На мой взгляд, возможны три варианта: дипломатический дар, результат торговых контактов или часть трофейного вооружения. Если исходить из того, что погребенный состоял на службе в римской армии, наиболее вероятно

последнее предположение. Можно допустить, что похороненный воин приобрел эти трофеи, принимая участие в военных походах римских легионов против сарматов в конце I в. или во время дакийских войн Траяна в начале II в. н. э., в которых в качестве союзников Децебала выступали сарматские племена [3, с. 8].

Кроме находки из Чаталки, которая является пока самым убедительным археологическим подтверждением контактов фракийцев и сарматов, можно привести еще несколько отдельных находок из фракийских погребений. Первая обнаружена около с. Кирилово Старозагорской области. Здесь среди погребального инвентаря, включающего монету Траяна, в могиле с трупосожжением обнаружен железный сарматский меч с кольцевым навершием (рис. 2, 4) [33, с. 183, рис. 69]. Вторая обнаружена близ Стара Загоры в погребении с фракийскими колесницами. Это отлично сохранившийся меч, аналогичный мечу из Кирилово [34, с. 15, рис. 15]. Находки подобных мечей известны в Азиатской и Европейской Сарматиях [1, с. 5 сл.; 35, с. 103, рис. 2, 3].

Третья находка обнаружена около с. Брезово (Пловдивский округ). Там в подкурганном погребении с колесницами найдена узда с двумя круглыми ажурными бронзовыми псалиями, в которых вырезаны тамгообразные знаки [36, с. 114 сл., рис. 28]. Тамги одинаковой формы и состоят из двух симметрично расположенных основных элементов. Не имея точных аналогов, знак из Брезово напоминает некоторые из знаков на известной керченской «Энциклопедии тамг» [8, табл. X, № 742—744].

Могилу из Чаталки можно отнести к концу I или началу II в. н. э., а остальные три находки — ко второй половине или концу II в. н. э., т. е. ко времени засвидетельствованных письменными источниками контактов фракийцев с сарматами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука, 1971.
2. Тачева М. История на българските земи в древността. Ч. 2. София: Изд-во БАН, 1987.
3. Геров Б. Романизъмът между Дунава и Балкана от Август до Хадриан. Ч. I // Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. 1949. № 45.
4. Златковская Т. Д. Мезия в I—II веках нашей эры. М.: Изд-во АН СССР, 1951.
5. Буюклиев Хр. За наличието на тежковъоръжени конници в Римска Тракия // Музеи и паметници на културата. 1976. Кн. 4.
6. Буюклиев Хр. Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг // Разкопки и проучвания. 1976. Кн. XVI.
7. Николов Д. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско // Разкопки и проучвания. 1984. Кн. XI.
8. Драчук В. С. Системы знаков Северного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1975.
9. Соломоник Э. И. Сарматские знаки Северного Причерноморья. Киев: Изд-во АН УССР, 1959.
10. Зограф А. Н. Античные монеты. М., 1951.
11. Шукин М. Б. Сарматы на землях к западу от Днепра и некоторые события I в. в Центральной и Восточной Европе // СА. 1989. № 1.
12. Симоненко А. В., Лобай Б. И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н. э. Киев: Наук. думка, 1991.
13. Крушева-Грозевская А. Один из типов сарматского меча // Журнал Нижневолжского института краеведения им. Горького. 1929. Т. III.
14. Greep S. Two Roman ivories from Greenwich Park, London // Transactions of the London Middlesex Archaeological Society. 1983. 34.
15. Синицын И. В. Позднесарматские погребения Нижнего Поволжья. Саратов, 1936.
16. Rostovzeff M. Le porte-épées iraniens et les chinois // Recueil Th. Uspensky. II. Paris, 1930.
17. Раев Б. А. Новое погребение с римским импортом в Нижнем Подонье // СА. 1979. № 4.
18. Засецкая И. П. Изображение «пантеры» в сарматском искусстве // СА. 1980. № 1.
19. Клейн Л. С. Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976.
20. Raev B. A. Roman Imports in the Lower Don Basin // BAR. 1986. Т. 248.
21. Kohlert M. Typologie und Chronologie der Gesichtsmasken // Römische Paraderüstungen. Katalog der Ausstellung / Ed. Garbsch J. München, 1978.
22. Исторический музей. Инв. 2. Сз 132—20.
23. Winlok H. E. The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes. New York, 1947.

24. DA. I. «Cataphracti».
25. *Cichorius C.* Die Reliefs der Trajanssäule. Berlin, 1896.
26. *Велков Ив.* Нови могилини находки // ИАИ. 1928—1929. № 5.
27. *Mansel A. M.* Grabhügelforschung in Ostthrakien // ИАИ. 1939. № 13.
28. *Kinch K. F.* L'arc de triomphe de Salonique. Paris, 1890.
29. *Дремзисова Цв.* Надгробна могила при с. Браничево // Изследвания в чест на акад. Д. Дечев. София: Изд-во БАН, 1958.
30. *Дремзисова Цв.* Надгробна могила при с. Янково // ИАИ. 1955. № 19.
31. *Дремзисова Цв.* Тракийски могилини погребения край с. Кьолмен, Шуменски окръг // ИАИ. 1970. № 32.
32. *Nikolov D.* The Thraco-Roman Villa Rustica near Chatalka, Bulgaria // BAR. 1976. Т. 17.
33. *Герасимов Т.* Разкопки на могили при с. Св. Кирилово // ИАИ. 1946. № 15.
34. *Николов Д.* Тракийски колесници край Стара Загора // Археология. 1961. № 1.
35. *Безуглов С. И.* Позднесарматское погребение знатного воина в степном Подонье // СА. 1988. № 4.
36. *Ботушарова Л.* Тракийско могилно погребение с колесница // Годишник на Пловдивския археологически музей. 1950. № 2.

Народный исторический музей,
Стара Загора,
Республика Болгария

Кhr. BUJUKLIEV

CONCERNING THE THRACIAN-SARMATIAN RELATIONS
OF THE 1st — THE BEGINNING OF THE 2nd CENTURIES A. D.

S u m m a r y

The ancient written sources of the 1st — 2nd centuries inform about the numerous military contacts between the Thracians and the Northern Pontic area nomads. The archaeological finds discovered during the last decades prove the ancient authors evidences. The article deals with the artifacts (arms) found in "Roshava Dragana" barrow (the city of Stara Zagora district, Bulgaria). The finds belonged to the Sarmatians. The artifacts analysis testifies that the local noble man buried in the barrow served in the Roman army and got the gala Sarmatian weapon and armoury as a war trophy.

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ФРАКИИ И НИЖНЕЙ МЕЗИИ В ПЕРВЫХ ВЕКАХ Н. Э.

Определить общий уровень экономического развития той или иной территории в античную эпоху невозможно без правильного представления о состоянии основных отраслей сельскохозяйственного производства. Этим объясняется тот интерес, который в последние десятилетия все чаще проявляют к сельскому хозяйству исследователи истории Нижней Мезии и Фракии — провинций Римской империи, образованных в I в. н. э. в северо-восточной части Балканского полуострова в результате покорения Римом фракийских племен. К настоящему времени проведена значительная работа по изучению аграрного развития фракийских земель в первых веках н. э. Однако многие его аспекты до сих пор остаются исследованными в недостаточной степени. Именно к числу таких проблем, не получивших пока, как представляется, адекватного общему состоянию источниковой базы решения, и относятся поднимаемые в данной статье вопросы о типологической принадлежности использовавшихся в восточнобалканских провинциях пахотных орудий, а также о характере местного виноделия и значении этой производственной отрасли в экономике Фракии и Нижней Мезии в I—III вв. н. э.

При изучении античного сельскохозяйственного инвентаря первостепенное внимание уделяется, как правило, орудиям, предназначенным для обработки земли, так как именно от степени их совершенства во многом зависела производительность труда древнего земледельца [1, с. 125, 126]. Особый интерес в этом плане представляют упряжные пахотные орудия, появление которых не только позволило более качественно готовить почву к посеву, но и в несколько раз ускорило этот процесс [2, с. 3, 9].

Получить представление о пахотных орудиях, применявшихся в античную эпоху во фракийских землях, позволяют их изображения на монетах и надгробном рельефе, а также многочисленные находки железных наральников. Значительная часть этого материала нашла отражение в работах по истории древнего земледелия на востоке Балканского полуострова [3, с. 155—169; 4, с. 77—86 и др.]. Однако интерпретация болгарскими исследователями данных упомянутых источников, их выводы относительно функциональных качеств и, следовательно, типологической принадлежности пахотных орудий, получивших распространение на территории Фракии и Нижней Мезии, на наш взгляд, нуждаются в существенной корректировке.

Пашенное земледелие было известно фракийцам задолго до прихода римлян. Наиболее ранние конкретные свидетельства применения в восточнобалканских землях пахотных орудий относятся ко второй половине I тыс. до н. э. Второй четвертью IV в. до н. э. датируется наральник из фракийского погребения, открытого у с. Калояново Бургасской области [5, с. 60, 61, обр. 16]. Аналогичные наральники конца IV—III в. до н. э. происходят из раскопок у с. Мирково Софийской области [6, с. 422—424, обр. 5] и древнефракийского города Севтополь [7, с. 120, 121, рис. 4]. Все перечисленные наконечники являются черешковыми и имеют сравнительно небольшую листовидную рабочую часть.

Наконечниками данного типа во фракийских землях пользовались и в римское время (рис. 1, 1—3) [3, с. 158; 8, с. 43, 44, обр. 1; 9, с. 158, 159, рис. 6 и

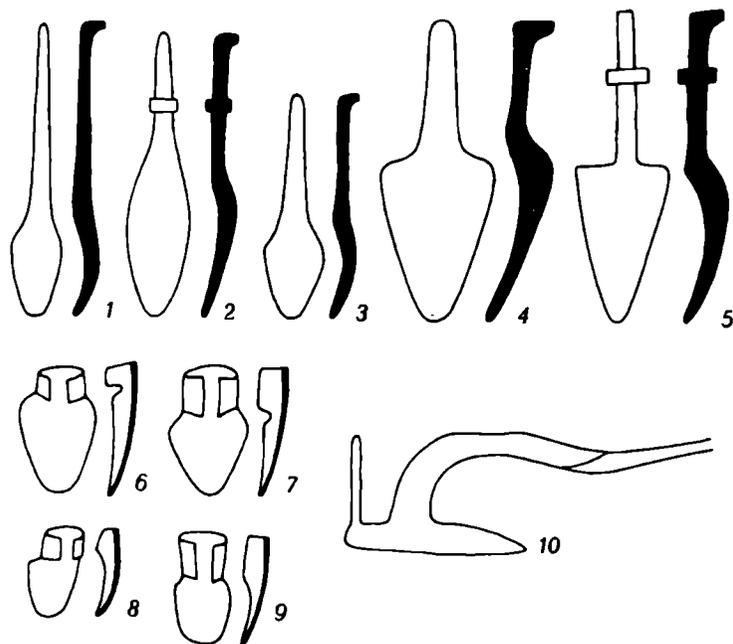


Рис. 1. Основные формы наконечников пахотных орудий первых веков н. э. из Нижней Мезии и Фракии и изображение рала на надгробии римского времени с территории Адрианополя

др.], но в этот период здесь также получают распространение наральники с относительно коротким черешком и более массивной, близкой по форме к треугольнику, лопастью (рис. 1, 4, 5) [3, с. 159—161, табл. 3; 4, с. 86, рис. 13; 10, с. 3, табл. 18; 11, с. 100, 101, рис. 16 и др.], появляются втульчатые наконечники (рис. 1, 6—9) [3, с. 161—164, 167, 168, табл. 4, 6; 12, с. 31, обр. 1].

Все черешковые наконечники, независимо от их формы, вероятно, следует связывать с употреблением различного типа рал [2, с. 67]. Показательно, что именно рало изображено на надгробной плите фракийца первых веков н. э., происходящей из окрестностей античного Адрианополя (современный г. Эдирне) [13, с. 405, 406, обр. 185]. Несмотря на известную схематичность изображения (рис. 1, 10), можно определить, что воспроизведенное пахотное орудие представляет собой грядильное и полозное рало с искривленным составным грядилем. Место соединения грядила с рабочей частью находится почти в центре последней, а рукоятка присоединяется к заднему концу полоза. Подобная конструкция рала отличается известным совершенством, так как позволяет земледельцу без особых усилий удерживать изначально заданную глубину вспашки [14, с. 108, 109].

Интересно, что изображенное на надгробии с территории Адрианополя рало почти не отличается от воспроизведенного на монете, выпущенной еще в IV в. до н. э. одним из городов Фракийского Херсонеса [15, с. 250, 251, табл. XVII, 5]. Не исключено, что объяснение такому сходству следует искать в традициях античной пластики, нередко изображавшей на рельефах орудия, которыми пользовались в более раннее время. Однако, скорее всего, отмеченная близость изображений обусловлена медленной эволюцией древних пахотных орудий, форма деревянной основы которых на протяжении многих веков оставалась практически неизменной.

Рала с горизонтальным полозом были особенно эффективны при необходимости глубокой вспашки. Основным их недостатком являлось то, что они не могли продуктивно использоваться на сырых, засоренных почвах [14, с. 108—110]. В этих случаях предпочтение отдавалось пахотным орудиям, у которых рабочая часть находилась под углом к обрабатываемой поверхности, в частности прямогрядильным ралам. Возможно, именно такие рала изображены на монетах основанной во Фракии при Веспасиане римской колонии Деултум, где, вероятно,

воспроизведена процедура обозначения границ будущего поселения [16, № 44, 71, 131 и др.]. По мнению И. Венедикова, рало с прямым грядилем появляется во фракийских землях с приходом римлян и применяется в Нижней Мезии и Фракии в первых веках н. э. наряду с «местным», кривогрядильным, ралом [4, с. 82, 83]. Согласиться с подобным предположением трудно. И в Италии, и в большинстве других областей Средиземноморья кривогрядильные рала были наиболее распространенным типом пахотных орудий [14, с. 132; 15, с. 250—252, 254, 255, табл. XVII, XIX, XX; 17, с. 125—129, рис. 97]. Прямогрядильные рала употреблялись внутри области распространения кривогрядильных рал наряду с последними, но в гораздо менее широких масштабах [14, с. 132, 138—144]. Во фракийских землях рала с прямым грядилем и рабочей частью, воздействовавшей на почву под углом к обрабатываемой поверхности, могли получить распространение в тех областях, где в связи с малой мощностью пахотного слоя глубокая вспашка были нецелесообразной, а также повсеместно применяться при обработке участков, недавно освобожденных от леса. Возможно, что на упомянутых монетах Деултума изображение прямогрядильного рала не является случайным: для проведения борозды на неподготовленной площади, где в почве могли встретиться в большом количестве камни и древесные корни, предпочтение следовало отдать именно такому пахотному орудью. Следует также отметить, что судить о «римском» происхождении прямогрядильных рал только по изображениям на монетах Деултума не позволяет и тот факт, что все эти монеты датируются первыми десятилетиями III в. н. э., т. е. отстоят по времени от момента основания колонии на полтора века.

По характеру воздействия на обрабатываемую почву рала относятся либо к бороздящим, либо к пашущим орудиям. Посредством безотвального рала простейшей конструкции можно было лишь проводить узкие, примерно равные по ширине полозу, борозды. О наличии отвальных приспособлений у рал на территории Нижней Мезии и Фракии ничего не известно, но широкое применение отвалов в виде симметрично расположенных досок-«ушей» римскими земледельцами [Varr., I, 29, 2; Verg. Georg., I, 172; 17, с. 139, 140; 18, с. 355, 356, рис. 435; 19, с. 560] позволяет предположить возможность использования подобной конструкции в первых веках н. э. и во фракийских землях. Появление отвального устройства, несомненно, явилось важным этапом в процессе эволюции пахотных орудий. Симметричный отвал позволял во время пахоты разрыхлять и перемешивать землю, поднимая ее по обе стороны борозды, что повышало качество заделки семян, не позволяло скапливаться зимней влаге [2, с. 4, 5; 17, с. 139, 140; 20, с. 241, 242]. Однако ни бороздящие, ни пашущие рала не могли при обычных условиях пахоты, подрезая, переворачивать пласт, уничтожая тем самым корни сорняков и способствуя благоприятному для посевов водно-воздушному режиму. Такой способностью обладают лишь орудия плужного типа, характерно для которых, в первую очередь, наличие одностороннего отвала, а во многих случаях — и асимметрия рабочей части [2, с. 4; 21, с. 15].

По мнению И. Странски, в период римского господства во фракийских землях пахали ралами, «которые во многих местах были односторонними, т. е. такими, которые переворачивали почвенный пласт на одну сторону» [22, с. 97]. Л. Дуков считает применение в первых веках н. э. на этой территории «плужных форм рала» бесспорным [3, с. 163, 169]. В качестве доказательства правомерности своей точки зрения он приводит, в частности, находку железного наконечника пахотного орудия с явно выраженной асимметрией рабочей лопасти из с. Стамболово Ловечской области, отмечая при этом, что в ряде случаев плуг мог иметь и симметричный лемех [3, с. 163, 164, табл. 4, 3]. Последнее замечание справедливо, но необходимо отметить, что все опубликованные втульчатые наконечники римского времени из Фракии и Нижней Мезии¹, в соответствии с убедительно аргументированной классификацией Ю. А. Краснова, относятся к

¹ Датировка многих из них не является бесспорной [3, с. 165; 4, с. 86].

широколопастным наконечникам I и II групп [2, с. 33, 34, рис. 9, 10] и, следовательно, их нужно связывать с орудиями типа рал. Наконечников же со втулкой IV группы, служивших плужными лемехами, первых веков н. э., насколько нам известно, на территории фракийских земель до сих пор не обнаружено. Асимметричный наконечник из Стамболово (рис. 1, 8), действительно, представляет интерес, но, к сожалению, Л. Дуковым ничего не сказано об обстоятельствах его находки, не приведены конкретные аргументы в пользу «римской», по мнению автора публикации, датировки «лемеха», не указаны размеры орудия. Все это не позволяет считать находку из Стамболово безоговорочным доказательством существования плужного земледелия в Нижней Мезии и Фракии. Нельзя рассматривать как несомненное свидетельство применения в первых веках н. э. во фракийских землях плуга и немногочисленные находки чересел, так как ими могли снабжаться не только плуги, но и некоторые рала [3, с. 164; 23, с. 4, 5].

Вопрос о существовании плуга в античное время относится к числу дискуссионных. По мнению М. Е. Сергеенко, плуг был известен римлянам еще во второй половине I тыс. до н. э. Подтверждение этому она видела в изображениях пахотного орудия на бронзовой статуэтке из Теламоне, а также на некоторых римских монетах 82 г. до н. э. [24, с. 45—47]. Как «плуг с отвалом и колесным передком» характеризует М. Е. Сергеенко *plaustratum* (*planaratum*), описанный Плинием Старшим [Nat. hist., XVIII, 172—173; 24, с. 51—54]. Колесным плугом считает *plaustratum* и В. Г. Гаврилов, отмечая при этом, что данный вид пахотных орудий, по крайней мере в Италии, в эпоху Поздней империи не получил широкого распространения [20, с. 236—243]. О применении плуга античными земледельцами писали в различное время А. В. Арциховский, В. Д. Блаватский, И. Т. Кругликов. Однако А. В. Арциховский при этом вообще не выделял рало как самостоятельную, отличную от сохи и плуга форму пахотных орудий [1, с. 129—131]. В. Д. Блаватский, судя по всему, говоря о пахотных орудиях, не уделял особого внимания конструктивным отличиям их различных типов [25, с. 93—105, 108]. И. Т. Кругликова, отмечая существование в античную эпоху плуга, определяла его как «рало с ножом и отвалом» [26, с. 165—168], что недостаточно точно характеризует конструктивные и функциональные особенности орудий плужного типа².

Иной точки зрения придерживается авторитетный специалист в области изучения античного сельского хозяйства К. Д. Уайт, по мнению которого римские пахотные орудия не обладали способностью переворачивать земляной пласт [17, с. 125—129, 139, 140; 28, с. 59]. С весьма аргументированной критикой доводов в пользу применения в античном земледелии орудий плужного типа выступает в последнее время Ю. А. Краснов [2, с. 124—126; 14, с. 7. 143; 23, с. 3—11]. Совершенно справедливыми, в частности, являются, на наш взгляд, его замечания, что схематичные изображения на небольшой статуэтке и монетах не могут рассматриваться как бесспорное указание на использование римлянами плуга, а известные асимметричные наконечники первых веков н. э. слишком миниатюрны, чтобы считать их плужными лемехами. *Plaustratum* в описании Плиния представляется Ю. А. Краснову «тяжелым колесным орудием», получившим в позднеримское время широкое распространение в ряде районов Европы³.

На отрывок сочинения Плиния, содержащий сведения о *plaustratum*, ссылаются в доказательство своей правоты как сторонники гипотезы о существовании плуга у римлян, так и их противники. Поэтому следует остановиться на более внимательном рассмотрении этого фрагмента «Естественной истории».

В свое время отмечалось [24, с. 55, 212, 213], что римские агрономы I в.

² Следует отметить, что в одной из своих более поздних работ И. Т. Кругликова говорит о *plaustratum* уже как о колесном рале [27, с. 70].

³ Некоторые румынские исследователи усматривают свидетельство применения в первых веках н. э. *plaustratum* в Малой Скифии (соврем. Добруджа) в обнаруженных на территории античного Каллатиса крупных черешковых наконечниках, однако убедительных аргументов в пользу этого утверждения не приводят [11, с. 100, 101; 29, с. 76].

н. э. гораздо чаще, чем их предшественники, при характеристике работы пахотных орудий использовали глаголы *inagare* («запахивать», «заделывать в землю»), *obruere* («засыпать», «покрывать»), *vertere* («перевертывать», «опрокидывать», «взрывать плугом», «вспахивать»), *versare* («поворачивать», «переворачивать», «распахивать», «взрыхлять») [Colum., II, 1, 6; II, 1, 6; II, 5, 2; II, 13, 1; II, 15, 16; Plin. Nat. hist., XVIII, 147; XVIII, 173; 30, с. 385, 525, 815, 816]. Усматривать в широком употреблении двух первых глаголов подтверждение существованию плуга в начале н. э. [24, с. 213] вряд ли правомерно, так как заделывать в почву семена и удобрения, перемешивать землю с целью уничтожения сорняков вполне можно было и снабженным симметричным отвалом ралом. Однако работу металлического наконечника *plauoratum* Плиний определяет глаголом *versare*: «*Latitudo vomeris cespites versat*». Следовательно, один из возможных вариантов перевода указывает на то, что колесное пахотное орудие, описанное Плинием, переворачивает дерн при обычных условиях вспашки, а именно эта особенность, как отмечалось, характеризует орудия плужного типа.

Однако при таком переводе характер формулировки Плиния заставляет относиться к его сообщению с большой осторожностью. Дело в том, что из текста совершенно непонятно, за счет чего происходит переворачивание, о котором идет речь. В соответствии с буквальным содержанием отрывка, оно достигалось благодаря ширине металлической лопасти рабочей части орудия. Однако еще М. Е. Сергеенко справедливо отмечала, что, каким бы широким наконечник ни был, одного этого условия недостаточно для переворачивания земляного пласта. В связи с этим она высказала предположение, что термином «*vomer*» Плиний мог в данном случае обозначить рабочую часть *plauoratum*, сочетавшую в себе каким-то образом и лемех, и отвал, возможно, конструкцию, подобную воспроизведенной в статуэтке из Теламоне [24, с. 53]. Однако, по собственному утверждению М. Е. Сергеенко, «плуг» из Теламоне по своим функциональным возможностям был сходен со шведским этнографическим плугом, и для того, чтобы, работая ими, перевернуть пласт земли, орудия приходилось «гнуть в сторону» [24, с. 45, 46]. Такой технический прием был хорошо известен итальянским земледельцам [Colum., II, 2, 25]. Однако обязательность его применения для переворачивания земли не позволяет считать плугами ни пахотное орудие, модель которого найдена в Теламоне, ни *plauoratum*.

Отметим также, что сама интерпретация сообщения Плиния, предложенная М. Е. Сергеенко, выглядит малоубедительно. При описании наконечника этого орудия Плиний не отмечает никаких его особенностей, кроме лопатовидной, т. е., надо полагать, симметричной формы и, очевидно, значительной ширины. Об отвальных приспособлениях, которые мог иметь *plauoratum*, он вообще ничего не говорит. Поэтому, на наш взгляд, не следует исключать и возможность перевода *versare* глаголами «взрыхлять», «взрывать». Выражение при этом не утрачивает логического смысла («Ширина наконечника взрывает дерн»), и вместе с тем отпадает необходимость в объяснении того, каким образом в обычных условиях работы не имеющий одностороннего отвала *plauoratum* мог переворачивать земляной пласт. Однако в любом случае чрезмерная лаконичность информации об этом орудии, допускающая возможность самых различных, и при этом далеко не бесспорных, предположений, не позволяет, по нашему мнению, рассматривать сообщение Плиния в качестве серьезного свидетельства ни против, ни, тем более, в пользу существования плуга в I в. н. э.

Таким образом, не отрицая принципиальную возможность существования плуга в первых веках н. э., в частности во фракийских землях, отметим, что в свете современного состояния источников утверждение о применении пахотных орудий плужного типа в этот период не представляется доказанным и нуждается в серьезной дополнительной аргументации, в первую очередь в подтверждении массовым археологическим материалом. Основным же типом пахотных орудий, находивших применение в земледелии Нижней Мезии и Фракии, в первых веках н. э. оставались, судя по всему, как и в более раннее время, рала различных разновидностей.

Вопрос о месте в экономике восточнобалканских провинций Рима виноградарства и особенно неразрывно связанного с ним виноделия заслуживает специального внимания в силу того, что, хотя эта тема так или иначе затрагивается практически во всех исследованиях, посвященных фракийскому земледелию в античную эпоху, основной вывод их авторов представляется небесспорным.

Виноградарство получило развитие во фракийских землях, несомненно, еще в доримский период. О давних его традициях на этой территории говорит уже тот факт, что наиболее ранняя находка здесь карбонизированных плодов культурного винограда (*Vitis vinifera* L.) относится к эпохе энеолита [31, с. 41]. Еще в V в. до н. э. виноградники Фракии восхвалял Пиндар (Paean 2, 25, 26). О возделывании винограда фракийскими земледельцами в I в. н. э. пишет Помпоний Мела (*De situ orbis*, II, 2). Первыми веками н. э. датируется обугленная виноградная лоза, обнаруженная в погребении поблизости от сельской виллы у Чаталки в Хасковской области [32, с. 51].

При раскопках древних поселений в восточнобалканских землях довольно часто встречаются получившие широкое распространение в античном мире виноградарские, или садовые, серповидные ножи, которые применялись для подрезки виноградной лозы и веток деревьев, срезания гроздей винограда. Характерной особенностью этих инструментов является то, что ось рукоятки у них почти всегда практически совпадает по направлению с осью прямой части клинка. Сам клинок, как правило, весьма массивен, а его конец очень круто изогнут. Иногда на внешней части клинка имелся небольшой заостренный выступ.

На территории фракийских земель такие ножи были известны еще в эллинистическую эпоху [33, с. 166; 34, с. 101, рис. 1], и чаще всего их находки связываются болгарскими археологами исключительно с развитием на этой территории виноградарства. Между тем, возможность определить однозначно, в какой области земледелия применялся тот или иной нож, представляется крайне редко [35, с. 166]. Кроме того, орудия данного типа обнаруживают и на памятниках, где не было условий для разведения винограда, но вполне могло процветать садоводство [36, с. 45, 46, табл. 51].

Найдены на территории Нижней Мезии и Фракии и двузубые мотыги [3, с. 152, 153, табл. I, 13, 14; 8, с. 45, обр. 12; 9, с. 158, 159, рис. 3, 4 и др.], которые на основании сведений античных авторов [*Verg. Georg.*, II, 255, 256, 399, 400; *Colum.*, III, 13, 3; IV, 5, 1; IV, 14, 1; V, 9, 12; *Plin. Nat. Hist.*, XVII, 54; XVIII, 46; *Pallad.*, II, 10, 2; IV, 7, 1 и др.] также принято связывать в первую очередь с работами по возделыванию винограда [37, с. 709; 38 стб. 428, 429; 39, с. 811; 40, с. 610].

В своей совокупности приведенные данные со всей очевидностью указывают на то, что виноградарство существовало в античную эпоху во фракийских землях. Сложнее дать ответ на вопрос о масштабах и характере, направленности этой производственной отрасли на различных этапах исторического развития данной территории, в частности в первых веках н. э.

В римском законодательстве нашла отражение предпринятая предположительно между 138 и 169 гг. н. э. попытка властей поощрить развитие виноградарства в Мезии путем ужесточения наказания за повреждения, нанесенные злоумышленниками виноградникам [*Dig.*, XLVIII, 19, 16, 9, 10; 41, с. 187—189]. По единодушному мнению болгарских специалистов, принятые меры оказались достаточно эффективными, в результате чего виноградарство во фракийских землях в конце II — первой половине III в. н. э. испытывало период подъема [41, с. 192, 193; 42, с. 47; 43, с. 13; 44, с. 118; 45, с. 84 и др.]. При этом подразумевается и высокий уровень развития местного виноделия. Основания для последнего вывода исследователи видят, в частности, в выдержках из сочинения проявлявшего повышенный интерес к фракийским винам Афиней [Athen., I, 31; 43, с. 26, 27] и надписи 222—235 гг. н. э. из с. Аспарухово Хасковской области [46, № 537], возможный вариант прочтения которой свидетельствует о вывозе вина из Фракии в Дакию [41, с. 192; 47, с. 124].

Отметим в связи с этим, что в упомянутой надписи нет никаких указаний на то, что торговец из Августы Траяна, о котором идет речь, переправлял за Дунай именно местное, произведенное во Фракии вино, а привлекаемые исследователями сведения Афиней относятся, по всей вероятности, к периоду более раннему, чем первые века н. э. Однако даже в том случае, если писавший в конце II — начале III в. н. э. Афиней действительно говорил о своем времени, а вино, поставлявшееся в Дакию из Августы Траяна, было изготовлено из урожая местных виноградников, делать на основании только этих двух источников выводы об уровне развития и характере виноделия Фракии и Нижней Мезии в целом нельзя. Поэтому обратимся к рассмотрению некоторых других свидетельств о месте этой отрасли хозяйства в экономике восточнобалканских провинций.

Из весьма многочисленных указаний нарративных источников на развитие во фракийских землях в античную эпоху виноделия (см. [41, с. 187—189; 43, с. 7—9, 12, 13, 28, 29; 47, с. 121]) следует выделить как наиболее, на наш взгляд, авторитетное относящееся ко второй половине I в. н. э. сообщение Плиния Старшего относительно вина, производившегося в южнофракийском г. Мароней (*Nat. hist.*, XIV, 6, 53, 54). Местные жители, прославившиеся как изготовители вина еще во времена Гомера (*Hom. Od.*, IX, 196—211), сохранили свою репутацию искусных виноделов, судя по всему, и в начале н. э. Плиний очень высоко отзывается о достоинствах маронейского вина, заслужившего всеобщее признание в античном мире своим ароматом и крепостью.

Однако большинство наиболее показательных упоминаний древних авторов о фракийском вине относятся к доримскому периоду. На развитие виноградарства и виноделия в первых веках н. э. указывают, скорее, изображения виноградных гроздей и лозы на монетах многих городов [48, № 383, 923—926, 1217, 2226, 2542; 49, № 424, 552 и др.], а также некоторые рельефы этого времени, сюжеты которых схематично воспроизводят процесс изготовления вина от сбора винограда до переноски полученного сула и транспортировку готовой продукции [45, с. 61, 84, обр. 11; 50, № 981, 1513; 51, с. 35, 36, № 50—52 и др.]. Сами по себе эти свидетельства нумизматики и античной пластики представляют большой интерес и выглядят достаточно убедительно, однако их необходимо рассматривать в сопоставлении с данными археологического исследования территории Нижней Мезии и Фракии.

Каменные давилни, подобные воспроизведенным на рельефах, весьма широко представлены в археологическом материале I тыс. до н. э. Обнаружены и функционировавшие в это же время стационарные винодельческие сооружения, состоявшие из вырубленных в скальной породе давилной площадки и резервуара для сбора виноградного сула [47, с. 126, 127, 129, 130].

Однако находки памятников аналогичного назначения, датируемых первыми веками н. э., в восточнобалканских землях крайне малочисленны. Говоря о них, следует в первую очередь отметить винодельню, действовавшую с конца I или начала II в. н. э. до середины III в. на вилле у с. Мадара Варненской области [52, с. 4—6, 14, 15]. Она состояла из двух или трех давилных площадок, покрытых цемянковым раствором, и резервуара, способного вместить до 1000 л сула. Рядом находился пресс для выжимания сока из виноградной мезги, фрагмент которого обнаружен в непосредственной близости от винодельни. Конструктивной особенностью винодельческой постройки на вилле у с. Мадара являлось то, что помещение, в котором она находилась, одновременно служило складом, где в долиях хранилась готовая продукция.

Винодельня у с. Мадара до недавнего времени являлась, насколько нам известно, единственным открытым в восточнобалканских землях сооружением подобного рода первых веков н. э.⁴ Между тем на данной территории исследовано уже около 100 сельских вилл римского времени. По всей вероятности, в боль-

⁴ В 1989—1990 гг. «мощная хозяйственная постройка с несколькими давилными площадками из цемянки» была обнаружена при раскопках позднеантичной виллы у г. Кюстендил. По всей вероятности, она была возведена не ранее рубежа III—IV вв. н. э. [53, с. 24].

шинстве расположенных в сельской местности хозяйств виноделие в это время не было товарной отраслью, играло подсобную роль.

Не располагая конкретными сведениями нарративных источников, трудно говорить определенно о том, чем могло быть вызвано представляющееся в свете данных археологии, на наш взгляд, несомненным снижением роли виноделия в экономике фракийских земель. Однако высказать на этот счет некоторые предположения предварительного характера можно. Не исключено, что упадок фракийского виноделия явился следствием известного эдикта Домициана, который был издан, очевидно, в 92 г. н. э. [54, с. 212, прим. 47] и предполагал, в частности, сокращение в 2 раза виноградных посадок в провинциях (Suet. Domit., 7, 2; 14, 2). Из сообщения Светония следует, что распоряжение это проводилось в жизнь непоследовательно, однако, возможно, в некоторых провинциях предписания эдикта все же были приведены в исполнение. Такое могло произойти в первую очередь в областях с традиционно развитым виноделием, к которым, несомненно, относились и фракийские земли. В результате уничтожения значительной части виноградников фракийское виноделие, естественно, должно было прийти в состояние упадка. Именно этим можно объяснить предпринятую римскими властями в середине II в. попытку его стимулирования, которая нашла отражение в «Дигестах». Однако от упомянутого эдикта Домициана ее отделяет около полувека. За эти годы многие хозяйства могли изменить свой профиль, переориентировавшись, к примеру, на выгодное, а к тому же, возможно, в какое-то время и поощрявшееся во фракийских землях возделывание зерновых культур. Поместья, где виноделие являлось товарной отраслью, во II—III вв. стали, вероятно, исключением. В большинстве же хозяйств вино если и производилось, то в незначительном количестве, необходимом главным образом для обеспечения собственных потребностей. Для этого не требовалось специальных построек — достаточно было иметь небольшое каменное корыто со сливом или тарапан и сосуд для сбора виноградного сусла. Именно такой набор представляет случайная находка на месте поселения римского времени у с. Обнова Ловечской области [55, с. 26]. Заметим, однако, что и такие небольшие переносные давяльни на виллах римского времени, судя по опубликованным данным, не обнаружены, причем даже в тех случаях, когда среди находок присутствуют типично виноградарские орудия труда. Возможно, это связано с распространением на территории Нижней Мезии и Фракии в первых веках н. э. преимущественно столовых сортов винограда, однако конкретных свидетельств о них в источниках нет.

Таким образом, представляется правомерным предположить, что в первых веках н. э. на основной части фракийских земель, возможно, за исключением слабо изученной в археологическом отношении Приморской Фракии, виноделие в большинстве хозяйств играло вспомогательную роль, обеспечивая своей продукцией главным образом лишь потребности их владельцев и обслуживающего персонала. Вероятно, вино наряду с оливковым маслом являлось в этот период одной из основных статей импорта иноземных продуктов в Нижнюю Мезию и Фракию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арциховский А. В. Социологическое значение эволюции земледельческих орудий // Институт археологии и искусствознания. Труды социологической секции. Т. I. М.: РАНИОН, 1927.
2. Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. М.: Наука, 1987.
3. Дуков Л. Земеделието и земеделските железни оръдия в българските земи през античността // Известия на Етнографския институт и музей. 1965. Т. 8.
4. Развитие на земеделието по българските земи / Съст. И. Венедиков. София: Земиздат, 1981.
5. Чичикова М. Тракийска могила гробница от с. Калояново, Сливенски окръг (IV в. пр. н. е.) // ИБАИ. 1969. Т. 31.
6. Милчев А. Археологическо проучване в околностите на с. Мирково, Пирдопско // Изследвания в памет на К. Шкорпил. София: Изд. на Бълг. АН, 1961.
7. Сісікова М. Au sujet du soc Thrace // Apulum. Buletinul Muzelui regional Alba Iulia. 1968. V. 7.
8. Аладжов Д. Колективна находка на късноримски селскостопански оръдия в село Българин, Хасковски окръг // Археология. 1965. Кн. 1.

9. *Zontschev D. Römische Produktionsinstrumente aus Südbulgarien//Ethnographisch-archäologische Forschungen. 1959. Bd 6.*
10. Античен керамичен център Павликени. София: Реклама, 1977.
11. *Sanarache V. Unelte agricole pe teritoriul Republicii Populare Române în epoca veche//SCIV. 1950. T. 2.*
12. *Станчев Д. Находка на железни предмети от с. Стамболово, Русенски окръг//ГМСБ. 1985. Кн. П.*
13. *Кацаров Г. Един паметник на земеделието в древна Тракия//ИБАИ. 1938. Т. 12.*
14. *Краснов Ю. А. Древнейшие упряжные пахотные орудия. М.: Наука, 1975.*
15. *Gow A. S. F. The Ancient Plough//JHS. 1914. V. 34.*
16. *Jurukova J. Die Münzprägung von Deultum. В.: Akademie-Verlag, 1973.*
17. *White K. D. Agricultural Implements of the Roman World. Cambridge: Univ. Press, 1967.*
18. *Saglio E. Aratrum//DA. 1887. Т. 1.*
19. *Blümmer H. Die römischen Privatalertümer. München: Beck, 1911.*
20. *Гаврилов В. Г. О конструкциях плугов и вспашке полей по трактатам римских агрономов//Древний Восток и античный мир. М.: Изд-во МГУ, 1972.*
21. *Haudricourt A., Delamarre M. L'homme et la charrue. P.: Gallimard, 1955.*
22. *Странски И. Влияние на човека върху почвата в земите на България//Известия на Почвения институт. 1958. Кн. 5.*
23. *Краснов Ю. А. К вопросу о существовании плуга у племен черняховской культуры//КСИА. 1971. Вып. 128.*
24. *Сергеенко М. Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.*
25. *Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Изд-во АН СССР, 1953.*
26. *Кругликова И. Т. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука, 1975.*
27. *Кругликова И. Т. Античная археология. М.: Высш. шк., 1984.*
28. *White K. D. Greek and Roman Technology. L.: Thames and Hudson, 1984.*
29. *Ващанн V. Ferma romană din Dobrogea. Tulcea, 1983.*
30. *Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1986.*
31. *Лисицына Г. Н., Филипович Л. А. Палеознотботанические находки на Балканском полуострове//Studia praehistorica. 1980. V. 4.*
32. *Николов Д. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско//Разкопки и проучвания. 1984. Кн. П.*
33. *Севтополис. Т. I. Бит и култура. София: Изд. на Бълг. АН, 1984.*
34. *Henning J. Bulgarien zwischen Antike und Mittelalter im Spiegel der Wirtschaftsarchäologie//Das Altertum. 1986. Hf. 2.*
35. *Античные государства Северного Причерноморья. М.: Наука, 1984.*
36. *Найденова В. Римската вила в с. Кралев Дол, Пернишки окръг//Разкопки и проучвания. 1985. Кн. 14.*
37. *Saglio E. Bidens//DA. 1877. Т. 1.*
38. *Olck. Bidens//RE. 1899. Bd 3.*
39. *Thedenat H. Raster//DA. 1909. Т. 4.*
40. *Wildorf H. Wein//Lexikon der Antike. Leipzig: Bibl. Inst., 1982.*
41. *Геров Б. Към въпроса за лозарството в Долна Мизия през римско време//ИБАИ. 1955. Т. 19.*
42. *Антонова В. Новооткрити обекти от римската епоха в Мадара//Изв. на Народния музей. 1960. Т. I.*
43. *Колев К. Развитие на лозарството и винарството през античността и средновековието в източната част на Балканския полуостров//Научни трудове на Центъра за научноизследвателска, развойна и проектантска дейност по винарска промишленост. 1971. Т. 13.*
44. *Дремсизова-Нелчинова Ц. Вилата край с. Мадара, Шуменски окръг//Разкопки и проучвания. 1984. Кн. II.*
45. *Александров Г. Резултати на разкопките на крепостта Монтана (1971—1982)//Монтана. Т. I. София: Изд. на Бълг. АН, 1987.*
46. *Supplementum epigraphicum Graecum. V. 3. Lugdunum: Sijthoff, 1929.*
47. *Cončev D. Contribution à l'étude de la viticulture et de la vinification dans l'antiquité et au Moyen âge en Bulgarie //Acta antiqua Philippopolitana. Studia archaeologica. Serdicae, 1963.*
48. *Pick B., Regling K. Die antiken Münzen von Dacien und Moesien. Hbd. 1—2. В., 1898—1910.*
49. *Münzer F., Strack M. Die antiken Münzen von Thrakien. В., 1912.*
50. *Mihailov G. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. V. 3. Serdicae: Acad. Litterarum Bulgaricae, 1964.*
51. *Димитров Д. П. Надгробните плочи от римско време в Северна България. София, 1942.*
52. *Дремсизова Ц. Нови данни за икономиката на Долна Мизия през римската епоха//Изв. на Народния музей. 1960. Т. I.*
53. *Крыкин С. М. Позднеантичное и ранневизантийское «Градиште» у с. Долна Граштица близ Кюстендила//Болгаристика в системе общественных наук: Опыт, уроки, перспективы. Харьков, 1991.*
54. *Finley M. I. The Ancient Economy. Berkeley; Los Angeles: Univ. California Press, 1973.*
55. *Герасимова-Томова В. Антично селище при с. Обнова, Плевенско//Археология. 1986. Кн. 3.*

A. P. MARTEMJANOV

**THE THRACIAN AND THE LOW MESIA AGRICULTURE HISTORY
OF THE FIRST CENTURIES A. D.**

S u m m a r y

The article deals both with the types of the Thracian and the Low Mesia agricultural implements and with the local wine-making and its role in the Thracian economy of the 1st — 3rd centuries AD. The author thinks that the use of the plough type agricultural implements in the ancient time is not well proved and needs a further serious reasoning. The ploughs of different types were the main agricultural implements used in Thracia and the Low Mesia in the first centuries AD and earlier. In the 2nd — 3rd centuries AD the wine-making was not marketable in the most Thracian lands except probably the Pontic area Thracia poorly investigated by the archaeologists. It played only a secondary role and provided the home needs.

КУЛЬТ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРОВ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Включение античных государств Северного Причерноморья в орбиту римской политики привело к появлению здесь культа римских императоров, который был учрежден в Риме в период правления Августа [1, с. 31; 2, с. 180—183; 3, с. 165 и сл.; 4, с. 28—43]. Именно в это время императорская власть объединила в составе единого государства различные народы, что потребовало единой связывающей политической идеи, которая могла бы укрепить тот государственный строй, представителями которого были римские императоры. Единая держава требовала и единой идеологии, которой вплоть до III в. н. э. и стал императорский культ. Причем, как отмечала Е. М. Штаерман, этот культ эволюционировал в сторону создания теологического обоснования императорской власти [3, с. 181]. Объединение в руках императора не только высшей политической и военной власти, но и религиозной (император был Великим Понтификом) требовало преклонения перед первыми лицами империи и принесения жертв богу-императору наравне с другими божествами официального пантеона Римского государства. Участие в таких жертвоприношениях и других формах императорского культа свидетельствовало о лояльности как простых граждан, так и царей зависимых территорий к высшей римской власти. В связи с этим не только в Риме, но и на всей территории империи возводились алтари и храмы Августов, создавались коллегии императорского культа, члены которых являлись опорой и проводником римской политики на местах [5, с. 99—107; 6, с. 167—257; 7, с. 69—96; 8, с. 653—675; 9, с. 490—511; 10]. Вместе с этим религия была не только способом выражения лояльности к тому или иному императору и империи в целом, но и более или менее осознанной оппозицией существующему строю [3, с. 214; 11, с. 40]. Отказ от выполнения установленных обрядов рассматривался согласно римского законодательства как оскорбление величия (*Dig.*, 48, 4, 1). Люди, уличенные в этом, жестоко наказывались, как это было, например, с ранними христианами, которые шли на муки и смерть, отказываясь приносить жертвы у алтарей официальных римских богов и императорского культа [12, с. 235 и сл.; 13, с. 103 и сл.].

Зависимость Боспорского царства от Рима, которая наиболее ярко проявилась в период правления Котиса I (45/46—67/68 гг.), привела к тому, что именно этот боспорский царь впервые в официальных надписях был назван пожизненным первосвященником Августа (*ἄρχιερεὺς τῶν Σεβαστῶν διὰ βίου*) [14, № 41]. Не исключено, что первые признаки обожествления Августа имели место на Боспоре уже в конце I в. до н. э. [15, с. 192], однако об этом пока можно говорить лишь предположительно, так как официальный титул архиерея засвидетельствован не ранее времени правления Котиса I. Следовательно, только с середины I в. н. э. есть прямые свидетельства об отправлении этого культа на Боспоре.

В связи с этим примечательно, что Котис I первым из боспорских царей включил в свою официальную титулатуру родовое имя Тиберий Юлий, свидетельствующее о том, что он обладал правами римского гражданства. Это хорошо согласуется с титулом архиерея императорского культа, так как хорошо известно, что эту должность только в исключительных случаях занимали лица, не бывшие римскими гражданами [16, с. 36—38; 17, с. 6].

В боспорской нумизматике уже давно известны медные монеты с изображением пятиколонного храма, которые исследователи относят либо к периоду правления Котиса I [18, с. 184 и сл.; 19, с. 232], либо к началу царствования его сына Рескупорида I (68/69—91/92 гг.) [20, с. 68, 69, 153, № 370—372]. Было бы соблазнительно, учитывая, что Котис I был архиереем, видеть в этом сооружении храм, посвященный римским императорам [21, с. 110]. Однако, судя по монетам малоазийских городов, при такой интерпретации постройки на них должен был бы быть изображен не только сам храм, но и бюст императора в эдикуле или его статуя [22, с. 153, 156, 171, 181—183, 185, 214—215, табл. 2, 3]. Поэтому, вероятно, в настоящее время должна быть принята атрибуция этого сооружения на боспорских монетах, предложенная В. Д. Блаватским.

Исходя из того, что рядом с изображением пятиколонного храма на монете имелись буквы КА — ПЕ, В. Д. Блаватский считал, что это Капитолий. Однако не копия римского храма Юпитера Капитолийского в Риме, а свой Капитолий, который был, подобно тому как это было в провинциях, построен на Боспоре [15, с. 192, 193; 23, с. 162; 24, с. 197—205]. Сооружение такого храма, где приносились жертвы официальным римским богам, должно было продемонстрировать отношение боспорских царей к Риму и их полную лояльность к империи. В этом храме, где почитались римские религиозные святыни, мог отправляться и культ римских императоров, как это было, например, в Никее (Cass. Dio., LI, 20, 6), Никомедии (Cass. Dio., 20, 7), Анкире, на Самосе, в Пергаме, Фере, Киликии и других местах, где императорский культ отправлялся в храмах, посвященных другим богам официального римского пантеона [22, с. 249—274].

К первой половине II в. н. э. относится, вероятно, упоминание о храме Августов (*Καίσαρειον*) в одной фанагорийской надписи [14, № 1050], на основе которой В. Д. Блаватский сделал вывод о существовании на Боспоре специальной коллегии императорского культа во главе с боспорским царем [15, с. 193]. С культом римских императоров на Боспоре В. Д. Блаватский связывает алтари, упоминающиеся Клавдием Птолемеем в окрестностях Танаиса [15, с. 193]. Однако этот вывод представляется сомнительным, так как В. В. Латышев считал, что в данном случае имелись в виду алтари Александра Македонского у р. Яксарта в Индии [25, с. 289, прим. 10]. Сведения об этих авторах были перенесены на Августа и локализованы Птолемеем у Танаиса (Ptol. III, 5, 12), а Аммианом Марцелином — в окрестностях Ольвии (Amm. Marc. XXII, 8, 40) [26, с. 73].

Говоря о культе римских императоров на Боспоре следует обратить внимание на костяную тессеру, на оборотной стороне которой имелась надпись *Σεβαστός* (рис. 1) [27, с. 87, табл. XVIII, 18]. Учитывая, что на аналогичных костяных тессерах имелись, вероятно, изображения ворот Элевсинского святилища и надпись *Ἐλευσεῖν* [27, с. 87, табл. XVIII, 11, 16], они могли служить не игральными шашками, как думает Б. Г. Петерс, а пропусками на какие-то празднества, которые проводились в честь императоров, например, на территории Малой Азии [22, с. 101 и сл.]. Трудно сказать, почему они попали в могилу, но этот вывод представляется более вероятным, чем интерпретация их в качестве игровых шашек.

Как свидетельствуют эпиграфические памятники, титул пожизненного первосвященника Августа боспорские цари носили вплоть до Рескупорида III (233/234—234/235 гг.) [14, № 63], однако наиболее часто он применялся по отношению к Котису I, Рескупориду I, Савромату I и Котису II [14, № 41, 42, 44, 981, 982, 983, 1041, 1047, 1118, 1122]. Вероятно, в III в. н. э. этот культ, как и в других областях империи [6, с. 256], утратил свое значение. Не способствовали его отправлению позднее и бурные события боспорской истории, в ходе которых сменявшиеся на престоле цари и правители, видимо, не считали нужным приносить жертвы перед алтарями императоров и подтверждать свою лояльность в отношении империи.

Помимо Боспорского царства культ римских императоров надежно засвиде-

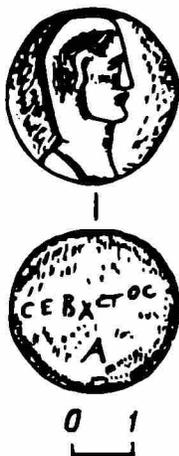


Рис. 1. Костяная тессера из некрополя Пан-тикапея (по Б. Г. Петерсу)

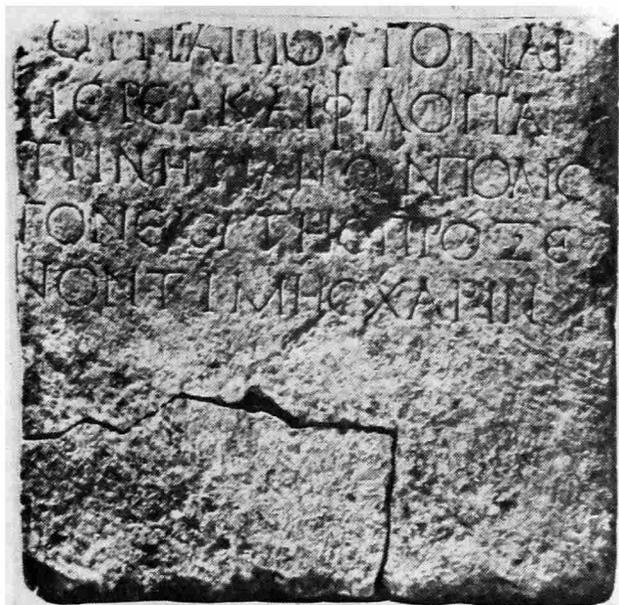


Рис. 2. Фрагментированная надпись с упоминанием архиерея из Херсонеса

тельствован в Херсонесе [28, с. 36—41, № 13; 29, с. 58; 30, с. 41, 42; 31, с. 9, 10]. Правда, совсем недавно В. И. Кадеев в специальной работе подверг этот вывод критике и пришел к заключению, что сейчас нет никаких оснований говорить об отправлении этого культа в Херсонесе [32, с. 88; 33, с. 86, 90]. С этим согласиться трудно, поэтому необходимо проанализировать еще раз не только аргументацию В. И. Кадеева, но и источники, имеющиеся по этой чрезвычайно важной проблеме.

Действительно, в настоящее время нельзя, основываясь только на титулатуре римских императоров, имеющейся в некоторых херсонесских надписях [34, № 362, 422, 423], говорить о распространении императорского культа среди населения города [33, с. 87]. Однако ставить под сомнение, как это делает В. И. Кадеев, наличие в Херсонесе верховного жреца этого культа, упоминание о котором имеется в одной херсонесской надписи (рис. 2) [28, с. 36—41, № 13], нельзя. Действительно, уже у Геродота и Платона архиерей упоминается в значении «верховный жрец» применительно к широкому спектру религиозных культов (Herod., II, 37, 142; Plato. Legg. 937a). Однако в первые века н. э. в римских провинциях и на Боспоре архиереем обычно выступали верховные жрецы императорского культа [35, s. v. 'αρχιερεὺς ср.: 14, № 41, 42, 44 и др.]. Поэтому отвергать предложенную Э. И. Соломоник интерпретацию должности архиерея как верховного жреца императорского культа лишь на том основании, что в надписи он не назван своим полным титулом ('αρχιερεὺς τῶν Σεβαστῶν), вряд ли можно.

Не подкрепляет вывод В. И. Кадеева и ссылка на то, что якобы имя лица, названного в надписи архиереем, было греческим и он не обладал правами римского гражданства, а следовательно, не мог быть жрецом императорского культа [33, с. 88]. Как отмечает сам исследователь, из-за повреждения стелы начало имени не сохранилось, а по сохранившейся части имени (τοῦ Παλίου) нельзя судить, стояло ли здесь *tria nomina* или же обычное греческое имя. К тому же несколькими строками ниже, говоря о том, что τῶν в херсонесских надписях помещалось перед именем деда, В. И. Кадеев приводит имя первого херсонесского архонта Т. Флавия Аристана, сына Флавия Аристана, внука Агеполиса, безусловно, бывшего римским гражданином [34, с. 359; ср.: 36, с. 41].

И наконец, то, что рассматриваемая надпись, судя по контексту, была поставлена чествуемому лицу не херсонесской гражданской общиной, а г. Тием, хорошо объясняет, почему он назван просто архиереем, без добавления τῶν Σεβαστῶν [28, с. 39]. К концу II в. н. э., т. е. к тому времени, когда была поставлена статуя с надписью, культ римских императоров получил значительное распространение в Малой Азии и жителям Тия было понятно, что архиерей был не просто верховным жрецом, а именно первосвященником Августа.

Таким образом, в настоящее время рассмотренный эпиграфический памятник, вне всякого сомнения, свидетельствует о наличии в Херсонесе в конце II в. н. э. первосвященника императорского культа, который должен был отправляться не только солдатами римского гарнизона, но и от имени Херсонесской гражданской общины, которая зависела от милостей императорской власти, что хорошо иллюстрируется перепиской по поводу протитуционной подати [34, № 404]. Естественно, что пока не все стороны истории и культуры Херсонеса первых веков н. э. могут быть освещены достаточным количеством источников. Однако то, что имеется в нашем распоряжении, должно использоваться в полной мере, а не подвергаться необоснованной гиперкритике, построенной на весьма шатких аргументах.

Трудно сказать, как долго в Херсонесе отправлялся культ римских императоров. Э. И. Соломоник предположительно восстановила упоминание жреца императорского культа в латинской надписи, датирующейся 370—375 гг. н. э. [34, № 449; 37, с. 30, № 3]. Однако фрагментированный характер этого эпиграфического памятника не позволяет согласиться именно с такой трактовкой заключительной части надписи. Помимо этого, кризис античных религиозных ценностей, который хорошо прослежен на материалах Херсонеса [38, с. 61—84; 39, с. 8—29], а также наличие креста в строительной надписи конца IV в. [40, с. 120, 121, № 134], косвенно противоречат этому.

В отличие от Боспора и Херсонеса, в Ольвии пока не найдено памятников, которые можно было бы прямо связать с отправлением гражданской общиной культа римских императоров. Те немногие надписи, которые были поставлены в Ольвии римским императором, не носят сакрального характера, а лишь отражают заинтересованность ольвиополитов в поддержке империи [41, с. 155—158]. В честь императоров здесь был возведен портик, бани, статуи императоров Каракаллы и Геты, а также храм триаде популярных божеств «за счастье повелителя императора Марка Аврелия Севера Александра и священного синклита, и воинства» [34, № 174, 181, 184, 199]. Такое положение объясняется рядом причин.

Вплоть до второй половины II в. н. э. Рим не оказывал городу существенной военной помощи, а ограничивался лишь дипломатической поддержкой. Результат такой политики очень ярко проявился в романофобии, которая по словам Диона Хрисостома была характерна для большинства жителей города в конце I в. н. э. (Dio. Chrys., XXXVI). Позднее в Ольвию был введен римский гарнизон, а в период правления Септимия Севера в отношении города наконец было принято императорское постановление, которым его гражданской общине даровались права, близкие автономии [42, с. 197]. К этому времени относится подавляющее большинство эпиграфических памятников с упоминанием римских императоров и монеты провинциального типа, на аверсах которых изображались императоры и члены их семей [43, с. 73]. После дарования прав автономии городу, в чем, безусловно, была заинтересована подавляющая масса ольвиополитов, естественно было бы ожидать появления в Ольвии памятников, так или иначе связанных с императорским культом, но этого нет. Конечно, нельзя полностью исключать того, что такие памятники пока не найдены, так как в ходе многолетних раскопок на территории Верхнего города, который в первые века н. э. был местопребыванием римского гарнизона, из общей площади 3,8 га исследовано только 0,6 га [44, с. 31]. Однако, как представляется, дело не только в этом.

Императорский культ к концу II — началу III в. н. э. претерпел определенную эволюцию и, если на рубеже н. э. он пользовался определенной популярностью,

то в указанное время в идеологических представлениях подавляющего большинства жителей империи стали преобладать сугубо частные культы, не связанные с официальной религией [3, с. 209 и сл.]. Поэтому мы не вправе ожидать появления в будущем значительного количества источников по этой проблеме. Вероятно, на рубеже II—III вв. культ римских императоров мог периодически отправляться официальными лицами, но, в отличие от провинций, где это носило обязательный характер, в Ольвии, находившейся на значительном удалении от территории империи, этот культ, видимо, сопровождался чисто формальными сакральными действиями в одном из ольвийских храмов, где могли быть установлены алтари, посвященные божествам официального римского пантеона. Этим, вероятно, и объясняется отсутствие памятников, связанных с культом римских императоров, в этом северопричерноморском центре. Видимо, можно согласиться с А. С. Русяевой, что социально-экономические и идеологические традиции ольвиополитов препятствовали упрочнению и распространению здесь этого чуждого для ольвиополитов культа [41, с. 158], тем более, что на территории собственно Римской империи он постепенно утрачивал свое значение [6, с. 256].

В Тире также нет никаких памятников, которые можно было бы непосредственно связывать с культом римских императоров. Правда, А. Н. Зограф считал, что о его наличии в городе свидетельствуют изображения на тирских монетах [45, с. 52, 53; ср.: 43, с. 98—101]. Однако с уверенностью об этом говорить трудно, так как изображения на монетах в связи с культом римских императоров в том или ином центре могут рассматриваться лишь в качестве косвенного источника [46]. Изображения императоров и членов их семей на тирских монетах, как представляется, свидетельствуют о проримской ориентации ее гражданской общины и определенном статусе, датированном ей высшей властью империи [46, с. 12—17].

Итак, подводя итог сказанному, можно заключить, что культ римских императоров получил в античных государствах Северного Причерноморья определенное распространение. Причем ранее всего он зафиксирован на Боспоре, где со времени правления Котиса I боспорские цари становятся пожизненными первосвященниками Августов. Однако незначительное количество памятников, которые безусловно могут быть связаны с отправлением этого культа, свидетельствует о том, что культ римских императоров здесь был чисто официальным и не оказывал значительного влияния на религиозную жизнь населения. Если на территории Малой Азии императорский культ был инкорпорирован в систему религиозных ценностей и нашел отражение в различных аспектах жизни населения [22, с. 235—238], то в античных государствах Северного Причерноморья отправление этого культа было подчинено сугубо политическим целям, которые преследовали боспорские цари и социальная верхушка населения. Попав в орбиту римской политики, античные государства региона посредством учреждения культа римских императоров и отправления в их честь определенных обрядов стремились засвидетельствовать не только свою локальность, но и верноподданические чувства к империи, что было необходимо в условиях, когда Рим стал мировой державой, от администрации которой во многом зависело само существование этих центров, находившихся на далекой периферии античности мира. Однако императорский культ был чрезвычайно далек от религиозных устремлений основной массы населения, в силу чего он не пользовался популярностью в среде жителей античных городов. Несмотря на новые тенденции, которые во II—III вв. н. э. начинают проявляться в религиозной жизни [29, с. 55—77; 38, с. 61—64], культ римских императоров не был включен в систему религиозных ценностей, что в какой-то мере свидетельствует не столько о невосприимчивости именно этого культа населением региона, сколько о сравнительно слабой романизации жителей античных городов Северного Причерноморья в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мелихов В. А. Культ римских императоров и его значение в борьбе язычества с христианством. Харьков, 1912.
2. Штаерман Е. М. От религии общины к мировой религии//Культура древнего мира. М., 1985.
3. Штаерман Е. М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987.
4. Praice S. R. F. Between Man and God: Sacrificia in the Roman Imperial Cult//JRS. 1980. V. 70.
5. Колосовская Ю. К. Коллегия императорского культа в Дунайских провинциях (по надписям Норика, Дакии и Паннонии)//Культура античного мира. М., 1966.
6. Колосовская Ю. К. Римский провинциальный город, его идеология и культура//Культура древнего Рима. Т. II. М., 1985.
7. Садовская М. С. Культ императора в римской Британии//Страны Средиземноморья в античную и средневековую эпохи. Горький, 1985.
8. Nock A. D. Essays on Religion and the Ancient World. V. 4. Cambridge, Massachusetts, 1972.
9. Simpson C. J. The Cult of the Emperor Gaius//Latomus. 1981. T. 40. Fasc. 3.
10. Trumter R. Die Denkmaler des Kaiserkults in der römischen Provinz Achaia. Gras, 1980.
11. Jones A. H. M. Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey. Oxford, 1964.
12. Преображенский П. Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965.
13. Федосик В. А. Киприан и античное христианство. Минск, 1991.
14. Корпус боспорских надписей. М.; Л., 1965.
15. Блаватский В. Д. О культе римских императоров на Боспоре//Античная история и археология. М., 1985.
16. Тодоров Я. Паганизъмът въ Долна Мизия. София, 1928.
17. Ramsay W. N. The Social Basis of Roman Power in Asia Minor. Aberdeen, 1941.
18. Карышковский А. О. Боспор и Рим в I в. по нумизматическим данным//ВДИ. 1953. № 3.
19. Фролова Н. А. Монетное дело Боспора VI в. до н. э.—середины IV в. н. э. в свете новых исследований//Очерки археологии и истории Боспора. М., 1992.
20. Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986.
21. Фролова Н. А. Медные монеты Котиса I как исторический источник//СА. 1976. № 3.
22. Praice S. R. F. Rituals and Power. The Roman imperial cult in Asia Minor. Cambridge; London; New York, 1984.
23. Блаватский В. Д. Пантикапей. Очерки истории столицы Боспора. М., 1964.
24. Харко Л. П. О пятиколонном храме, изображенном на боспорских монетах II в.//ВДИ. 1950. № 1.
25. Латышев В. В. Известия древних авторов о Скифии и Кавказе//ВДИ. 1949. № 3.
26. Яйленко В. П. Материалы к «Корпусу лапидарных надписей Ольвии»//Исследования по эпиграфике и языкам древней Анатолии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1987.
27. Петерс Б. Г. Косторезное дело в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1986.
28. Соломоник Э. И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев, 1964.
29. Соломоник Э. И. Из истории религиозной жизни в северопонтийских городах позднеантичного времени//ВДИ. 1973. № 1.
30. Мецзяков В. Ф. К вопросу о римском влиянии на религиозную жизнь населения Херсонеса Таврического в первые вв. н. э.//Проблемы античной истории и классической филологии. Тез. докл. Харьков, 1980.
31. Мецзяков В. Ф. Религия и культы Херсонеса Таврического I—IV вв.: Автореф. ... канд. ист. наук. М., 1980.
32. Кадеев В. И. О культе римских императоров в античных городах Северного Причерноморья//Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Тези доповідей. Одеса, 1989.
33. Кадеев В. И. К вопросу о культе римских императоров в Херсонесе//Вестн. ХГУ. 1992. № 362. Вып. 25.
34. Latyshev V. Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli, 1916.
35. Liddell H., Scott R., Jones S. H. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
36. Кадеев В. И. Херсонес Таврический в первых вв. н. э. Харьков, 1981.
37. Соломоник Э. И. Латинские надписи Херсонеса Таврического. М., 1983.
38. Зубарь В. М. О некоторых аспектах идеологической жизни населения Херсонеса Таврического//Обряды и верования древнего населения Украины. Киев, 1990.
39. Зубарь В. М. Проникновение и утверждение христианства в Херсонесе Таврическом//Византийская Таврика. Киев, 1991.
40. Соломоник Э. И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев, 1973.
41. Русяева А. С. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 1992.
42. Латышев В. В. Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. СПб., 1887.
43. Анохин В. А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1989.
44. Буйских С. Б. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры). Киев, 1991.
45. Зограф А. Н. Монеты Тиры. М., 1957.
46. Веацгеу J. La religion romaine à l'apocée de l'empire. Paris, 1955.

Институт археологии
НАН Украины, Киев

THE ROMAN EMPERORS CULT IN THE NORTHERN PONTIC AREA

S u m m a r y

The article deals with the Roman emperors cult in the Northern Pontic area. The author draws a conclusion that the earliest evidences about the cult were made in Bosporus where all the tzars had been the Augustus high priests since Kotis I reign time. A few number of the sites testifies that it was formal and didn't have much influence on the local population religious life. The ancient towns of the region belonged to the Roman political sphere and established the cult to prove their loyalty since Rome had become a world power. But the cult was alien to the most of the ordinary people and was not popular among the ancient towns inhabitants. The 2nd — 3rd centuries A. D. saw the new tendencies in the religious life, nevertheless the cult was not included into the system of religious which proves not only its unpopularity among the Northern Pontic area population but also the weak romanization of the last one.

ДРЕВНЕРУССКИЕ ШУМЯЩИЕ БРАСЛЕТЫ

В огромном материале древнерусских браслетов выделяется скромная группа «шумящих» браслетов, как предложила их называть В. П. Левашова [1, с. 241—242, 252], или браслетов с колечками (по М. В. Седовой) [2, с. 113]. Первое название представляется более подходящим. По нашим подсчетам, таких браслетов насчитывается всего 29 экз. Они разбросаны на обширной территории от Восточного Причудья на западе до Вологды на востоке, от Ладоги на севере и до Мордовии на юге. Эта сравнительно немногочисленная категория, как правило, бронзовых предметов неоднородна. Внутри нее выделяется по меньшей мере четыре группы. Первая — с колечками по краям с двух сторон — встречается преимущественно в верховьях Днепра, Оки и Волги. Вторая — с колечками по центральной оси браслета — характерна для Новгорода и Восточного Причудья. Третья — с бубенчиками по краю (очевидно, внешнему) — встречена в районе Вологды. Четвертая — с трапециевидными привесками на концах — известна в мордовских могильниках VIII—XI вв. (рис. 1, 2).

Отмечаемая всеми исследователями связь шумящих браслетов с финно-угорским миром и оригинальная форма «декора» привлекают к этой разновидности украшений особое внимание. Кроме того, часты случаи неверной атрибуции, когда фрагменты шумящих браслетов принимаются за «бляшки» и другие предметы. Все это предопределяет необходимость монографического их рассмотрения.

Первая группа (13 экз.; рис. 1, 1—5) происходит из северо-восточных районов Руси. Группа состоит из четырех типов: 1) бронзовые литые овальноконечные браслеты; 2) бронзовые кованые створчатые ажурные; 3) бронзовые литые ажурные овальноконечные; 4) бронзовые литые с трапециевидными концами.

Первый тип (9 экз.). Опубликованный В. П. Левашовой браслет¹ найден в кургане у д. Коханы Смоленской губернии (погр. 37, раскопки Н. И. Булычева) [3, табл. XXXI]. Он отнесен ею к числу литых пластинчатых овальноконечных со стилизацией звериных морд на концах. Орнамент — имитация плетенки. По комплексу находок предложено датировать коханский экземпляр XII в. [1, с. 241, 242]. Ему аналогичны шумящие браслеты из Серенского детинца, опубликованные Т. Н. Никольской (4 экз.) [4, с. 76, рис. 24, 6; 5, с. 228—232, рис. 84, 2, 4, 15, 19]. Они найдены преимущественно во фрагментах. Орнамент — жгут типа коханского, наползающие плетеные ромбы, волнистая линия в «жемчужном» обрамлении. Интересно, что на экземпляре с волнистым орнаментом подобный повторен изнутри. Другой фрагмент с наружной стороны имеет следы позолоты поверх плетенки.

Серенским литым браслетам аналогичен фрагмент из нижнего слоя Тушкова городка в верховьях р. Москвы. Предмет был ошибочно атрибутирован М. Г. Рабиновичем как фрагмент шумящей привески [6, с. 134, рис. 1—3]. Т. Н. Никольская показала, что тушковский фрагмент является частью браслета, поскольку имеет характерный для браслетов изгиб. Стратиграфически браслет датируется XI в.

М. Г. Рабинович приводит в качестве аналогии тушковскому браслету находку из нижнего слоя Староладожского земляного городища, опубликованную Г. П.

¹ ГИМ. Отдел археологических памятников. № 25778.

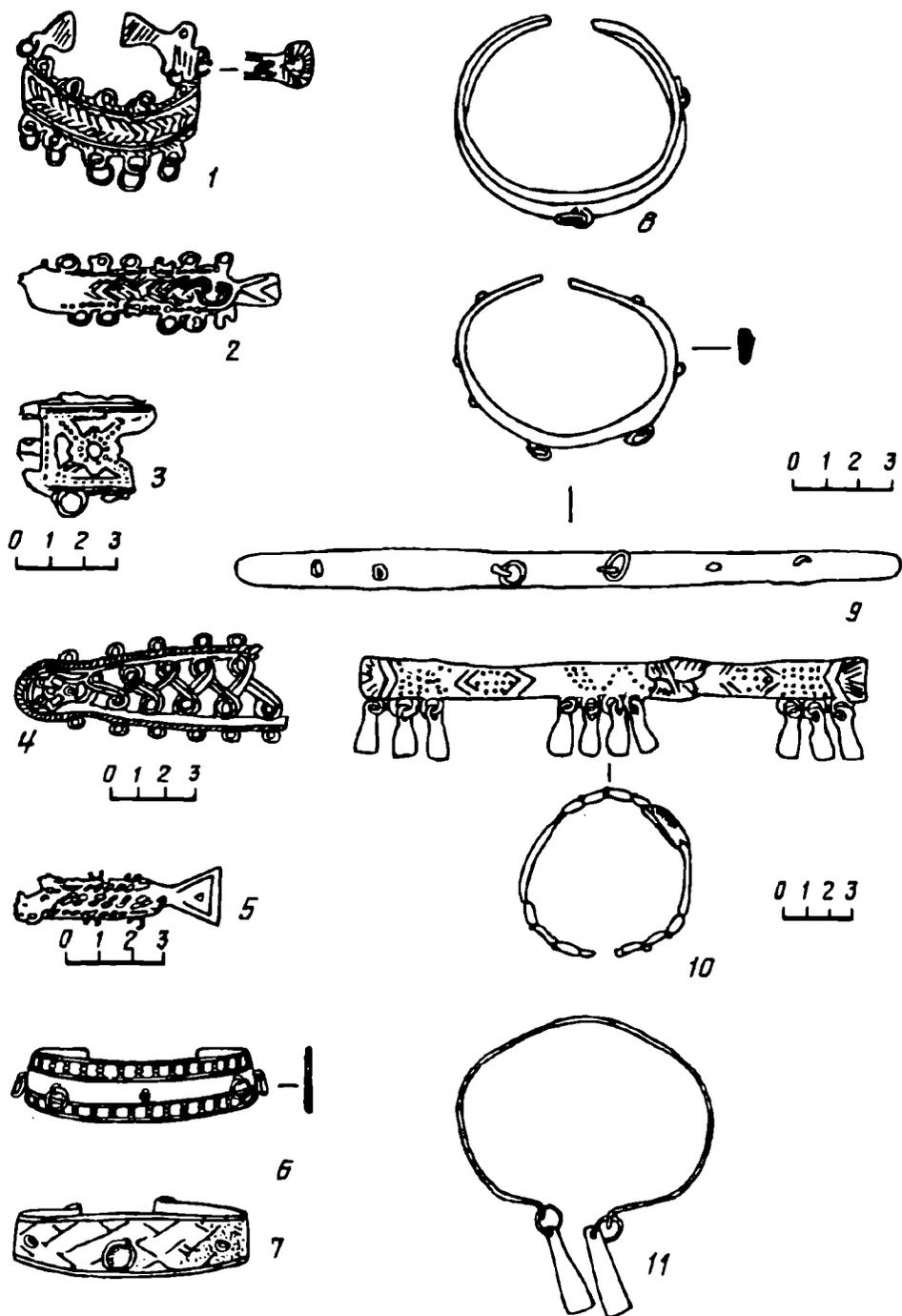


Рис. 1. Виды шумящих браслетов X — начала XIV в. 1—5 — браслеты первой группы; 6—9 — браслеты второй группы; 10 — браслет третьей группы; 11 — браслет четвертой группы. 1 — Коханы; 2, 3 — Серенск; 4 — Бородино; 5 — Тверь; 6 — Большие Поля; 7 — Гостицы; 8, 9 — Новгород; 10 — Вёкса; 11 — Пановский могильник

Гроздиловым и П. Н. Третьяковым [7, табл. XII, 3]. Староладожский предмет действительно является частью браслета первого типа. Его датировка по стратиграфии — XI в.

Из новейших находок браслетов первого типа следует назвать их фрагменты из курганов у д. Бегуницы на Ижорском плато и из Новгорода. Исследователь курганов у д. Бегуницы Е. А. Рябинин атрибутировал находку как «железный браслет, свитый из проволоки» [8, с. 16, рис. 66, 3]. Фрагмент браслета найден на левой руке погребенного в комплексе с поясным набором прибалтийского типа, грушевидным бубенчиком с тремя рельефными поясками, железным «про-

боем», ножом, топором типа VI (разновидность XI—XII вв. по классификации А. Н. Кирпичникова) и монетой Генриха II (1014—1024 гг.) [9, с. 23; 10, с. 38, рис. 6]. Т. В. Равдина, опубликовавшая комплекс Бегуницы [8], усомнилась в атрибуции Е. А. Рябинына, поставив слова «плетеный браслет» в кавычки. Судя по рисунку в отчете Е. А. Рябинына, браслет относится к типу литых овальноконечных, а эффект «плетености» создало подвижное шумящее кольцо, припаявшееся к самому браслету. В целом комплекс Бегуницы [8] датируется XI в., но наличие в его составе грушевидного бубенчика с линейной прорезью и тройным рельефным пояском, появляющегося в Новгороде лишь в последней четверти XI в., заставляет датировать комплекс именно этим временем [2, с. 156, рис. 62, 2—8].

Еще один фрагмент шумящего браслета первого типа найден в Новгороде в 1989 г. на Троицком раскопе IX. Он относится к разновидности овальноконечных со стилизованной личиной на конце и вполне аналогичен серенским находкам. В Троицком раскопе он сопряжен с ярусами 10—10^а, т. е. датируется концом 20-х — началом 60-х годов XIII в., тем же временем, что и серенские².

Второй тип (2 экз., рис. 1, 3). Представлен кованым ажурным фрагментом из Серенска. Браслет имеет три ушка для крепления створки, а также одно целое и следы еще трех ушек для крепления шумящих колец. Сюжет орнамента — ромб на косой крестовине, покрытый и обрамленный «жемчужинами». Ромбический орнамент хорошо известен в русской народной вышивке как «ромб с крючочками», по определению А. К. Амброза, — символ плодородия и оберег [11, с. 14—27]. В Серенске все фрагменты шумящих браслетов из раскопок Т. Н. Никольской были обнаружены в слое пожара середины XIII в. [4, с. 74]. Совершенно аналогичный серенскому фрагмент браслета-складня найдена в Твери при раскопках Н. В. Жилиной в 1983 г. (раскоп III)³. Тверской фрагмент датируется стратиграфически первой третью XIII в. [12, приложение, рис. 72, 1, табл. 42].

Третий тип (1 экз.; рис. 1, 4) — литой ажурный овальноконечный фрагмент браслета обнаружен на Бородинском городище (Смоленская обл. [13, с. 115, рис. 60, 4]). Датировка находки по публикации и отчетам проблематична. Однако по аналогиям она может быть отнесена к XI—XII вв.

Четвертый тип (1 экз.; рис. 1, 5) — бронзовый литой пластинчатый браслет с трапециевидным концом. Фрагмент такого браслета найден в Твери Н. В. Жилиной на раскопе III. Стратиграфическая дата — конец XII в. Орнамент — имитация плетенки [12, с. 113, 463, табл. 42].

Приведенные М. Г. Рабиновичем вслед за Г. П. Гроздиловым и П. Н. Третьяковым аналогии тушковской и старолadoжской находкам в курганах Южного Приладожья и памятниках Прикамья аналогиями в прямом смысле слова не являются, так как это не браслеты, а части каких-то шумящих украшений.

Характерно, что всех исследователи единодушно отнесли шумящие браслеты первой группы к числу финно-угорских древностей. В. П. Левашова сопоставила коханский экземпляр с находками из Новгорода и чудских погребений Гдовского уезда (группой II по нашей классификации) [1]. Т. Н. Никольская вслед за М. Г. Рабиновичем предположила, что «к колечкам, расположенным по краям браслетов, привешивались еще небольшие шумящие украшения в виде гусиных лапок...» [5, с. 231]. Это предположение Т. Н. Никольской фактического подтверждения в археологическом материале пока не получило. Достоверно известно, что привесками к шумящим браслетам первой группы служили подвижные шумящие кольца.

Вторая группа (10 экз.; рис. 1, 6—9) с колечками по центральной оси браслета характерна для северо-запада Руси. Эти находки в свою очередь делятся

² Пользуюсь случаем выразить благодарность сотрудникам Новгородской экспедиции Е. А. Рыбиной, А. С. Хорошеву за предоставленный материал.

³ Автор благодарен Н. В. Жилиной за любезное ознакомление с материалом.

на четыре типа: 1) литые пластинчатые браслеты с суживающимися концами из оловянисто-свинцовых сплавов (4 экз.), 2) пластинчатые кованые с отверстиями по краям из оловянисто-свинцовых сплавов (1 экз.); 3) бронзовые пластинчатые с суживающимися концами, орнаментированные (2 экз.); 4) бронзовые пластинчатые трубчатоконечные орнаментированные, с тремя кольцами по центральной оси браслета: одно в центре и два на концах (2 экз.).

Первый и второй типы представлены находками из культурного слоя Новгорода. Новгородские шумящие браслеты дважды публиковались М. В. Седовой [2, с. 115, рис. 37, 14, 18; 14, с. 253, рис. 9, 21]. Со времени выхода публикаций появились новые материалы, и в настоящее время в Новгороде известно 5 экз. шумящих браслетов: 2 целых и 3 во фрагментах. Характерно, что единственным элементом декора новгородских браслетов являются шумящие колечки. На трех браслетах первого типа кольца напаяны очень густо, на одном на весь браслет приходится три кольца; одно в центре и два ближе к концам. Второй тип представлен деформированным фрагментом. Опубликованные браслеты из Новгорода дендрохронологически датируются концом XIII — первой третью XIV в. ⁴ [2, с. 115].

Отметим, что четыре из шести шумящих браслетов найдены на предполагаемом чудском конце Новгорода — Неревском (Неревский раскоп). Топографирование находок, произведенное автором, показало устойчивую встречаемость шумящих браслетов с другими финно-угорскими предметами: зооморфными шумящими подвесками, многобусенными височными кольцами и др. [15, с. 72—75].

Третий и четвертый типы. Браслеты третьего типа были найдены В. Н. Глазовым в погребениях Гдовского уезда, где насчитывается четыре местонахождения: могильники Большие Поля № 55, Малая Каменка № 225, Калихновщина № 335, Гостицы № 123 [16, табл. XXV, 18, 19]. В отличие от новгородских гдовские браслеты кованы из широких пластин и имеют богатую орнаментацию: пояски «городков» и угловатую плетенку в пуансонной окантовке. Четвертый тип представлен трубчатоконечными браслетами с тремя шумящими колечками: одно в центре и два на концах (Гостицы) — и сближается по характеру крепления колец с новгородским экземпляром (12—13 — раскоп XXX). Автор публикации гдовских материалов А. А. Спицын суммарно датировал шумящие браслеты XIII—XIV вв., что уточняется датировкой новгородских находок. Полагаем, что новгородская датировка в целом может быть экстраполирована на гдовские находки. Все гдовские браслеты найдены в комплексах с другими прибалтийско-финскими вещами. В. В. Седов отнес шумящие браслеты третьего и четвертого типов к числу характерных украшений Води [17, табл. X, рис. 23]. Однако в курганах Ижорского плато, за исключением находки шумящего браслета (первая группа, первый тип) в Бегуницах, описанной выше, они практически не известны [18].

Третья группа (1 экз.; рис. 1, 10) — шумящие браслеты с бубенчиками по внешнему краю — представлена находкой из подъемного материала на многослойном поселении Вёкса, расположенном в 16 км от Вологды в месте слияния рек Вёкса и Вологда. Находка сделана вологодским археологом И. Ф. Никитинским в 1985 г. [19, рис. 3, 3, 6, с. 573]. Браслет бронзовый, литой, тупоконечный. Имеет четыре ушка в центре, очевидно, с внешней стороны для привешивания полых бубенчиков и по три на концах. Орнамент на концах — линии, образующие треугольники, — подобен орнаменту на концах пластинчатых браслетов из Серенска (первая группа, первый тип). Далее к центру следует пуансонно-ромбический и пуансонный орнамент. Браслет подвергался починке в древности. В публикации находка связывается с жилым комплексом конца XI — начала XII в., вскрытым на поселении Вёкса. Однако форма бубенчиков и аналогии заставляют склониться к датировке XII—XIII вв.

⁴ В публикации М. В. Седовой ошибочно указана дата — конец XII — первая треть XIII в.

Четвертая группа (4 экз.; рис. 1, 11) шумящих браслетов, пластинчатых с трапециевидными привесками на концах, характерна только для Мордовии. 1 экз. найден в Пановском могильнике мордвы VIII—XI вв. в погр. 73^а [20, табл. 12, 17]. Абсолютно аналогичные браслеты найдены в Крюково-Кужновском могильнике (погр. 331, 417, 543) раскопками П. П. Иванова в 1929 г. и Р. Ф. Ворониной в 1968—1970 гг. [21; 22].

Интересно, что в Крюково-Кужновском могильнике обнаружены предметы с таким же декором из колец, что на шумящих браслетах. Так, в погр. 310 деревянный, возможно, обрядовый ковш был обит по краям и рукояти серебряными обоймицами с подвижными серебряными шумящими колечками. Фрагмент другой деревянной чаши из того же погребения имел подвижные монетовидные привески [21, табл. XIX, 6]. Магическое значение колец и монетовидных привесок в данном случае совершенно очевидно: они должны были своим звоном защищать содержимое сосудов. Аналогичным образом шумящие браслеты, находясь на руке женщины в месте перехода от закрытой части тела к открытой, должны были защищать хозяйку от пагубного воздействия внешних темных сил.

Роль оберега, очевидно, выполняли кольца без привесок на бронзовой шейной гривне из Елизавет-Михайловского могильника мордвы VIII—XI вв. (погр. 38) [20, табл. 29, 11].

В пользу финно-угорской этнической принадлежности шумящих браслетов свидетельствуют шумящие перстни, в большом количестве встречаемые в муромских, муромских и мордовских могильниках [23, табл. XXIX, 13; 24, табл. XXXV, 5, XLVI, 3; табл. XLVII, 13]. Они датируются X—XI вв. Вятические шумящие решетчатые перстни с колечками по обе стороны щитка, подобно расположению шумящих колец на браслетах первой группы, генетически восходят к финно-угорским прототипам [5, рис. 86, 6; 26, с. 260, рис. 32, 7, 33, 4].

Характерно, что шумящие кольца как вид оберега доживают до XIX — начала XX в. На обрядовых снях для масленичного катания с гор из Архангельской области (бассейн Северной Двины) они выступают в качестве амотропея. На снях начала XIX в. (ГИМ. Отдел дерева. № 34285/2399) шумящие кольца сочетаются с лапчатыми привесками. На других масленичных снях кольца образуют целые гирлянды и сочетаются с прочими солярными символами в орнаменте (розетки, полурозетки, «ветровые» розетки) [27, рис. 19; 28, рис. 37; 29, с. 18, 19].

Древнерусские шумящие браслеты, мордовские культовые чаши из Крюково-Кужновского могильника VIII—XI вв. и этнографические сани для масленичного катания с гор XIX — начала XX в. роднит единый вид амотропея, который по характеру своего действия сближается со средневековыми финно-угорскими шумящими подвесками.

Интересна хронология и топография шумящих браслетов (рис. 2). К X—XI вв. относятся стоящие особняком мордовские браслеты. К XI в. — находки из Тушкова городка, Бородино, Ладоги, Бегуниц (последняя четверть XI в.). К XII в. относятся коханский и тверской экземпляры (первая группа, четвертый тип — конец XII в.); XIII в. датируются серенские находки (середина XIII в.), тверская (первая треть XIII в.), новгородские находки (конец 20-х — годов XIII — первая треть XIV в.), возможно, экземпляр из Вёксы и браслеты из погребений Гдовского уезда. По всей видимости, одним из очагов производства шумящих браслетов было верхнее течение Оки, Волги и восточная часть Смоленской земли. В Серенске найдены литейные формы для изготовления таких браслетов [5, с. 232]. Возможно, что браслеты первой группы были занесены в Ладогу и Бегуницы именно из этого региона. Характерно, что традиция изготовления и ношения шумящих браслетов здесь устойчиво сохранялась с XI по XIII в. В XIII и XIV вв. возникает собственное производство шумящих браслетов особого вида (вторая группа) на северо-западе. Третья группа возникает не без видимого участия первой и второй групп, о чем свидетельствует орнамент на концах браслета из Вёксы, имитирующий орнамент овальноконечных браслетов.

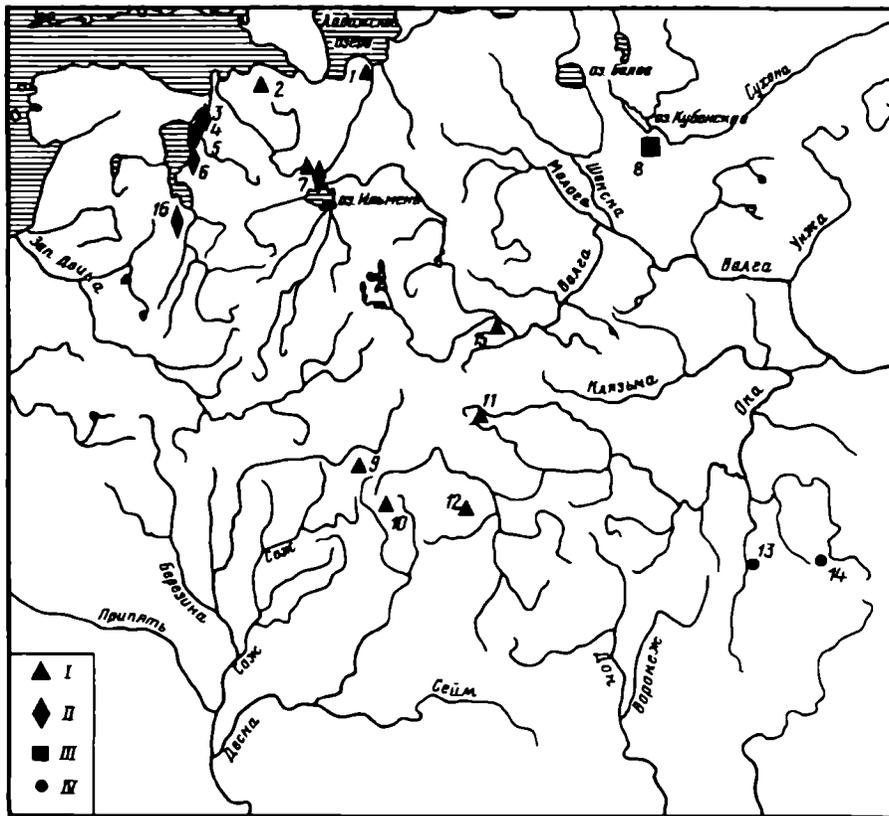


Рис. 2. Распространение шумящих браслетов X — начала XIV в. I — первая группа шумящих браслетов; II — вторая группа браслетов; III — третья группа браслетов; IV — четвертая группа браслетов. 1 — Ладога; 2 — Бегуницы; 3 — Большие Поля; 4 — Гостицы; 5 — Малая Каменка; 6 — Калихновщина; 7 — Новгород; 8 — Вёкса; 9 — Бородино; 10 — Коханы; 11 — Тушков городок; 12 — Серенск; 13 — Крюково-Кужновский могильник; 14 — Пановский могильник; 15 — Тверь; 16 — Лезги (раскопки Г. П. Гроздилова)

Присутствие в орнаменте браслетов исконно славянских сюжетов: «ромб с крючочками», известный в русской народной вышивке XIX — начала XX в., волнистый и жгутовый орнаменты — символы воды — и других — наряду с финно-угорским видом апотропея позволяет интерпретировать шумящие браслеты как факт славяно-финнского культурного взаимодействия [30, с. 278, 520, рис. 30; 31] не только в сфере материальной культуры, но и в сфере идеологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Левашева В. П. Браслеты. Очерки по истории русской деревни X—XIII вв. // Тр. ГИМ. 1967. Вып. 43.
2. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X—XV вв.). М.: Наука, 1981.
3. Булычев Н. И. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М., 1899.
4. Никольская Т. Н. Древнерусский Серенск — город вятических ремесленников // КСИА. 1971. Вып. 125.
5. Никольская Т. Н. Земля Вятичей (К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв.). М.: Наука, 1981.
6. Рабинович М. Г. Древние бронзовые украшения из Тушкова городка // Славяне и Русь. М.: Наука, 1968.
7. Гроздилов Г. П., Третьяков П. Н. Описание находок в Старой Ладоге. Л., 1948.
8. Рябинин Е. А. Отчет об археологических исследованиях Ижорского отряда ЛОИА АН 1977 г. // Архив ИА. Р-1. № 6630—6630^а.
9. Равдина Т. В. Погребения X—XI вв. с монетами на территории Древней Руси. Каталог. М.: Наука, 1988.
10. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX—XIII вв. М.; Л.: Наука, 1966.
11. Амброс А. К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючочками») // СА. 1965. № 3.

12. Жилина Н. В. Тверь в период XII—XV веков: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1988.
13. Седов В. В. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли//МИА. 1960. № 92.
14. Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода//МИА. 1959. № 65.
15. Варенов А. Б. Этнические основы возникновения Новгорода. Дипломная работа//Библиотека кафедры археологии МГУ. М., 1975.
16. Спицын А. А. Гдовские курганы в раскопках В. Н. Глазова//МАР. 1903. № 29.
17. Седов В. В. Водь//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. Т. 12. М.: Наука, 1987.
18. Спицын А. А. Курганы С.-Петербургской губернии в раскопках Л. К. Ивановского//МАР. 1896. № 20.
19. Nyikityinskij J. F. Középkori finnugor település a Vologda folyónál. Különlenyomat a Herman Otto muzeum évkönyvé. XXVII Kötetéből. Miskolc, 1989.
20. Среднецинская мордва VIII—XI вв. Саранск, 1969.
21. Крюково-Кужновский могильник//Материалы по истории мордвы VIII—XI вв. Дневник П. П. Иванова. Моршанск: Изд-во Моршанского краеведческого музея, 1952.
22. Воронина Р. Ф. Отчет о раскопках Крюково-Кужновского и моршанского районов Тамбовской обл. 1968 г.//Архив ИА. Р-1. № 3759—2759^а.
23. Голубева Л. А. Меря//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. Т. 17. М.: Наука, 1987.
24. Голубева Л. А. Муромы//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. Т. 17. М.: Наука, 1987.
25. Голубева Л. А. Мордва//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. Археология СССР. Т. 17. М.: Наука, 1987.
26. Недошивина Н. Г. Перстни//Тр. ГИМ. 1967. Вып. 43.
27. Жегалова С. К. Русская народная живопись. М.: Просвещение, 1973.
28. Круглова О. В. Народная роспись Северной Двины. М.: Искусство, 1987.
29. Варенов А. Б. Готовь сани летом//Народное творчество. 1991. № 8.
30. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1988.
31. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.: Наука, 1978.

Издательство «Энциклопедия российских деревень»,
Москва

A. B. VARENOV

THE ANCIENT RUSSIAN TINKLING BRACELETS

S u m m a r y

The article deals with a small group of the ancient Russian bracelets called according to Levashova V. P. the «tinkling» ones of the 10th — beginning of the 14th centuries, and according to Sedova M. V. «the bracelets with the rings». Both their connection with the Finnish world pointed out by the scholars and also some examples of the wrong attribution make it necessary to study the objects more carefully. The author offers four groups of the bracelets: 1 — with the rings on the both edges (found in the Upper Dnieper, Oka and Volga rivers basins); 2 — with the rings on the central axis of a bracelet (typical for Novgorod and the Eastern Tchudskoye lake region); 3 — with the bells on the outer surface of a bracelet (found in Vologda district, Veksa settlement excavated by Nikitinskiy I. Ph. in 1985); 4 — with the trapezium-shaped pendants at the edges (known among the artifacts from the Mordva burial grounds of the 8th — 11th centuries) — fig. 1,2. The pendants include the tinkling rings, trapezium-shaped plates, bells playing a role of a protecting amulet. The similar tinkling rings were on the cult cups and grivnas from the Mordva burial grounds of the 8th — 11th centuries. The tinkling bracelets survived till the 19th—beginning of the 20th centuries. Together with the paw-shaped pendants they can be met on the rite sledge during Maslenitsa feast in the Northern Dvina region. The combination of the typical Slavonic ornaments with the Finnish-Ugric ones make it possible to consider the tinkling bracelets to be the example of the Slavonic-Finnish cultural relations.

Дискуссии

В. В. СИДОРОВ

НЕОЛИТ ДЕСНЫ И ВОЛГО-ОКСКОГО БАСЕЙНА

События первобытной истории редко укладываются в рамки территорий отдельных речных бассейнов, даже таких крупных, как Ока или Десна. Общности, прослеживаемые как археологические культуры, располагались лишь частично в пределах того или иного бассейна, а их связи, порой определяющие этнографический их облик, простирались далеко за границы расселения. Рассмотрение истории населения отдельного бассейна всегда оказывается некоторой условностью, применяемой для удобства изложения. Более того, нередко соседняя территория позволяет более детально расслоить ту смесь, которую представляет археологический материал, на ряд последовательных эпизодов. Особенно полезным оказывается взгляд со стороны в том случае, если в этой стороне имеются доказуемые естественные временные шкалы, на которых могут быть размещены дошедшие сюда следы контактов с соседями, на территории которых таких шкал не хватает.

Среднерусская возвышенность, к склонам которой приурочен деснинский бассейн,— зона тектонического поднятия. Руслу рек здесь глубоко врезаны, процессы эрозии преобладают над аккумуляцией, здесь мала вероятность накопления стратифицирующих слоев. Бассейны же древних озерных систем, а также тектонический прогиб Мещерской низменности, где преобладала аккумуляция отложений, могут служить хронологическими шкалами для всех тех районов, с которыми было связано население Волго-Окского бассейна. Именно это обстоятельство заставляет обратиться к неолиту бассейна Десны, материалам которого посвящены монография [1] и серия публикационных статей [2—6] А. С. Смирнова. Опираясь в основном на исследования Деснинской экспедиции, учитывая материалы предшественников, А. С. Смирнов делает попытку сквозного, охватывающего все варианты культур, обзора развития керамики, каменных орудий, направленности связей и миграций в пределах связанных между собой небольших полесий бассейна Десны и Верхней Оки. Но при этом, если использовать волго-окские материалы, открывается возможность увидеть некоторые закономерности, которые непосредственно на деснинском материале заметить не удалось.

Связь ряда культур южной окраины лесостепи с миром лесного неолита достаточно известна. Она истолковывается как результат влияний, миграции, связывается с подвижками границ ландшафтных зон [7]. Дискуссионно порой бывает направление влияния: так, И. Н. Неприна предполагала связывать происхождение культур ямочно-гребенчатой керамики с северо-украинским неолитом [8]. Не отрицает связь с севером ряда культур и А. С. Смирнов [1, с. 68, 85].

Следует сразу отметить, что памятники Деснинских и верхне-окских групп, если сравнивать их с волго-окскими, не богаты находками и плохо стратифицированы. Культурные остатки, представленные сильно фрагментированной керамикой и каменными орудиями, залегают в аморфном слое песка. Прослежено всего два жилища. Развалы сосудов, судя по компактности, нередко залегают в ямах, но сами ямы не прослеживаются. Это заставляет усомниться в информативности глубинных замеров. На подавляющем большинстве памятников разно-

культурные и одновременные материалы поддаются расчленению лишь типологически, что заведомо ограничивает круг решаемых на таком материале проблем.

А. С. Смирнов делает попытки расчленения смешанных комплексов тщательной горизонтальной и поглубинной фиксацией [1, с. 13—15]. Это позволяет при масштабных раскопках локализовать на памятнике некоторые комплексы, но вовсе не гарантирует их чистоты. Метод нивелировочного стратифицирования с суммированием находок по условным профилям опробован А. Н. Сорокиным на мезолитических памятниках [9, 10, с. 15—16]. Здесь он дает достаточный эффект, так как между отложением последовательных мезолитических комплексов нередко проходили века, если не тысячелетия, и успевал накапливаться материал, вмещающий культурные остатки. Применение же этого метода для разделения неолитических комплексов значительно менее результативно, так как площадки стоянок посещались значительно чаще, одновременные отложения значительно сближены по времени, кроме того, возможно, активнее шло перемешивание слоя в результате хозяйственной деятельности, а естественное накопление наносов могло уменьшиться из-за большей мощности растительного покрова в атлантическом периоде, предотвращавшего делювиальные процессы. А. С. Смирнов может привести лишь два примера, когда на некоторых участках стоянок Витховка 85 и Красное X удавалось расчленить хронологически последовательные комплексы. Но в обоих случаях их последовательность и так не вызвала сомнений.

Встречаемость в аморфных слоях разнокультурных типов керамики не может служить доказательством их сосуществования. Даже если в раскопе представлен участок с однородным материалом, мы не имеем гарантии, что он не включает в себя примесь инокультурного материала, состоящего из находок неатрибутируемых категорий, так как раскоп мог включать не определенную по данному материалу периферию памятника другого времени. Это затрудняет оперирование в качестве сравниваемого объекта, своеобразного «археологического субъекта», комплексом памятника, как это делал В. П. Третьяков, рассчитывающий индексы сходства комплексов, включавших неизвестное количество компонентов [11]. Надежнее и конкретнее, чем комплекс памятника, остается типологически вычленимый комплекс.

Именно к нему и вынужден в основном обращаться А. С. Смирнов, предпринимая возможно более дробную классификацию раннеолитической керамики [1, с. 20—26]. Но здесь возникает другая сложность: из-за фрагментарности материала мы не знаем полной варибельности орнамента одного сосуда, а она может быть достаточно велика. Так, реставрируя раннеолитическую накольчатую керамику Замостья 2 в бассейне р. Дубны, мы сталкиваемся с тем, что в разных зонах может меняться угол наклона и глубина отпечатка, что заставляет включать фрагменты одного сосуда, даже с оттисками одного и того же штампа в разные типы.

Далеко не ясны пределы варибельности типов керамики в границах хронологически узких комплексов. А. С. Смирнов пользуется как аксиомой допущением, что каждому данному моменту данной культуры соответствует один тип керамики, допуская возможность примеси инокультурных сосудов. Но логическим следствием такой аксиомы является невозможность саморазвития культуры, появления новых типов как модификации старых, а также обязательные поиски внешних источников новаций в культуре. Именно это заставляет А. С. Смирнова упорно искать источник появления гребенчатых элементов в орнаменте. Противопоставление гребенчатой и накольчатой орнаментации, характерное для многих исследователей, — это отражение концепции синкретизма в генезисе культур, эта же концепция заложена априорно в выводе о многокомпонентности культур [1, с. 89].

Поиски прародины гребенчатого орнамента А. С. Смирнов вынужден вести по всей Восточной Европе. Достоверно более позднее появление такого орнамента по сравнению с наколом отмечено на Десне, Дону [12], но не менее характерно оно для верхневолжской культуры. Обращаясь к Валдаю, мы находим мощный пласт гребенчатой керамики, но он относится к среднему и позднему неолиту

и датируется значительно позднее раннеолитической гребенчатой керамики. В качестве древнейшей и здесь оказывается накольчатая керамика Котчище 2 и Щепочник [13]. Не оправдано обращение к гребенчатой орнаментации нарвской культуры [1, с. 39]. Эта керамика не имеет ничего общего (кроме терминологии, в какой она описывается) с кругом керамики ее восточных и южных соседей: совершенно иные формы, композиции, технология, да и сами штампы иные. Генетически она входит в круг керамики культуры эртебелле. Спорным является возраст гребенчатой керамики Северо-Востока. То, что здесь она древнейшая, может говорить лишь о появлении керамики в Печорской тайге достаточно поздно. Да и слишком мала вероятность такого влияния малочисленного населения этого района на относительно многолюдный юг, которое заставило бы менять орнаментальную традицию. Не приходится надеяться на получение гребенчатого импульса с Севера: во-первых, здесь тоже древнейшая керамика накольчатая (Чернолесская 3) [14], во-вторых, между Севером и лесостепью лежит территория верхневолжской культуры, где гребенчатого штампа на древнейшей керамике нет.

Можно утверждать, что вся лесная зона (кроме нарвской культуры) получила древнейшую керамику достаточно однородную и с накольчатым орнаментом, с острым и плоско-вогнутым дном, видимо, из одного источника. Такими источниками могут быть Балканы или Средняя Азия. А. С. Смирнов настаивает на связи деснинской накольчатой керамики с Северным Прикаспием [1, с. 37], продолжая традицию выведения керамического импульса от кельтеминарской культуры [15, с. 181, 182]. Источником его должен быть среднеазиатский земледельческий неолит, а не Причерноморье. Но если обратиться к технологической традиции, она ближе оказывается к балканской, к тому же есть передающие звенья — это буго-днестровская и днепро-донецкая культура. Формы, которые могут быть исходными для неолита лесной зоны, имеются в буго-днестровской керамике (Базьков остров, Сокольцы VI, Чернята) [15, рис. 18, 1—3; 42, 5; 56, 4; 98]. Период заимствования керамики лесными культурами мог быть достаточно коротким.

Достаточно быстрое распространение керамики по лесной зоне в среде озерных рыболовов-охотников облегчалось тем, что эти культуры обнаруживают следы контактов, а следовательно, и проводимость культурных связей, за чем стоит реальное родство, и на более ранних стадиях, чего не отрицает и А. С. Смирнов, напоминая о связях песочноровской мезолитической культуры с иеневскими памятниками [1, с. 32, 33]. О том, что связи не прерывались в течение длительного времени и после освоения керамики, говорит параллельное развитие керамики в культурах Десны, Верхней Волги, Дона: ни один вид орнаментации в раннем неолите не является эндемическим, специфическим для одной какой-нибудь культуры.

На материалах керамики раннего неолита мы прослеживаем не миграции племен, не просачивание отдельных общин на чуждую территорию, а только направленность и интенсивность связей, за которыми должны видеться в первую очередь связи брачные. Керамика — часть «женской культуры», и она обнаруживает значительно большую мобильность, чем кремневая индустрия, которая в итоге оказывается гораздо более локальной. Кроме того, керамика позволяет фиксировать моменты освоения новой технологии. Так, композиции и технология древнейших типов керамики культуры сперрингс [16] воспроизводят таковые керамики второго этапа верхневолжской (по Е. Л. Костылевой [17]), что говорит о несколько более позднем освоении керамики в Карелии. Это орнаментация отступающей палочкой, ложношнуровой рисунок, сложный ковровый орнамент, присутствие шамота в тесте. Соответственно в керамике второго этапа сперрингс проявляются черты позднего этапа верхневолжской (пояски разнонаклонные, вертикальный зигзаг, разделяющие строчки ямочных наколов, примесь дресвы), но типы штампов сперрингс на этом этапе оригинальны (в основном рыбий позвонок), хотя сам принцип орнаментации строго определенным набором костей

встречается и в других культурах севера. На поздней керамике сперрингс явственны следы контактов с архаичной льяловской керамикой (чередование поясков рисуемого штампа и ямок, соединение ямок в зигзаг или решетку прочерченными или штампованными линиями, утолщенный венчик, перенасыщенное дресвой тесто, одинаковы формы сосудов).

Наблюдения над верхневолжской керамикой показывают, что противопоставление гребенчатого и накольчатого штампа искусственно. Здесь достаточно обычны установка зубчатого штампа в технике накола, при которой зубчатость проявляется далеко не во всех отпечатках. Одни и те же композиции выполняются скорописным методом — отступающим штампом — «ложным шнуром» — и зубчатым штампом. Иногда при плохой сохранности черепка они оказываются неразличимы. Зубчатый штамп появляется сначала как один из видов накольчатого, затем, после формирования орнамента из сложных плетеночных рисунков отступающим штампом появляется и крупный зубчатый штамп, воспроизводящий те же рисунки, но более простым способом.

Почему в одних местах отступающий накол трансформировался в зубчатый штамп, а в других сохраняется в практически первозданном виде тысячи лет? Почему так похожи бывают некоторые гребенчатые композиции позднего этапа верхневолжской и раннего — волосовской, разделенные не менее чем тысячелетним интервалом? Орнаментация — не такой признак, который обнаруживает закономерное направленное развитие. Этот фактор не связан с хозяйственным и технологическим прогрессом. Сохранение или изменение каких-либо элементов орнаментальной традиции нет необходимости объяснять рационально — они вне рациональности. Заимствование всегда происходит по нескольким признакам — это внедрение в культуру целостных комплексов, а не только их элементов. Инкорпорирование ли в состав группы иноплеменника, обучение ли новой технологии всегда вносит в принимающую культуру целый пучок информационных систем, хотя лишь часть их может быть выявлена археологически. При этом заимствования не всегда тождественны исходному комплексу — очень многое зависит от формы передачи, и искажения в передаче заимствования могут нести информацию о способе передачи (подражание навыку, подражание увиденному предмету, словесная передача, воспоминания о виденном). Так, в утрированных признаках венчиков некоторых поздненеолитических сосудов Карелии, напоминающих венчики протоволосовской или мстинской керамики, можно видеть воздействие аберрации памяти или вербальной передачи информации. Только комплексность, связь независимых признаков гарантирует от того, что за признаки влияния не будут приняты конвергентные явления.

Сопоставляя ранненеолитическую культуры Десны и верхневолжскую, А. С. Смирнов видит больше различий, чем сходства. Правда, «образ» верхневолжской культуры сложился на основе сугубо предварительных публикаций, не строившихся на проработке материалов конкретных комплексов, а лишь на общем впечатлении, от которых отказались частично и авторы. Так, пластинчатая техника давно уже не считается характерной чертой верхневолжской культуры: пластины, и то отнюдь не многочисленные, присутствуют лишь на начальном этапе и полностью исчезают к позднему. Так что 4—5% пластин в ранненеолитических комплексах Десны не противопоставляют их верхневолжским — там их не больше.

Очень странной представляется А. С. Смирнову верхневолжская керамика [1, с. 29, 35]. Отдельные редкие случаи он принимает за типичные. Например, окраска охрой, возможно, присутствует на двух-трех сосудах, но, скорее всего, это ошибка в истолковании цвета черепка. Это явно не является основанием для противопоставления данных культур. Резной орнамент отмечается лишь на достаточно ограниченной территории в материалах позднего этапа верхневолжской культуры и вовсе не может применяться для ее характеристики в целом. Не ясно, откуда берется утверждение, что на верхневолжской керамике отступающий штамп расположен «строго перпендикулярно движению» — это характерно для

сперрингс, а не для верхневолжской, где такие случаи редки. Трудно утверждать, что в верхневолжской керамике отступающий штамп играет подчиненную роль: на ранних этапах он господствует, сохраняется и в составе гребенчатого орнамента позднего этапа, изредка появляется и на архаичной льяловской.

Верхневолжская раннеолитическая культура благодаря хорошей сохранности материала в шлейфах многослойных поселений может использоваться как хронологический эталон для соседних культур, с которыми она поддерживала достаточно тесные контакты, что видно по одинаковой направленности развития керамики в них. Е. Л. Костылевой разработана достаточно подробная шкала развития верхневолжской керамики. Следует напомнить только о полной преемственности между этапами и о сохранении элементов предыдущего этапа в последующем. Деснинская раннеолитическая культура обнаруживает достаточно полный параллелизм с двумя ранними этапами, имеются элементы третьего этапа. И лишь на позднем этапе верхневолжской культуры, когда господствует гребенчатая орнаментация керамики и меняется ее технология, действительно прерываются или существенно сокращаются связи этих бассейнов. Верхневолжская в это время переориентирована на связи с Волго-Камской культурой, фиксируемые по совпадению многих признаков керамики. Если же суммировать признаки разных этапов верхневолжской культуры, как это делает А. С. Смирнов, то действительно можно получить заметные различия с деснинским ранним неолитом.

Датировка первых двух этапов верхневолжской культуры, с которыми и обнаруживает близость деснинский ранний неолит, не выходит за пределы первой половины V тыс. до н. э. Материалов, которые имели бы сходство с поздним этапом верхневолжской, в публикациях не представлено. Разрыв со средним неолитом возрастает примерно до 1300 лет. Мала вероятность запустения бассейна на такой срок. Гораздо логичней предполагать, что часть типов, включенных А. С. Смирновым в иные этапы, должна заполнять этот разрыв и можно попытаться выделить эти материалы.

Разрыв между ранним неолитом, с одной стороны, и средним (по А. С. Смирнову, развитым [1, с. 42]) и поздним (следовательно, еще более развитым) неолитом — с другой — носит, по-видимому, искусственный характер, производный от метода исследования. Деснинская средне-позднеолитическая культура характеризуется более всего ромбоямочной (белевской) керамикой, не обнаруживающей никаких связей с предшествующим этапом, нет прототипов ей и на соседних территориях. Выстроив развитие деснинской культуры на основе развития ромбоямочной орнаментации от правильной и четкой к менее правильной и оснащенной дополнительными элементами, А. С. Смирнов ставит проблему генезиса в безвыходный тупик. Отклонения от стандарта им рассматриваются как отход от начальной точки, и, следовательно, невозможно увидеть, что же было по другую сторону от нее. Но выделяемый А. С. Смирновым стандарт может быть и срединной точкой ее развития, отклонения от стандарта могут нарастать в обе стороны. Так, поставленный наискось ромб может рассматриваться как разновидность накола — он действительно выполнялся в той же технике, что и ложношнуровые рисунки [1, рис. 15, 15; 16, 1]. Характерно, что здесь же встречается керамика, которую можно рассматривать как архаичную льяловскую [1, рис. 15, 27; 20, 4]. Связи между льяловской культурой на раннем этапе простирались до бассейна Сейма: реконструированный гребенчатоямочный сосуд со стоянки Погореловка-Вырчище [8] находит аналогии именно в ранних слоях, непосредственно налегающих на верхневолжские и датирующихся рубежом V—IV тыс. до н. э. Так может заполняться разрыв между ранним и средним неолитом Десны.

Керамика с правильным ромбом, относимым А. С. Смирновым к начальному этапу деснинской культуры, встречается в льяловских комплексах ограниченной территории западного Подмосковья (Полецкая 1, Никольская-Правая и Тростенская 1). Самая восточная из стоянок с такой керамикой — Льялово 1. Правда, здесь она практически всегда имеет и гребенчатые пояски, по крайней мере по

венчику, что по А. С. Смирнову заставляет ее рассматривать уже как позднюю. Два сосуда с Полецкой имеют сочетание белемнитных и ромбических ямок, что говорит о смешении традиций. Комплексы, в которые входит ромбоямочная керамика, могут быть отнесены к позднему (но не редкоямочному) этапу, начало которого датируется нижним слоем «жилища 1» стоянки Сахтыш 1 около 3200 г. до н. э. [18] (истолкование этой западины как жилища вызывает сомнение). Льяловская культура в этих районах не доживает до этапа редкоямочной керамики, и финал ее связан с распространением протоволосовской около 2850 г. до н. э.

Ромбоямочная керамика в западной части льяловского ареала — один из самых ярких признаков верхнемосковского локального варианта этой культуры. Восточнее, в Мещеру, влияние деснинского неолита практически не распространилось, хотя и здесь единично встречаются ромбоямочные сосуды наиболее поздних типов (Маслово болото 8, 14, Святое озеро 1). Все это говорит об избирательности связей, которые касались очень ограниченной части населения льяловской культуры.

К поздним типам отнесены сосуды с рубчатым и неправильным ромбом (что не вызывает возражений), а также сочетающие ромбический и гребенчатый штамп. В названных комплексах встречается как ранняя, так и поздняя (по А. С. Смирнову) ромбоямочная керамика. Это позволяло бы датировать оба этапа в пределах времени позднего этапа льяловской культуры (3200—2800 лет до н. э.). Следов контактов с деснинской культурой на предыдущем этапе льяловской не встречено, поэтому нет оснований датировать ее более ранним временем, как это делает А. С. Смирнов [1, с. 76]. Наиболее поздние следы ромбоямочной керамики фиксируются в протоволосовских комплексах (Маслово болото 4, 8, Варос), а фрагменты с плоским рубчатым ромбом встречены в середине ранневолосовского слоя Никольской-Правой на Тростенском озере. В финальнольяловских комплексах с редкоямочной керамикой, которые могут быть синхронны протоволосовским и ранневолосовским, никаких признаков ромбоямочной керамики нет. Таким образом, последние следы ее в Волго-Окском междуречьи обрываются не позднее 2750 г. до н. э.

Финал западного локального варианта льяловской культуры связан с распространением керамики протоволосовского типа, которая генетически совершенно не связана с льяловской. Она тождественна гребенчатой керамике Валдая. Мы рассматриваем здесь мстинскую культуру, выделяемую М. П. Зиминой [19] как часть более широкой общности, охватывающей весь Валдайский озерный край. Из-за того что эта культура обнаруживает редкую активность в миграциях, затруднительно определить ее границы.

Контакты позднельяловских групп с Валдаем фиксировались и до этого момента: в комплексы позднего этапа включены типичные валдайские сосуды (Языково 1, Никольская-Правая, Полецкая), а на озерах мстинско-моложского водораздела располагается локальный вариант с керамикой, отражающей явную гибридизацию льяловских и валдайских традиций. Такие же валдайские гребенчатые сосуды встречаются и в составе деснинских комплексов. Широко представлены они и на Верхнем Днепре. Тождественная валдайская керамика распространяется вниз по Даугаве, где она известна под именем прибалтийской ямочно-гребенчатой [20]. Термин неудачен, поскольку в нем отражается предполагаемое генетическое родство с льяловской ямочно-гребенчатой, которого нет.

Наше использование термина «протоволосовская культура» отличается от применения его Д. А. Крайновым [18]. Он включает в нее комплексы редкоямочной керамики, а также тонкостенную с примесью раковины, практически уже волосовскую раннюю. В таком контексте термин сохраняет только хронологический смысл, поскольку редкоямочная керамика не связана с генезисом волосовской, являясь финалом льяловской культуры, не исключено, однако, что в волосовском окружении. Я применяю этот термин только к комплексам с гребенчатой керамикой, залегающим между позднельяловскими и ранневолосовскими, генетически связанными с Валдаем, с одной стороны, и с волосовской культурой — с другой:

практически полностью повторяя валдайскую керамику, они находятся на территории, где в дальнейшем существовала волосовская культура, сохранившая от протоволосовской очень много деталей (формы сосудов, состав штампов), но освоившая иную технологию.

Видимо, с вытеснением западного варианта льяловской культуры связано появление ромбоямочной керамики в Карелии. Совпадают даты этого момента и типы как ромбоямочных, так и круглоямочных сосудов [21]. Последние связаны не только с этим локальным вариантом — слишком велика близость круглоямочной керамики Черной речки II [22] к позднельяловской керамике южного Приладожья [23] и бассейна р. Костромы, особенно Федоровского поселения [24], которые связаны с южной Карелией достаточно легким водным путем. Но именно здесь — промежуточный пункт, где встречается и ромбоямочная керамика. Таким образом, путь миграции западного локального варианта должен был идти вверх по Шексне, на Кубенское озеро, с перевалом у оз. Белого в Онегу, через оз. Воже и Лача — по древнему стоку Пра-Волги. Нет достаточных оснований искать генезис ромбоямочной керамики ни в Подмосковье, ни тем более, в Карелии.

Миграция носителей гребенчатой валдайской керамики на восток происходила в начале III тыс. до н. э. В эту миграцию были вовлечены и представители верхне-днепровской культуры с лапчатой керамикой. Совершенно однозначно она включена в противолосовский и ранневолосовский слои Маслово Болото 4. Лапчатая керамика этих слоев несколько отличается от тех типов, которые появляются здесь же в самом финале волосовской культуры, частью сменяя ее (Маслово Болото), частью смешиваясь с ней (Языково, Центральная Мещера, Нижняя Ока), порождая постволосовскую дубровичскую культуру [25] в Мещере и имерскую на нижней Оке [26]. Это показывает, что лапчатая керамика возникает до начала волосовской миграции, т. е. в пределах IV тыс. до н. э., и продолжает существовать, видоизменяясь, вплоть до конца III тыс. до н. э. Имеется свидетельство также сосуществования лапчатой керамики с поздней льяловской — это сосуд со стоянки Полецкая 1, с примесью органики и кровавика в тесте, орнаментированный круглыми ямками, поясами лапчатых отпечатков и широкими поясами оттисков этого же штампа, установленных не углом, а плашмя.

Генезис лапчатой керамики должен решаться на материалах Белоруссии. А. С. Смирнов видит один из моментов ее становления в комплексе Добродеевки II [1, 6]. Эта керамика обладает очень характерной примесью, оставившей поры в виде отпечатков травы (злаковые, осока). Она же имеется у части лапчатой керамики Десны и не встречается у лапчатой керамики восточных районов.

А. С. Смирнов рассматривает поздние ромбоямочные и лапчатые сосуды как сосуществующие на стадии позднего неолита. Волго-Окские материалы скорее позволяют говорить не о сосуществовании, а о смене населения. Здесь преобладает лапчатая керамика позднего типа, которая в Волго-Окском бассейне встречается в финально-волосовских комплексах, т. е. не ранее конца III тыс. до н. э., не имея в своем составе никаких элементов, ромбоямочной. Складывается картина вытеснения, как и в Подмосковье, носителей ромбоямочной керамики носителями гребенчатой керамики валдайского типа, в котором участвовали носители культуры лапчатой керамики, при преобладании последних на Десне и первых — на Оке и Волге. Тогда миграции в Карелию могли происходить не только из западного Подмосковья, но и непосредственно с Десны. На это намекает и существование чистых ромбоямочных комплексов в Карелии, которое было бы невозможно, если бы эта волна состояла только из переселенцев с территории льяловской культуры.

По-видимому, с этой миграцией связано также появление североукраинской культуры ямочно-гребенчатой керамики, которая обнаруживает достаточное сходство с позднельяловской и позднедеснинской при некотором участии полесского компонента, для которого характерно на протяжении всего неолита регулярное

использование жемчужин в орнаменте и выделение крупными ямками горла сосудов [27]. Ее существование на южных границах деснинских полесий — всего-навсего небольшой территориальный сдвиг. Время этих памятников может совпадать со временем существования волосовской культуры, что и подтверждается датировкой их серединой III тыс. до н. э. Один из моментов миграции вытесненного льяловского населения — появление Долговской стоянки [28], которая наиболее близка к западнорусскому локальному варианту льяловской культуры, тоже исчезнувшему при миграции протоволосовцев.

А. С. Смирнов указывает, что термин «белевская культура», с каким привычно связывается тип ромбоямочной керамики, не имеет права на существование, поскольку Белевский район — это всего лишь периферия деснинской группы или зона контакта с западнольяловской, с чем можно согласиться, если бы не удобство термина для обозначения типа, а не культуры. Ни количество, ни качество памятников белевской группы не позволяют ей претендовать на таксономический уровень культуры [1, с. 71, 72; 5].

Следует, однако, четко определить, какого уровня общность подразумевается под археологической культурой. Если за археологическими культурами стоят этнические общности, отражая в археологическом материале связь предков и потомков, а также избирательную связь современников, то структура этой общности должна быть адекватна этнографически наблюдаемым структурам. Минимальная общность — племя читается как локальный вариант. Племя состоит из нескольких локальных групп — общин, в основе которых группа кровных родственников (общине соответствует локальная группа памятников, привязанная к одной ландшафтной единице — озеру, отрезку долины реки с достаточным количеством угодий). Археологическая культура, включающая несколько локальных вариантов, адекватна этносу, соплеменности [29].

Никаких локальных вариантов деснинской культуры в настоящее время выделить не удастся. Следовательно, нет оснований говорить о племенах во множественном числе, как это делает А. С. Смирнов. Речь здесь идет о единственном племени. Множественность памятников не свидетельствует о многочисленности народа: деснинские памятники говорят о довольно малой степени оседлости, при которой не формировалось специфического культурного слоя. Следовательно, каждая из групп в процессе своей хозяйственной деятельности должна была осваивать достаточно большой район. Можно заметить на карте, представленной А. С. Смирновым, что здесь имеется около восьми локальных групп — это обычный состав племени.

В изложении А. С. Смирнова энеолит так же обособлен от предыдущего этапа, как и средний неолит от раннего. Часть памятников связывается им с ответвлением степных энеолитических культур, временами занимавших некоторые участки Деснинского бассейна.

К энеолиту, «параллельному волосовской культуре», отнесен боровичский тип. Действительно, в нем можно видеть некоторые северные элементы, но не волосовские, а постволосовские, возникшие уже в результате взаимодействия волосовской культуры с пришлыми скотоводческими культурами. Особенно близки боровичскому типу материал верхнего слоя Языково 1, который формировался после ассимиляции носителей лапчатой керамики: и в верхних слоях поздневолосовских памятников Мещеры, также возникших после поглощения верхнеднепровских мигрантов. Некоторые элементы поздняяковской культуры говорят не о истоках этой культуры в боровичском типе, а скорее об их контактах. Следовательно, данный тип значительно позднее, чем полагает А. С. Смирнов, — относится к 1700—1400 гг. до н. э. и может быть синхронен среднеднепровской культуре, как пережиточно-волосовские комплексы Волго-Окского бассейна синхронны фатьяновской.

В итоге, если посмотреть на изложенный А. С. Смирновым материал с предложенных позиций, может быть очерчена существенно иная история этого района. Вкратце она может быть резюмирована следующим образом.

1. Песочно-ровская и иневская культуры мезолита — это одна общность, длительно контактировавшая и роднившаяся с бутовской, что определило проходимость культурных связей, выразившихся в передаче навыков изготовления керамики из бассейна Днепра в бассейн Волги.

2. Связи на стадии раннего неолита достаточно интенсивны, но ослабевают во второй половине V тыс. до н. э., что выразилось в формировании разных типов керамики в это время.

3. На стадии среднего неолита связи, спорадические в начале IV тыс. до н. э., становятся очень интенсивными, но замыкаются на одном локальном варианте льяловской культуры. Около 3000 г. до н. э. появляются связи с Валдаем и, возможно несколько ранее, с бассейном Сожа.

4. Вскоре после этого мощная миграция верхнеднепровских и валдайских групп вытесняет деснинское и западнольяловское племена на север, где они известны под именем карельской культуры, часть их, а также восточные соседи также мигрируют — в лесостепи, на восток, на север. Такие группы оказались и на юге Деснинского бассейна, и на Сейме.

5. В течение III тыс. до н. э. бассейн Десны занят в основном сожским племенем с лапчатой керамикой. Сохраняется взаимодействие его с валдайскими племенами. Спорадические контакты с волосовской культурой. Но в конце III тыс. это племя оказывается вытесненным, видимо, из всего бассейна Днепра среднеднепровской культурой, мигрирует к своим давним союзникам, а может быть — родственникам, волосовским племенам, оседают на территории некоторых из них и здесь ассимилируются.

6. Среднеднепровское племя не полностью заняло бассейн Десны, что позволило просочиться сюда — на родину — носителям боровичского типа и существовать здесь со среднеднепровской культурой, ассимилируясь ими при освоении производящего хозяйства. Возможно — это след сохранившейся здесь группы, не уходившей на территорию волосовской, но поддерживавшей связи с родственниками, ушедшими на северо-восток.

Такая схема, при всей своей гипотетичности, позволяет снять противоречия в истолковании Деснинского неолита и привести его в соответствие со схемой неолита Волго-Окского бассейна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнов А. С. Неолит верхней и средней Десны. М., 1991.
2. Смирнов А. С. Неолитическая стоянка Лунево II//СА. 1978. № 2.
3. Смирнов А. С. Неолитическая стоянка в урочище Бесец-Белынец//СА. 1979. № 2.
4. Смирнов А. С. Новые неолитические памятники Брянского Подесенья//СА. 1982. № 2.
5. Смирнов А. С. Неолитические стоянки Жеренских озер//СА. 1982. № 3.
6. Смирнов А. С. О раннем неолите Верхнего Поднепровья//СА. 1986. № 1.
7. Бадер О. Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.: Наука, 1970.
8. Неприна В. И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики Украины. Киев: Наук. думка, 1976.
9. Сорокин А. Н. Опыт исследования мезолитических памятников с неокрашенным культурным слоем//Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тез. докл. М., 1987.
10. Сорокин А. Н. Бутовская мезолитическая культура. М., 1990.
11. Третьяков В. П. Волосовские племена в Европейской части СССР. М.: Наука, 1990.
12. Синюк А. Т. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж, 1986.
13. Гурина Н. Н. К вопросу о раннем неолите Верхнего Поволжья//Памятники древнейшей истории Евразии. М.: Наука, 1975.
14. Лузгин В. Е. Древние культуры Ижмы. М.: Наука, 1972.
15. Даниленко В. Н. Неолит Украины. Киев: Наук. думка, 1969.
16. Титов Ю. В. О культуре сперингс//Археологические исследования в Карелии. Л., 1972.
17. Костылева Е. Л. Хронология, периодизация и локальные варианты верхневожской ранне-неолитической культуры: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06. М., 1987.
18. Крайнов Д. А. Хронологические рамки неолита Верхнего Поволжья//КСИА, 1978. Вып. 153.
19. Зимица М. П. Неолит бассейна р. Мсты. М.: Наука, 1981.
20. Лозе И. А. Поселения каменного века Лубанской низины. Рига: Зинатне, 1988.
21. Журавлев А. П. Энеолитический этап в карельской археологической культуре и проблема его датировки//КСИА. 1979. Вып. 157.

22. Лобанова Н. В. Неолитическая стоянка Черная речка II//Археологические памятники бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 1984.
23. Ошибкина С. В. Неолит Восточного Прионежья. М.: Наука, 1978.
24. Фосс М. Е. Керамика Федоровской стоянки//ТСА РАНИОН. 1928. Т. 4.
25. Фоломеев Б. А. К вопросу о памятниках дубровичского типа бассейна средней Оки//КСИА. 1975. Вып. 141.
26. Третьяков В. П. Поселение Имерка 5 — памятник эпохи энеолита в Примокшанье//СА. 1987. № 1.
27. Исаенко В. Ф. Неолит Припятского полесья. Минск, 1976.
28. Левенок В. П. Долговская стоянка и ее значение для периодизации неолита на Верхнем Дону//МИА. 1965. № 131.
29. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973.

Институт археологии РАН,
Москва

V. V. SIDOROV

THE NEOLITHIC IN THE DESNA AND VOLGA-OKA RIVERS BASINS

Summary

Smirnov A. S. studied the history of the Neolithic population of the Desna river basin using the artifacts found on the sites with the not well-founded stratigraphy. Its correction together with the perfect stratigraphy of the Volga-Oka rivers basin sites connected with the Desna river basin population makes it possible to revise Smirnov's conclusions and offer the other model of the historical process. The ties between the Desna river Neolithic population and the Upper Volga culture tribes seem to be closer as it was considered by Smirnov before. Nevertheless the analogies can be found only in the most ancient complexes (till the mid. of the 5th millennium BC). The complexes marked out as the middle Neolithic ones should be dated by the analogies to the end of the 4th millennium BC. The time gap can be filled with the artifacts found on the Late Neolithic mixed sites. The middle and the Late Desna river Neolithic tribes with the pit-comb ware had the close ties with the western type of the Lyalovo culture which was forced out (probably together with the Desna culture) by the migrating Valday population about 2850 BC. It led to the Volosovo culture's forming. The forced out groups formed the Karelia Eneolithic culture and the pit-comb ware culture of the Northern Ukrain. The Upper Dnieper culture tribes (as the Volosovo culture ones) also occupied the Desna river basin in the 3rd millennium BC. They were included by Smirnov into the Late Neolithic complexes of the pit-comb ware. The Upper Dnieper culture was forced out by the corded ware cultures from the Desna river basin and migrated to the Volosovo culture territory where it was assimilated with the last one. Borovitchy type was simultaneous to the post Volosovo complexes influenced by the Pozdnjakovo culture of the middle of the 2nd millennium BC.

А. В. ЦИРКИН

В ЗАЩИТУ КОШИБЕЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Становление кошибеевской культуры прошло сложный и длительный путь. Еще на заре нашего столетия первый исследователь Кошибеевского могильника А. А. Спицын высказал мнение о выделении памятников указанной группы в особую культуру, поскольку они обладали рядом специфических черт, не свойственных древностям р. Оки. Среди отличительных черт автор отметил следующие: остатки гробовин в большинстве захоронений, большие размеры могильных ям, отсутствие трупосожжений и восточная ориентировка умерших.

Далее, исследуя Сергачевский могильник близ Кожиной слободы, А. А. Спицын отметил полное сходство его материалов с Кошибеевским, и на этом основании он отнес его к памятникам кошибеевской культуры [1, с. 67]. Спустя 40 лет, обращаясь к памятникам междуречья Оки и Волги, А. П. Смирнов рассматривал могильник кошибеевского типа как особую группу, в которой захоронения совершались довольно продолжительное время, начиная с I в. и кончая VII в. [2, с. 141—146].

В 1952 г. в «Очерках по древней и средневековой истории народов Поволжья и Прикамья» он несколько изменил свою точку зрения, подчеркнув, что в числе могильников междуречья Оки и Волги, неопределенных с точки зрения этнической принадлежности находится Кошибеевский, который в литературе совершенно неправильно относят к памятникам пьяноборской культуры. А. П. Смирнов, очертил круг памятников, которые, по его мнению, следует отнести к кошибеевским. Это могильник у с. Ядрино в Чувашии и могильник на Криушской дюне, инвентарь которых аналогичен кошибеевским [3, с. 135]. Следует отметить, что П. Н. Третьяков, работая с топонимическими данными Волго-Окского междуречья, не уделил особого внимания гидронимам, которые можно было бы связать с населением кошибеевской культуры [4, с. 9—18].

В 1965 г. на конференции по этногенезу мордовского народа Н. В. Трубникова впервые определенно выделила группу памятников, расположенных в бассейне рек Цна и Сура, куда вошли не только могильники, но и городища, в особую кошибеевскую культуру. Автор заметила, что эти памятники по содержанию материальной культуры, типам вещей, погребальному обряду, типам жилых строений, конструкции оборонительных укреплений имеют общие черты и вполне закономерно должны рассматриваться как принадлежащие одним и тем же племенным группам, одной и той же археологической культуре [5, с. 53—61]. На упомянутой выше конференции с большим докладом, посвященным этногенезу мордовского народа по археологическим данным, выступил А. П. Смирнов. В опубликованной затем статье он повторяет данную им несколько своеобразную оценку этнической ситуации в этом районе. С учетом специфики костюма, женских украшений, по мнению автора, на территории Западного Поволжья жили хотя и родственные, но различные племена: область рязанского течения занимали племена со специфичными украшениями и головным убором; на Нижней Оке жила мурома; какие-то племена, близкие мордве, жили по чувашскому течению р. Волги, и, наконец, на реках Цне, Мокше и Суре жили мокша и эрзя [6, с. 21]. Таким образом, у А. П. Смирнова нет даже упоминания об особой кошибеевской группе памятников, для которых не нашлось места на этнической карте западноволжского региона.



Рис. 1. Археологический предметный комплекс кошибеевской культуры. 1 — нарукавное украшение; 2, 3 — шейные гривны; 4, 6, 7 — височные привески; 5 — браслет; 8, 11 — застежки; 9 — перстень; 10, 14, 15, 18, 19 — сосуды; 12 — заплесные привески; 13, 17 — нагрудные бляхи; 16 — реконструкция женского головного убора (погр. 12); 10, 14, 15, 18, 19 — глина, остальное бронза. 1 — Кошибеево, п. 10, 29, 38; 2 — Кошибеево п. 6, 7, 20, 32, 42; 3 — Кошибеево п. 4, 12, 18, 30, 36, 46, 50, 52—54, 57, 58, 62, 63, 72; Польное-Ялтуново п. 5; 4 — Кошибеево, п. 68, 70, 81, 108; 5 — Кошибеево, п. 40, 50, 73, 108; Польное-Ялтуново, п. 5, 13; Ножа-Вар, п. 3; 6 — Кошибеево, п. 49; 7 — Кошибеево, п. 12, 26, 31, 42, 46, 58; Польное-Ялтуново, п. 1, 5; 8 — Кошибеево, п. 6, 7, 9—11, 16, 21, 34, 35, 38, 40, 41, 50, 69, 73, 75, 89, 108; Польное-Ялтуново, п. 7; Сергачевский «Святой Ключ», п. 1; 9 — Кошибеево, п. 7, 18, 33, 43, 49, 50, 69, 76; 10 — Кошибеево, п. 31, 42, 51, 75, 81, 85, 97; 11 — Кошибеево, п. 24, 33, 49, 70, 76; 12 — Кошибеево, п. 2, 6, 41, 81, 106; 13 — Кошибеево, п. 26, 27, 50, 53, 54, 62, 64, 76; 14 — Польное-Ялтуново, п. 10; 15 — Кошибеево, п. 63, 74, 88; 16 — Кошибеево, п. 12, 54, 91; 17 — Кошибеево, п. 25, 58, 95—97; Польное-Ялтуново, п. 1, 5; 18 — Кошибеево, п. 34, 41, 61, 79, 104; 19 — Польное-Ялтуново, п. 2

В статье «Кошибеевский могильник» В. Н. Шитов выдвинул положение, полностью ниспровергнувшее данную культуру и рассматривающее ее могильники как один из этапов развития рязано-окской культуры. «Итак,— пишет автор,— в истории рязано-окских племен выделяются три периода: кошибеевский — II—IV вв.; борковско-кузьминский — V—VII вв.; курмано-шокшинский — VIII—XI вв. Первый из них характеризует формирование культуры этого населения, во втором периоде происходит наиболее широкое расселение рязано-окских племен на всей Средней Оке и в Нижнем Примокшанье» [7, с. 20]. Следовательно, в интерпретации В. Н. Шитова, такой культуры в Западном Поволжье не существовало и поэтому кошибеевские могильники есть не что иное, как начальная фаза развития рязано-окской культурной общности.



Рис. 2. Археологический предметный комплекс рязано-окской культуры. 1, 4, 5, 8 — височные привески; 2 — нарукавные украшения; 3, 6 — шейные гривны; 7, 10, 11 — браслеты; 9, 12 — нагрудные бляхи; 13 — перстень; 14, 15 — сосуды; 16 — заплесные подвески; 17 — застежка; 18 — налобный венчик; 19 — реконструкция женского головного убора (Шатрищенский могильник, погр. 142); 14, 15 — глина, остальное бронза. 1 — Борковский, п. 23, 38, 108; Кузьминский, п. 5, 35; Шатрищенский, п. 117, 137; Гавердовский, п. 14, 17, 23; 2 — Кузьминский, п. 19; 3 — Борковский, п. 23, 38, 92; Кузьминский, п. 4, 5, 12, 22, 36, 38; Гавердовский, п. 3; 4 — Борковский, п. 37, 56, 61, 87; Кузьминский, п. 42, 50, 85, 135; Гавердовский, п. 1, 27; Заколпский, п. 2, 3; 5 — Борковский, п. 70, 109; Кузьминский, п. 22, 27, 51; 6 — Борковский, п. 44, 46, 56, 61, 87, 95, 101; Кузьминский, п. 5, 22, 35, 57, 66, 69, 71, 90; Заколпский, п. 2; Гавердовский, п. 14; Курманский, п. 38; Кулаковский, п. 3; Старо-Кадомский, п. 7, 14, 19, 20; Шокшинский — 98, 111, 203, 217, 243; 7 — Борковский, п. 8, 23, 78, 95, 107; Кузьминский, п. 5, 21, 38, 54, 96; 8 — Борковский, п. 44, 75; Кузьминский, п. 30, 90; Шатрищенский, п. 168; Шокшинский, п. 61, 120, 123, 149, 243, 368, 423, 482, 485, 524, 673; 9 — Борковский, п. 2, 54, 61, 69, 87; Кузьминский, п. 15, 22, 31, 42, 71; Шатрищенский, п. 67, 145, 153; Курманский, п. 24; Старо-Кадомский, п. 3, 8, 14, 19—22, 31, 36; Шокшинский, п. 40, 202, 204, 219, 243, 365, 452, 455; Гавердовский, п. 15; 10 — Борковский, п. 28, 87, 97; Кузьминский, п. 12, 16, 35, 42, 50, 71, 72; Гавердовский, п. 14; 11 — Борковский, п. 2, 5, 30, 39, 42, 44, 46, 55, 59, 66, 72, 82; Кузьминский, п. 6, 12, 15, 27, 30, 51, 60, 67; 12 — Борковский, п. 43, 105, 107, 108; Кузьминский, п. 5, 20, 36, 66, 68, 69, 72, 95; Шатрищенский, п. 24, 137, 149, 152; Гавердовский, п. 3, 10, 23; Курманский, п. 19; Старо-Кадомский, п. 7, 13, 46; Шокшинский, п. 61, 94, 111, 120, 123, 203, 215, 235, 243, 423, 428, 452, 455, 526, 673, 697; 13 — Борковский, п. 20, 22, 24, 26, 30, 31, 43, 61, 65, 79, 80, 87, 102, 108; Кузьминский, п. 5, 7, 16, 19, 23, 30, 31, 35, 55, 66, 69; Старо-Кадомский, п. 6, 8, 14, 20, 36, 42, 46, 57; Шокшинский, п. 1, 3, 4, 20, 34, 65, 98, 101, 423, 426, 486, 524; 14 — Кузьминский, п. 13, 53, 76; Старо-Кадомский, п. 5; Шокшинский, п. 12, 40, 65, 103, 144, 215, 482, 487; 15 — Борковский, п. 69; Кузьминский, п. 7, 16, 25, 40, 45, 48, 56; 16 — Борковский, п. 70, 95, 110; Кузьминский, п. 20; 17 — Борковский, п. 8, 11, 15, 23, 33, 37, 55, 60, 86, 101, 102, 107; Кузьминский, п. 3, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 37, 39, 42, 51, 56, 60, 65, 71, 72, 75, 82, 91; Гавердовский, п. 4, 23; Старо-Кадомский, п. 3, 6, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 34, 36, 38, 48; Шокшинский, п. 30, 40, 60, 61, 120, 123, 128, 149, 215, 219, 235, 482, 493; 18 — Борковский, п. 58, 61, 106; Кузьминский, п. 14, 20, 23, 66, 90, 92; Старо-Кадомский, п. 7; Шокшинский, п. 203, 243, 423, 426; Шатрищенский, п. 142

Подобный вывод настолько нетрадиционен, что приходится выступить в защиту кошибеевской культуры, начав процедуру с рассмотрения археологического предметного комплекса могильников этих двух культур. Для анализа кошибеевской культуры важнейшим методическим приемом служит разбор женского костюма, в котором на первое место следует поставить трех- и пятилепестковые височные привески с полушариями, окантованными ложновитым жгутом. Они подвешивались на кожаных ремешках, обмотанных бронзовой проволокой, и размещались по обеим сторонам черепа (рис. 1, 4, 6). Анализируемые привески известны только в Кошибеевском могильнике. Наряду с этими украшениями в могильниках кошибеевской культуры встречаются височные спиралевидные подвески со щитком. На щитке ряд небольших шишечек и выпуклостей (рис. 1, 7). Подобные украшения головного убора встречаются в шести захоронениях Кошибеевского могильника и два — в Польное-Ялтуново. Что касается женского костюма рязано-окских женщин, то там в употреблении находились четырех-, пятилопастные височные привески, на лопастях которых по три выпуклости, окантованные точечным узором. Подобные украшения находили при погребенных по обеим сторонам черепной коробки, подвешивались они на кожаных ремешках, обмотанных бронзовой проволокой (рис. 2, 1, 4). Кроме того, у рязанских женщин в обиходе находились височные привески с ажурнолитым щитком и четырьмя бутыльчатыми подвесками (рис. 2, 8). В рязано-окских могильниках известен четвертый тип височных привесок, состоящих из очковидного ложновитого щитка с двумя бутыльчатыми подвесками, расположенных, как указывает А. А. Спицын, с обеих сторон черепной коробки (рис. 2, 5). Таким образом, основной тип украшений, нередко выступающий в исследованиях по проблемам происхождения археологических культур как ведущий, в кошибеевских и рязано-окских древностях различный, не позволяющий обе культуры соединять в одну, как это очень легко делает В. Н. Шитов.

Сопоставляя шейные гривны из обеих групп могильников, мы увидим и здесь существенное расхождение, которое, как представляется, служит дополнительным аргументом в пользу существования двух археологических общностей. В женских захоронениях кошибеевского могильника преобладают гривны двух основных типов. Первый — круглопроволочная гривна с запором в виде головки с полушарием и широкой петли на расплюсненном втором конце (рис. 1, 2). Они встречены в 56 погребениях Кошибеевского и двух Польное-Ялтуновского могильников. Второй тип — гривна из круглопроволочного дрота с запором в виде полусферической головки и петли с многократной обмоткой (рис. 1, 3). Анализируемый тип шейных гривен известен в 16 погребениях Кошибеевского и двух захоронениях Польное-Ялтуновского могильников. В рязано-окских древностях встречаются шейные гривны иной технологии. Первый тип — гривны из перекрученного дрота, с запором в виде крючка и отверстия на ромбовидном щитке (рис. 2, 3). Подобные типы гривен известны в Борковском, Кузьминском и Курманском могильниках. Второй тип — гривна из круглого в сечении дрота, обмотанного проволокой, с нанизанными на него металлическими бусами, с запором в виде крючка и круглой коробочки, лицевая сторона которой украшена симметричными шишечками (рис. 2, 6). Подобные шейные гривны найдены в Борковском, Кузьминском, Закопищенском, Гавердовском, Курманском, Кулаковском, Старо-Кадомском и Шокшинском могильниках. Всего в погребениях найдено 28 шейных гривен второго типа.

Достаточно заметна разница в нарукавных украшениях, которые мастерами того и другого региона изготавливались в разных модификациях. У кошибеевцев нарукавное украшение состояло из трехрядных спиралек, чередующихся с полусферическими бляшками, окантованными ложновитым жгутом (рис. 1, 1). В рязано-окских древностях нарукавное украшение состояло из трехрядных спиралек, чередующихся с розетками с напаянной зернью (рис. 2, 2). Существенная разница просматривается при сравнении конструкций налобных венчиков. У кошибеевских женщин налобный венчик сложной конструкции. Как описывает

А. А. Спицын, он состоял из бронзовых спиралек в два-три ряда, скрепленных полусферическими бляшками, нашитых на шерстяное очелье (рис. 1, 16). В рязано-окских древностях налобный венчик состоял из нескольких рядов спиралек, соединенных пластинчатыми обоймицами и прикрепленных к кожаной ленте. У каждой обоймицы на лицевой стороне нанесен орнамент в виде точек, а снизу прикреплены кольца (рис. 2, 18).

Наиболее распространенным типом браслетов у кошибеевцев был изготовленный из круглого в сечении дрота с тупыми концами (рис. 1, 5). В погребениях рязано-окских могильников наиболее часто встречаются три типа браслетов: первый тип — браслеты из круглого в сечении дрота с расплюснутыми концами и орнаментированными точечными узорами (рис. 2, 10); второй — браслеты из круглого в сечении дрота с расплюснутыми концами в виде ромба (рис. 2, 11); третий — пластинчатые браслеты, концы которых орнаментированы геометрическим узором (рис. 2, 7).

Очевидна также разница в форме и технологии изготовления нагрудных пластинчатых блях. Например, у кошибеевцев один из типов блях имел круглую форму с большим отверстием в центре и иглой. Лицевая сторона блях имела небольшие в два ряда валики и небольшие шпешечки по всей ее окружности (рис. 1, 13). Другой тип — круглой формы пластинчатая бляха, покрытая концентрическим орнаментом (рис. 1, 17). Подобные бляхи известны в материалах азелинской культуры [8, табл. IX, II]. У рязано-окского населения в быту находились два типа блях: первый — круглой формы с шестиугольной крышечкой и треугольными прорезями. Лицевая сторона бляхи украшена шпешечками и по окружности точками в три ряда (рис. 2, 9). Второй тип — круглой формы бляхи с крестовиной, украшенной рельефными шпешечками (рис. 2, 12).

У населения обеих археологических культур в повседневном обиходе были кошибеевские пластинчатые, круглой формы застежки, по лицевой стороне украшенные насечками и точками (рис. 1, 8, 11). В рязано-окских древностях чаще всего встречаются застежки, лицевая сторона которых украшена косыми насечками (рис. 2, 16). Не различаются по конструкции и отдельным элементам широко распространенные у племен обеих археологических культур спиральные перстни в четыре и шесть оборотов (рис. 1, 9; 2, 13).

Важнейшим признаком определения этнической принадлежности археологической культуры является керамика. У древних кошибеевцев керамика, по оценке А. А. Спицына, встречается в 70 захоронениях, что составляет 66% от общего числа, причем 35 горшков обнаружено в женских могилах, а 25 — в мужских. Все найденные в могильниках этой культуры керамические находки можно разделить на три типа: первый — это высокие горшки с хорошо профилированным плоским дном и широкой горловиной, за редким исключением они неорнаментированы. Тем не менее на отдельных экземплярах можно выделить точечный узор по шейке сосуда (рис. 1, 10). На других встречается узор в виде двухрядной прямой насечки (рис. 1, 15). Второй тип — это горшки средних размеров с плоским дном и четко выраженным туловом. Орнамент у такой посуды — полуовальные вдавления, нанесенные в три ряда по тулову сосуда (рис. 1, 14). Третий тип — небольших размеров сосуда баночной формы со слегка отогнутой шейкой. Орнамент нанесен по тулову прямой насечкой и точками (рис. 1, 18). В двух погребениях Польное-Ялтуново и в одном захоронении Кошибеевского могильника встречен четвертый тип керамики в форме широкогорлой неорнаментированной миски (рис. 1, 19).

Что касается керамических находок в рязано-окской культуре, то следует отметить ее однообразие и сравнительно небольшое количество находок в захоронениях. Так, по оценке А. А. Спицына, сосуды чаще встречались в мужских, чем в женских, погребениях и причем, как правило, поставленные в ноги. Можно выделить два типа сосудов. Первый тип — довольно высокий горшок с плоским дном и прямой шейкой, орнаментированный по тулову овально-ямочным штампом и насечкой по венчику (рис. 2, 15). Второй тип — сосуды горшковидной

Погребальный обряд

Могильник	Ориентировка умерших							Положение сосудов		
	С	Ю	В	З	СЗ	ЮВ	СВ	у ног	у головы	у туловища
Кошибеевский	1	15	44	5	—	39	5	19	12	1
Польное-Ялтуновский *	—	—	—	—	3	12	2	5	4	1
1 Сергачевский	—	—	—	1	—	—	4	—	2	—
2 Сергачевский	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Могилы на городище Ножа-Вар	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2

* Кроме трех погребений, материалы остальных захоронений публикуются впервые.

** Н. В. Трубникова раскопала три захоронения внутри городища.

Погребальный обряд

Могильник	Ориентировка умерших								Положение сосудов		
	С	Ю	В	З	СЗ	ЮЗ	СВ	ЮВ	у ног	у головы	у туловища
Борковский	1	—	12	3	7	5	24	7	—	31	—
Кузьминский	1	1	1	—	6	5	15	5	—	—	—
Гавердовский	—	—	6	—	—	—	14	—	8	1	—
Шатрищенский	2	1	90	3	6	1	—	10	3	3	—
Законищенский	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—
Кулаковский	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Шокшинский * (61, 62, 96, 111, 120, 123, 149, 201, 203, 215, 217, 219, 235, 243, 331, 364, 365, 423, 462, 486, 496, 526, 534, 673, 697)	—	—	—	—	—	2	23	—	2	3	—
Старо-Кадомский (6, 12, 16, 19, 20, 24, 30, 34, 38)	—	—	5	1	6	—	1	14	20	11	—
Курмановский	2	—	1	—	2	—	1	3	—	2	—

* Археологический комплекс Шокши, начиная с погребения № 244, исследуется В. Н. Шитовым и публикуется впервые.

формы с плоским дном со слабо выраженным туловом. Орнамент из двух рядов точек нанесен по шейке сосуда (рис. 2, 14).

В женских захоронениях кошибеевской культуры встречаются плечевые привески в виде колокольчиков, висящих на кожаных ремешках, обмотанных спиральками (рис. 1, 12). Ожерелье рязано-окских женщин включало конусовидные подвески, спиральки, бусы, а также звездчатые подвески на кожаных ремешках, обмотанных бронзовой проволокой (рис. 2, 16). Касясь вопроса об особенностях археологического предметного комплекса обеих культур, следует отметить, что

у племен кошибеевской культуры

Находки в могильной яме						Парные могилы	Положение вытянутое
следы гробовины	луб и береста	остатки ткани	зольная прослойка	галька	кости животных		
12	1	47	4	4	—	1	109
1	3	2	—	—	—	2	11
—	1	—	—	—	—	1	5
—	—	—	3	—	—	—	3
—	—	—	1	—	2	—	3

Таблица 2

у племен рязано-окской культуры

Находки в могильной яме					Кости животных в засыпке	Украшения в засыпке	Памятные могилы	Трупоположение	Трупосожжение	Парные захоронения	Скорченные захоронения
следы гробовины	следы луба	остатки ткани	галька на дне могилы	зольная прослойка на дне могилы							
—	23	2	8	31	2	—	—	29	14	1	—
—	15	2	—	—	—	—	—	85	7	—	—
2	4	2	—	2	1	—	—	26	2	—	—
3	2	12	—	2	—	—	4	155	1	2	—
1	2	1	—	—	—	—	—	9	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
—	19	—	1	9	4	—	4	25	1	1	2
—	28	9	—	—	8	—	8	51	1	1	—
4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

в отдельных украшениях имеется определенное сходство некоторых элементов, поскольку в Западном Поволжье проживало хотя и разное, но все же родственное финноязычное население. Вместе с тем необходимо помнить, что отдельно взятые вещи или одиночные памятники не могут являться основой для характеристики археологической культуры. И как справедливо заметил по этому поводу А. П. Смирнов, недостаточно прочная источниковедческая база таит в себе опасность случайности в выводах [9, с. 63].

Важнейшим показателем специфической оценки данной культуры является погребальный обряд, совокупность признаков которого дает основание для ее территориальной локализации. Прежде всего для древнего кошибеевского насе-

ления была заметна необыкновенная длина большинства могил. По наблюдениям Н. В. Трубниковой, она составляла до 3,5 м в длину и 0,75 м в ширину при глубине до 1 м. Такая длина, насколько было известно А. А. Спицыну, еще не наблюдалась ни в одном из известных могильников Западного Поволжья. Объясняется она, быть может, желанием сородичей дать в головах умершего особое пространство для размещения сосудов и украшений [1, с. 65].

Что же касается размеров могильных ям у рязано-окского населения, то, ссылаясь на наблюдения А. И. Черепнина, А. А. Спицын пишет, что они имели длину, равную размерам человеческого тела — до 2 м, и овальную в плане [1, с. 68]. В могильниках кошибеевской культуры преобладали две ориентировки: восточная (44 захоронения) и юго-восточная (53 погребения). В Сергачевском могильнике «Святой Ключ» преобладала северо-западная ориентировка, а в Сергачевском могильнике у Кожиной слободы — северо-восточная. В Польное-Ялтуновском могильнике ориентация умерших преимущественно юго-восточная (табл. 1). В могильниках рязано-окской группы господствующей ориентировкой умерших была восточная — 115 захоронений, северо-восточная — 98, юго-восточная — 39 (табл. 2). При рассмотрении по отдельным могильникам видно, что в Борковском и Кузьминском преобладает северо-восточная ориентировка, в Шатрищенском — восточная, в Шокшинском — северо-восточная и Старо-Кадомском — юго-восточная (табл. 2). Такой разброс в ориентировках рязано-окской группы могильников объясняется, на наш взгляд, тем, что эти могильники подверглись ранней славянизации и балтизации, где преобладают меридиональные положения умерших. И наоборот, в кошибеевской группе могильников преобладающая восточная ориентировка, как нам представляется, связана с сильным влиянием прикамских культур, и в частности с азелинскими племенами, а также населением мазунинской культуры [10, рис. 46, табл. А]. Существенной деталью погребального обряда является наличие или отсутствие в могилах гробовин. По наблюдениям А. А. Спицына, в кошибеевских древностях многие костяки лежали на досках, остатки которых четко прослежены в 13 погребениях [1, с. 65]. Что же касается населения рязано-окской культуры, то здесь умершего обертывали в луб. По нашим подсчетам, в 99 случаях прослежены остатки луба (табл. 2). Говоря об устойчивых элементах погребальной обрядности, нельзя пройти мимо такого факта, как размещение сосудов в могиле. По нашим подсчетам у древних кошибеевцев горшки чаще становили у ног — в 24 случаях, а у рязано-окских племен — в изголовьях — 51 случай (табл. 1, 2). В кошибеевских древностях в отдельных могилах наблюдается помещение гальки в могилу, что, как полагает Н. В. Трубникова, связано с сарматским влиянием. Для рязано-окских древностей характерно, и это отмечали А. А. Спицын, а впоследствии и Н. В. Трубникова, наличие угольков на дне могилы, что связано с магической верой в очистительную силу огня. Что касается могильников кошибеевской культуры, то там эти черты просматриваются не очень четко. Следует сказать, что обряд кремации для этой культуры был нехарактерен. На Оке местные племена, по наблюдению А. Л. Монгайта, под воздействием славян довольно рано применяли сожжение трупа вне захоронения с последующим размещением сожженных костей на дне могилы [11, с. 79]. Рассматривая особенности погребального обряда кошибеевской культуры, необходимо подчеркнуть, что в ее могильниках пока не известны кенатафы, тогда как в соседней рязано-окской культуре подобные типы захоронений встречаются в Шатрищенском могильнике. В той и другой археологических культурах встречаются парные захоронения (табл. 1, 2).

Территория распространения памятников кошибеевской культуры охватывает бассейн р. Цны, где расположены Кошибеевский и Польное-Ялтуновский могильники. В зону распространения этой культуры входят бассейн р. Пьяны, где расположены два могильника близ небольшого городка Сергач в Нижегородской области, а также памятники юго-западной части Чувашии, большая часть которых открыта и исследована в последние годы [5, с. 53]. Поэтому отнесение Кошибеевского могильника к рязанской группе памятников, как это предполагал А. Л. Монгайт, можно отнести к историографическим курьезам. Вышеперечис-

ленные археологические и этнографические отличия группы могильников, расположенных на р. Оке, позволяют выделить их в самостоятельную археологическую культуру, включающую в себя Старо-Кадомский и Шокшинский могильники с их ранними захоронениями VI—VII вв.

Время существования кошибеевской культуры определяется в пределах 500 лет — с конца I в. н. э. по V в. включительно. Рассматривая материалы городища Ножа-Вар, Н. В. Трубникова выделила группу керамики и жилые комплексы, которые, по ее мнению, можно сопоставить с началом VI в. [12, с. 157]. Публикуя материалы Второго Сергачевского могильника «Святой Ключ» из раскопок В. Н. Глазова в 1908 г., В. Н. Шитов отказался от ранее предложенных датировок указанного памятника и предложил свою — IV—V вв., ссылаясь на отдельные типы шейных гривен и нагрудные пластинчатые бляхи [13, с. 134—138]. Именно эти руководящие типы украшений являются основополагающими для определения времени функционирования могильника. Относительно могильника близ с. Польное-Ялтуново первый его исследователь А. Е. Алихова датировала его III—IV вв., опираясь на такие типы украшений, как нагрудные бляхи с отверстием в центре и концентрическим орнаментом на лицевой стороне, круглопроволочная гривна с тупыми концами и спиральная височная подвеска со щитком [14, рис. 8, 6]. Последующие раскопки этого памятника в основном подтвердили предложенную дату, хотя в отдельных захоронениях встречаются вещи, которые, как нам кажется, могут быть отнесены к V в. [15, табл. 177, 179]. Я имею в виду круглопроволочные гривны с тупыми концами, круглые застёжки с завернутыми в трубочку концами, но без узоров на лицевой стороне, а также двусоставные удила с большими подвижными кольцами и керамику.

Таким образом, характеристика вещевого материала и погребального обряда позволяет в рамках всего периода существования кошибеевской культуры наметить хронологическое членение ее памятников на несколько этапов. Первый охватывает I — начало II в. н. э., и, как подчеркивала Н. В. Трубникова, для него специфично наличие пьяноборских вещей (рис. 1, 17). Среди захоронений этой группы особо выделяется захоронение № 13, которое А. П. Смирнов датировал I в. н. э. и рубежом н. э. по шаровидной бусине, железному мечу с брусковидным перекрестием и двусоставным удилам [16, с. 101]. Вторая группа погребений относится к II—IV вв. н. э. и характеризуется трех-, пятилепестковыми височными привесками на кожаных ремешках, круглопроволочными шейными гривнами с простым запором в виде головки и петли с обмоткой, пластинчатыми бляхами с отверстием по центру и иглой, лицевая сторона которых украшена концентрическими валиками и рельефными шишечками, а также нарукавными украшениями из спиралек и полусферических бляшек и высокими горшками с отогнутым наружу венчиком (рис. 1, 1, 3, 4, 6, 13—15). Третья группа могил датируется IV—V вв. н. э. и содержит комплексы, включающие спиральные височные привески со щитком, круглопроволочные шейные гривны с запором из круглого отверстия и крючка, застёжки с иглой, орнаментированными по лицевой стороне насечкой и точечным узором, спиральные перстни, браслеты из круглого в сечении дрота и сосуда баночной формы (рис. 1, 2, 5, 7—9, 11, 18).

Археологическая культура — это группа памятников, занимающая определенную территорию и обладающая объективно существующим сходством материала, которая, как отмечал И. С. Каменецкий, образует сложную, внутренне связанную систему и единообразно изменяющуюся во времени [17, с. 29]. Стремление В. Н. Шитова обескровить кошибеевскую культуру путем слияния ее с другой не менее яркой рязано-окской культурой — это своего рода археологический нонсенс, поскольку и этнические различия между ними весьма ощутимы. Археологическая культура не инструмент, с помощью которого археологи изучают историю древних обществ, а фундаментальное понятие в историко-археологическом исследовании, способствующее познанию диалектики развития этноса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Спицын А. А. Древности бассейнов рек Оки и Камы // МАР. 1906. Вып. 25.
2. Смирнов А. П. Очерк древней истории мордвы // Тр. ГИМ. 1940. Вып. XI.
3. Смирнов А. П. Очерки древней и средневековой истории народов Поволжья и Прикамья // МИА. 1952. Вып. 28.
4. Третьяков П. Н. Волго-окская топонимика и некоторые вопросы этногенеза финно-угорских народов Поволжья // СЭ. 1958. № 4.
5. Трубникова Н. В. Древние мордовские племена в начале I тыс. н. э. // Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965.
6. Смирнов А. П. Этногенез мордовского народа по данным археологии в I—XIV вв. н. э. // Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965.
7. Шитов В. Н. Кошибеевский могильник // По материалам раскопок В. Н. Глазова в 1902 г. // Тр. МНИИЯЛИЭ. 1988. Вып. 93.
8. Генинг В. Ф. Азелинская культура III—V вв. н. э. // Вопросы археологии Урала. 1963. Вып. 5.
9. Смирнов А. П. Об археологических культурах Среднего Поволжья // СА. 1968. № 2.
10. Генинг В. Ф. Памятники мазунинской культуры III—VI вв. // Вопросы археологии Урала. 1967. Вып. 7.
11. Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1967.
12. Трубникова Н. В. Городище Ножа-Вар в Чувашии // СА. 1965. № 4.
13. Шитов В. Н. Сергачевский могильник «Святой Ключ» // Тр. МНИИЯЛИЭ. 1988. Вып. 85.
14. Алихова А. Е. Могильник кошибеевского типа у с. Польное-Ялтуново // КСИИМК. 1958. Вып. 72.
15. Шитов В. Н. Отчет о работе Шокшинской археологической экспедиции в Мордовской АССР и Рязанской области за 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12631.
16. Смирнов А. П. Железный век Чувашского Поволжья // МИА. 1961. Вып. 95.
17. Каменецкий И. С. Археологическая культура, ее определение и интерпретация // СА. 1970. № 2.

Кемеровский государственный
институт культуры

A. V. TSIRKIN

TO THE DEFENCE OF KOSHIBEEVO CULTURE

Summary

The article deals with the investigation of the group of the sites called Koshibeevo culture. After the works denying the existence of the culture appeared in the scientific literature the author carried out the analysis of the burial complexes and marked out a number of the specific features typical for this culture in contrast to Ryazan-Oka one. The author marks the territory of Koshibeevo tribes occupied the Tsna river and the Low Sura rivers basins. Besides that the material analysed helped to find out the time of this culture existence: from the 1st — up to the 5th centuries AD. The author protests against Shitov's offers that Koshibeevo culture was the 1st period of Ryazan-Oka burial grounds culture.

Публикации

Е. Ю. ГИРЯ, В. В. ПИТУЛЬКО

ВКЛАДЫШЕВЫЕ ОРУДИЯ И ИНДУСТРИЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ НА О-ВЕ ЖОХОВА

В результате двухлетних исследований на о-ве Жохова впервые в высокоширотной Арктике получен значительный по объему материал, относящийся к древнейшему из известных сегодня этапов освоения региона, свидетельствующий о том, что по крайней мере уже 8000 лет назад древние охотники проникали далеко на Север. Это была культура континентальных охотников, добывавших северного оленя и белого медведя [1, с. 259—261; 2]. Собранная коллекция насчитывает свыше 1000 предметов и дает ясное представление о комплексе охотничьего вооружения древних аборигенов и о способах его изготовления.

В коллекции представлена серия вкладышевых орудий (табл.), намного превосходящая по численности все известные в пределах Средней и Восточной Сибири находки, относящиеся к тому же к различным эпохам [3; 4, с. 55—61]. В основном это обломки орудий различного размера с 1 или 2 пазами (рис. 1—3), хотя имеются и целые экземпляры, а также незаконченные и, напротив, переоформленные орудия. В коллекции представлены и некладышевые формы (рис. 1, 10), а также некоторое количество небольших фрагментов костяных и роговых острий (рис. 1, б), принадлежность которых к тому или иному типу изделий установить невозможно.

Обоюдоострые (с 2 пазами) и односторонние (с 1 пазом) представлены практически равным количеством изделий (соответственно 12 и 13). Для их изготовления были использованы осколки крупных костей, шанги рогов северного оленя, ископаемый бивень мамонта, клыки моржа. Последние весьма редки (всего 3 экз.) и способ их изготовления, по-видимому, был близок к реконструированному А. К. Филипповым [5] или даже более простым. Заготовки из костей и рога были получены в результате продольного расчленения пилением пластиной исходного куска сырья; из кости такие заготовки могли быть также получены раскалыванием их в продольном направлении по критическим осям. Изготовление роговых заготовок должно было включать и процесс выпрямления. Последовательность операций и способ их выполнения хорошо известны этнографически, и, в частности, их описание подробно воспроизведено А. П. Окладниковым [6, с. 205—206]. Окончательная доделка орудий осуществлялась с помощью абразивных плиток различной зернистости.

Обоюдоострые наконечники все крупного размера. Судя по имеющимся орудиям и их фрагментам, они изготовлены всего в двух вариантах: 1) массивные, с трехгранным поперечным сечением, из оленьего рога (рис. 1, 1) и бивня мамонта (рис. 2, 3); 2) односторонне-выпуклые в поперечном сечении с вогнутой тыльной поверхностью, появляющиеся в результате выскабливания губчатого заполнения рога или благодаря сохранению естественного сечения стенки кости (рис. 2, 1, 2, 5). Они менее массивны, чем первые, их толщина колеблется в пределах 5—10 мм. Это крупные острия, достигающие в длину 368 мм, но, судя по пропорциям большинства обломков, размеры изделий в среднем составляли 240—280 мм. Глубина пазов 3—5 мм, ширина 1,5—2 мм, они были пропилены тонкой

Вкладышевые орудия

Тип	Материал оправы				
	рог оленя	кость	бивень мамонта	клык моржа	всего
Обоюдоострые:					
с трехгранным сечением	1	1	2		4
с односторонневыпуклым сечением	4	4			8
Односторонние:					
с трехгранным сечением		2			2
с односторонневыпуклым сечением	2			1	3
с уплощенным сечением		7	1		9
Всего	7	14	3	1	25

прямой пластинкой и занимали $2/3$ длины боковых сторон орудия. Наконечники имеют симметричные удлиненно-приостренные в плане очертания; приостренный односторонне-приостренный насад, как правило, не имел дополнительной обработки.

Только в одном случае можно отметить пазы, пропиленные как будто во всю длину орудия, и дополнительное оформление насада для закрепления обвязки (рис. 1, 2), но это, по-видимому, можно связывать с тем, что орудие использовалось после поломки.

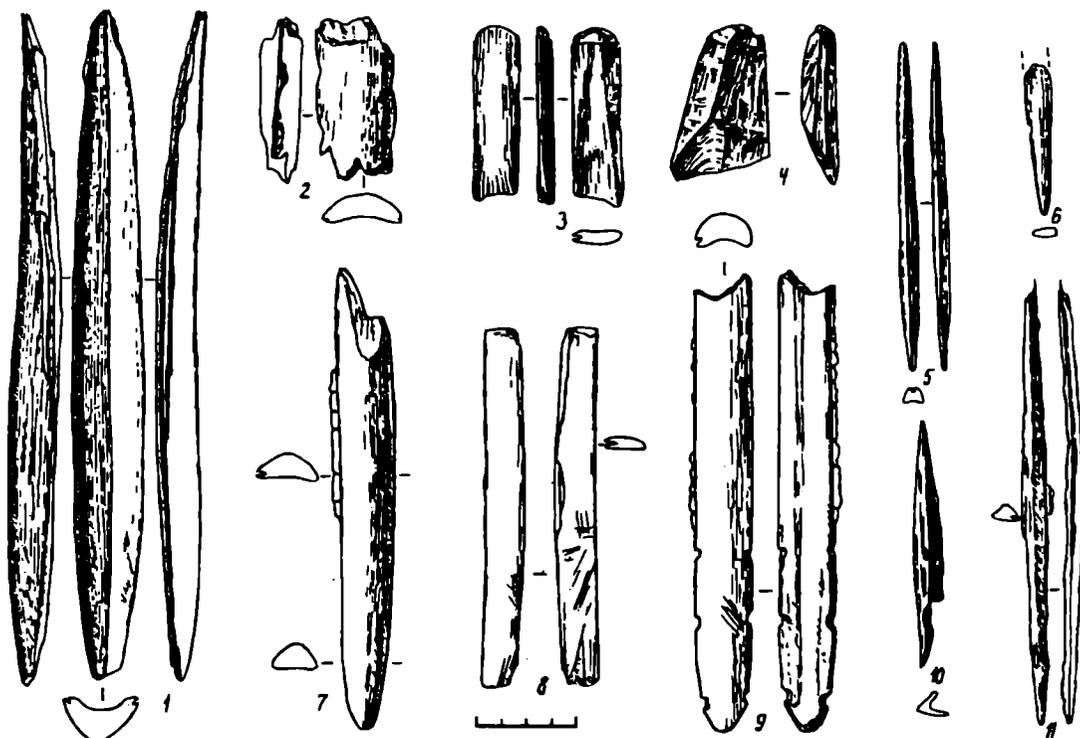


Рис. 1. Роговые и костяные оправы вкладышевых орудий со стоянки о-ва Жохова 1. 1, 2 — обоюдоострых орудий (рог) 3, 5, 7—9, 11 — односторонние (3, 5, 8, 11 — кость, 7 — рог; 9 — моржовый клык); 4 — обломок предмета из бивня мамонта; 6 — небольшой обломок костяного острия; 10 — метательное острие без вкладышей (кость) (5, 7, 9 — орудия с вкладышами)

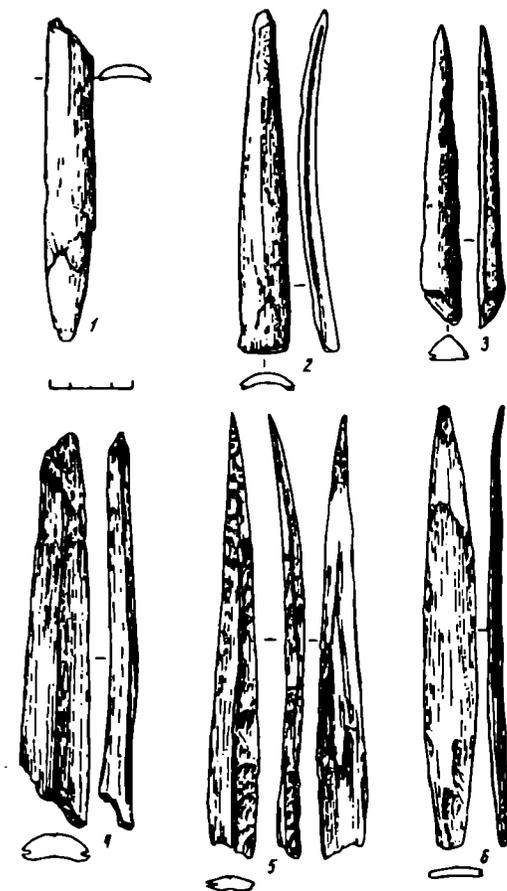


Рис. 2. Обоюдоострые (1—5) и односторонние пазовые орудия (6); 1, 2, 5, 6 — кость, 3 — бивень мамонта, 4 — рог

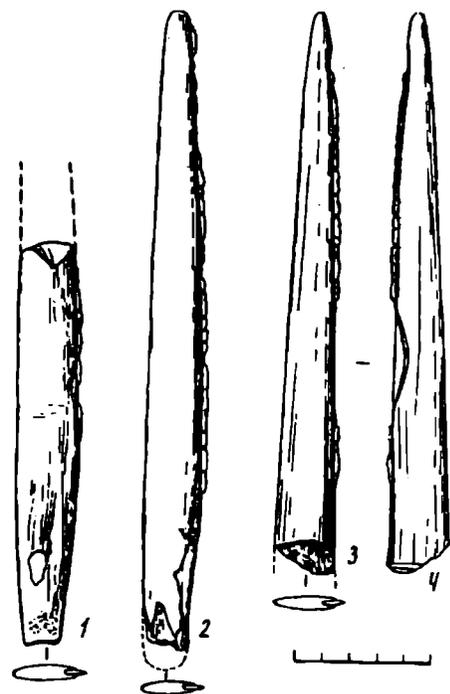


Рис. 3. Оправы односторонних орудий с вкладышами

Следует отметить декоративный элемент — прочерченную по продольной оси костяных (рис. 2, 1, 2) и роговых (рис. 2, 4) орудий линию, иногда на ее месте оказывается естественная канавка на поверхности кости (рис. 2, 5).

Оправы вкладышевых орудий с одним пазом имеют большее число вариаций. Помимо морфологических различий, они принадлежат к различным функционально группам — среди них представлены как наконечники копий, так и метательные острия, а также ножи (?).

1. Игловидные метательные острия имеют трехгранное поперечное сечение и различные размеры — $129 \times 8 \times 5$ (рис. 1, 5) и $174 \times 8 \times 5$ мм (рис. 1, 11). Паз занимает $2/3$ — $3/4$ длины орудия при глубине 3—4 и ширине 2 мм. У первого из них вкладыши, сохранившиеся *in situ*, выступали из паза на 1,5 мм, у второго — на 2—4 мм, в момент находки в пазу находилось 8 вкладышей (6 — из кремня, 2 — из обсидиана), причем наиболее широкими были вкладыши, близкие к насаду.

2. Массивные наконечники копий с односторонне-выпуклым поперечным сечением из рога оленя (рис. 1, 7) и клыка моржа (рис. 1, 9) с сохранившимися *in situ* вкладышами. Общая длина орудий достигала, вероятно, 240—250 мм, размеры обломков соответственно $175 : 24 : 6 = 8$ мм и $172 : 25 : 12 = 15$ мм, примерно $1/3$ часть орудий (еще одно орудие из этой группы представлено небольшим фрагментом с двумя вкладышами). Паз прорезан по левой стороне орудия, причем на наконечнике из моржевого клыка был пропилен во всю его длину. Глубина пазов 3—5 мм, ширина 1,5—2 мм, вкладыши из черного окремненного сланца выступают из них на 2—3 мм. Орудия, изготовленные из моржевого клыка, имеют дополнительное оформление насада, уже встречавшееся в группе

обоюдоострых орудий (рис. 1, 2) — для закрепления обвязки прорезано 3 пары углублений (рис. 1, 9).

3. Орудия с односторонне-уплощенным поперечным сечением большей частью представляют собой оправы ножей (рис. 2, 6; 3, 1—3). Они сильно уплощены, основание прямо срезано. В трех из них сохранились *in situ* вкладыши, выступающие из пазов на 1,5—2 мм. Глубина пазов 3—4 мм, ширина — 2 мм.

К этой же группе отнесены 2 фрагмента оправ, интерпретированные нами как наконечники дротиков (рис. 1, 3, 8), один из них имеет четко видимую зону заполировки от закрепления обвязкой. Основания орудий прямо срезаны, вблизи него заметны косые нарезки (декоративный элемент?). Паз глубиной 3—5, шириной — 1,5—2 мм начинается на некотором расстоянии от основания орудия (соответственно 32 и 52 мм).

Наряду с многочисленными вкладышевыми орудиями значительную часть коллекции составляют нуклеусы и продукты расщепления камня, детальный анализ которых позволяет реконструировать способ изготовления вкладышей для орудий.

В каменной индустрии стоянки выделяются три совокупности артефактов, отражающих особенности техники расщепления: производство тесел и долот из слабокремненных разновидностей сланца; производство пластин; изготовление кремневых и обсидиановых вставок для вкладышевых орудий.

Изготовление орудий типа тесел и долот предусматривало две стадии — предварительную оббивку и окончательную отделку путем шлифования. Эта техника представлена как готовыми изделиями, так и сколами изготовления и подправки этих орудий, а также абразивными камнями. Выделение продуктов расщепления, принадлежащих к данному технологическому процессу, не представляет особых затруднений благодаря морфологическому своеобразию изделий и специфике сырья.

Производство пластин представлено неполным технологическим циклом — в коллекции имеются только лишь два пластинчатых скола, дистальная часть такого же снятия и две дистальные части пластин (рис. 3, 8, 9, 7, 5, 5, 6). Судя по всему, это были достаточно крупные (в сравнении с остальной частью материала коллекции) сколы, длиной по 44 мм, а возможно, и более, при ширине до 18—23 мм. Они производились ударной техникой скола с ядрищ, о морфологии которых по пяти фрагментированным снятиям судить трудно. В коллекции имеются также целый ряд отщепов, принадлежность которых к тому или иному технологическому контексту трудно определима (43 шт.).

Более полно отражен в рассматриваемой коллекции технологический цикл производства вкладышей для орудий с пазом. Это — сами вкладыши (в оправках и без них), обломки пластинок, пластинки, пластинчатые снятия оформления призматического рельефа поверхности скалывания нуклеусов, нуклеусы, пренуклеусы и сколы создания площадок пренуклеусов. Принадлежность пластинок и указанных пластинчатых сколов к единому контексту с нуклеусами подтверждается и морфологически, и замерами общих величин. Наличие технологической связи между группами нуклеусов и пренуклеусов доказывается наличием общих для обеих групп морфологических черт, близкими размерами и, кроме того, анализом морфологии сколов оформления призматического рельефа поверхности скалывания нуклеусов.

Технология получения пластинок в жоховской индустрии отличается своеобразием. Сырьем служили кремневые и халцедоновые отдельности щебня, происходящего из отложений о-ва Жохова. Есть и обсидиановые экземпляры (источник обсидиана не установлен).

Вкладыши, сохранившиеся *in situ* в оправках, — медиальные части кремневых и, очень редко, обсидиановых пластинок. Длина их колеблется от 14 до 25 мм. Но самые длинные фрагментированы уже в оправе, так что обе части сломанного вкладыша находятся рядом в пазу. Ширина вкладышей 3,2—7,5 мм, длина фрагментированных частей более 11 мм. Все вкладыши, найденные *in situ* имеют на

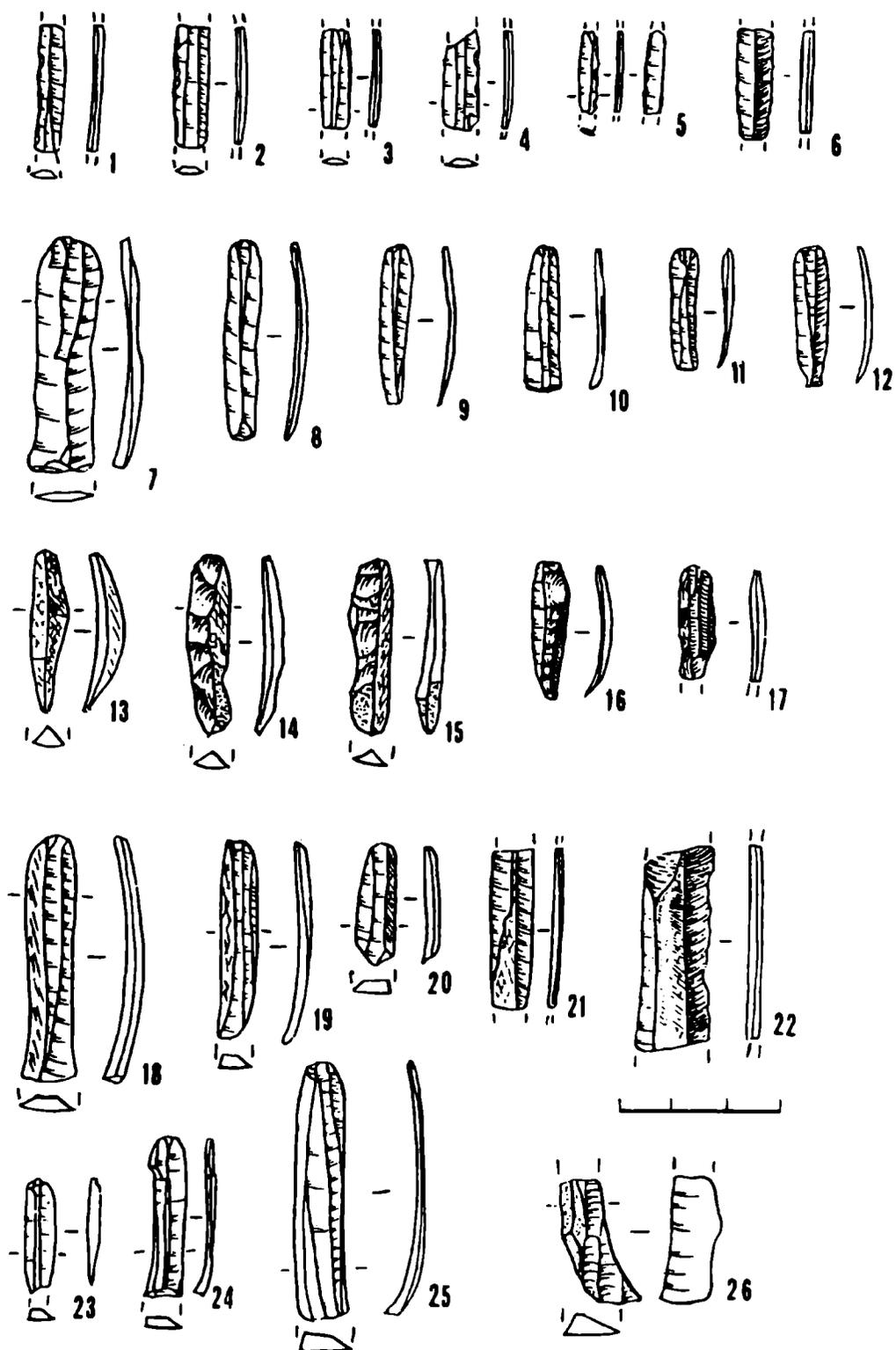


Рис. 4. Вкладыши и пластинчатые сколы из коллекции индустрии о-ва Жохова.
1—6 — вкладыши; 7—12 — пластинки; 13—26 — краевые сколы

своем лезвии выкрошенность, ряд мелких сколов, достаточно равномерно распространенных по лезвию, на брюшке и спинке изделия.

В коллекции выделено 27 медиальных частей пластинок; 7 из них имеют выкрошенность, характерную для вкладышей, обнаруженных *in situ* в оправах орудий. Длина этих предметов 11—18 мм, что позволяет определить их как вкладыши, выпавшие из оправ (рис. 3, 1, 6). Оставшиеся 20 медиальных частей

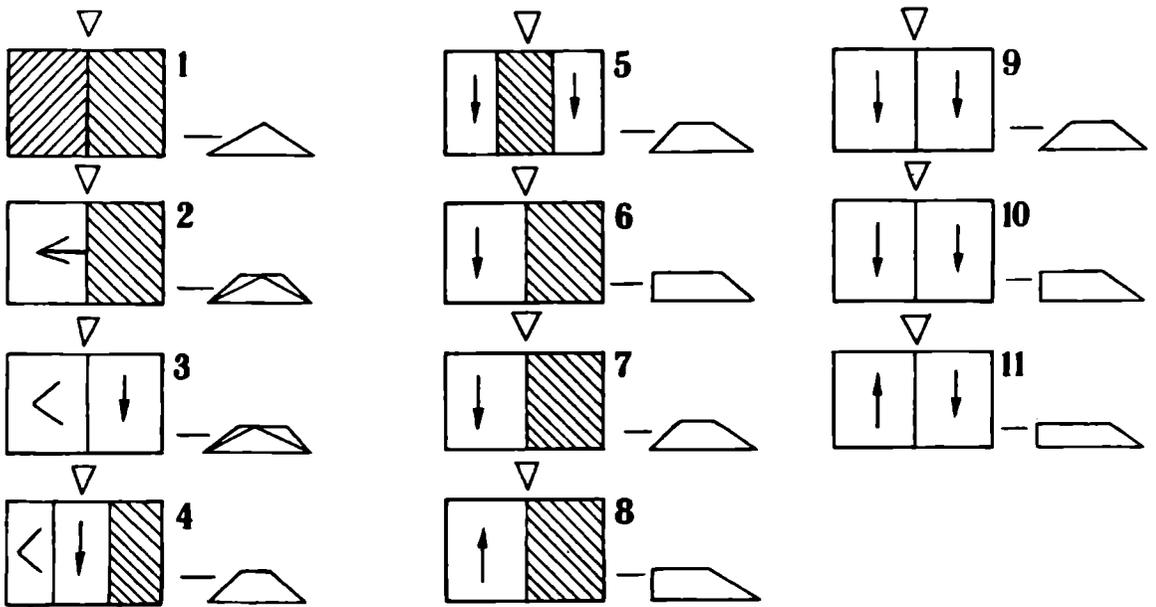


Рис. 5. Формализованная схема пластинчатых сколов индустрии о-ва Жохова: 1 — скол формирования призматического рельефа поверхности скальвания, имеющий естественные грани; 2 — реберчатый односторонний скол формирования призматического рельефа поверхности скальвания; 3—8 — сколы расширения границ поверхности скальвания; 9—11 — пластинки и пластинчатые краевые сколы

пластинок, не имеющие характерной выкрошенности и более короткие (длина — 5,3—8,3 мм), по-видимому, являются отходами либо продуктами неудачной фрагментации пластинок. В данной индустрии вкладыши производились путем намеренной фрагментации пластинок, о чем свидетельствует относительная стандартность длины сечений. Никаких видов ретушного усечения на медиальных частях пластинок не обнаружено.

Пластинки, служившие заготовками для вкладышей (рис. 4, 7—12), — количественно преобладающий тип не только среди пластинчатых сколов, но и в сравнении с численностью иных продуктов расщепления. Всего их 126, что составляет 63,3% всех пластинчатых сколов. Это снятия, длина которых в 3—5 раз превышает ширину, с параллельными краями, параллельными межфасеточными ребрами на спинке, трапециевидным или треугольным сечением. Кроме того, оба боковых края этих сколов имеют острые углы схождения плоскостей спинки и брюшка. Направление негативов на спинке соответствует направлению снятия самой пластинки (рис. 5, 9). Максимальная длина пластинок — 37,5 мм, минимальная — 18 мм. Ширина 9—5 мм, толщина 2,2—1,1 мм, изгиб 2,2—1 мм, т. е. минимальный, большая часть пластинок имеет достаточно прямой профиль. Наиболее прямой участок пластинки имеют в медиальной части, проксимальная часть имеет бугорковую выпуклость, а дистальная — наиболее изогнутая. В плане большая часть пластинок имеет подпрямоугольные очертания, вместе с тем характерно легкое увеличение ширины скола (дивергентность краев) в самой дистальной части.

Площадки всех пластинок либо подготовлены, либо ретушированы, 98% пластинок с проксимальными концами (122 шт.), имеют следы подправки карниза, из них с сильным перебором — 24%, со слабым перебором или выравниванием — 74%.

Группа пластинок технологически связана с группой нуклеусов. В коллекции не обнаружено ядрищ, морфология которых свидетельствовала бы о том, что с них снимались какие-либо виды пластинчатых сколов. Пластинки соответствуют представленным в коллекции ядрищам и морфологически, и по другим параметрам — длине, ширине, степени изгиба.

К категории нуклеусов отнесены изделия, имеющие на поверхности негативы от снятия пластинок. Группы таких негативов составляют поверхность скальвания

(фронт). Поверхности скалывания на нуклеусах жоховской индустрии широкие и уплощенные. (Под понятием «широкая» понимается такая поверхность, ширина которой в 3 и более раз превышает ширину скола-заготовки. «Уплощенная» — поверхность скалывания, степень выпуклости общего рельефа которой незначительна.)

В коллекции выделено 45 нуклеусов, 9 из которых — торцевые, имеющие достаточно узкую поверхность скалывания (в среднем 12 мм). Термин «торцевой» не означает здесь тип нуклеуса — он лишь указывает, что поверхность скалывания данного ядрища находится на торцевой части предмета расщепления. Все они изготовлены из плиткообразных кусков сырья, имеющих узкие торцы (данная морфология нуклеусов в значительной мере определялась формой сырья). Остальные ядрища имеют поверхность скалывания шириной до 27 мм. Ширина вкладышей — 3,2—7,5 мм. Следовательно, большая часть нуклеусов данной индустрии имеет поверхность скалывания шириной в 3 и более заготовок.

Степень выпуклости поверхностей скалывания большая у нуклеусов с широким фронтом — до 3—4 мм и меньшая у нуклеусов с узким — до 1 мм. Выпуклость фронта равномерна на всем протяжении поверхности скалывания от площадки до основания. То же самое можно сказать и о ширине поверхности скалывания; у площадки и у основания нуклеуса ее значение практически одинаково в подавляющем большинстве случаев, и в плане фронт нуклеуса по форме близок к прямоугольнику. Поверхности скалывания призматических нуклеусов, имеющие такую морфологию, позволяют получать пластины с наиболее прямым профилем, поскольку возможность ныряющего окончания скола в подобной ситуации исключена. В силу большой уплощенности общего рельефа фронта пластины, снятые с этих поверхностей скалывания, имеют также и максимально острые боковые кромки, что является следствием пропорций толщины и ширины таких снятий. При узком фронте, где выпуклость поверхности скалывания велика, пластины толще и уже; в данном же случае они относительно широкие и тонкие.

При взгляде со стороны площадки радиус скругления поверхностей скалывания с малой степенью выпуклости довольно велик, а у нуклеусов, имеющих узкий выпуклый фронт, — относительно мал. Если продолжить окружность, описывающую дугу выпуклости фронта, у первых получится большой круг, а у вторых — круг с малым диаметром, поэтому такие нуклеусы могут оставаться довольно миниатюрными, имея «круговую» площадку. Нуклеусы с уплощенными широкими поверхностями скалывания чаще всего не имеют подобной морфологии именно из-за большого радиуса округления. Диаметр нуклеуса с «круговой» площадкой для производства пластинок типа жоховских составил бы от 20 до 40 см. Сырье таких размеров не только создавало бы дополнительные трудности в обработке, но и просто было не столь широко распространено.

С точки зрения технологии расщепления такие нуклеусы не выигрывают в сравнении с односторонними: если допустить, что снятие заготовок происходило перманентно «по кругу», то каждый новый «виток» (ряд) сколов-заготовок должен был уменьшать диаметр нуклеуса. Это неизбежно приводило бы к изменению пропорций заготовок: сколы, снятые в последнюю очередь, были бы более узкими и толстыми, т. е. таким образом невозможно получать пластинчатые заготовки с постоянными значениями ширины, длины и угла заострения боковых кромок (последний все более притупляется по мере «кругового» снятия сколов-заготовок). «Односторонние» ядрища с широкими уплощенными поверхностями скалывания, напротив, гарантируют получение заготовок стандартных пропорций в ходе всего цикла расщепления нуклеуса. На них как бы представлен «фрагмент» большой круговой поверхности. После снятия одного ряда сколов-заготовок степень выпуклости фронта таких ядрищ не изменяется, каждый такой ряд параллелен предыдущему и последующему, повторяя ту же степень выпуклости и не изменяя ширины поверхности скалывания (б, А).

Следовательно, использование именно уплощенных поверхностей скалывания наиболее целесообразно для снятия пластинок-заготовок для вкладышей. Ведь

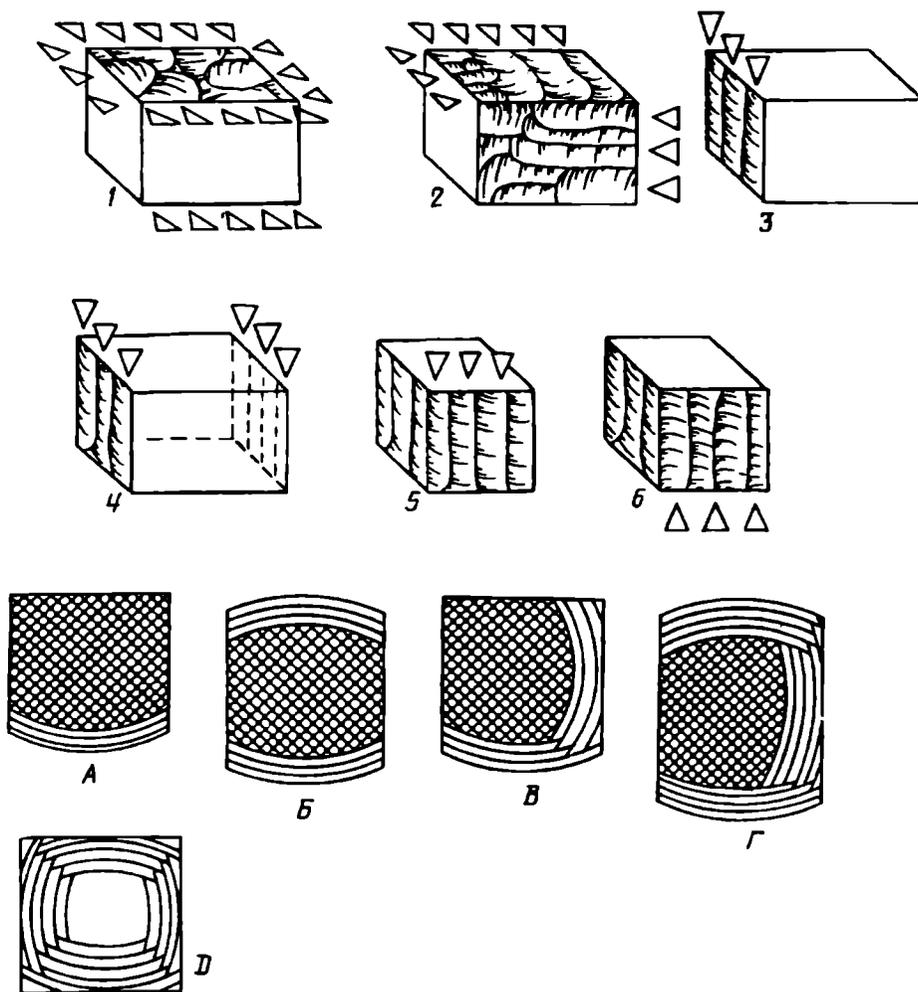


Рис. 6. Схема изготовления пренуклеусов и нуклеусов со стоянки о-ва Жохова 1, 1 — схема создания пренуклеуса (подготовка площадки и уплощение основания); 2 — схема создания нуклеуса (выравнивание площадки и боковой стороны поперечными снятиями); 3 — создание первой поверхности скальвания; 4 — создание двух противоположных поверхностей скальвания на одном нуклеусе; 5 — создание второй смежной поверхности скальвания на нуклеусе; 6 — создание второй смежной поверхности скальвания сколами с основания нуклеуса. А — вид на площадку нуклеуса с одной поверхностью скальвания (перекрестная штриховка — тело нуклеуса, параллельные кривые — ряды снятия пластинчатых сколов); Б — то же для нуклеуса с двумя несомещенными поверхностями скальвания; В — то же для нуклеуса с двумя сомещенными поверхностями скальвания; Г — то же для нуклеуса с тремя поверхностями скальвания; Д — схема «кругового» способа снятия сколов-заготовок

кроме прямизны профиля, параллельности краев и остроты их кромок для вкладышевого лезвия определенной длины необходима еще и массовость производства именно стандартных пластинок.

Для последовательного снятия рядов сколов-заготовок с нуклеусов с такой морфологией фронта технологически необходимо иметь две выровненные (имеющие рельеф без выпуклостей и депрессий) боковые стороны нуклеуса, примыкающие под тем или иным углом к поверхности скальвания.

Каждый ряд сколов-заготовок, получаемых с подобных поверхностей скальвания, предполагает снятие двух краевых сколов. Именно эти сколы позволяют поднять рельеф поверхности скальвания в случае ее чрезмерного уплощения в ходе получения пластинок. Оба эти скола должны быть пластинчатыми — их длина должна быть не меньше длины поверхности скальвания. В противном случае залом, образовавшийся от слишком короткого краевого скола, не позволит приступить к снятию пластинок. В коллекции жоховской индустрии краевые

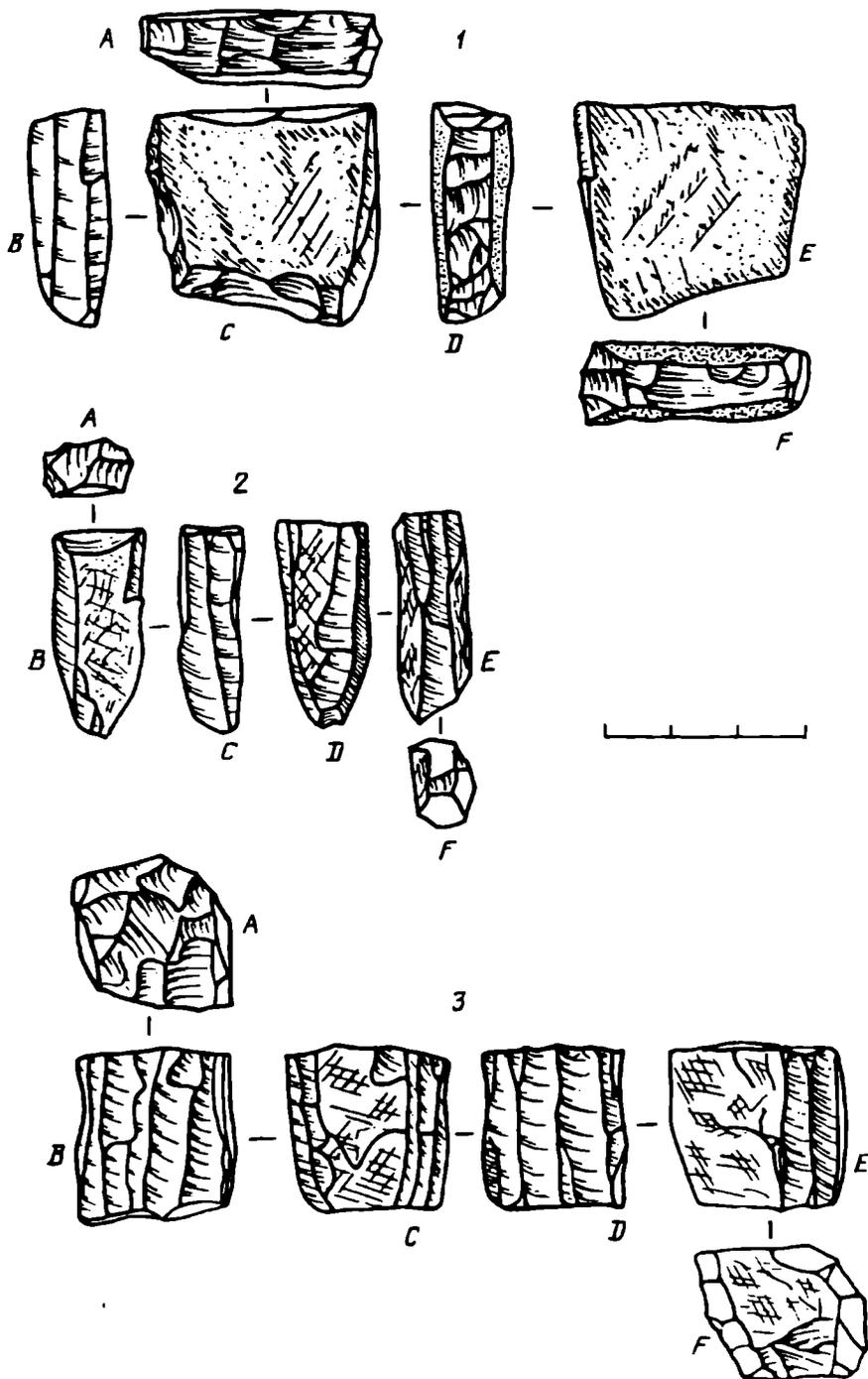


Рис. 7. Нуклеусы каменной индустрии стоянки о-ва Жохова 1. 1 — нуклеус с одной торцевой поверхностью скалывания, выровненной площадкой и основанием, и оформленным ребром для начала второй поверхности скалывания; 2 — нуклеус с двумя противоположными поверхностями скалывания и переходом к формированию третьей поверхности скалывания; 3 — нуклеус с двумя противоположными поверхностями скалывания

сколы этого типа представлены достаточно широко: 59 шт., т. е. 29,6% от всех пластинчатых сколов (рис. 5, 6—8, 10, 11).

Для успешного прохождения плоскости расщепления, отделяющей краевой скол от тела нуклеуса, необходимо, чтобы рельеф поверхности скалывания, лежащий перед ней, был максимально ровным.

Обычно краевые сколы — двух-трехгранные. Одна грань — остатки негатива предыдущего пластинчатого снятия, часть поверхности скалывания, вторая (либо остальные) — часть боковой поверхности нуклеуса. Если рельеф боковой поверхности

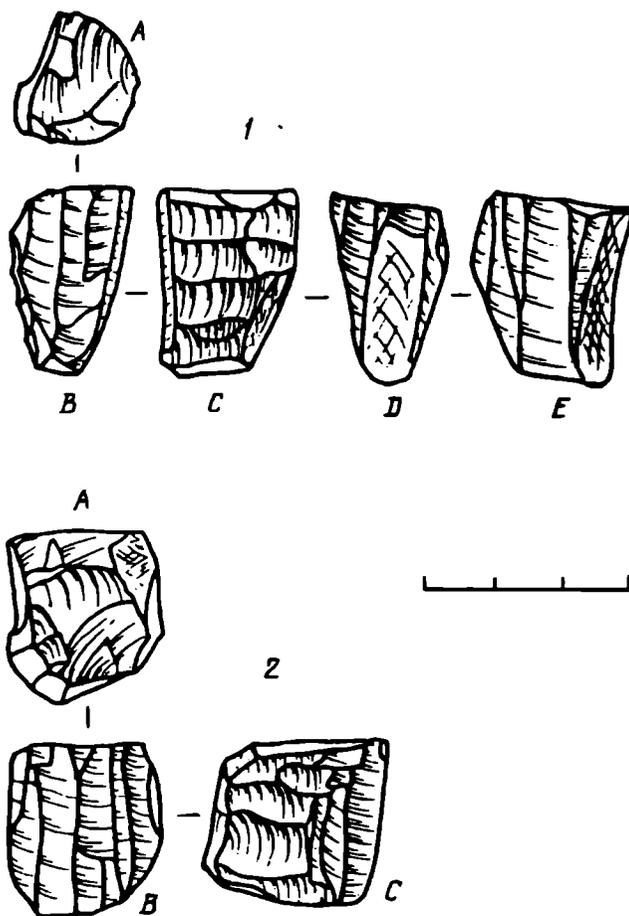


Рис. 8. Нуклеусы каменной индустрии стоянки о-ва Жохова 1, имеющие следы поперечной подправки боковых сторон

неровный, снятие краевого скола сильно осложняется. При неудачном снятии получение пластинок с поверхности скалывания становится невозможным. По этой причине наличие выровненных боковых поверхностей является технологически необходимым.

На нуклеусах прослежены три различных способа создания и выравнивания боковых поверхностей: 1) выбор естественной формы сырья, имеющий вид плитки; 2) выравнивание боковых поверхностей поперечными сколами; 3) выравнивание боковых поверхностей продольными пластинчатыми сколами. Все три способа часто использовались комплексно на одном и том же ядрище.

Выбор естественной формы сырья не требует особых разъяснений (рис. 7, 1—3). Это не только торцовые разновидности ядрищ (рис. 7, 3). Краевые сколы, снятые при расщеплении этих нуклеусов, изображены на схеме (рис. 5, 6, 7, 8; рис. 4, 18—20, 26).

Выравнивание боковых поверхностей поперечными сколами представлено на двух ядрищах (рис. 8, 1, 2; рис. 6, 2). В обоих случаях поверхность скалывания граничит с одной стороны с боковой поверхностью, выровненной с помощью поперечных снятий, а с другой — с выбранной ровной естественной поверхностью. Краевой скол, снятый с такой боковой поверхности, изображен на схеме (рис. 5, 3; рис. 4, 17). Сколы выравнивания боковых поверхностей на обоих ядрищах в достаточной мере пластинчатые, но тем не менее эти поверхности не имеют столь правильной огранки, которая характерна для поверхностей скалывания.

Третья разновидность выравнивания боковой поверхности нуклеуса, представленная на большей части ядрищ, требует особых разъяснений. Здесь мы по сути

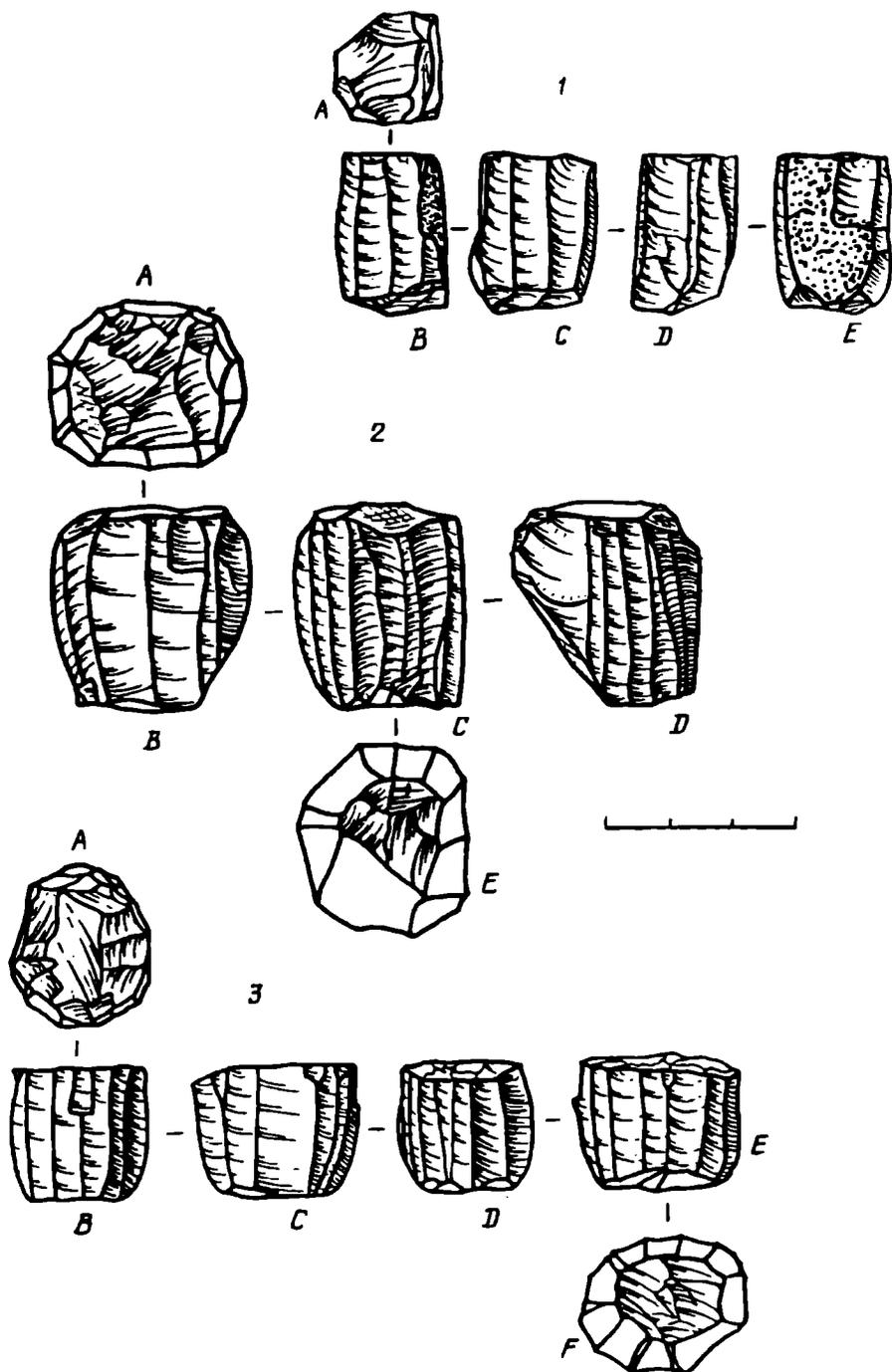


Рис. 9. Нуклеусы каменной индустрии стоянки о-ва Жохова 1. 1 — нуклеус с тремя поверхностями скалывания и переходом к формированию четвертой поверхности; 2 — нуклеус с тремя поверхностями скалывания; 3 — нуклеус с четырьмя смежными поверхностями скалывания

дела сталкиваемся с нуклеусами, имеющими две, три или даже четыре морфологически равнозначные поверхности, оформленные негативами пластинчатых снятий. Чаще всего каждая пара таких поверхностей находится на ядрище под углом 90° друг к другу, как это изображено на схеме (рис. 6, 5, B). Иногда направления снятий пластинок на двух указанных поверхностях не совпадают (рис. 6, 6; рис. 9, 2, C). В подобных случаях не всегда удается с достаточной степенью уверенности определить, какая из двух поверхностей являлась последней поверхностью скалывания. Краевые сколы, снятые с таких боковых поверхностей, представлены на схеме (рис. 5, 10, 11; рис. 4, 23, 24, 25).

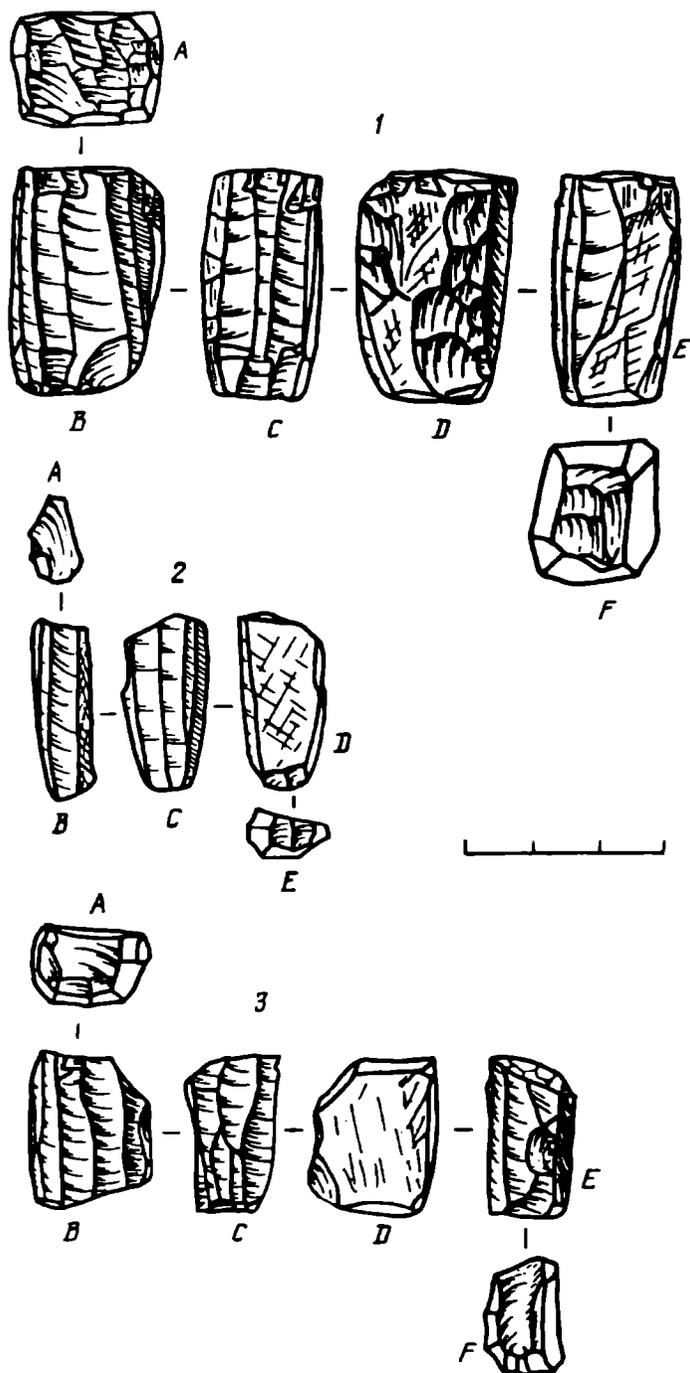


Рис. 10. Нуклеусы каменной индустрии о-ва Жохова 1. 1 — нуклеус с двумя смежными поверхностями скальвания и переходом к формированию третьей; 2 — нуклеус с тремя смежными поверхностями скальвания; 3 — нуклеус с тремя смежными поверхностями скальвания

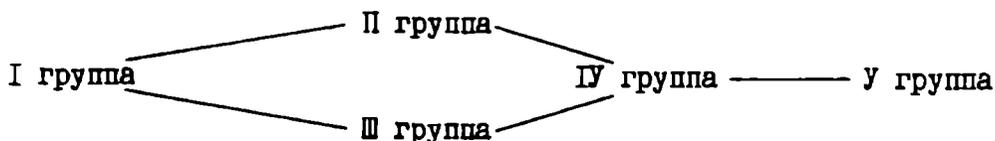
Можно ли рассматривать боковые поверхности, выровненные продольными пластинчатыми снятиями, вне связи с поверхностями скальвания заготовок? На основании анализа отдельных ядрищ коллекции на этот вопрос ответить трудно, возможно, часть боковых поверхностей действительно выравнивались таким образом и процесс не предполагал попутного получения сколов-заготовок. С точки зрения своей морфологии каждый отдельный нуклеус с такими поверхностями был бы неотличим от тех, которые имеют смежные поверхности скальвания.

Чисто типологически все нуклеусы коллекции распределяются следующим образом: I группа (8 шт.) — с одной поверхностью скальвания пластинок на

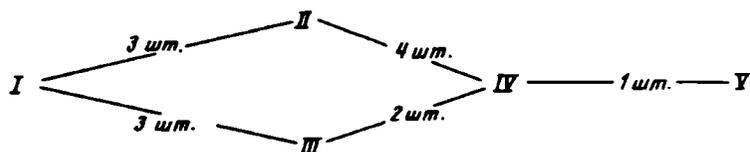
торце (рис. 6, 3, А; 7, 1); II группа (11 шт.) — две смежные поверхности скальвания пластинок (рис. 4, 5, 6, В; 10, 1); III группа (13 шт.) — две несмежные поверхности скальвания пластинок на двух противоположных торцах при одной общей площадке (рис. 6, 4, Б; 7, 3); IV группа (11 шт.) — с тремя смежными поверхностями скальвания пластинок (рис. 6, Г; 9, 1, 2); V группа (2 шт.) — с четырьмя смежными поверхностями скальвания пластинок (рис. 6, 0; 9, 3). Последние, имеющие четыре смежных поверхности скальвания, не могут рассматриваться как нуклеусы с круговым фронтом. Во-первых, это действительно четырехгранные нуклеусы, с достаточно уплощенными гранями — поверхностями скальвания. Во-вторых, скальвание пластинок на данных нуклеусах велось не по кругу, а по одной-двум поверхностям. Пластинчатые сколы, негативы которых оформляют остальные поверхности скальвания, были сняты не с этой площадки, а гораздо ранее, когда нуклеус имел большую высоту.

Указанные типологические группы выделены с учетом только хорошо сформированных поверхностей скальвания. Однако кроме них на многих нуклеусах имеются негативы пластинчатых снятий, свидетельствующие лишь о начале формирования поверхности скальвания (на таких нуклеусах при уже имеющемся фронте начало формирования еще одного). Так, нуклеус I группы (рис. 7, 1) имеет одну уже сформированную поверхность скальвания на торце заготовки и подготовленное ребро, выравнивающее будущую поверхность скальвания, на противоположном торце. Причем с данного ребра уже была сделана попытка снятия реберчатого скола формирования призматического рельефа второй поверхности скальвания. Нуклеус II группы (рис. 10, 1), имеет следы начала формирования третьей поверхности скальвания, смежной двум предыдущим (рис. 10, 1, Е), и т. д.

На основе наличия таких переходных форм все нуклеусы данной индустрии могут быть выстроены в единый ряд:



Причем «сила связи» между группами, отражающаяся в количестве переходных форм ядрищ, такова:



Таким образом, возможно два объяснения наличия нескольких поверхностей, оформленных пластинчатыми снятиями на ядрищах каменной индустрии о-ва Жохова:

1) На нуклеусах, имеющих одну широкую уплощенную поверхность скальвания, было технологически необходимо выравнивать боковые стороны, что в некоторых случаях и производилось пластинчатыми снятиями с основной площадки; оформленная таким образом боковая сторона «имитирует» облик поверхности скальвания.

2) Выравнивание боковых сторон нуклеусов производилось намеренным переносом поверхности скальвания, в этом случае создание боковой поверхности сочеталось с процессами получения пластинчатых сколов-заготовок, а морфология нуклеуса контролируемым образом изменялась в ходе его утилизации.

Бесспорно, что в данном случае наиболее легкий путь поиска исчерпывающего объяснения — это ремонт. Но в коллекции о-ва Жохова 1 мы не располагаем возможностями для его проведения, да и вряд ли реконструкция одного-двух

нуклеусов сама по себе может служить весовым показателем способа расщепления десятков других.

Первый вариант объяснения основан на анализе морфологии отдельных форм ядрищ, безотносительно к иным нуклеусам и прочим продуктам расщепления. Формальная типология разбивает все нуклеусы на пять групп, но при ином выборе критериев их может быть и больше и меньше.

Второй путь объяснения базируется на сравнительном анализе морфологии различных нуклеусов в совокупности с иными продуктами расщепления. Главным критерием подбора признаков в этом случае служит не формальное сходство морфологий, а выяснение технологической необходимости той или иной морфологии для достижения цели расщепления, т. е. в основе данной интерпретации лежат чисто технологические факторы. Классификация материала, приведенная на основе технологического анализа, не расчленяет материал на изолированные группы, а выявляет возможности восстановления его былого единства (иначе говоря, это тоже «ремонтаж», но в более обобщенной форме).

Из приведенных выше схем видно, что количество переходных форм, соединяющих отдельные группы, достигает 40% от числа форм нуклеусов, составляющих данные группы. Это уже само по себе указывает на неслучайность установленных связей, даже при столь незначительной выборке материала. При самом строгом подходе количество ядрищ, попадающих в «чистые» группы (с одной, двумя и т. д. поверхностями скалывания), не столь уж велико. И напротив, различные ядрища в ходе сопоставления обнаруживают достаточно плавную линию изменения морфологии.

При этом наибольшее количество сработанных ядрищ приходится на нуклеусы с тремя совмещенными поверхностями скалывания. Под «сработанным» нуклеусом мы понимаем такое ядрище, тело которого в наибольшей степени истощено снятием сколов-заготовок. Потенциал таких ядрищ в сравнении с остальными, представленными в коллекции, наименьший (рис. 10, 2). Пятая группа, с четырьмя поверхностями скалывания, является лишь сдублированным вариантом четвертой. Истощенных нуклеусов с такой моделью расположения поверхностей скалывания нет.

На единство основной направленности расщепления нуклеусов указывает и способ оформления их площадок. Он весьма специфичен и достаточно однообразен. По негативам снятий можно проследить общую тенденцию — оформление площадки велось в два приема: сначала вся поверхность, составляющая общую площадку нуклеуса, оформлялась параллельными сколами с одной из боковых сторон, а затем, уже более тонкой отжимной ретушью, подправлялась кромочная часть площадки с боковой стороны в большинстве случаев достаточно четко ориентированная поперек подправки кромки (рис. 6, 2). В ряде случаев уже по модели оформления площадки можно судить, какая из поверхностей нуклеуса была последней поверхностью скалывания. На нуклеусах, имеющих один или два не смежных фронта, эта зависимость прослеживается предельно четко. Там же, где появляются совмещенные поверхности скалывания, кромочная подправка площадок перекрестно перекрывает всю площадь последней. Но по ретушной подправке и в таких случаях чаще всего можно судить о том, какая из поверхностей скалывания использовалась последней.

Некоторое представление о положении бывших поверхностей скалывания дает и ориентация подправки основания нуклеусов. На всех нуклеусах I и III группы эта подправка велась с боковой стороны, параллельно первичной подправке площадки (рис. 6, 1). В результате такой подправки основание нуклеуса приобретало вид почти ровной поверхности, параллельной плоскости площадки скалывания. Впоследствии такая подправка основания обеспечивала возможность использования ее в качестве площадки для создания поверхности скалывания на боковой стороне нуклеуса сколами «снизу» (рис. 6, 6).

Перечисленные аргументы, как нам представляется, позволяют рассматривать эти ядрища не как совокупность типологически различных форм, а как эволю-

ционный ряд морфологий нуклеусов, получение заготовок с которых велось с помощью единой технологии.

Наличие одной или двух боковых сторон, выровненных негативами пластинчатых снятий, параллельных снятиям с используемой в данный момент поверхности скалывания, — наиболее удобный способ выравнивания. Краевые сколы, полученные с ребра между такой боковой поверхностью и поверхностью скалывания, — это по сути дела пластины или пластинки. Только один край у них имеет больший угол заострения. С другой стороны, это наиболее простой и эффективный способ, требующий тем не менее либо предварительной подготовки боковой поверхности, либо выбора ровной естественной поверхности.

Именно такую морфологию имеют нуклеусы I группы. Снятие сколов-заготовок ведется с одной поверхности скалывания, расположенной между двумя ровными естественными поверхностями (рис. 6, А). В тех случаях, когда тело заготовки нуклеуса удлиненное, на противоположном торце формируется вторая поверхность скалывания, аналогичная первой (рис. 6, Б), т. е. нуклеусы III группы — сдублированная версия ядрищ I.

Какое-то количество пластинчатых сколов снималось с нуклеусов, имеющих морфологию I и III групп. Не обязательно это были пластинки, скорее всего на этой стадии срабатывания в основном снимались реберчатые, первичные, «полупервичные» и прочие виды сколов формирования призматического рельефа. При этом длина нуклеуса сокращалась на какую-то величину. Затем, когда длина тела нуклеуса достигала размеров ширины требуемой поверхности скалывания, на боковой стороне формировался новый фронт. Среднее значение этой величины 20 мм.

Формирование новой поверхности скалывания происходило либо между двумя предыдущими (если предшествующей морфологией были нуклеусы III группы — см. схему на рис. 6, Г), либо между предыдущей поверхностью скалывания и тыльной поверхностью нуклеуса (в случае исходной морфологии I группы — см. схему на рис. 6, В). Сколы формирования этой поверхности могли быть направлены как с основной площадки нуклеуса (рис. 6, 5), так и со стороны основания (см. схему на рис. 6, б).

Таким образом, создавалась форма нуклеусов II и IV групп. Формирование «боковых» поверхностей скалывания велось от краев к центру. В коллекции имеются сколы оформления призматического рельефа, по-видимому, завершавшие этот процесс. Это трехгранные пластинчатые сколы, центральная грань которых — естественная поверхность отдельности сырья, остатки боковой поверхности нуклеуса (рис. 5, 5; рис. 4, 21, 22). Полной уверенности в происхождении этих сколов именно в данной ситуации расщепления нет, поскольку такие же снятия могли возникать и при формировании любой другой поверхности скалывания.

Морфология нуклеусов V группы, как уже указывалось, не позволяет рассматривать их как самостоятельную форму ядрищ. Это сдвоенный вариант нуклеусов II или IV группы. В случае использования всех четырех поверхностей скалывания на нуклеусах этого типа нельзя было бы избежать уменьшения ширины фронтов скалывания, что в свою очередь приводило бы к изменению морфологии сколов-заготовок. По этой причине схема, изображенная на рис. 6, Д, неприемлема для описания приемов расщепления жоховских нуклеусов.

Таким образом, заканчивая описание ядрищ индустрии о-ва Жхова, можно констатировать, что в ходе технологического анализа удалось установить: 1) все нуклеусы коллекции имеют широкие уплощенные поверхности скалывания; 2) выравнивание боковых сторон нуклеусов производилось: а) путем выбора ровных естественных поверхностей; б) поперечными сколами; в) продольными сколами; г) планомерным переносом поверхности скалывания на боковые стороны нуклеуса; 3) все формы нуклеусов, имеющиеся в коллекции, представляют собой различные стадии единого приема расщепления.

Пренуклеусы определялись на основе наличия общих с нуклеусами морфологических черт, метрических параметров и морфологии сколов оформления

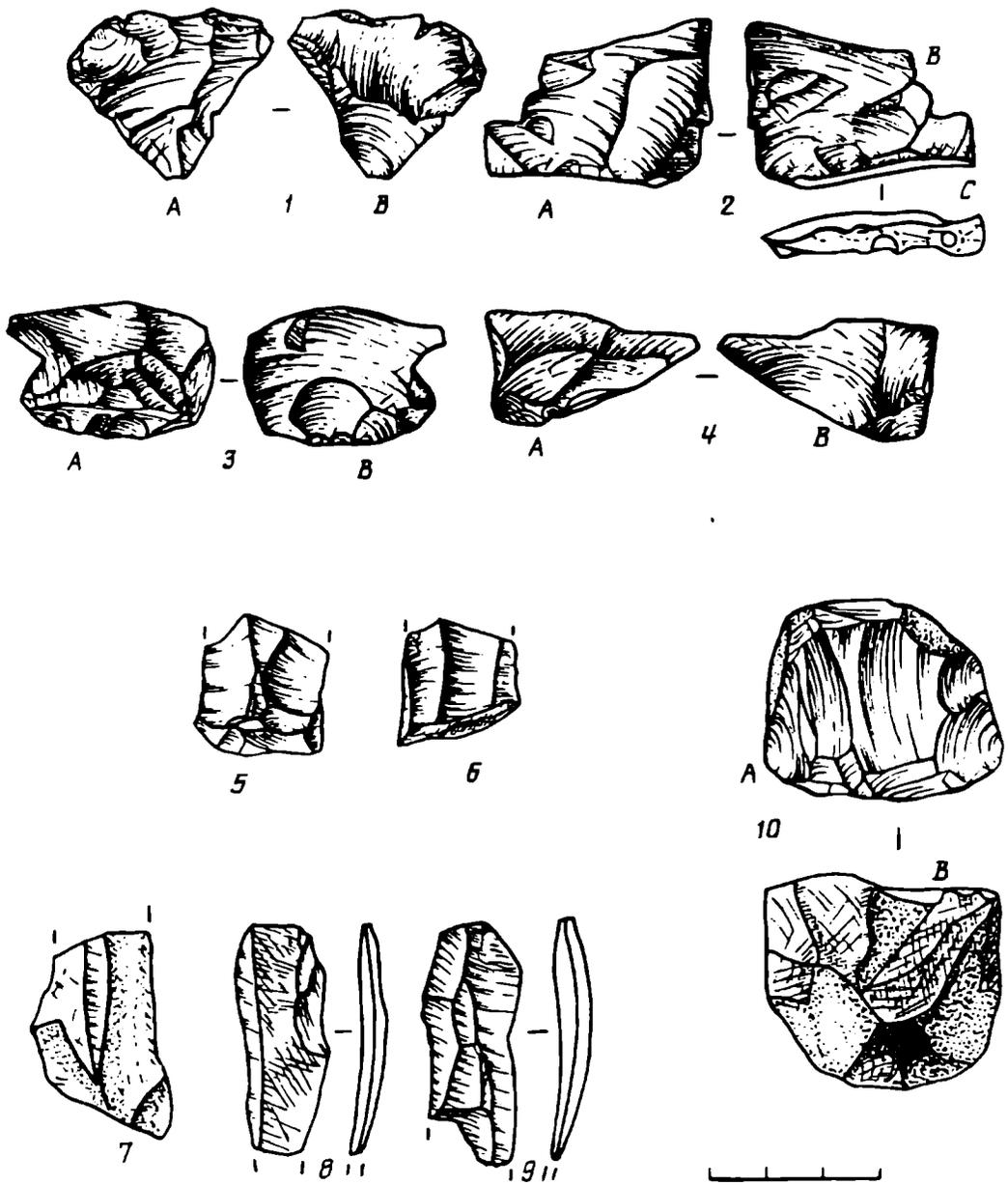


Рис. 11. Каменный инвентарь стоянки о-ва Жохова 1. 1—4 — сколы формирования площадок пренуклеусов; 5—9 — фрагменты пластин; 10 — пренуклеус

призматических поверхностей скалывания. Выделено 15 пренуклеусов (рис. 5, 1—5; III—10).

Форма пренуклеуса и нуклеуса сильно зависела от исходной формы данной отдельности сырья. При выборе сырья для изготовления пренуклеусов предпочтение отдавалось кубическим, пирамидальным формам или же близким к ним. Выбирались отдельные куски породы, имеющие на своей поверхности одну или две ровные плоскости. Если на куске сырья, выбранного для изготовления пренуклеуса, не было плоскости для создания площадки, то чаще всего расщепление начиналось именно с этого процесса. Основное требование при создании площадки — это ее размещение в плоскости, перпендикулярной боковым сторонам заготовки, и вначале площадка формировалась одним-тремя центростремительными сколами. Затем для снятия одного скола, проходящего в плоскости желаемого сечения заготовки, производилась круговая оббивка, в ходе которой удары приурочивались к кромочной части боковых сторон (рис. 6, 1). Сила этих ударов не рассчитывалась на снятие скола оформления площадки сразу же, с одного

удара. Напротив, круговая оббивка производилась слабыми ударами отбойником, которые создавали внутри заготовки неразвитые плоскости расщепления — трещины в виде конусов Герца, «затухающие», не выходя к свободной поверхности. В ходе такой оббивки внутренние трещины, опоясывающие заготовку пренуклеуса в плоскости необходимого сечения, соединялись, и в определенный момент, после очередного несильного удара, от заготовки отделялся скол оформления площадки нуклеуса.

Такой скол имеет центростремительную ориентацию негативов на спинке в сочетании с оригинальным обликом поверхности брюшка — это брюшко образовано не одним бугорком, как обычно, а сочетанием трех—пяти конусов. В коллекции стоянки по этим признакам выделено 35 сколов оформления площадки пренуклеуса, что составляет 44,8% от всех отщепов (всего их 78).

Рельеф поверхности брюшка этих сколов полностью соответствует облику площадок пренуклеусов, оставленных на этой стадии обработки, в чем можно убедиться, сравнив характер рельефа площадки пренуклеуса (рис. 11, 10) и сколов оформления подобных площадок (рис. 11, 1—4). Обращает на себя внимание, что на некоторых сколах, имеющих широкие площадки, на поверхности видны следы многократных ударов — конические трещины (рис. 11, 20).

Из 35 сколов этого назначения 5 не имеют проксимальных частей. Из 30 оставшихся 8 имеют естественные площадки, 21 — подправленные, 1 — ретушированную.

Кроме оформления площадки, на многих пренуклеусах осуществлялось и выравнивание основания (рис. 6, 1). Большая часть готовых к расщеплению нуклеусов данной индустрии имеет плоское, намеренно выровненное основание (рис. 7, 1, F; 9, 2, E; 3, F; 10; 1 F; 2, E, 3, F).

Боковые грани пренуклеусов чаще всего представляли собой естественные поверхности удачно выбранной исходной формы сырья. В тех случаях, когда рельеф этих поверхностей не устраивал мастера, они выравнивались сколами, площадками для которых служили естественные ребра. На пренуклеусах формировались широко известные в иных приемах расщепления «ребра», предназначенные для снятия первого «реберчатого скола» (рис. 12, 1, C, B). Любопытно отметить, что в данной индустрии отсутствуют ребра пренуклеусов, скалывание с которых велось бы в двух направлениях (перекрестным способом); — все оформленные сколами ребра «унифасиальные». Большая же часть ребер между боковыми гранями пренуклеусов — это естественные ребра избранной для расщепления отдельности кремнистого щебня (рис. 12, 2, 4, 5).

Морфология и метрические параметры реберчатых, первичных и иных сколов оформления призматического рельефа поверхности скалывания вполне соответствует морфологии пренуклеусов. Пластинчатые первичные сколы с естественных ребер преобладают (5 шт., или 2,5% от числа всех пластинчатых сколов, рис. 4, 12; рис. 5, 1). Реберчатых односторонних сколов — 3% (2 шт.) (рис. 4, 14, 15; рис. 5, 2). Значительно большим количеством представлены пластинчатые сколы, назначение которых — расширение границ будущей поверхности скалывания пластинок (тип 3, 4, 6, 7, 8 на рис. 5). От общего количества пластинчатых сколов они составляют, %: тип 3 — 0,5 (1 шт., рис. 4, 17); тип 4—0,5 (1 шт.); тип 6—10 (20 шт., рис. 4, 18); тип 7 — 12,6 (25 шт., рис. 4, 19, 20); тип 8—0,5 (1 шт.). Сколы 6, 7 и 8-го типов могли сниматься не только в ходе подготовки первой поверхности скалывания, но и при оформлении любых последующих. Возможно, по этой причине сколы 6-го и 7-го типов составляют столь большой процент от общего числа пластинчатых снятий.

Таким образом, технология получения вкладышей в индустрии о-ва Жохова 1 может быть представлена следующим образом.

Пренуклеусы изготавливались из отдельностей кремневого щебня, имеющих ортогональную форму. Основными этапами их создания были: подготовка площадки пренуклеуса круговой оббивкой, выравнивание основания и в отдельных

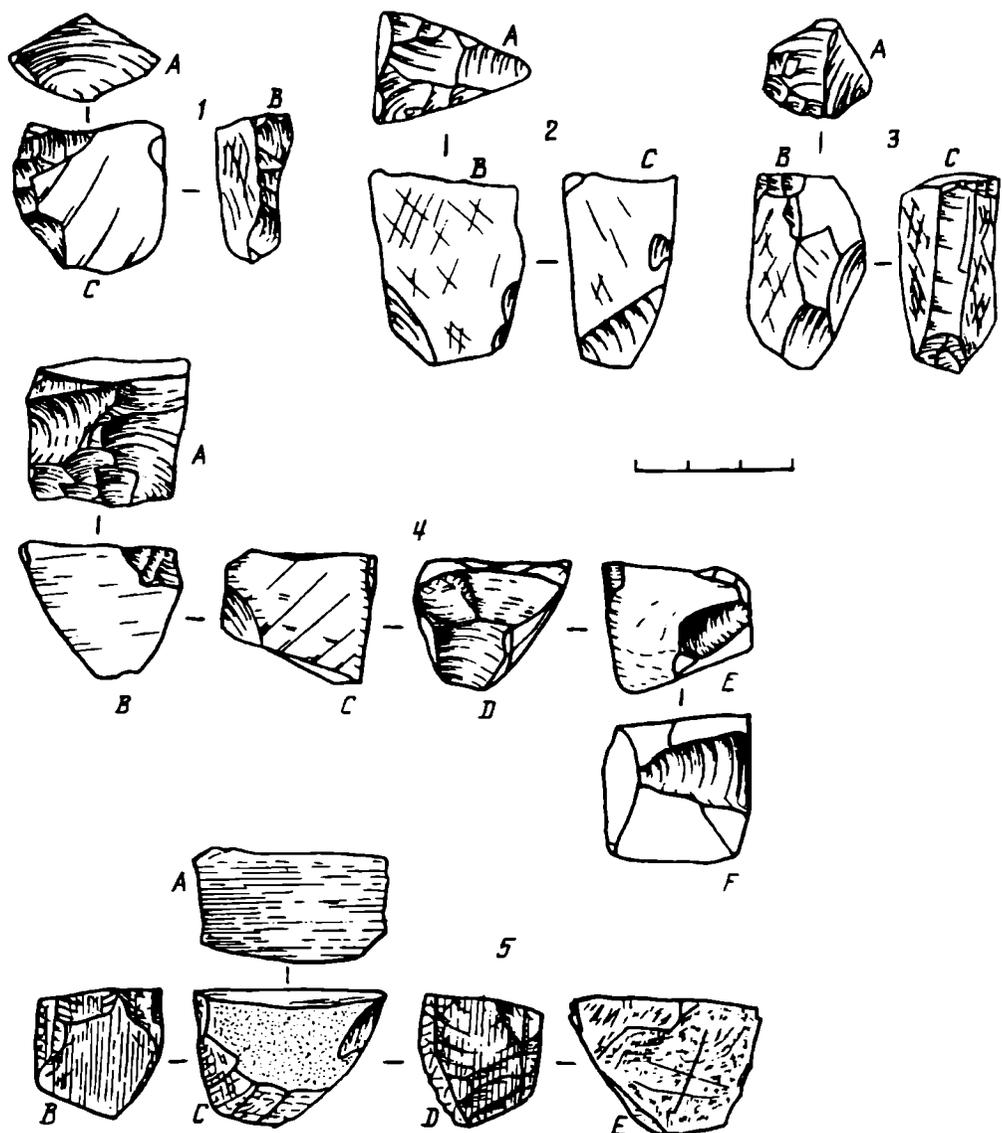


Рис. 12. Пренуклеусы каменной индустрии стоянки о-ва Жохова 1

случаях выравнивание поверхности скалывания снятиями с ребра, всегда направленными в одну сторону (рис. 4, 1, 2).

С помощью пластинчатых снятий с основной и противоположной площадок пренуклеусы превращались в ядрища, окончательную подготовку которых завершало выравнивание площадки сколами с одной из боковых поверхностей, кромочная подправка ее отжимной ретушью, а также в некоторых случаях — дополнительное выравнивание боковых поверхностей поперечными сколами. Последнее могло производиться уже в ходе утилизации нуклеуса, в сочетании с выравниванием боковых поверхностей продольными снятиями путем переноса поверхности скалывания на боковые стороны нуклеуса. Общая стратегия расщепления нуклеусов была направлена на получение стандартных пластинок с прямым профилем, что обеспечивалось постоянным поддержанием широкой уплощенной поверхности скалывания. В ходе утилизации нуклеусов их морфология изменялась. Завершенными формами можно признать ядрища с двумя и тремя смежными поверхностями скалывания (вариант с четырьмя поверхностями скалывания рассматривается как дублирование одного из двух упомянутых). Вкла-

дыши изготавливались путем намеренной фрагментации полученных в ходе расщепления пластинок из их медиальных частей.

Подготовка пренуклеуса и выравнивание площадки нуклеусов велись ударной техникой скола. Выравнивание кромки ударной площадки, граничащей с действующей поверхностью скалывания, боковых сторон поперечными снятиями, а также снятие самих пластинок проводилось с помощью ручного отжима. Анализ индустрии расщепления кремня показывает, что она была ориентирована преимущественно на получение вкладышей определенного размера, причем процесс был заметно стандартизирован, а характеристики оправ в точности соответствуют данным технологического анализа.

Вкладышевые орудия представляют собой предметы комплекса охотничьего вооружения, значительная часть которых сломана в процессе использования, часть их подвергалась переоформлению после поломки. Чаще всего, судя по пропорциям орудий, обломлена примерно 1/3 (насад или острие). Насад, занимающий примерно 1/3 длины орудия, как правило, не имеет дополнительной обработки. Скорее всего наконечники крепились к древку «внахлест» плотной обвязкой. Хорошо известно, что таким образом закреплялись даже каменные острия [7, с. 24—39]; в некоторых случаях отчетливо видна заполировка от обвязок. Пазы занимают примерно 2/3 длины боковых сторон, очень редко они пропилены во всю длину орудия. Глубина пазов варьирует в пределах 3—5 мм, ширина обычно около 2 мм. Вкладыши, сохранившиеся *in situ* в пазах, выступают из них, как правило, на 1,5—2 мм, реже на 3—4 мм. Количество вкладышей, использованных для оснащения одного орудия, установить не удалось.

Попыток изготовления каких-либо других орудий на пластинах не отмечено. Специфической чертой комплекса является сочетание микропризматической техники и традиции изготовления шлифованных орудий, не отмеченной ранее в одновременных стоянках на о-ве Жохова памятниках Севера Восточной Сибири [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Питулько В. В., Макеев В. М., Самарский М. Б. Древнейшая стоянка в высокоширотной Арктике // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки. Т. 1. Новосибирск, 1990.
2. Pitul'ko V., Makeyev V. Ancient Arctic Hunters // Nature. 1991. 349:6038.
3. Федосеева С. А. Древние культуры Верхнего Вилюя. М., 1968.
4. Козлов В. И. Новые археологические памятники Амги // Новое в археологии Якутии. Якутск, 1980.
5. Филиппов А. К. Технология изготовления костяных наконечников в верхнем палеолите // СА. 1978. № 2.
6. Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья // МИА. 1950. № 18.
7. Gronnow Bjarne. Prehistory in Permafrost (investigations at the Saqqaq Site. Qeqertasussuk, Disco Bag, West Greenland) // J. Danish Archeol. 1988. V. 7.
8. Мочанов Ю. А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск, 1977.

Институт истории
материальной культуры
РАН, Санкт-Петербург

E. J. GIRYA, V. V. PITULKO

TOOLS AND THE STONE INDUSTRY FROM THE MESOLITHIC SITE ON ZHOKHOVA ISLAND

S u m m a r y

The article deals with the results of two year long excavations on Zhokhova island. It was the first time when the numerous artifacts dated to the most ancient period in the region's development were found. They prove the fact that the ancient hunters reached the distant northern areas at least 8,000 years ago. It was a culture of the continental hunters for reindeer and white bear. The collection contains more than 7,000 artefacts and gives an idea about the hunting weapon of the ancient local population.

Д. Я. ТЕЛЕГИН

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА РОМАНКОВСКОГО ТИПА В КИЕВСКОМ ПОДНЕПРОВЬЕ

Прошло более 100 лет, как в Поднепровье были обнаружены первые находки неолитической керамики [1]. Позже в деле изучения неолита Киевского Поднепровья много было сделано за период между двумя мировыми войнами, а особенно после окончания Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. [2—3]. Среди специалистов всеобщее признание получили выделенная в это время днепро-донецкая культура, а также памятники типа Струмель-Гастятин [4—5]. Казалось, уже трудно было ожидать каких-либо новых открытий в области неолита Киевского Поднепровья. Но раскопки на Романковском поселении, когда был выявлен отдельный своеобразный тип неолитической керамики, однако, изменили это представление.

Романковское поселение обнаружено автором в 1984 г. Оно расположено в своеобразных топографических условиях, у болота Клопотовское, образовавшегося в прадолине одного из рукавов Днепра (рис. 1). Раскапывалось поселение нашей экспедицией в 1984—1985 гг.; раскрыта площадь более 200 м². Культурный слой поселения залегает как на берегу болота, так и в его прибрежной части. Стратиграфические условия на месте поселения отличаются определенной сложностью, отмечается четыре слоя (рис. 2).

- 1—2. Чернозем мощностью до 30 см (слой 1), в сторону болота он постепенно переходит в торф, а в крайних квадратах в болоте полностью замещается торфом мощностью до 0,6—1,4 м (слой 2).
3. Темно-серый довольно плотный суглинок. Его толщина в среднем 30—35 см. На берегу болота, т. е. на более высоких отметках местности, он вместе с черноземом сильно пропитан железистыми соединениями.
4. Песок белый, видимо, алювиального происхождения, копали в зондажах до глубины 1,2 м. В этом слое начинала выступать вода.

Археологические находки сосредоточены в черноземе и темно-сером суглинке (слои 1, 3). В торфе их очень мало, а в песке (слой 4) совсем нет.

На площади поселения отмечены разновременные находки — позднетрипольские и неолитические. В их расположении прослеживается четкая планиграфия. На берегу болота, т. е. во всех юго-западных квадратах, преобладают находки трипольской керамики, количество которых в сторону болота резко сокращается. Неолитические материалы встречаются на всех квадратах раскопа, но на берегу болота их меньше и они смешаны с трипольскими, а в прибрежной его части под торфом залегают в виде слоя мощностью до 30—35 см в темно-сером суглинке. Насыщенность слоя очень большая, особенно фрагментами керамики; на отдельных квадратах здесь собрано до 30 черепков; отмечены развалы сосудов. Находки без следов окатанности, что свидетельствует о непосредственности материалов.

На площади раскопа раскрыто шесть ям различных размеров и очертаний. Большинство из них находилось на берегу болота и связывается с трипольским поселением.

Керамические находки поселения довольно определенно делятся на позднетрипольские (1265 экз.) и неолитические (3577 экз.). Их обособленное положение в плане несомненно говорит о том, что здесь мы имеем дело с двумя разновременными поселениями — неолитическим и трипольским.

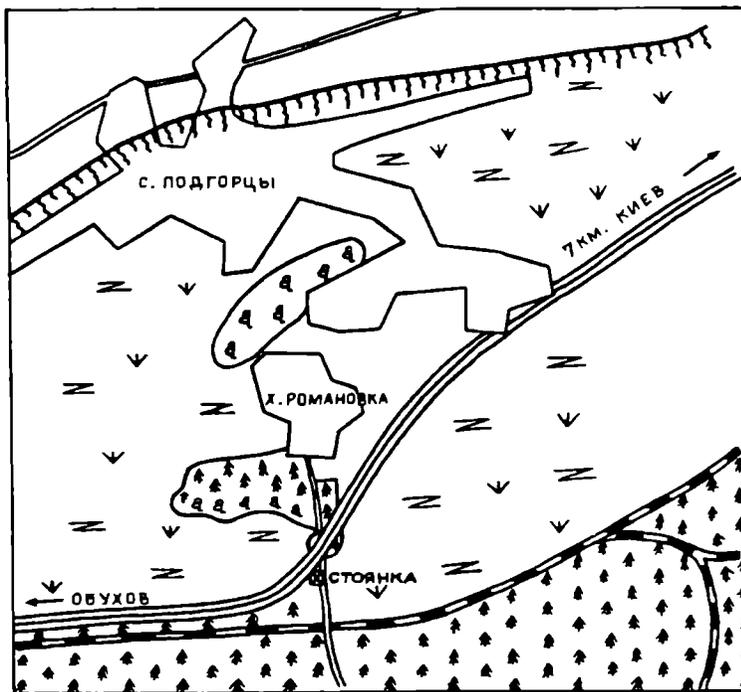


Рис. 1. Ситуационный план расположения стоянки у хут. Романово

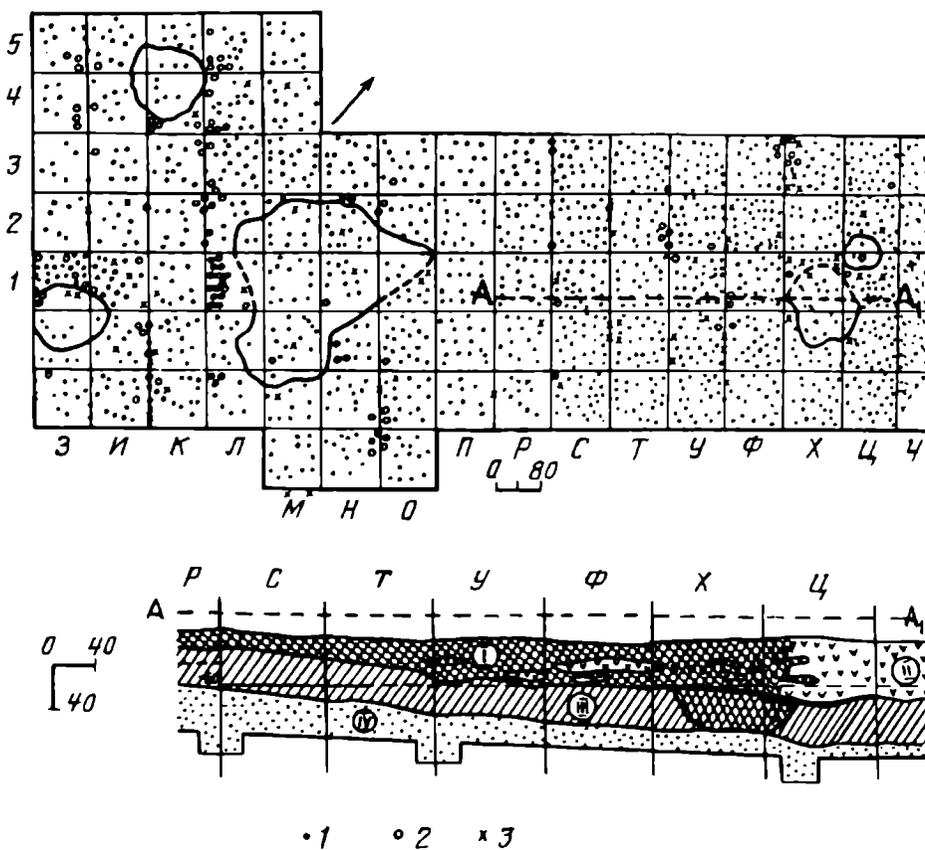


Рис. 2. Романово. План раскопа и профиль наслоений. 1 — неолитическая керамика; 2 — фрагменты трипольской керамики; 3 — другие находки. I — почва; II — торф; III — подпочва; IV — материковый песок

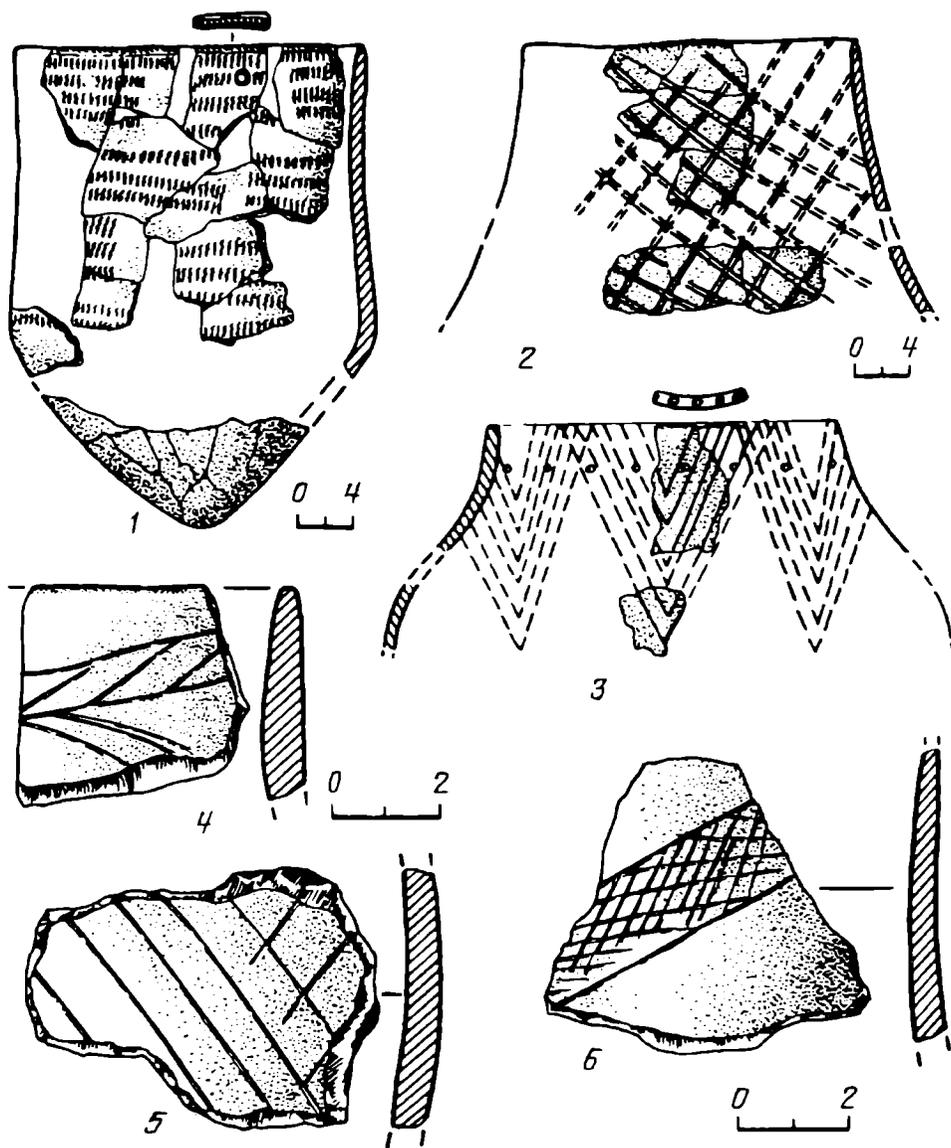


Рис. 3. Керамика романковского типа. 1, 2, 4—6 — Романково; 3 — Вита литовская

Ниже мы остановимся на рассмотрении материалов эпохи неолита.

Керамика. Типичная для Романковского неолитического поселения глиняная посуда представлена обломками сосудов и двумя их развалами (№ 3590; 1085); сосуды характеризуются относительной тонкостенностью (толщина стенок в среднем 0,5 см), лишь небольшой ее процент отличается толщиной стенок до 0,8—1 см. В тесте песок, реже небольшая растительная примесь, иногда есть охристые зернышки — кровавик. Поверхность сосуда хорошо сглажена, хотя бывает покрыта слабыми расчесами. Формы сосудов восстанавливаются слабо, за исключением упомянутых выше двух развалов, из которых один графически восстановлен более-менее полно. На его описании мы остановимся ниже. В целом же ясно, что сосуды были относительно прямостенные с ровным венчиком, несколько утончающимся к краю. Дно во всех случаях острое. Фрагментов, которые бы указывали на какой-то резкий перелом формы сосудов, не выделяется почти совсем (рис. 3, 1, 2).

Характерной чертой романковской керамики является ее слабая орнаментация. Более 95% черепков не имеют никакого узора.

Орнаментированных сосудов было очень мало. Это реконструированные сосуды № 3590 и 1085, а также 149 фрагментов, что составляет всего 4,6% от всех

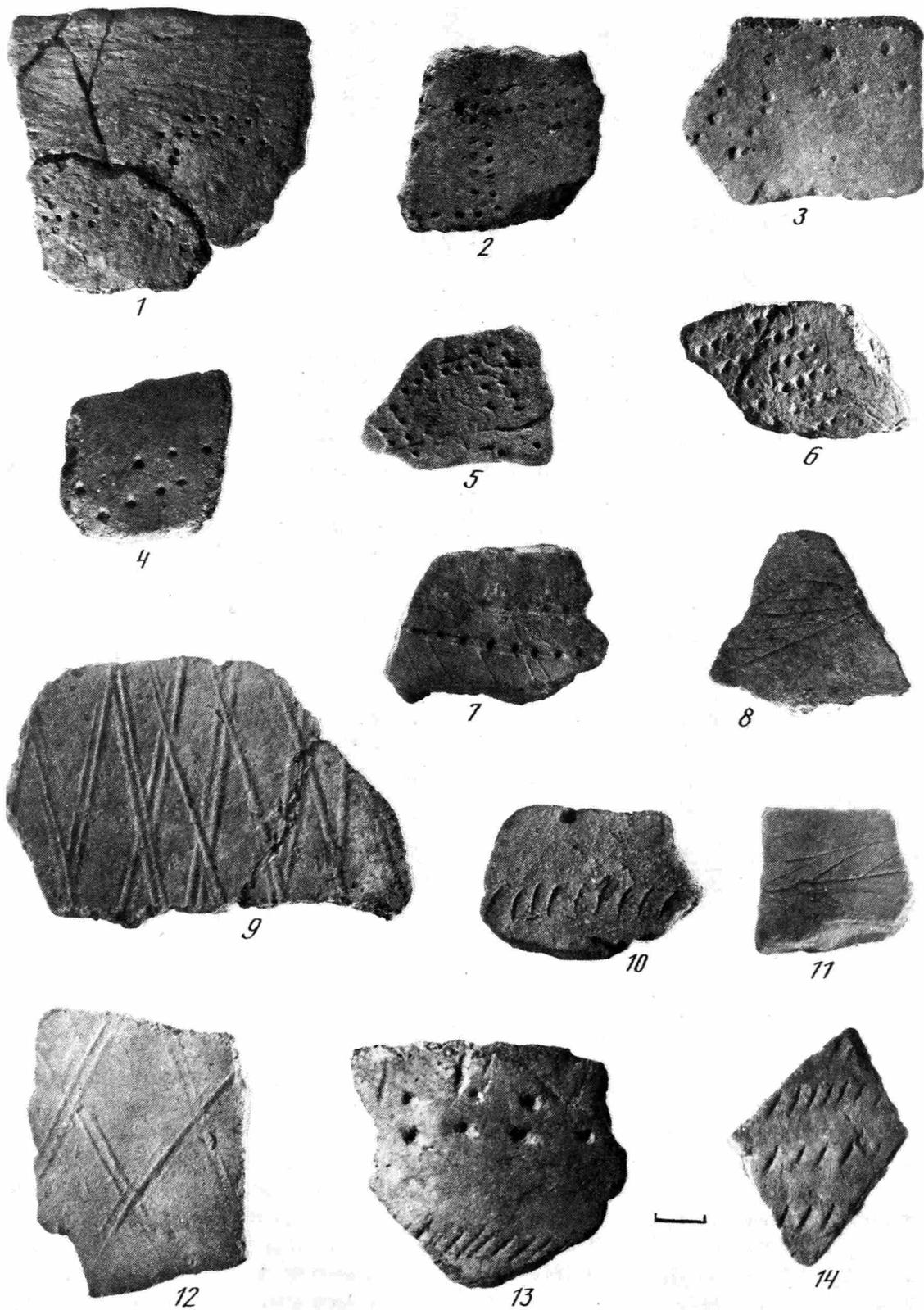


Рис. 4. Романково. Фрагменты керамики с орнаментом

черепков. Основных элементов орнамента четыре — короткая гребенка, проглаженные полосы, тонкая резная линия и ямочно-точечный.

С гребенчатым орнаментом выделено всего 45 фрагментов (рис. 4, 10, 14); такой же узор был и на сосуде № 3590. Гребенка короткая: три-четыре слабо-выделенных зубья или это просто оттиски краем ракушки. Сосуд № 3590 горшковидной формы, относительно толстостенный, хорошо оглажен, без расчесов, красноватого цвета. Венчик ровный, слегка утонченный к краю по срезу насечки. Тулово в средней части слегка расширено, откуда стенки после округлого перегиба сходятся к острому дну (рис. 3, 1). Сосуд в верхней половине богато орнаментирован вертикально поставленными оттисками короткой гребенки в три-четыре зубца. Мотив узора довольно сложный и представляет собой прямоугольные поля, сплошь покрытые рядами гребенчатых оттисков. Эти поля покрывают всю верхнюю часть сосуда до перегиба в шахматном порядке, чередуясь с такими же полями меньших размеров, лишенных орнамента.

Орнамент из проглаженных полосок наносился дву-трезубым штампом. Таким узором был украшен сосуд № 1085 и 47 фрагментов от других сосудов (рис. 3, 2, 4, 9, 12). Форма сосуда № 1085 реставрирована (верхняя часть). Он тонкостенный (0,5 см), в тесте есть следы травы. Поверхность гладкая, без расчесов.

Весьма оригинальный тонкорезной орнамент отмечен всего на 14 фрагментах (рис. 3, 4—6, 4, 8, 11). Восемь из них — толстостенные (0,7—0,8 см), очень хорошо сглажены, без видимых примесей. Остальные несколько более тонкостенные, три с расчесами на внутренней поверхности. В двух случаях заметны следы травы. Последние по фактуре не выпадают из числа прочих многочисленных неорнаментированных фрагментов всей группы. Орнамент наносился каким-то острым инструментом, типа кончика ножа. Иногда он хорошо заметен, чаще же еле проступает. О мотивах узора говорить трудно, так как слишком мелки фрагменты, но ясно одно, что композиция узора была разнообразная и сложная. Здесь и криволинейные мотивы, и полосы, заполненные косой штриховкой или кососетчатой композицией (рис. 3, 6), параллельные линии (рис. 3, 5), шевронные композиции и др. В двух случаях от заштрихованной полосы под венчиком сосуда отходит полоса из двух линий (рис. 3, 4; 4, 11); на одном черепке тонкий резной орнамент сочетается с ямками (рис. 4, 7), на другом нанесены зигзаг, ямки и гребенка (рис. 4, 13).

Несомненный интерес представляет и точечно-ямочный узор (13 экз.). Он состоит из отдельно стоящих точек-ямочек, округлых в плане, размером 0,1—0,2 см и примерно такой же глубины или поменьше. В одном случае этот орнамент образует большой зигзаг, выполненный двумя рядами точек-ямочек (рис. 4, 12), чаще же — какую-то систему в расположении этих наколов проследить трудно (4, 3—6).

Описанный керамический тип — в общем новый для неолита Киевщины, и законна постановка вопроса о его гомогенности, прежде всего принадлежности к комплексу фрагментов с орнаментом. В этом плане утвердительно можно сказать о сосуде № 1985 и фрагментах с линейным проглаженным орнаментом, которые по тесту идентичны массовому керамическому материалу без орнамента. То же следует сказать о сосудах с линейным врезным и точечно-ямочным узором. Труднее сделать однозначное заключение о связи со всем комплексом сосуда № 3590, а также части фрагментов с гребенчатым узором. Возможно, их появление здесь следует рассматривать как результат влияния иных культур (Струмель-Гостятина).

Кроме описанной «романковской» и упоминавшейся выше поздне трипольской керамики на площади поселения собрано некоторое количество керамических находок днепро-донецкого (135 фр.) и струмень-гастятинского (222 фр.) типов, на рассмотрении которых мы задерживаться здесь не будем¹. Стратиграфически

¹ В этой связи отсылаем читателя к нашим прежним работам [2, 4, 5].

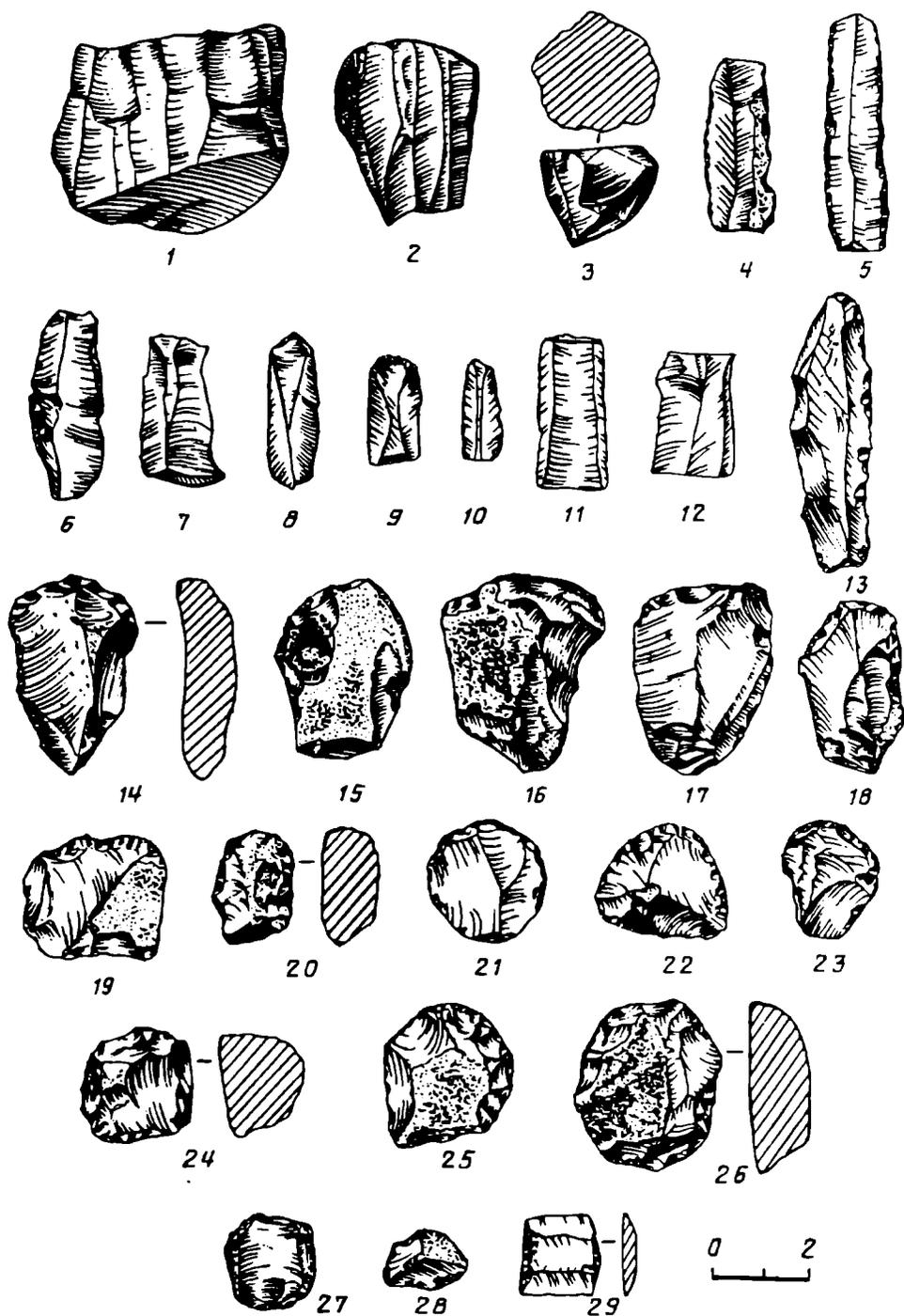


Рис. 5. Романово. Кремневый инвентарь

импланиграфически керамика этих типов занимала в общем то же положение, что и романовская.

Орудия труда на неолитическом поселении представлены кремневыми изделиями, а также из кости — рога. Всего найдено 112 кремней, среди которых 50 отщепов, остальные — скребки, ножи, пластины и др.

Для изготовления орудий использовался разноцветный, видимо галечный, кремль, вероятно, местного (?) происхождения. Нуклеусов — три, небольших размеров, ортогнатные. Два из них однобокие с остатками желвачной корки на одной (не «рабочей») стороне. Один из них двуплощадочный, второй одноплощадочный (рис. 5, 1—2). Третий экземпляр, небольшой — конический (рис. 5, 3). Он служил скорее всего для снятия отщепов, тогда как на двух первых

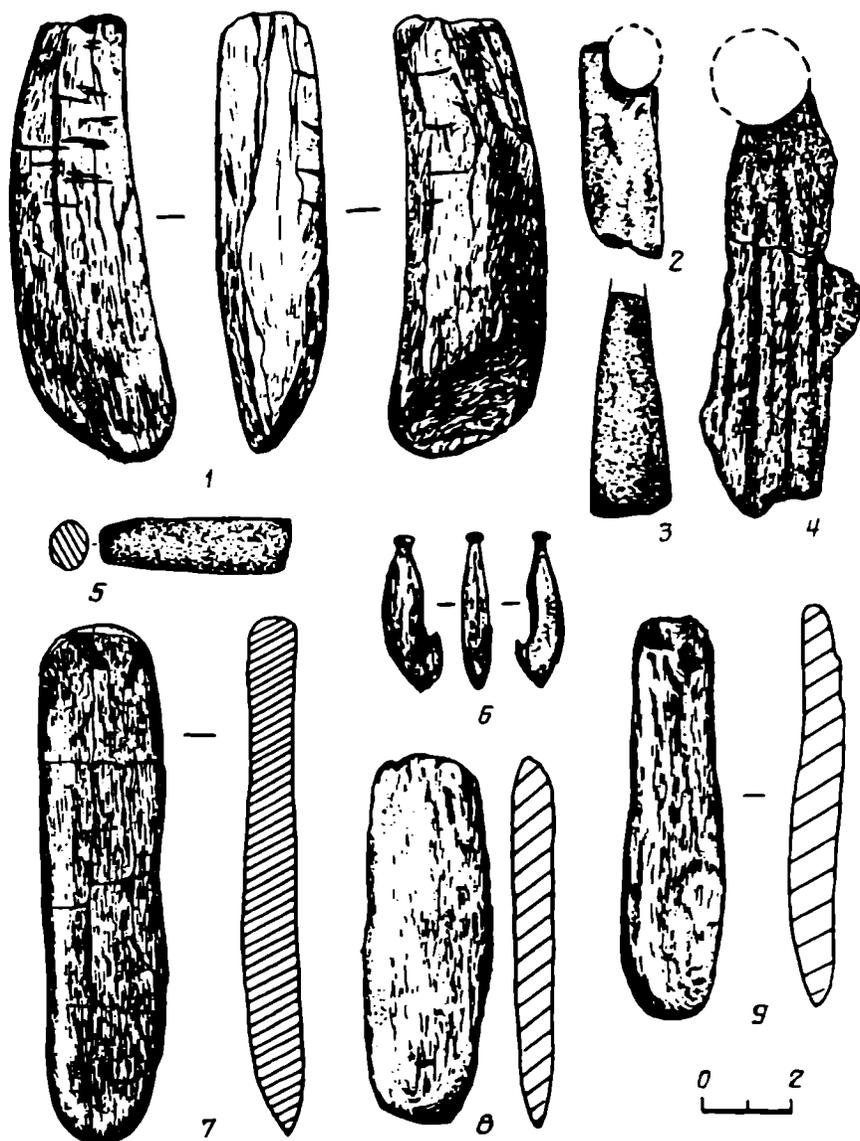


Рис. 6. Романово. Изделия из кости-рога (1, 2, 4, 6—9) и глины (3, 5)

сохранились негативы от снятых правильных микролитических пластин. В комплексе, кроме того, есть пять нуклеидных обломков, один скол с верхней площадки нуклеуса и реберчатая пластина.

Ножевидных пластин — 27 экз. Все они малых размеров, короткие, часто с плохой огранкой спинки, хотя есть и типично микролитические (рис. 5, 6—10). Большинство их в обломках, имеется в том числе пять обломков, которые можно отнести к типу сечений пластин (рис. 5, 11—12). Орудий труда всего — 27 экз., в том числе три ножевидные пластины с ретушью — ножи, 23 скребка и одна трапеция. Ножи небольших размеров: ретушь покрывает одну или обе стороны (рис. 5, 4, 5).

Скребки разных типов и неодинаковые по размеру. Их размеры в поперечнике колеблются от 4 до 2,7 см. Преобладают изделия этого рода размером 2,5—3,5 см. Все они изготовлены из пластинчатых отщепов (9 экз.) или отщепов (10 экз.). Первые — концевые типа (рис. 5, 14—18); скребки на отщепах подокруглые с ретушью на 3/4 периметра (рис. 5, 19—28). Есть один скребок двухсторонний. Характерной чертой подавляющего большинства скребков из Романово является их высокая форма, иногда очень высокая, чем они напоминают скребки Анетовки (рис. 5, 24).

Трапеция изготовлена из правильной среднеширокой пластины. Имеет почти подпрямоугольную форму. Боковые грани сформированы крутой краевой ретушью (рис. 5, 29).

Орудий из кости и рога выделено 10 экз. Среди них четыре тесла, обломки двух «мотыг», рыболовный крючок и др., а также четыре обломка рога оленя с нарезками. Два тесла изготовлены из расколотой трубчатой кости крупного животного. Они плоские в сечении, лезвие хорошо заточено, слегка асимметрично (рис. 6, 7, 8). Еще два орудия этого типа изготовлены из рога оленя. Одно из них аналогично костяным теслам (рис. 6, 9), второе — толстое, округлое в сечении, по всей поверхности хорошо сглажено, асимметрично в профиль, в верхней части имеются глубокие нарезки, очевидно, для более прочного закрепления орудия в какой-то муфте (рис. 6, 1). Обе «мотыги» тоже были изготовлены из рога оленя. Сохранились, к сожалению, лишь их обломки с остатками сверлин для деревянной рукоятки диаметром до 1 см (рис. 6, 2, 4).

Интересной находкой является маленький рыболовный крючок, тщательно отполированный. Он имеет головку для привязывания лески, толстое тельце и маленькое жальце, немного поврежденное (рис. 6, 5, 6).

Среди других изделий можно отметить обломок эмали зуба кабана со следами срезов по двум краям, грузик из стенки керамики, очевидно для сети, а также несколько стерженьков из обожженной глины неизвестного назначения (рис. 6, 3, 5).

Для выяснения культурно-хронологического места керамики романковского типа на Поднепровье и сопровождающих ее материалов обратимся к сравнительным данным по другим керамическим комплексам региона, учитывая прежде всего форму сосудов, обработку их поверхности и степень покрытия ее орнаментом.

Судя по реконструкции романковских сосудов (к сожалению, частично удавшейся) только в двух случаях (рис. 3, 1, 2) для комплекса Романково были характерны по крайней мере две керамические формы: широко открытый остродонный горшок с почти ровным венчиком и сосуды с суженным горлом, более округлые. Если широкооткрытые горшки являются более-менее типичной формой для неолита Поднепровья, то округлотелые сосуды с суженным горлом Романково надо считать весьма здесь необычными. В комплексах днепро-донецких поселений такие сосуды встречаются крайне редко, они отмечены только на Воляни (Моства). Какая из двух форм сосудов была доминирующей в Романково, из-за фрагментарности материалов сказать трудно, но наличие узкогорлых округлотелых сосудов указывает на своеобразие этого комплекса по сравнению с днепро-донецкими и особенно струмель-гастятинскими коллекциями.

Романковская керамика отличается от других неолитических комплексов также составом теста и обработкой поверхности. Выше уже отмечалось, что подавляющее большинство сосудов из Романково в тесте имели минеральную примесь (песок); растительные же остатки, типичные для днепро-донецкой и струмельско-гастятинской керамики, здесь встречаются значительно реже.

Поверхность сосудов в Романково обычно хорошо сглажена, расчесы гребенкой, особенно на внешней их поверхности, встречаются очень редко, что также отличает этот комплекс и от днепро-донецкой, и особенно от струмельско-гастятинской керамики.

Характерной чертой романковской керамики, как отмечалось уже выше, является очень небольшой процент (всего 4,6) орнаментированных сосудов. В то же время в комплексах днепро-донецкого и струмельско-гастятинского типов этот показатель несравненно выше. Так, например, по нашим подсчетам на поселениях Киевского Поднепровья (Грини, Каменка), в среднем он составляет более 70%, на Черкасщине (Бузыки, Мутыхи и др.) — около 90%, а в Надпорожье (Собачки, Восток и др.) — 96,6% [2, с. 61].

Среди культур днепро-донецкой этнокультурной общности обычай украшать сосуды узором, однако, меньше был развит на Воляни. На поселениях Моства, Устье Гнилопяти, Майдан Липненский и др. наряду с орнаментированными

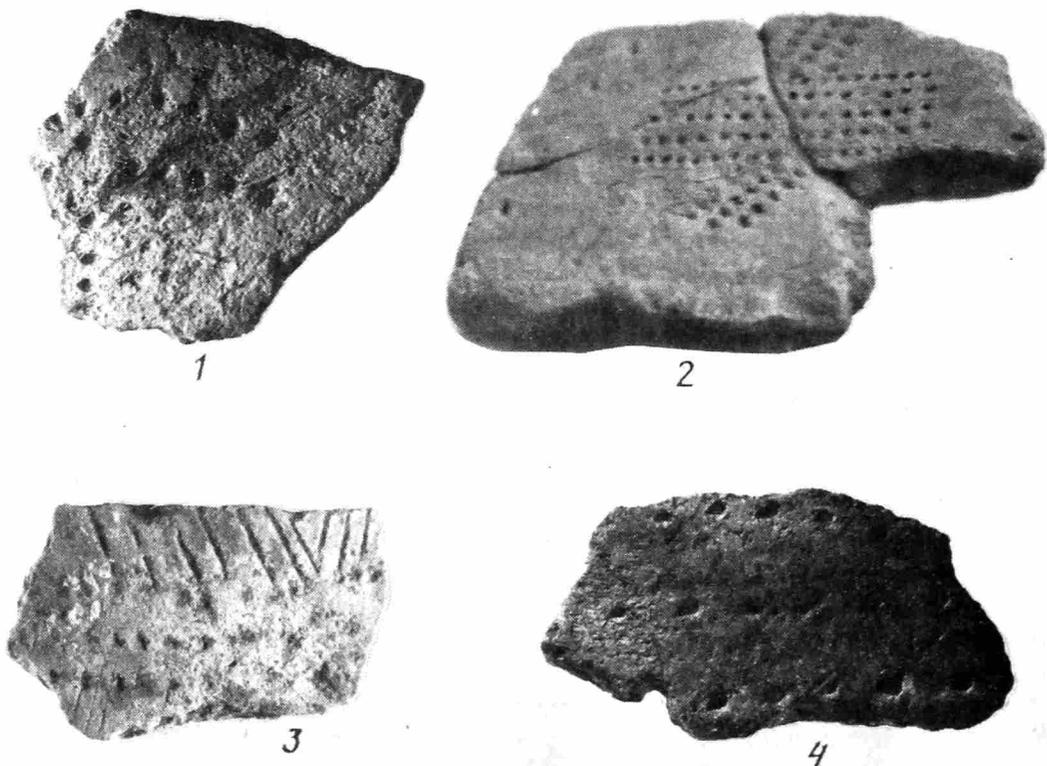


Рис. 7. Керамика романковского типа из Поднепровья. 1, 3, 4 — Вишенки; 2 — Вита литовская

встречаются сосуды, совершенно лишенные узора [6—8]. По степени покрытия поверхности сосудов орнаментом среди местных неолитических культур Поднепровья к Романковскому комплексу более близка, хотя и неидентична, струмельско-гастятинская керамика [4, 5], чем днепро-днецкая.

Говоря об особенностях романковской керамики по сравнению с посудой других культур, важно подчеркнуть, что из четырех основных типов ее орнамента только два (гребенка, проглаженная линия) являются общими с днепро-днецкими находками и всего один (гребенка) — со струмельско-гастятинскими. В Романково эти типы орнамента применялись крайне редко — около 0,02 образцов, в то время как в днепро-днецких комплексах Киевщины (Грини, Каменка) гребенчатый узор отмечен на 41% фрагментов, а прочерченный — на 3,5%. Высокий процент гребенчатого и прочерченного орнамента отмечается и в днепро-днецких комплексах, и на других территориях, на Черкасщине например — соответственно 16,2 и 42,3%.

Два типа орнамента, зафиксированные на керамике из Романково, — тонкая резная линия и точечно-ямочный — в комплексах других неолитических культур региона либо встречаются редко, либо совсем неизвестны. Обращают на себя внимание и особенности мотивов узора в Романково, выполненных врезными линиями и точками. Это крупный мандр (рис. 4, 1—3) или полосы, заполненные композициями из косых сеток (рис. 3, 4—6). Ни тот, ни другой мотив как на днепро-днецкой, так и струмельско-гастятинской керамике не встречаются.

Если ко всему сказанному выше прибавить то, что на романковской керамике практически отсутствует обычай наносить под срезом венчика горшков ряд крупных глубоких ямок, что характерно, например, для днепро-днецких сосудов, то своеобразие романковского керамического типа станет вполне очевидным.

К сожалению, другие местонахождения с материалами романковского типа в Киевском Поднепровье пока не известны. Это, вероятно, объясняется тем, что

раскопки торфяниковых стоянок здесь до сих пор практически не проводились. Можно лишь отметить отдельные находки керамики романковского типа на некоторых днепро-донецких поселениях. Черепки с типичным романковским точечно-ямочным узором выделены, например, среди находок из поселений Вишенки и Вита Литовская вблизи Киева (рис. 7). В обоих случаях фрагменты сближаются с романковскими также по составу глиняного теста, по обработке поверхности и др. [9].

Если обратиться к аналогиям нашей керамики на более отдаленных территориях, то можно назвать упоминающуюся уже выше стоянку Моства на Волыни, где на некоторых сосудах присутствует тонковрезной орнамент. Точечно-ямочный орнамент представлен и на керамике типа Осы в Латвии [10].

Сложение керамики романковского типа было, видимо, местным; во всяком случае, на данном этапе наших знаний мы не видим территории, где можно было бы искать ее генетические корни. По слабой степени орнаментированности эта керамика в целом тяготеет к неолиту Волыни, где теперь выделяется отдельная Волынская культура днепро-донецкой этнокультурной общности [8]. Романково, видимо, следует рассматривать как наиболее восточную территорию распространения волынской керамической традиции, которая сильно трансформировалась в местных условиях.

Что же касается вопроса хронологии романковской керамики, то здесь мы должны исходить из условий ее залегания в Романково и сравнительного анализа с днепро-донецкой посудой, возраст которой более или менее известен. Судя по планиграфии и в значительной степени стратиграфии, романковское неолитическое поселение было древнее возникшего здесь же на берегу озера (?) трипольского поселения с керамикой лукашевского типа. Последнее относится к более раннему этапу позднего Триполья, что по радиоуглероду датируется первой четвертью III тыс. до н. э. [11]. Следовательно, Романковское неолитическое поселение хронологически уходит в IV тыс. до н. э. Такой возраст рассматриваемой здесь керамики определяется также наличием в неолитическом слое посуды днепро-донецкого и струмель-гастянского типа, что для романковского поселения является безусловно инородным элементом. Присутствие среди орнаментальных элементов днепро-донецких черепков орнамента в виде отступающих наколов указывает на ее принадлежность в целом ко второму этапу культуры, который датируется IV тыс. до н. э. С другой стороны, эта керамика не может быть отнесена к более раннему времени, поскольку здесь нет черт, присущих раннему этапу днепро-донецкой керамики V тыс. до н. э.

Таким образом, раскопки неолитического слоя на Романковском поселении позволили получить ряд новых данных в изучении неолитической культуры Киевского Поднепровья. Сейчас, в частности, становится очевидным, что здесь кроме известных керамических типов — днепро-донецкого и струмельско-гастянского — можно выделять еще один, романковский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кибальчич Т. О находках предметов каменного периода на левом берегу Днепра. СПб., 1880.
2. Телегин Д. Я. Дніпро-донецька культура. Киев, 1968.
3. Даниленко В. Н. Неолит Украины. Киев, 1969.
4. Археологія Української РСР. 1985. Т. 1.
5. Телегин Д. Я. Неолитические памятники Северной Украины и Южной Белоруссии//МИА. 1973. № 12.
6. Левицький І. Ф. Дослідження стоянки на торфовищі Моства в 1948 р.//Археологічні пам'ятки. 1952. Т. IV.
7. Неприна В. И. Тетеревское поселение днепро-донецкой культуры//СА. 1966. № 2.
8. Охрименко Г. В., Телегин Д. Я. Нові пам'ятки мезоліту та неоліту Волин//Археологія. 1982. Т. 39.
9. Телегин Д. Я., Титова Е. Н. Отчет о раскопках поселения Вишенки 2 в 1988//Науч. архив ИА АН Украины. 1988. 126.

10. *Загорскис Ф. А.* Ранний и развитой неолит Восточной части Латвии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Рига, 1967.
11. *Телегин Д. Я.* Радиоуглеродне і археоманітне датування трипільської культури//Археологія. 1985. Т. 52.

Институт археологии АН Украины,
Киев

D. J. TELEGIN

**THE NEOLITHIC ROMANKOVO TYPE POTTERY
IN THE DNIEPER RIVER REGION NEAR KIEV**

S u m m a r y

In 1984-85 the author carried out the excavations of Romankovo site situated near Klopotovskoye swamp formed in the valley of a Dnieper river branch. The excavation square was more than 200 sq. m. The Neolithic layer contained peculiar pottery and a small number of the flint and bone artifacts. Tripolye pottery and the Neolithic pottery of different types were also found there. The author marks out a special ceramic group of Romankovo type. The fabric contained sand and more rarely, small vegetable admixtures. The vessels were straight-walled with a plain rim, the bases were conical. The ornaments are rare, 90% of the vessels have no decorations at all. The author considered Romankovo type ceramic to be the eastern variant of the Volyn culture. Romankovo site is dated to the 4th millennium B. C.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТИПОЛОГИИ ЖИЛИЩ БЕРЕЗАНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В КЛАССИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

Археологические раскопки античного поселения на о-ве Березань за последние два десятилетия принесли немало новой информации о домостроительстве памятника [1, с. 192—208; 2, с. 33—60]. Попытки ее осмысления, предпринимавшиеся разными исследователями [1; 2, с. 35—38; 3, с. 11—31; 4, с. 5—27; 5], свидетельствуют о неослабевающем интересе к вопросам развития и типологии жилища, процессам урбанизации поселенческих структур и, думается, лишний раз подчеркивают значимость такого рода сведений для изучения феномена греческой колонизации Северного Причерноморья.

К настоящему времени в составе раскрытых на Березанском поселении строительных комплексов численно преобладают постройки архаического периода, далее в количественном отношении следуют сооружения римской эпохи и завершают этот ряд сравнительно малочисленные строительные остатки классического и эллинистического периодов. Если строения двух первых эпох были обнаружены в разных областях острова, то постройки двух последних — преимущественно на его северо-восточном побережье [6, с. 301]. Важно отметить, что сооружения классической эпохи до недавнего времени были представлены на Березани почти исключительно остатками наземных домов городского типа, а также разного рода углублениями в культурном слое; чаще всего хозяйственными ямами, иногда цистернами и колодцами [7, с. 107; 8, с. 16—18]. Не преувеличивая, можно утверждать, что все они, за исключением лишь одного здания [3, с. 27; 4, с. 21], не стали предметом специального исследования. Такое отношение к указанным археологическим комплексам, как представляется, вызванное в значительной степени их неудовлетворительной сохранностью, безусловно, будет меняться уже в ближайшее время в связи с возросшим интересом к истории Ольвийского полиса классической эпохи, а также благодаря появлению в последние годы принципиально новых данных о домостроительстве Березани V в. до н. э. [2, с. 38; 9, с. 12—13].

В ходе работ на раскопе Б северо-западного участка Березанского поселения в 1987, 1989 и 1990 гг. были раскрыты три строительных комплекса классического периода — полуземлянки XLVIII, LII и LVII (рис. 1).

Полуземлянка XLVIII имела четырехугольную в плане форму и была ориентирована длинной осью по линии ССВ—ЮЮЗ (рис. 2). Ее размеры составили 7,3×4,1 м. Она была впущена с уровня древней дневной поверхности в культурный слой поселения и древнюю погребенную почву на глубину 1,1 м. Борта котлована, имевшего четко вырезанные прямые углы, были строго вертикальными, на них местами сохранилась глиняная обмазка. Глинобитным же оказался и земляной пол сооружения.

Полуземлянка состояла из двух помещений, разделенных турлучной стенкой, основание которой было заглублено в пол постройки на 0,15 м. Оба помещения различались не только своим размером, но и деталями интерьера. В южной, сравнительно большой комнате площадью 18,5 м² располагались: глинобитный очаг открытого типа размерами 1,1×1,0 м, занимавший ее центральную часть; хозяйственная яма грушевидной формы (диаметр устья 0,9 м, диаметр дна 1,3 м, глубина от пола 1 м) и, по всей видимости, глинобитный «столлик» с каменными

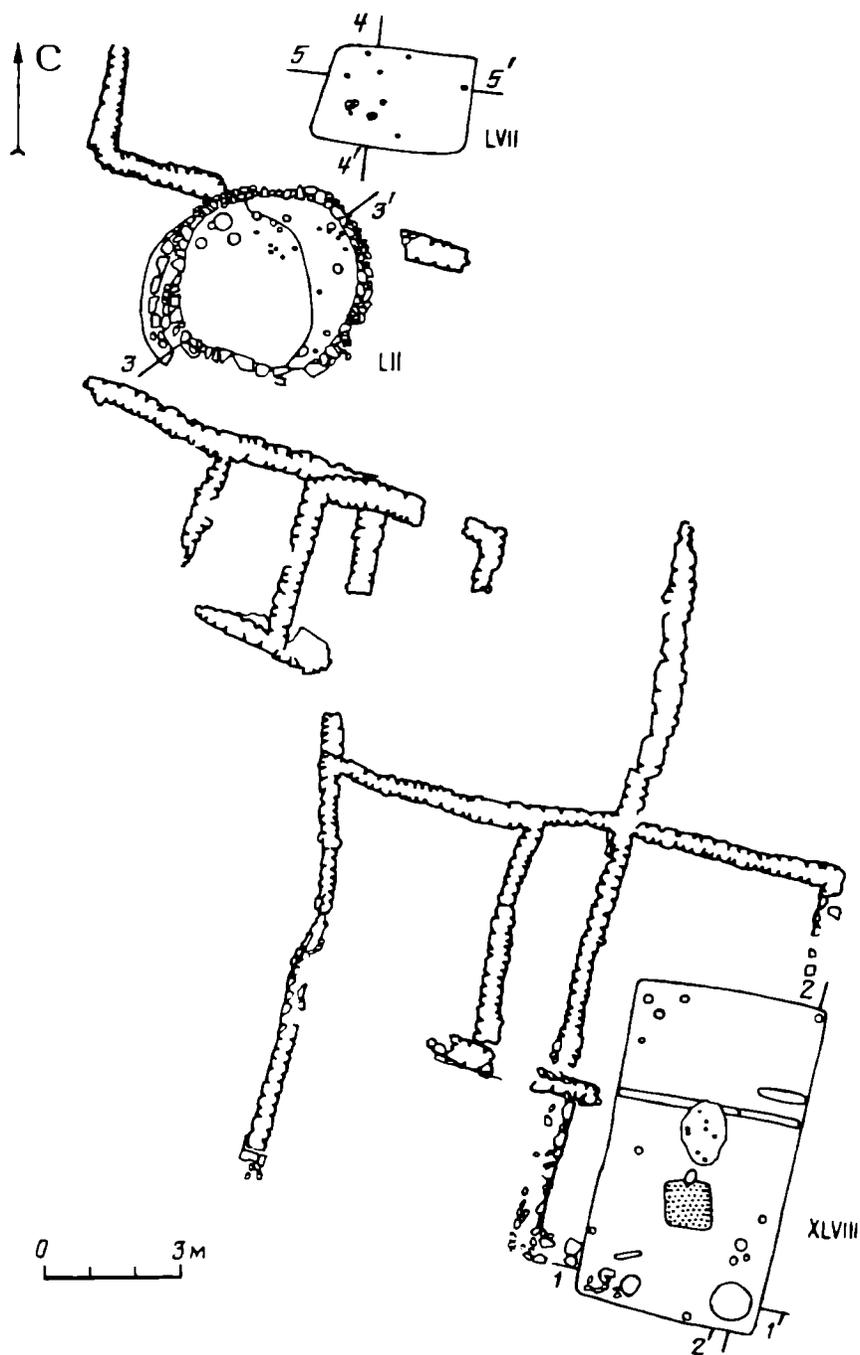


Рис. 1. План участка Берзанского поселения с постройками позднеархаического и классического периодов

бортиками, обнаруженный в крайне руинированном состоянии. Два последних сооружения занимали соответственно юго-восточный и юго-западный углы помещения. Единственная деталь интерьера, обнаруженная в северной, меньшей по площади комнате (10 м^2), — это плетневая загородка в юго-восточном углу помещения. Отгороженное пространство площадью около $0,5 \text{ м}^2$, на мой взгляд, могло использоваться для содержания мелких домашних животных. Важно отметить еще одну деталь — слабую обожженность пола в северо-западном углу северной комнаты, где, по всей видимости, могла быть установлена переносная жаровня.

Указанные различия в интерьере северной и южной частей полуземлянки XLVIII, очевидно, прямо связаны с их функциональной дифференциацией со-

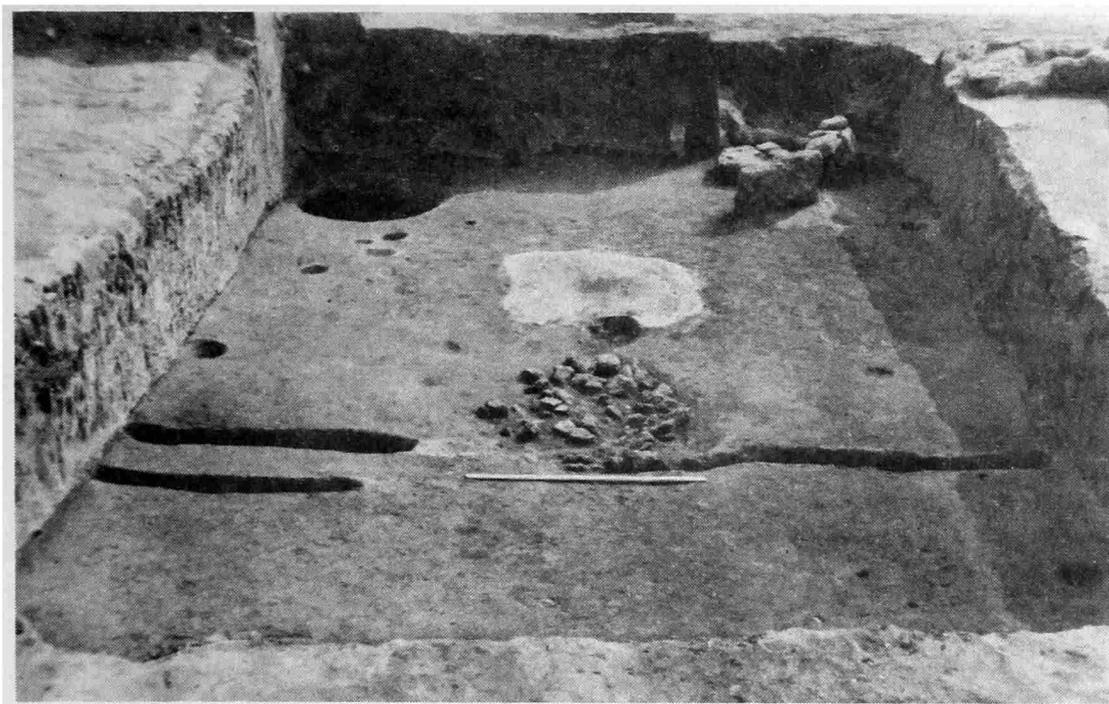


Рис. 2. Полуземлянка XLVIII

ответственно на хозяйственную и жилую половины, которые, как выяснилось, сообщались между собой. Дверной проем, шириной около 1 м, был устроен в центральной части поперечной стенки, очевидно в том месте, где была обнаружена каменная забутовка хозяйственной ямы более раннего времени. Следуя предложенной планировочной схеме, можно ожидать, что вход в полуземлянку, вероятно всего, находился на северной торцовой стороне. При его устройстве, очевидно, использовалось внутреннее пространство помещения.

Вышеприведенное описание остатков полуземлянки XLVIII, дополненное данными о взаиморасположении прослеженных в полу ямок для опор несущей конструкции, позволяют представить в общих чертах внешний облик строения (рис. 1; 3, 2, 3, 7). Не вызывает сомнения, что здесь был применен безраспорный вариант двускатной кровли с укладкой стропил по коньковому прогону и краям котлована, с использованием дополнительных, установленных в углах постройки опор. Центральный прогон в свою очередь опирался на две стойки в южном помещении и на северную торцовую наземную стену, сложенную из сырцовых кирпичей, развал которых заполнил всю близ расположенную часть котлована. Учитывая возможную высоту дверного проема, угол наклона скатов кровли, видимо, приближался к 40° .

Иначе выглядела полуземлянка LII (рис. 4). Во-первых, она имела круглую в плане форму, а ее диаметр достигал 4,1 м в чистоте. Глубина котлована составляла 1,1 м от уровня древней дневной поверхности (рис. 3, 4). Во-вторых, главная особенность конструкции полуземлянки — это каменная стенка, укреплявшая борт котлована по всей окружности и на всю глубину. Стена толщиной 0,35—0,40 м была сложена по двухслойной постелистой системе с нарушением рядности кладки. Ее лицевой фас состоял из камней, изредка валунов, разных, преимущественно средних, размеров, слабо отесанных с лицевой стороны (рис. 3, 1). Второй слой, примыкавший к борту котлована, состоял из мелкого бута с глиной. Помимо этого западный участок стены, опиравшийся на рыхлое заполнение более ранних грунтовых сооружений, был укреплен сырцовой стенкой. Последняя, очевидно, была сложена в один кирпич по однослойной ложковой

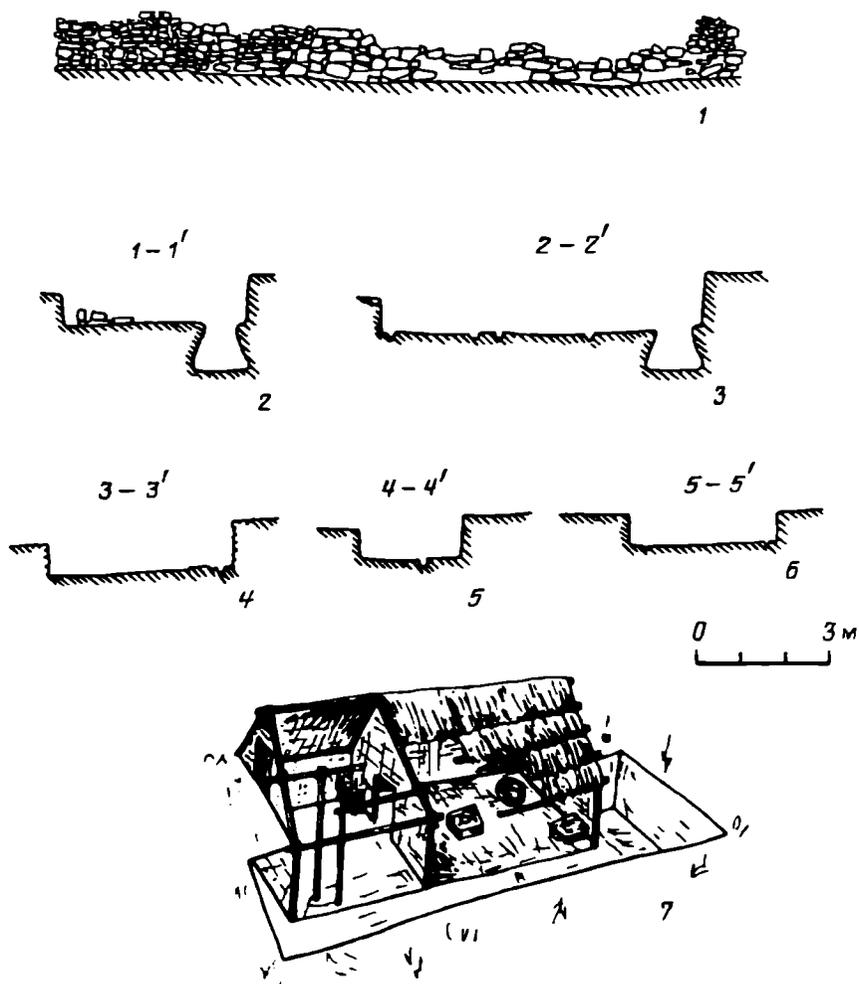


Рис. 3. Полуземлянки Березанского поселения: 1 — фас стены в полуземлянке LII; 2 и 3 — разрезы полуземлянки XLVIII; 4 — разрез полуземлянки LII; 5 и 6 — разрезы полуземлянки LVII; 7 — эскиз реконструкции полуземлянки XLVIII

постелистой системе и опиралась на фундамент из больших необработанных, рваных по слою камней известняка. Ширина стены достигала 0,40—0,42 м. Длина сырцового кирпича составила 0,44 м, его толщина — 0,08 м.

По сравнению со столь заметной основательностью строения его интерьер выглядел весьма скромным. Каменная стенка была покрыта глиняной штукатуркой, лучше всего сохранившейся в основании стены. Глинобитный пол постройки неоднократно, как минимум 3 раза, подновлялся: общая мощность полов и золистых прослоек между ними достигала 0,20 м. В полу строения прослежены разного рода углубления, преимущественно конической формы. По всей видимости, лишь одно из них, диаметром 0,40 и глубиной 0,25 м, расположенное в северо-западной части постройки, могло служить для установки сосуда, скорее всего амфоры. Остальные углубления можно разделить на две группы. К одной относились семь ямок, по-видимому, для опор кровли. Их диаметр составил 0,20—0,30, а глубина — 0,15—0,20 м. Они были вырыты по окружности вдоль стенки полуземлянки. Другую группу составляли 18 или 19 ямок для стоек меньшего диаметра (0,05—0,07 м) и глубины (0,10—0,13 м). Назначение последних осталось неизвестным, какого-либо порядка в их взаиморасположении не наблюдалось.

Описанные выше особенности конструкции и планировки полуземлянки LII в той или иной мере позволяют судить о характере ее объемного решения. Отсюда при круглом плане постройки кровля имеет коническую форму. Как представляется, возможны два ее варианта: распорный и безраспорный. Замечу,

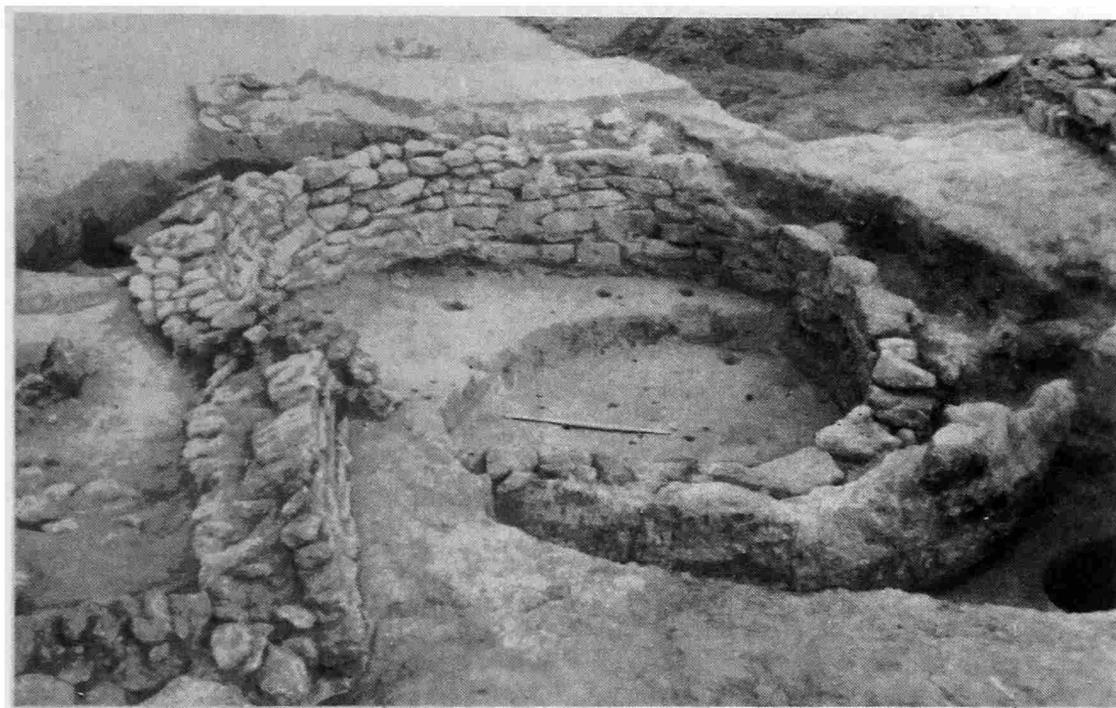


Рис. 4. Полуземлянка ЛII

впрочем, что весьма трудно отдать предпочтение какому-либо из них. По всей видимости, во втором случае край кровли опирался бы на наземную сырцовую часть стены, каменный цоколь которой укреплял борт котлована, а также на дополнительные, вкопанные по его окружности стойки; как отмечалось выше, их было как минимум семь. Высота сырцовой кладки должна была колебаться в зависимости от уклона скатов кровли при том или ином ее варианте. При распорном — угол наклона мог достигать $40\text{--}50^\circ$, а устройство наземной стены вообще было бы нецелесообразным. Более того, косвенным подтверждением последнего служит отсутствие каких-либо следов развала сырца в заполнении полуземлянки ЛII. Тем не менее наиболее рациональная конструкция входа за счет внутреннего пространства помещения (а именно такой принцип был применен в нашем случае) может быть достигнута при безраспорном варианте кровли. При его использовании высота сырцовой наземной стены достигла бы 1,80 м. Максимальное возвышение крыши над поверхностью земли при минимальном уклоне ее скатов в $17\text{--}21^\circ$ составило бы 2,7 м. В этой же связи добавлю, что отсутствие ямки для центрального столба, необходимого при безраспорном варианте крыши, на мой взгляд, еще нельзя расценивать как аргумент в пользу неприемлемости такого объемного решения, поскольку в этом случае не исключена возможность использования каменного основания для центральной опоры. Таким образом, любой из предложенных вариантов конструкции кровли, думается, мог быть применен строителями полуземлянки ЛII.

Несмотря на отсутствие неоспоримых доказательств жилой функции вышеописанного строительного комплекса, его интерпретация в качестве жилища едва ли вызовет серьезные возражения. Как мне представляется, ей не могут противоречить и находки трех астрагалов, один из которых был с граффито. Помещение их в ямки для опор малого диаметра, видимо, было связано с магическими действиями, вероятно, производимыми при сооружении полуземлянки. Более того, предположение о ее жилой функции может быть подкреплено рядом косвенных соображений: основательность и тщательность исполнения строительных работ, внутренняя отделка и регулярное подновление пола, как, впрочем, и сам факт повышения уровня пола по причине образования в помещении слоя

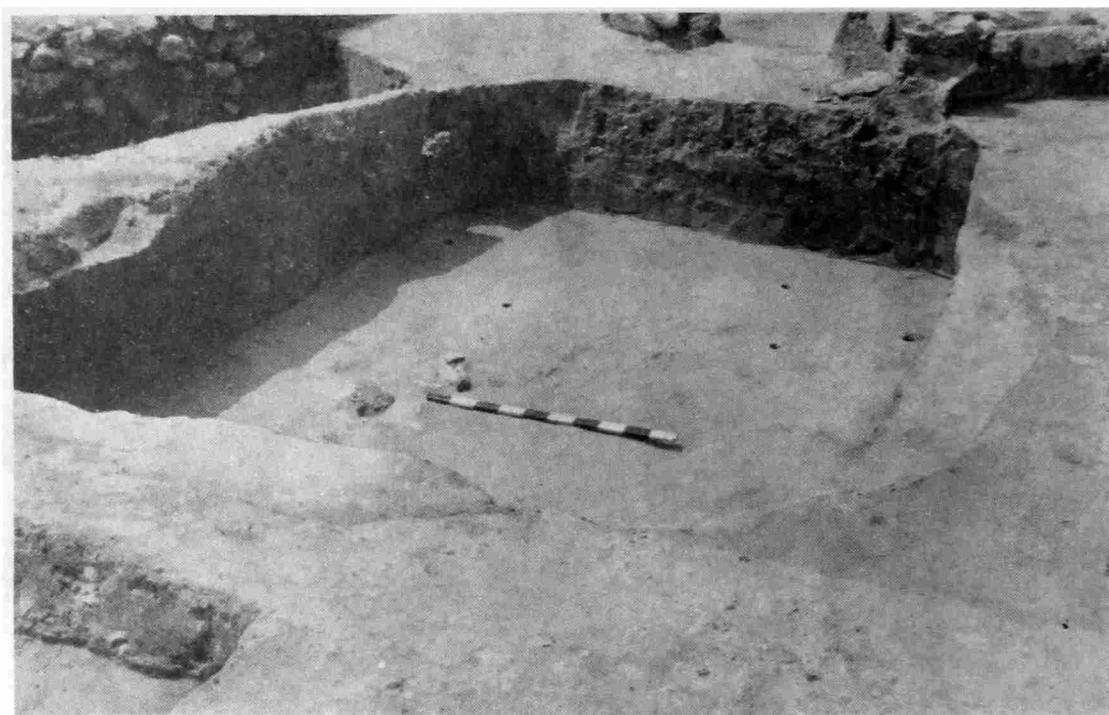


Рис. 5. Полуземлянка LVII

мусора, содержащего золу и другие остатки жизнедеятельности, а также ямка для установки сосуда. Все эти признаки заметно отличают полуземлянку LVII от уже известных земляночных структур хозяйственного назначения. Прямым подтверждением такому выводу, на мой взгляд, может служить последняя из вышеупомянутых полуземлянок — LVII (рис. 5, 3, 5, 6).

Полуземлянка LVII располагалась по соседству с полуземлянкой LVII. Однако в отличие от последней она имела подчетырехугольную в плане форму и была ориентирована продольной осью по линии восток-запад. Ее размеры составили 2,3×3,3 м, глубина — порядка 1,0—1,1 м. Углы котлована сделаны закругленными, а борта вертикальными. Обмазка пола и стен отсутствовала. Нечеткость разбивки плана, крайне простая внутренняя отделка, по преимуществу отсутствие деталей интерьера, — все эти типичные признаки хозяйственных сооружений, как видно, были присущи и полуземлянке LVII. Замечу, впрочем, что в ее заполнении были найдены два обломка переносной жаровни. Судя по взаиморасположению ямок в полу постройки, две из которых имели каменную забутовку, сооружение скорее всего перекрывалось односкатной кровлей с уклоном на север. Таким образом, вход в него, очевидно, был с юга.

В дополнение к вышеописанным строительным комплексам нельзя не упомянуть полуземлянку LXXII (рис. 6), совсем недавно раскрытую в западной части раскопа Б [10, с. 6]. Последняя имела четырехугольную в плане форму и полезную площадь 14 м². Глубина котлована не превышала 1 м, его борта были укреплены каменными стенками, наземные части которых, очевидно, были сложены из сырца. Северо-восточный угол жилища занимала двухступенчатая каменная лестница, а северо-западный — встроенная в стену глинобитная двухчастная печь с дымоходом. Стены и пол постройки были покрыты глиняной обмазкой.

Вопрос о времени функционирования вышеперечисленных строительных комплексов решается исключительно на основе анализа стратиграфии участка и вещественного материала из заполнения полуземлянок. Как было установлено, все четыре постройки расположены на участке поселения, ранее застроенном наземными сырцово-каменными жилыми домами. Последние были оставлены жителями не позднее первой трети V в. до н. э. [2, с. 38]. Как выяснилось,

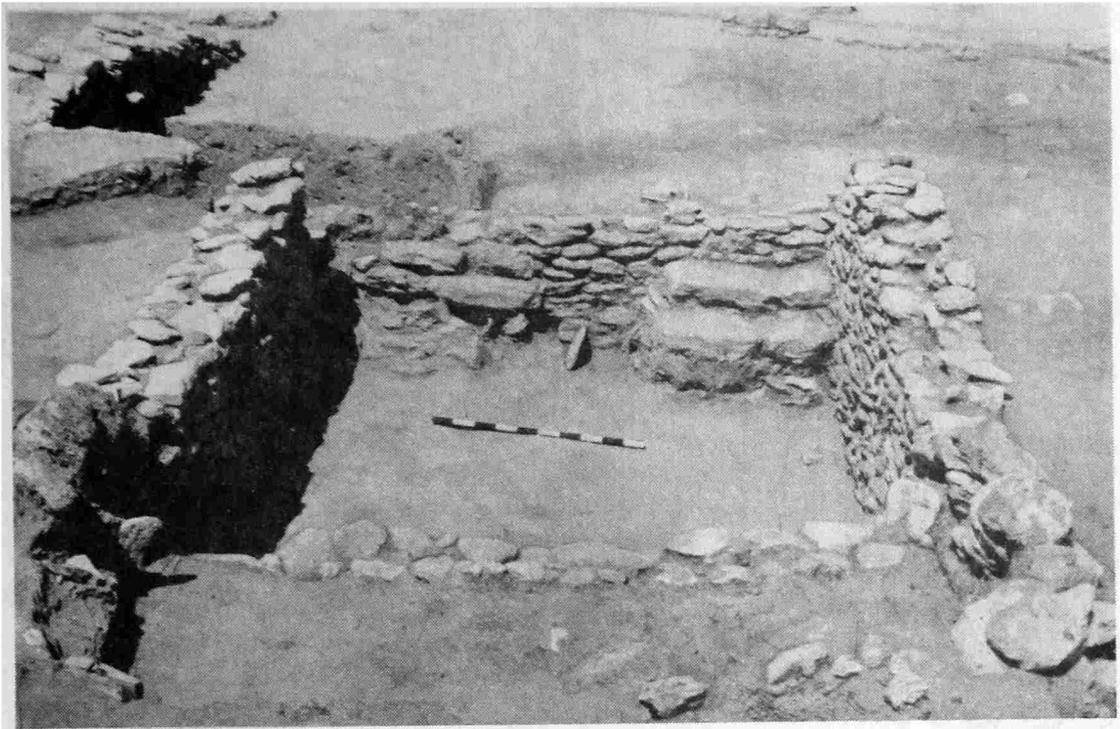


Рис. 6. Полуземлянка LXXII

при сооружении вышеописанных земляночных структур частично были разобраны каменные цоколи стен и вымостки дворов наземных домов. При этом какая-то часть строительного материала, очевидно, могла быть использована для возведения каменных конструкций в самих полуземлянках. Между тем не вызывает сомнения, что к моменту сооружения последних наземные строения уже были разрушены и перекрыты слоями сырцового развала и хозяйственного мусора. Отсюда легко определяется *terminus post quem* для возведения заглубленных в землю построек. Вместе с тем остается открытым вопрос об абсолютной дате такого события в каждом конкретном случае, поскольку имеются все основания утверждать о более или менее продолжительном перерыве между прекращением строительства наземных домов и постройкой той или иной полуземлянки. Решение этого вопроса, безусловно, зависит от результатов анализа вещественного материала, найденного *in situ* и в заполнении котлованов.

Так, в одной из ямок опор полуземлянки LII был обнаружен большой фрагмент чернолакового аттического килика (рис. 7, 21), который может быть датирован 480—450 гг. до н. э. [11, табл. 19, 413]. В составе находок из заполнения котлована наиболее показательными в данном отношении явились обломки чернолаковых аттических сосудов, главным образом киликов, а также фрагменты красноглиняных амфор: хиосских пухлогорлых, круга фасоса и Менды (рис. 4, 3—7, 19). Датировка всех этих материалов колебалась в рамках второй—третьей четвертей V в. до н. э. [12, табл. III, 38; VII, 2, 7, 11; VIII, 25, 31]. Таким образом, можно утверждать, что сооружение полуземлянки LII произошло буквально через несколько лет после запустения наземного дома, а прекращение ее функционирования приходилось уже на третью четверть V в. до н. э. По всей видимости, в указанный хронологический интервал укладывается и время жизни полуземлянки LVII. Об этом свидетельствует не только сходная с вышеописанной стратиграфическая ситуация, которая сложилась в результате возведения хозяйственной постройки, но и комплекс находок из нее, в хронологическом отношении близкий тому, о котором шла речь выше. Согласно предва-

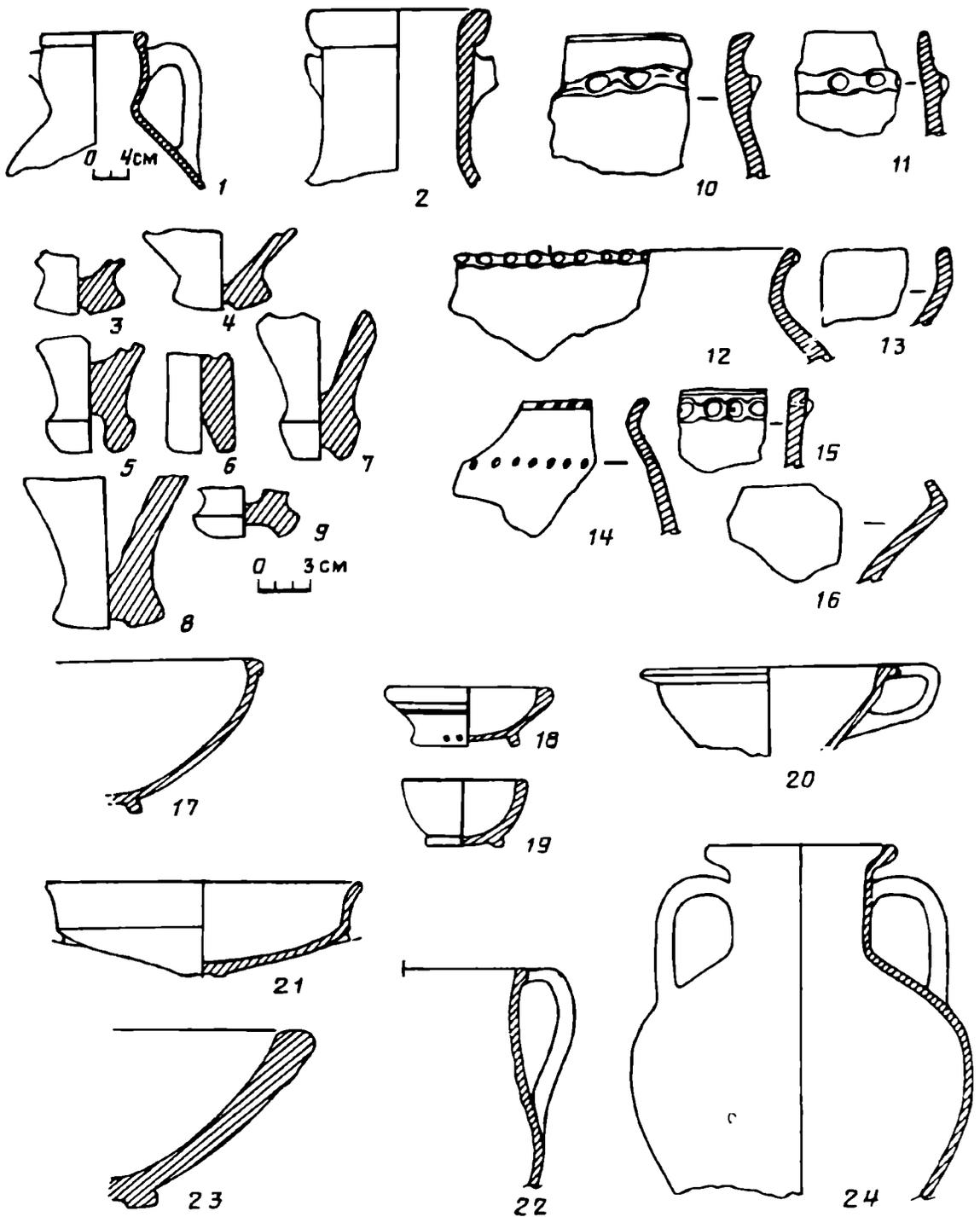


Рис. 7. Комплекс керамических изделий из полуземлянок: 1—9 — фрагменты амфор; 10—16 — обломки лепной посуды; 17—24 — фрагменты столовой и кухонной посуды

рительному анализу вещественного материала из полуземлянки LXXII, функционирование последней приходилось на это же или чуть более позднее время.

И наконец, полуземлянка XLVIII. При ее сооружении также были разобраны каменные цоколи стен наземного дома, оставленного жителями в конце первой трети V в. до н. э. Между тем в отличие от вышеупомянутых земляночных структур строительство полуземлянки XLVIII происходило значительно позднее — уже в последней четверти V в. до н. э., а вероятнее всего в конце этого столетия. На это указывает датировка основного массива вещественного материала из

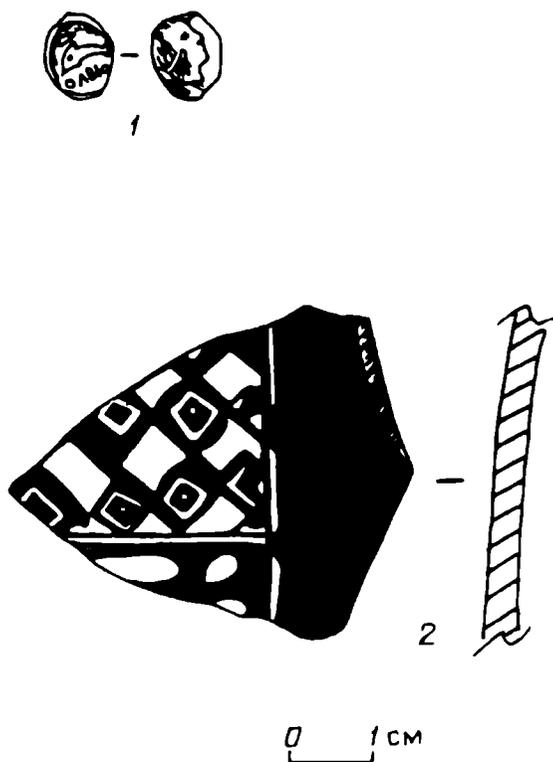


Рис. 8. Находки из полуземлянок: 1 — медная монета; 2 — обломок сосуда типа St.-Valentin.

заполнения котлована (рис. 7, 8, 9, 17, 18, 23, 24; 8, 2), в составе которого можно отметить многочисленные фрагменты амфор Хиоса, Фасоса, Менды и Гераклеи [12, табл. VII, 11, 13, 14; VIII, 33], а также обломки столовой и кухонной посуды [11, табл. 33, 870—872; табл. 62, 1475, 1476; табл. 90, 1893; рис. 8, 779]. В свою очередь находка в засыпи полуземлянки медной ольвийской монеты 385—365 гг. до н. э. (рис. 5, 1) может служить вполне определенным *terminus post quem* по [13, с. 99]. Следовательно, учитывая все вышеприведенные соображения о датировке полуземлянки XLVIII, можно утверждать, что время ее функционирования охватывало последние годы V в. до н. э. и начало следующего столетия.

Изложенные выше данные о домостроительстве Березани V в. до н. э., несомненно, меняют наши представления о динамике культурно-исторического развития памятника. До сих пор считалось, что прекращение жизнедеятельности в западной части поселения в конце первой трети V в. до н. э. носило необратимый характер вплоть до римской эпохи. «Сворачивание» здесь жилой застройки в классический период, а, точнее говоря, ее концентрация преимущественно на северо-восточной стороне древнего полуострова представлялась вполне установленным фактом [1, с. 207]. Как теперь выяснилось, с этим можно согласиться лишь отчасти.

В первую очередь отмечу то обстоятельство, что покинутая жителями территория поселения, видимо, недолго оставалась пустующей. Спустя некоторое время она была вновь заселена. Имеются веские основания предполагать, что перерыв между этими событиями мог быть минимальным. Очевидно также и принципиальное отличие вновь развернувшегося домостроительства от ранее имевшего здесь место по всем основным элементам застройки: объемно-планировочным типам жилищ, характеру планировки и регламентации поселенческой структуры, а также масштабам строительных работ. Исходя из этого можно допустить, что возврат к земляночному строительству после почти 80-летнего периода возведения наземных сырцово-каменных домов не являлся результатом деятельности греческих колонистов.

Такое допущение станет еще более оправданным, если рассматриваемые строительные комплексы поместить в один эволюционный ряд с полуземлянками

Березани позднеархаического времени, весьма незначительная часть которых, как известно, функционировала еще в начале V в. до н. э. В данной связи напомним, что уже с конца VI в. до н. э. на Березани, а с рубежа VI—V вв. до н. э. в Ольвии и на ряде других поселений Нижнего Побужья получило широкое распространение наземное домостроительство греческого типа [4, с. 8]. Также не вызывает сомнения и то, что строительство землянок и полуземлянок во многих отношениях было примитивнее наземного сырцово-каменного домостроительства, не говоря уже о других аспектах сопоставления этих двух направлений строительной практики березанцев [5, с. 12—14]. В связи с этим закономерно возникает вопрос об этнокультурной принадлежности создателей рассматриваемых жилищ, строительство которых на Березани во второй половине V — начале IV вв. до н. э., как представляется, могло быть следствием по крайней мере трех причин. Перечислю их в порядке возрастания степени вероятности.

Во-первых, можно предположить, что во второй четверти V в. до н. э. по каким-либо причинам наступило резкое обнищание и снижение жизненного уровня жителей поселения независимо от их этнокультурной принадлежности. Если допустить, что указанное произошло с греческими колонистами, тогда совершенно непонятно, в чем же заключалось отличие последних от жителей северо-восточной части полуострова, которая на протяжении всего V в. до н. э. и, как известно, позднее застраивалась по принципам эллинского городского строительства. Между тем для представителей негреческого населения Березани облик рассмотренных выше земляночных построек, а также связанный с ними образ жизни были вполне привычными, а точнее — традиционными. Таким образом, мало вероятно, чтобы соображения экономического характера могли иметь существенное значение для объяснения вышеозначенных перемен в строительном деле классической Березани.

Представляются также малоубедительными и доводы социального плана. Единственное возможное предположение о заселении Березани новой большой группой колонистов, не обладавших всей полнотой гражданских прав, не выдерживает критики уже в силу общеизвестного факта прекращения Милетом организованной колонизационной деятельности после 494 г. до н. э. Тем самым, разумеется, не подвергается сомнению сам факт существования в Нижнем Побужье социально зависимых категорий населения, в том числе и в первую очередь негреческого. Последнее обстоятельство, напротив, может приобрести важное значение в нашей ситуации, однако лишь в том случае, если смену указанных культурных — архитектурно-строительных — традиций представить как результат смены этносов, если, разумеется, упрощая, считать таковыми гетерогенное варварское население Березанской периферии и однородных в культурном отношении греческих колонистов. И это, наконец, третья и наиболее вероятная причина появления на Березани вышеописанных земляночных структур.

Между тем следует признать, что вероятность подкрепления последнего утверждения какими-либо вещественными материалами в настоящее время крайне мала, прежде всего из-за отсутствия нужного числа данных об изучаемом периоде в истории Березани. Малопоказательным в этом отношении явился комплекс лепной посуды из рассматриваемых полуземлянок (рис. 7, 10—16), в составе которого, как и ожидалось, значительно преобладали сосуды скифского степного облика, получившие широкое распространение во всем Северном Причерноморье с начала V в. до н. э. [14, с. 122].

Более репрезентативными в указанном плане могли бы стать недавно полученные материалы некрополя Березани [2, с. 38 сл.]. Здесь в составе погребений V в. до н. э. имеется серия могил со скорченными костяками, которые с той или иной долей вероятности могут быть отнесены на счет негреческого населения полуострова. К ним, очевидно, примыкает и некоторая часть многочисленных безынвентарных захоронений людей в скорченной позе, обнаруженных в верхних слоях некрополя. Однако следует признать, что степень изученности этих материалов все еще недостаточна для разработки на их основе вопросов, поставленных в настоящей работе.

Для решения последних, как представляется, необходимо вспомнить некоторые события истории Нижнего Побужья первой половины V в. до н. э.

Как известно, в конце первой трети V в. до н. э. культурно-историческая ситуация в Днепробугском регионе кардинально меняется. Выяснение причин этих перемен в настоящее время вызывает острую научную полемику (подробнее см. [15, с. 81—87]). Не вдаваясь в ее подробности, отмечу лишь то, что признается всеми исследователями, а именно: в конце первой трети V в. до н. э. на фоне реальной скифской угрозы происходит редукция сельской округи Ольвии. Не избежала такой участи и аграрная периферия Березани, как, впрочем, и ее городская территория, о чем упоминалось выше. Утрата своей сельскохозяйственной округи, очевидно, явилось одной из причин экономического упадка Березанского поселения, которое со временем превратилось в небольшой поселок городского типа. Необратимость указанного процесса, видимо, была обусловлена вновь приобретенным политическим статусом Березани, превратившейся в «торжище борисфенитов» или торгово-промышленный эмпорий Ольвии. Последняя же, обладая широкими возможностями территориального и демографического роста, что, кстати сказать, выгодно отличало ее от Березанского поселения, в V в. до н. э. превратилась в политический и экономический центр Нижнего Побужья. В смутный период этнополитической дестабилизации Скифии Ольвия, очевидно, послужила укрытием для гетерогенного населения своей сельской округи, стекавшегося под ее стены и образовавшего там предградье во второй четверти V в. до н. э. [16, с. 135—136; ср. 17, с. 3 сл.]. Как считают, в это же время могло иметь место перетекание в Ольвию некоторой части городского, а быть может, и сельского населения Березани [15, с. 82]. В этом случае городское население скорее всего было размещено в черте города. Впрочем, фиксируемый отток березанских жителей мог быть направлен и в другие ближайшие полисы Северо-западного Понта. Одним из них, к примеру, могла стать Керкинитида, где на вторую четверть V в. до н. э. приходится начало массового городского строительства, а в культурном облике отмечается появление некоторых черт, характерных для культуры Ольвийско-Березанского региона [18, с. 145, 146].

Завершая краткий обзор некоторых событий Нижнего Побужья первой половины V в. до н. э., можно прийти к выводу, что домостроительство Березани оказалось весьма чутким индикатором исторической ситуации в регионе. Отсюда можно предположить, что появление полуземляночных построек в западной части Березанского поселения, на окраине городской застройки V в. до н. э. скорее всего связано с размещением здесь негреческого населения его сельской округи. Последнее, оказавшись в неблагоприятной и опасной для жизнедеятельности ситуации, очевидно, вынуждено было искать защиты у эллинской общины, которая, численно сократившись к этому времени, по всей видимости, жила теми же страхами. О том, что они были не беспочвенными, свидетельствуют материалы березанского некрополя [2, с. 56—60]. И тем не менее, судя по весьма активному функционированию поселения во второй половине V в. до н. э., полуостровное положение Березани, видимо, обеспечивало ее жителям относительно безопасное существование. Хотя оборонительные сооружения Березани до сих пор не найдены, все же можно предполагать их устройство на перемычке, в древности соединявшей остров с материком. Как представляется, в функциональном отношении туземный выселок, существовавший на окраине греческого городка со второй четверти V по первую четверть IV в. до н. э., весьма сходен с Ольвийским предградьем этого же времени, с которым его также сближают принципиальные особенности домостроительства и основные черты материальной культуры. Такому утверждению, на мой взгляд, не противоречат приведенные выше соображения социально-экономического, политического и культурно-исторического характера.

Вместе с тем нельзя не заметить и отсутствие полного сходства между двумя указанными поселенческими структурами. Последнее обстоятельство, думается, еще не может служить веским аргументом в пользу их функциональной несхожести, а лишь свидетельствует о самобытности этих новообразований, причины

которой, очевидно, кроются в этнической и культурной неоднородности сельского населения Нижнего Побужья, до сих пор остающейся весьма сложной для ее адекватного понимания. Признавая в целом неординарный характер полуземлянок XLVIII, LII и LXXII, важно отметить, что ряд особенностей их конструкции все же находит свои ближайшие аналогии в строительной практике предшествующего и последующего периодов [2, с. 36; 19, с. 49—54].

В заключение замечу, что какой бы привлекательной не показалась высказанная выше гипотеза о существовании на Березани в V в. до н. э. жилищно-хозяйственной структуры, сходной в основных своих чертах с Ольвийским предградьем, все же нельзя не признать, что имеющийся в нашем распоряжении объем данных еще недостаточен для окончательного решения этого вопроса. Однако, думается, продолжающиеся широкомасштабные раскопки на Березани внесут в него полную ясность уже в ближайшем будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Копейкина Л. В.* Особенности развития поселения на о-ве Березань в архаический период (по результатам раскопок на северо-западном участке)//СА. 1981. № 1.
2. *Доманский Я. В., Виноградов Ю. Г., Соловьев С. Л.* Основные результаты работ Березанской экспедиции//Итоги работ археологических экспедиций Государственного Эрмитажа. Л., 1989.
3. *Крыжачкий С. Д.* Жилье дома античных городов Северного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1982.
4. *Культура населения Ольвии и ее округа в архаическое время.* Киев: Наук. думка, 1987.
5. *Соловьев С. Л.* Строительные комплексы архаической Березани (анализ архитектурно-строительных традиций): Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.06. Л., 1989.
6. *Археология УССР. Т. 2.* Киев: Наук. думка, 1986.
7. *Лапин В. В.* Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1966.
8. *Горбунова К. С.* Древние греки на о-ве Березань. Л., 1969.
9. *Доманский Я. В., Соловьев С. Л., Виноградов Ю. Г.* Итоги работ на острове Березань//Отчетная археологическая сессия: Тез. докл. Л., 1991.
10. *Соловьев С. Л.* Раскопки на о. Березань в 1991 году//Отчетная археологическая сессия: Тез. докл. СПб., 1992.
11. *Sparkes B. A., Talcott L.* The Black and Plain Pottery of 6th, 5th and 4th centuries B. C.//The Athenian Agora. 1970. N. Jersey. V. 12.
12. *Брашинский И. Б.* Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л.: Наука, 1980.
13. *Карышковский П. О.* Из истории монетного дела Ольвии в первой половине IV в. до н. э.//Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1978.
14. *Марченко К. К.* Варвары в составе населения Березани и Ольвии. Л.: Наука, 1988.
15. *Виноградов Ю. Г.* Политическая история Ольвийского полиса VII—I вв. до н. э. М.: Наука, 1989.
16. *Марченко К. К.* К вопросу о так называемом предместье Ольвии//ВДИ. 1982. № 3.
17. *Козуб Ю. I.* Передмістя Ольвії//Археологія. 1979. Т. 29.
18. *Кутайсов В. А.* Античный город Керкинитата. Киев: Наук. думка, 1990.
19. *Марченко К. К., Соловьев С. Л.* К типологии строительных комплексов Нижнего Побужья IV в. до н. э.//КСИА. 1988. Вып. 194.

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

S. L. SOLOVJEV

THE NEW DATA ABOUT THE DWELLING TYPES OF THE BEREZAN SETTLEMENT

Summary

The article deals with the new data about the building in Berezan fortified settlement got during the archaeological excavations in the north-eastern part of the site during the last decade. The author investigates four half pit-dwellings of the middle of the 5th — the first quarter of the 4th centuries BC and tries to reconstruct them. The artifacts found in the dwellings are also discussed in the article. The dwellings were built in the part of the settlement where the typical Greek houses had been situated before. The people had left them at the end of the first third of the 5th century BC. The author connects this fact with the demographic, cultural and political changes. They were caused by the events happened in Olvia's region in the 1st half of the 5th century BC.

ФРАКИЙСКАЯ УЗДА ИЗ КУРГАНА ОГУЗ

Среди погребальных памятников Северного Причерноморья курган Огуз¹ выделяется не только гигантскими размерами и неординарностью погребального сооружения, значительным количеством сопровождающих захоронений зависимых лиц и коней, но и многообразием роскошного погребального инвентаря. Не удивительно поэтому, что в комплексе уздечных гарнитуров представлены практически все типы уздечных украшений, бытовавших в то время в степной Скифии.

При определенной устойчивости набора элементов декора уздечек для Огуза отмечается необычное сочетание материала (цвета), форм и орнаментальных мотивов внутри комплексов. Выделяется четыре типа уздечных гарнитуров: 1) «простые» уборы с железным налобником; 2) стандартная серия уборов с птицеклювыми нащечниками из золота²; 3) серебряная узда «фракийского» типа; 4) убор типа Чмыревой могилы.

Уздечные наборы так называемого фракийского типа составляют серию практически уникальных украшений. Ни один из наборов не имеет полных аналогов. Гарнитуры, как правило, состоят из наносника, двух нащечников, четырех фаларов, двух круглых блях и ворворок. Детали всех уборов выполнены из серебра. Три уздечных набора происходят из входной ямы Северной могилы (№ 1—3) и три из раскопа В. Н. Рота³ (№ 4—6).

Железные удила и псалии сохранились лишь в Северной могиле, где обнаружены *in situ*. Удила двусоставные, круглые в сечении, с загнутыми в кольцо концами. Длина парных звеньев удил практически одинакова, общая длина 25—29 см. У наружных колец звеньев одеты четырехугольные плоские насадки с четырьмя шипами, обращенными к средней части. Находки подобных удил с дополнительными насадками довольно часты в скифских погребениях IV в. до н. э. [2, с. 211]. Они относятся к типу строгих. С-видные, слабоизогнутые псалии с двумя отверстиями в восьмеркообразном утолщении в средней части и оформленными в виде полусферических шишечек концами. Длина их от 19 до 25 см. На территории степи псалии этого типа встречаются реже других. Они появляются в Скифии лишь в IV в. до н. э. и преимущественно в царских курганах [3, с. 60]. Наиболее близкими к огузским являются псалии из Козла (25 см) и Толстой Могилы (23—30 см). Существует мнение, что подобные данные псалии использовались лишь в особых случаях для торжественных выездов [4, с. 181].

Уздечный убор № 1 (рис. 1).

Наносник литой в виде скульптурной головки львиного грифона с открытой пастью и округлым отверстием для ремня в основании, которая крепилась к фигурной плоской восьмеркообразной пластине, украшенной гравированным орнаментом. Полных аналогий этому наноснику нет. Близок по трактовке головки золотой наносник из Южного захоронения коня Толстой Могилы. Наиболее

¹ Находится у п. г. т. Нижние Серогозы Херсонской обл.

² Термин «птицеклювые нащечники» предложен Б. Н. Мозолевским.

³ Происходят из комплекса Центрального погребального сооружения, опубликованы А. П. Манцевич [1].

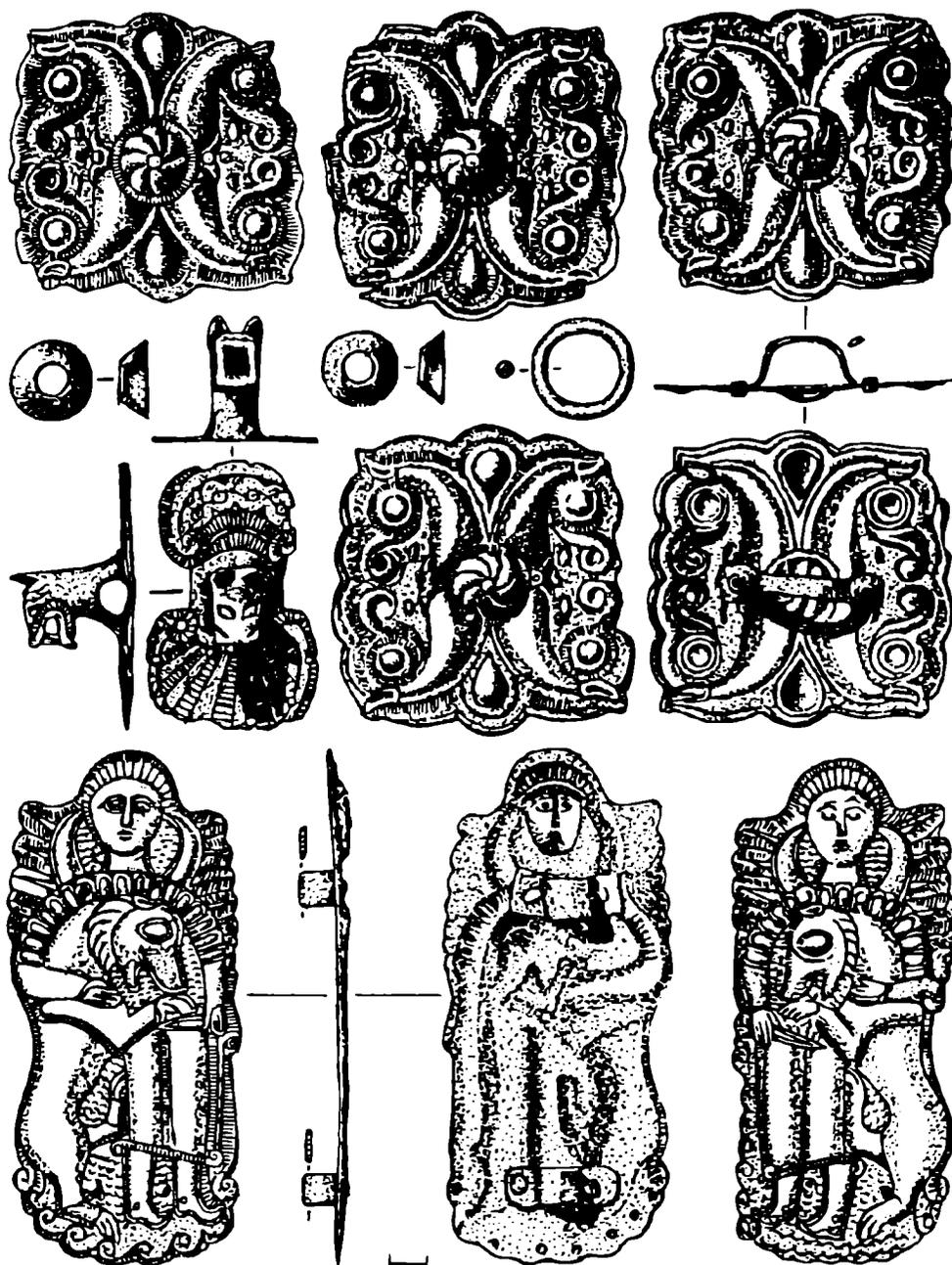


Рис. 1. Уздечный убор № 1

близок огузскому литой наносник из клада в Крайове (Румыния), хотя щиток его несколько иной формы и орнамент — рельефный [5, рис. 303]; по оформлению щитка ему близок и наносник из убора третьего коня Краснокутского кургана [3, рис. 21, 1]. Интересно отметить, что в очень близкой манере оформлен обухок бронзовой секиры из Новогрозненского могильника VI—V вв. до н. э. [6, с. 258].

Четыре *фалара* рельефные четырехугольной формы с изображением четырех голов орлиных грифонов, расходящихся из центра и обращенных в разные стороны; центром композиции является выпуклая розетка в виде «бегущего солнца». С обратной стороны двумя заклепками крепилась петля. Такие же серебряные с позолотой фалары происходят из уздечных наборов первого коня из Хоминой Могилы (конец IV в. до н. э.) [7, с. 178, рис. 4] и коня № 1 погр. 3 кург. 2

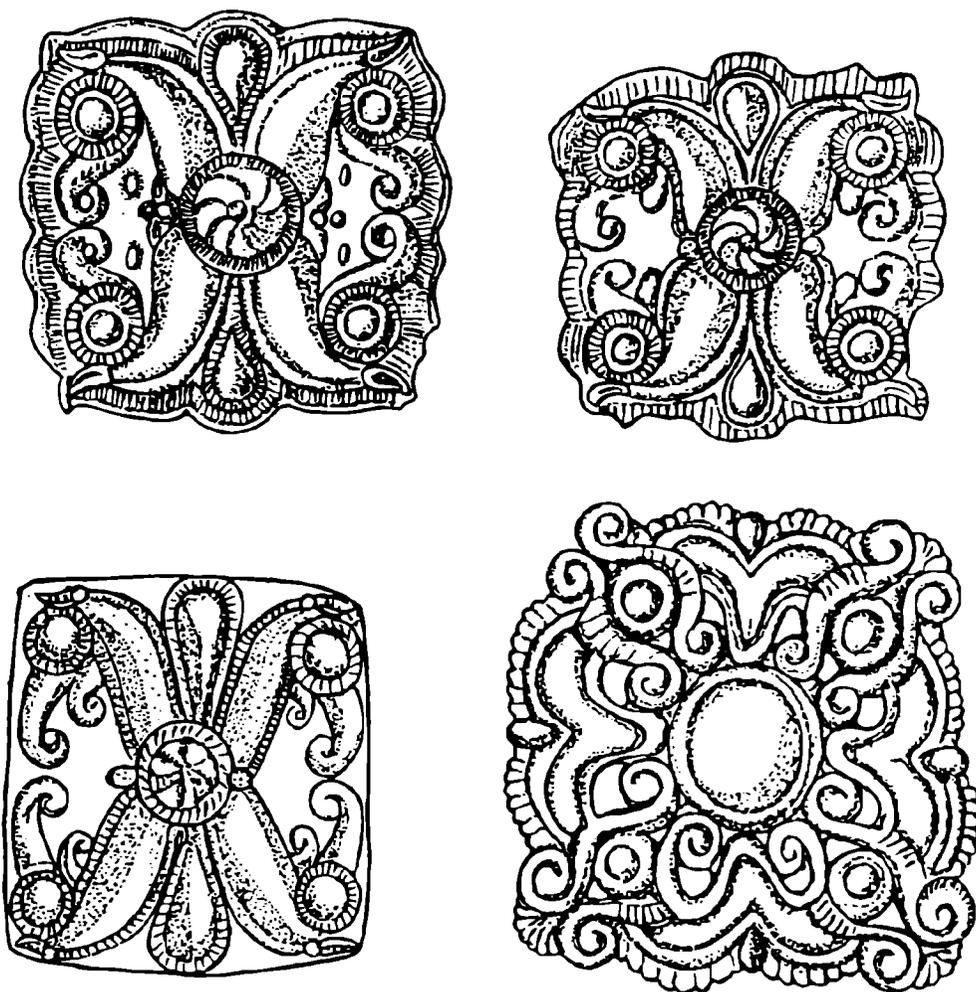


Рис. 2. Фалары. 1 — Огуз; 2 — Хомина Могила; 3 — В. Знаменка; 4 — Брезово

у с. В. Знаменка [8, с. 75, табл. 48], в последнем случае они были схематичны и лаконичны. В качестве аналогии можно привести и два ажурных бронзовых фалара, плакированных серебром, из Брезова (Болгария) с сильно стилизованным изображением, где элементы звериного стиля трансформированы в растительные, эти находки датируются концом V — началом IV в. до н. э. [5, рис. 266] (рис. 2).

Два *нащечника* в виде фигурных литых пластин с рельефным изображением сцены противоборства крылатого божества (Борея — ?) или героя со львом. Пластины отличаются друг от друга в оформлении ряда деталей (гривы и глаз львов, их лап, нижней части пластин и т. д.). Ни среди скифских, ни среди фракийских памятников сходных украшений или изображений нам не известно. Стилистически же близки изображения кошачьих хищников на нащечниках и кнемидах из Могиланской могилы во Враце, относящейся к 380—350 гг. до н. э. [9, с. 134, рис. 268, 256].

Две круглые *бляхи* плоские с загнутым краем, с двумя круглыми выступами от заклепок, крепивших петлю с обратной стороны. Такие бляхи очень часты в уздечных наборах и отличаются лишь степенью выпуклости щитка и наличием или отсутствием заклепок с внешней стороны.

Уздечный убор № 2 (рис. 3 и 4).

Литой *наносник* в виде головы орлиного грифона, прикрепленной к восьмеркообразной пластине с гравированным орнаментом. На шее полукруглое отверстие для продевания ремня. Аналогий этому наноснику нет. Стилистически головке

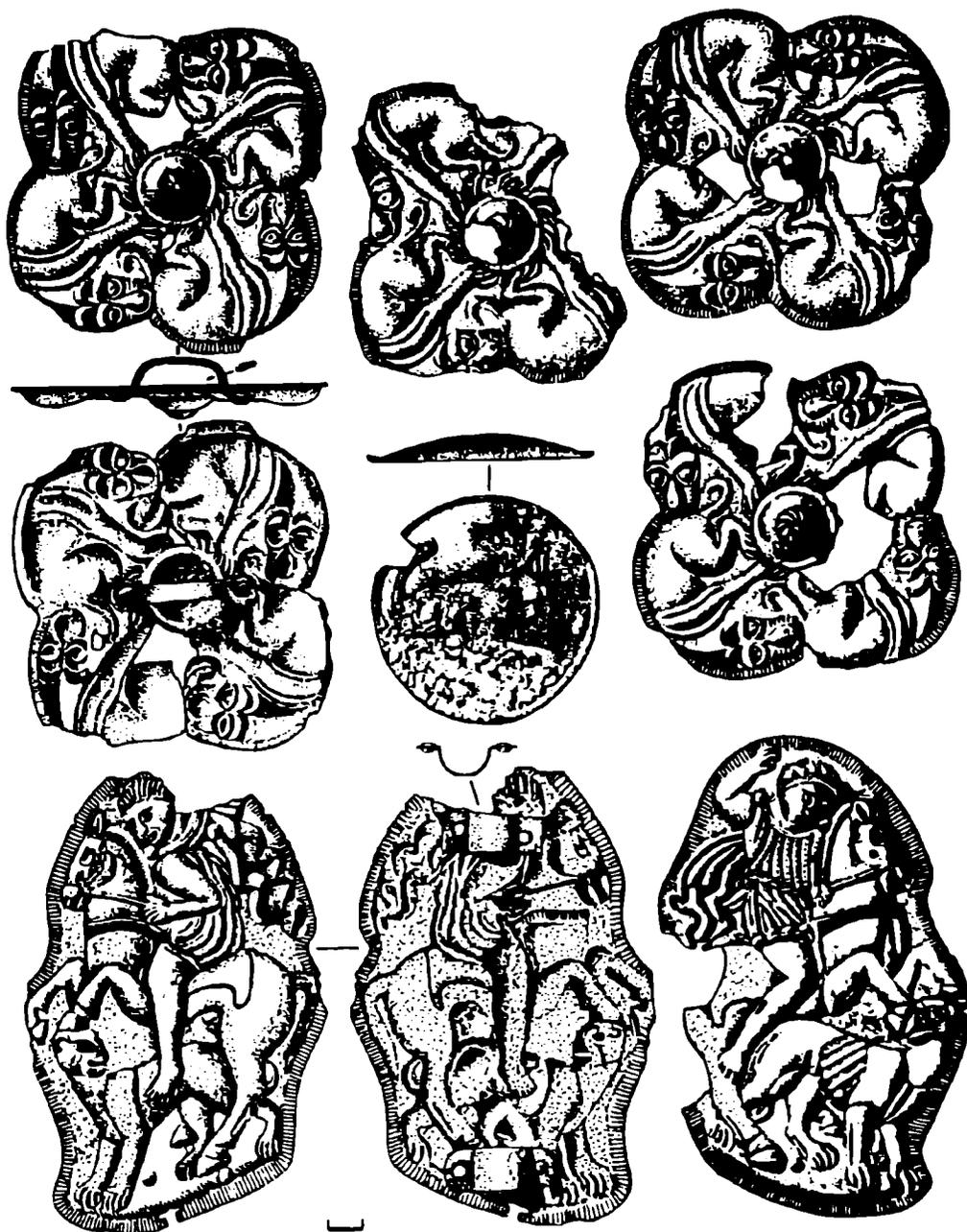


Рис. 3. Уздечный убор № 2

грифона очень близко изображение на бронзовом прорезном навершии из Керлеса (курган 3).

Четыре *фалара* в форме подквадратных пластин с рельефным изображением четырех кошачьих хищников, обращенных влево, в центре — сферический умбон с розеткой «бегущее солнце» на вершине. С обратной стороны приклепана дужка. Свастикообразные бляхи известны как в скифских памятниках (Краснокутский курган, Козел, сюда же можно привлечь и бляху из Александрополя с кабаньими головами), так и во фракийских (Луковитское сокровище, Крайова, Аджигиол). Хотя они близки композиционно и стилистически, изображены на них, как правило, протомы грифонов или коней. Огузским же ближе всего фалары с изображениями трех головок кошачьих хищников, расположенных в вихревой композиции, из убора № 6 Огуза и из средней могилы в Мезеке [5, рис. 306] (рис. 5).



Рис. 4. Детали конских уборов. 1—3 — Огуз, убор № 2; 4 — Луковит; 5 — Красный Кут; 6 — Крайова; 7 — Оризово

Два нащечника в форме неправильного овала с рельефным изображением всадника в развевающейся накидке, у ног коня изображены фигура кошачьего хищника (гепарда?). На уздечке они крепились симметрично — на одном композиция развернута вправо, на другом влево. Рисунок на нащечниках различается позой всадников, расположением кошачьего относительно ног коня и краев пластин, различны они и в мелких деталях (оформление лап хищника, одежды всадника, головы коня и т. д.). С обратной стороны крепилось по две петли. Наиболее близкой аналогией является пара серебряных с позолотой нащечников

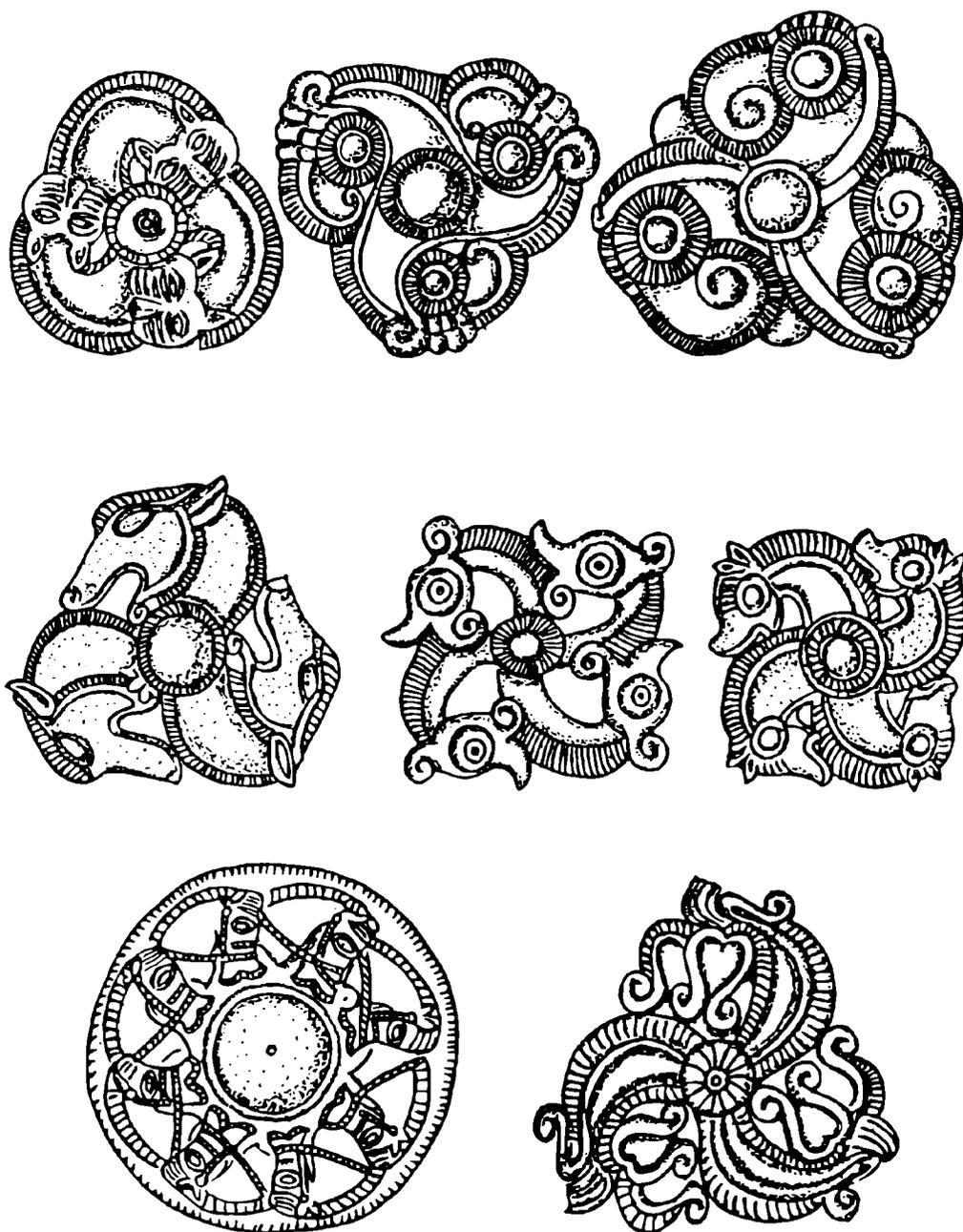


Рис. 5. Фалары со свастикообразным изображением. 1 — Мезек; 2, 7 — Летница; 3 — Врац; 4—6, 8 — Крайова

из Луковита [10, с. 25, рис. 27]. Бляхи имеют иную форму, но по стилю и композиции они тождественны. На нашечниках изображен герой-всадник, возможно на охоте, со своим гепардом (?) [11, с. 45]. Культ героя-всадника, героя-охотника был довольно популярен у населения Фракии. Основой его, вероятно, послужил миф о фракийском герое Ресе (Philostr. Heroic II, 8), созданный по образу и подобию популярного в Причерноморье культа героя — бога Ахилла [12, с. 152]. Очень близки огузскому фалары из Александрополя, но выполнены они в иной манере [13, табл. XIII]. В качестве более отдаленной аналогии можно привести и нашечник из Летницы, хотя здесь изображен иной сюжет.

Две круглые бляхи выпуклые, с бортиком по краю, двумя шляпками от заклепок, крепивших петлю; с гравированным изображением собаки с повернутой назад головой и поднятым хвостом. Ближайшей аналогией является изображение

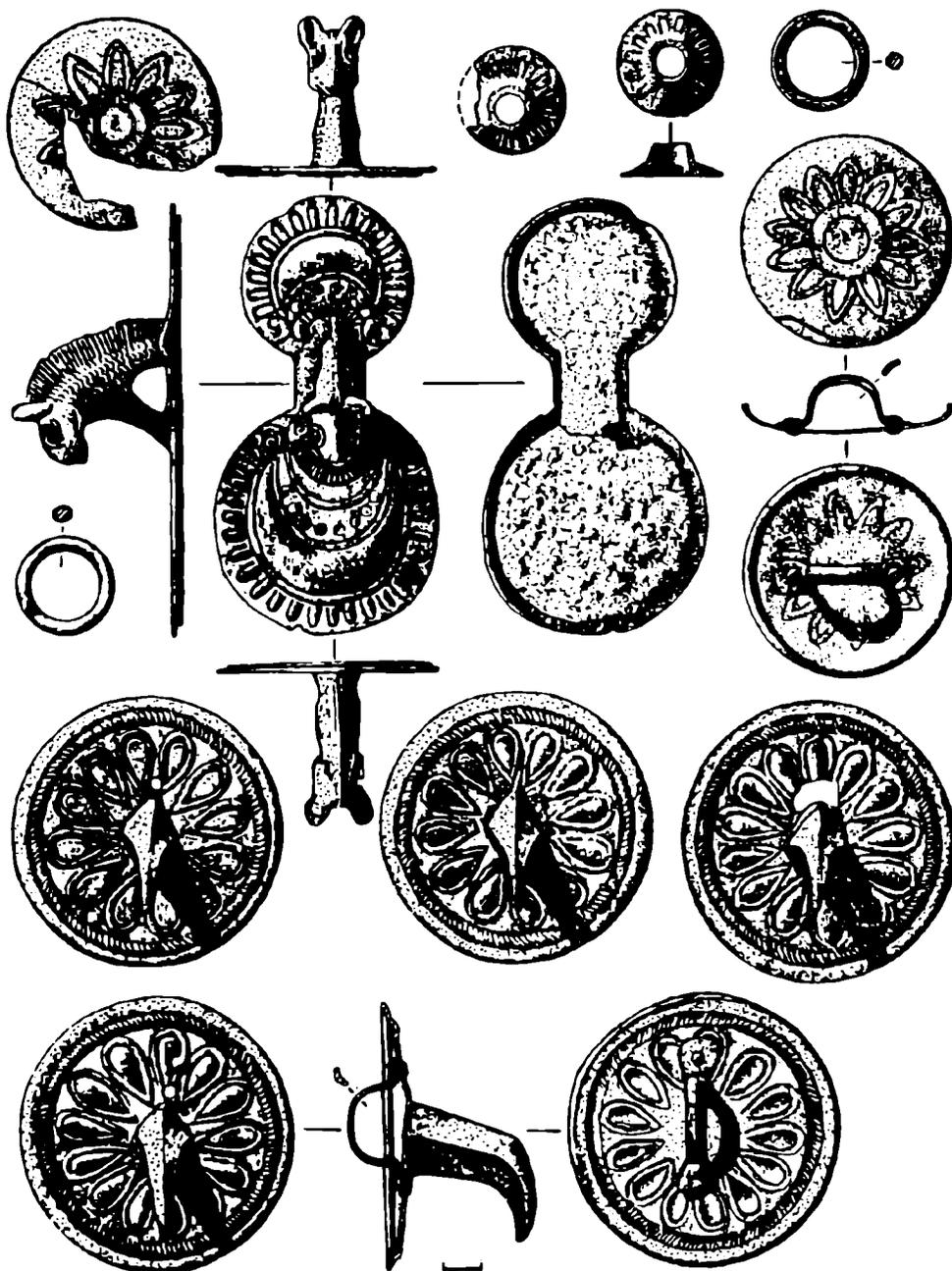


Рис. 6. Уздечный убор № 3

двух животных на нащечнике из Бэйченьского клада [14, с. 106]. Отдаленными стилистическими аналогиями, пожалуй, являются изображения кошачьих хищников в средней части нащечников из В. Знаменки и убора № 3 Огуза.

Уздечный убор № 3 (рис. 6).

Литой наносник в виде головки грифона, прикрепленной к восьмеркообразной пластине с гравированным орнаментом; на шее у основания — полукруглое отверстие для ремня. Близок ему наносник из предыдущего убора Огуза. Некоторое сходство отмечается и с наносником из кург. II группы Частых курганов. В качестве аналога следует упомянуть изображение львиных грифонов на серебряной чаше (№ 154) из фракийского клада из Рогозена [15, с. 22, 24].

Четыре фалара в виде круглых выпуклых блях с рельефным бортиком с косыми насечками у края и рельефными каплевидными лепестками, сходящимися концами к центру, на двух — по 12, на двух — по 13 лепестков. В центре

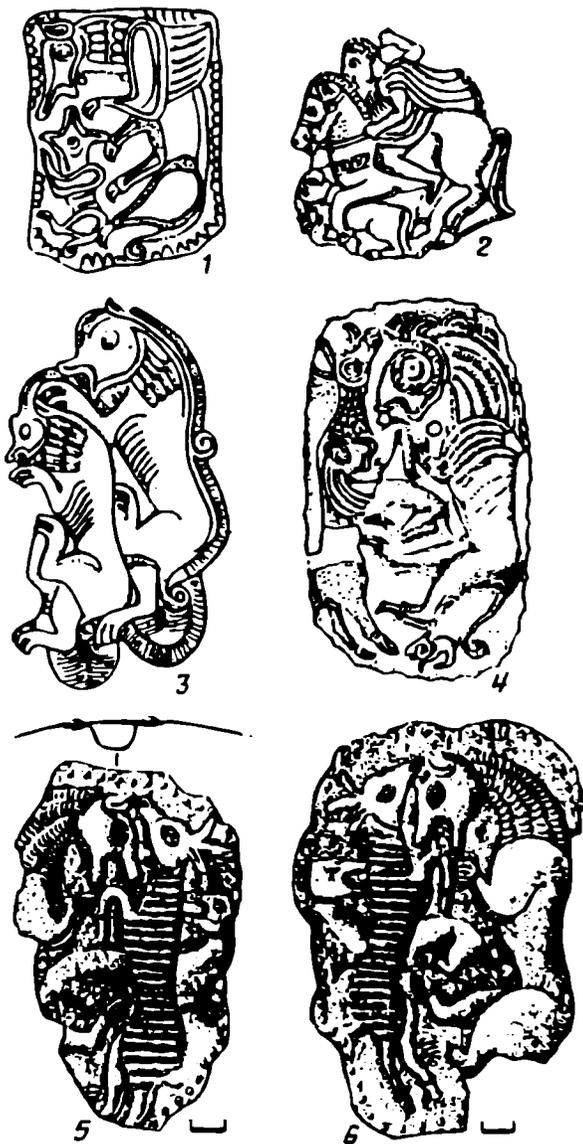


Рис. 7. Нашечные бляхи. 1 — Бэйчень; 2 — Луковит;
3 — Врац; 4 — В. Знаменка; 5—6 — Огуз, убор № 3

мощная литая насадка в виде клыка (клюва ?). С обратной стороны приклепана петля для продевания ремня. Эти фалары не имеют аналогий. Однако здесь уместно вспомнить уздечный гарнитур коня № 3 из первого Пазырыкского кургана, в который входили (и в качестве фаларов) деревянные фигурки головы тигра, держащего в раскрытой пасти клык кабана, покрытый оловом [16, с. 26, рис. 7].

Два *нащечника* в форме неправильного овала с рельефным гравированным изображением сцены терзания копытного животного (оленя ?) двумя кошачьими хищниками. По краю бляхи орнаментированы точечным пуансонным орнаментом, с обратной стороны приклепано по одной петле. Бляхи симметричны, т. е. изображения на них развернуты в противоположные стороны (рис. 7, 5, 6). Наиболее близки композиционно и по манере исполнения рисунок нащечники из В. Знаменки (рис. 7, 4). Очень близок стилистически и золотой нащечник из Бэйченьского клада (рис. 7, 1) с изображением фигур двух животных [14, с. 106]. В качестве аналогии можно привести нащечники из Враца (рис. 7, 3) с изображением сцены терзания быка львом [17, рис. 23].

Две круглые выпуклые *бляхи* с припаянной на оборотной стороне петлей, с гравированным изображением 12-лепестковой розетки. Близкие к огузским бляхи,

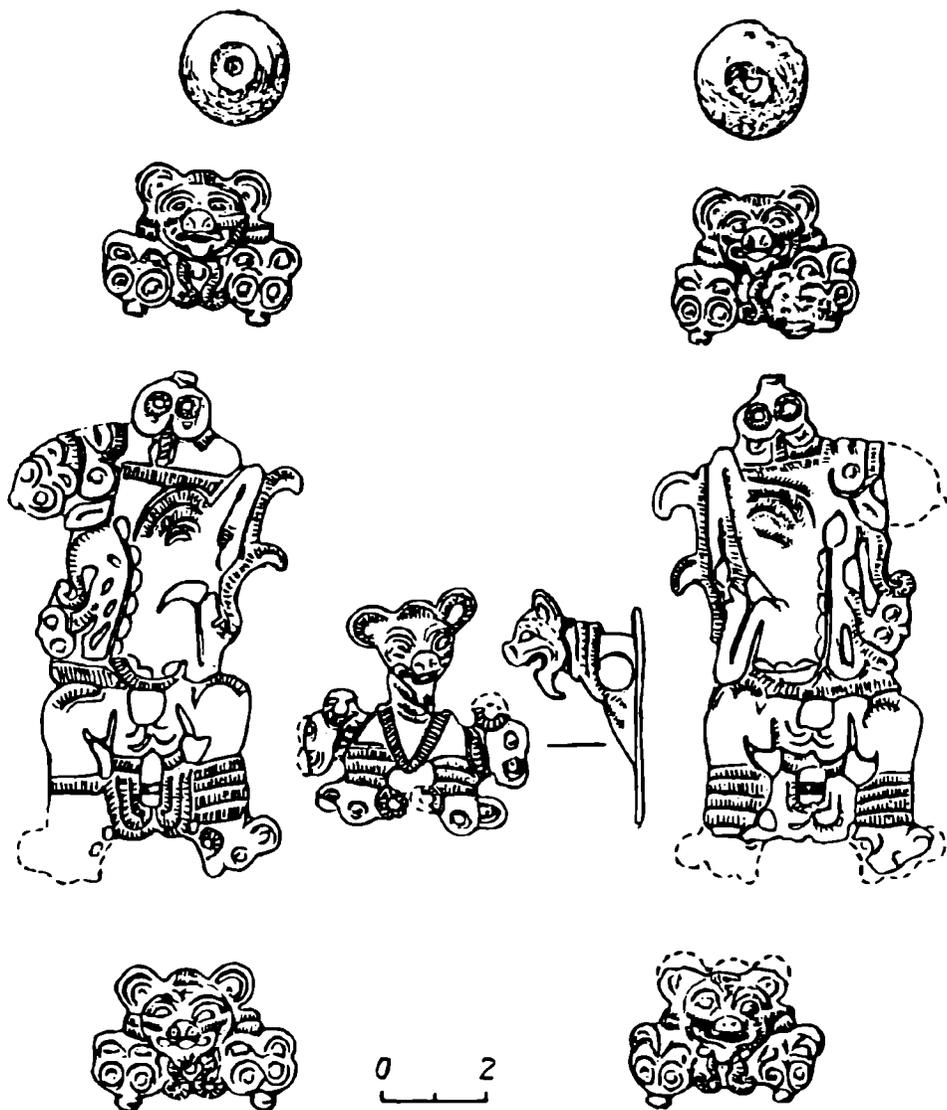


Рис. 8. Уздечный убор № 4

но с изображением 8-лепесткового цветка, происходят из гарнитуров первой лошади Краснокутского кургана [3, с. 68, рис. 19] и из Чмыревой могилы [18, рис. 61].

Уздечный убор № 4 (рис. 8).

Литой наносник в виде головки льва с круглым отверстием для ремня на шее, прикрепленной к вырезанной по контуру ажурной пластине с симметричным изображением двухголовых протом зверей (возможно, львов). Единственной аналогией является наносник из Аджигиола [19, с. 50, рис. 18, 6], хотя щиток его оформлен иначе.

Четыре фалара в виде контурного изображения в высоком рельефе головки льва (?) и двух симметрично расположенных под ней головок медведей (?). С обратной стороны, крепилась петля. Стилистически наиболее близки фалары из Аджигиола, хотя и они не являются полной аналогией [19, рис. 9, 10, 18].

Два нащечника в виде симметричных ажурных пластин с изображением оленя с подогнутыми ногами и головой льва (?) с одной стороны и двух львов в геральдической позе с противоположной. На обороте — по две петли. Изображение оленя с подогнутыми ногами характерно для скифского искусства, однако обрамление рисунка поясками, заполненными косыми насечками, — характерная черта фракийских изображений. Бронзовая бляха с изображением двух хищников



Рис. 9. Уздечный убор № 5

в геральдической позе из Цукур-Лимана по сюжету и композиции близко огузской [20, рис. 14]. Аналогично изображение профильной фигуры лежащей пантеры на золотой рельефной бляшке из кург. 1 Ульского аула [20, рис. 17]. А. П. Манцевич приводит в качестве аналогий нашечники из Луковит с изображением двух грифонов в геральдической позе и бронзовых застёжек из Торос и Аполлонии в виде ажурной бляхи с профильным изображением кошачьего хищника [1, с. 270], хотя, видимо, последняя аналогия наименее удачна.

Уздечный убор № 5 (рис. 9).

Литой наносник в виде головы орлиного грифона с круглым отверстием у основания шеи крепился к восьмеркообразной пластине с гравированным орнаментом в виде заштрихованных насечками полуovalов. Наиболее близки ему изображения головок грифонов на нашечниках из Оризово [5, с. 381, рис. 276] и Луковит [9, с. 144, рис. 291], по оформлению щитка ближе всего наносники из Краснокутского кургана.

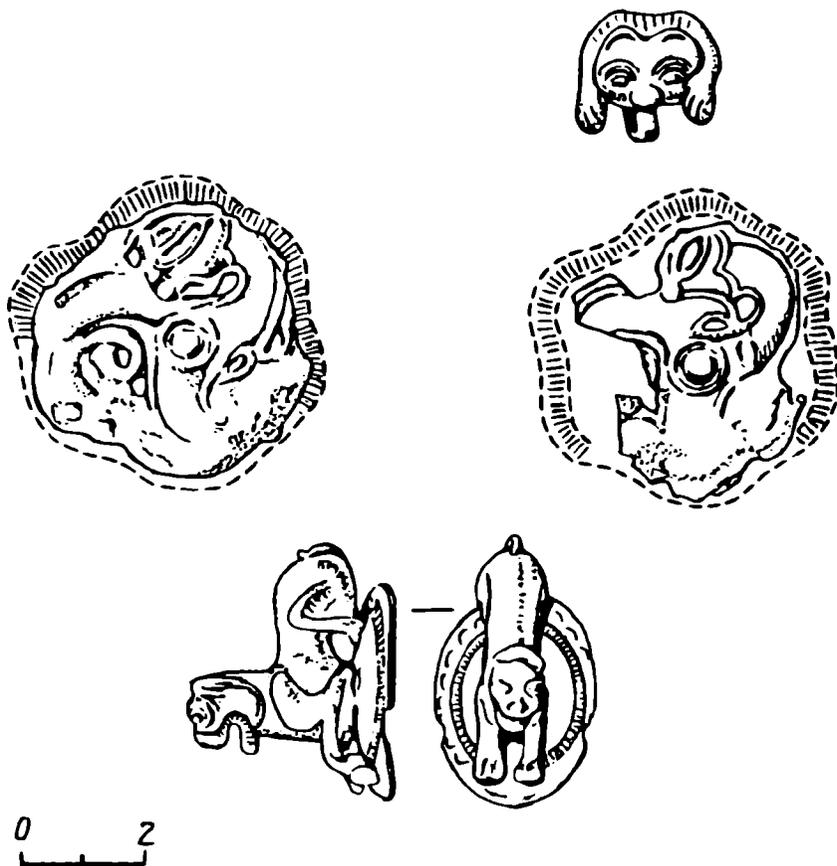


Рис. 10. Уздечный убор № 6

Четыре *фалара* с рельефным изображением протом четырех коней в уздечках, расположенных в вихревой композиции вокруг выпуклого умбона; на двух фаларах головы повернуты влево, на одном — вправо (четвертый сильно фрагментирован, скорее всего он аналогичен третьему). С обратной стороны приклепано по одной дужке. Свастикообразные бляхи широко распространены в памятниках Юго-Восточной Европы. К настоящему времени известно более 70 украшений этого вида [21, с. 135]. Достаточно хорошо известны фалары с изображениями протом четырех грифонов или коней, хотя, как правило, кони изображены без уздечек (Краснокутский курган, Козел, Луковит, Аджигиол, Крайова, Бэйчень, Перету). Интересно, что находки близких бронзовых блях более раннего времени известны в районе днепровского Левобережья — 10 блях с изображением четырех головок коней происходят из кург. 8 у с. Волковцы (раскопки С. А. Мазараки) конца VI — начала V в. до н. э. [22, с. 71, табл. XVII, 7]; аналогичная бронзовая бляха с головками грифонов обнаружена в Ольвии и датируется серединой V в. до н. э. [23, с. 184—186, рис. 24]; подобная же бляха с изображением головок птиц найдена в ауле Галайты в Чечено-Ингушетии [24, с. 109, рис. 1]. Близок стилистически к огузским круглый фалар из Летницы с изображением головок восьми взнузданных коней, расположенных вокруг рельефного умбона [5, с. 383, рис. 291]. Та же схема использована мастером в оформлении чаши из Братолюбовского кургана, где протомы шести взнузданных коней образовывали вихревую композицию с центром в виде выпуклой янтарной вставки — солярного символа [25, с. 77, кат. 120e].

Два *нащечника* прямоугольной формы с гравированным орнаментом в виде трех фигур — профильного изображения босоногой женщины в легких одеждах и кентавра, стоящих лицом друг к другу и поддерживающих ребенка, изображенного в фас с поднятой правой рукой. Пространство между фигурами и по

краям пластины заштриховано. На наш взгляд, на пластине представлена сцена, изображающая кентавра Хирона со своей женой Хариклой, которые держат на руках маленького Ахилла во время отправления в путешествие аргонавтов, среди которых был отец Ахилла — Пелей. Аналогии нащечникам неизвестны. По мнению А. П. Манцевич, отмечается стилистическое сходство изображений на нащечниках из Огуза с мастюгинским сосудом, кнемидами из Аджигиола и Враца, фибулой из Баланешти, фаларом из Герастрау [1, с. 273—277].

Уздечный убор № 6 (рис. 10).

Литой наносник в виде фигурки льва с раскрытой пастью, сидящего на небольшой овальной пластине с гравированным орнаментом из двух линий с поперечными насечками. Близок огузскому серебряный с позолотой наносник из погр. 4 кург. 11 у с. Гюновка в виде фигурки лежащего льва [26, с. 146, табл. С]. Еще два наносника из дерева с близкими изображениями тигров (?) происходят из Пазырыка 2 [27, рис. 7].

Два фалара в виде округлых блях с рельефным изображением трех протом кошачьих хищников, расположенных вокруг округлого рельефного умбона. Наиболее близкими являются фалары с изображением трех головок кошачьих хищников, расположенных в вихревой композиции из Мезека [5, рис. 306], и свастикообразные фалары из второго уздечного убора Огуза.

Литой фигурный нащечник в виде пары задних ног хищника с сильно стилизованным изображением птицеклювых грифонов, края бляхи украшены заштрихованными полосами и волютами⁴. Стилистически наиболее близки им пластины из Оризово [17, с. 80, рис. 21], Крайово [19, рис. 94—95] и Бедняково [5, рис. 274].

Массивная выгнутая литая бляха полуцилиндрической формы с вертикальной петлей, с виде протомы льва с вытянутыми вперед лапами. Это украшение уникально. Назначение его неясно, возможно, оно служило в качестве бляхи на ремнях оголовья.

Все шесть гарнитуров Огуза отличаются друг от друга, и ни один из них не имеет полного аналога. Даже если известны похожие украшения одного из составляющих набор элементов в двух памятниках, то остальные его детали совершенно иного облика.

Подобные уздечные наборы очень редко встречаются в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья. Помимо Огуза они известны в Краснокутском кургане (3 убора), Козле, Хоминой Могиле (2 убора), кург. 11 у с. Гюновка, кург. 2 у с. В. Знаменка, Чмыревой Могиле. Уздечные украшения этого типа известны и в Западном Причерноморье — в памятниках древней фракии: Аджигиол, Крайова, Бэйчень, Перету (территория Румынии), Летница, Луковит, Врац, Свешары, Брезово, Оризово, Мезек, Бедняково (территория Болгарии), где они входили в состав кладов, находились в конских погребениях или среди инвентаря в могилах представителей высшей фракийской знати.

В литературе существует несколько точек зрения относительно происхождения и причин ограниченной локализации украшений уздечек так называемого скифо-фракийского типа. М. И. Ростовцев относил произведения, выполненные в зверином стиле, к скифским по происхождению [28, с. 88]. К. Шефольд считал, что во Фракию украшения уздечек этого типа попадали из греко-скифских мастерских [29, с. 35]. И. В. Яценко объясняла близость скифских и фракийских украшений этого типа проявлением влияния скифской культуры на фракийскую [30, с. 27]. О независимом появлении подобных украшений у скифов, учитывая их более раннюю дату, говорила В. А. Ильинская [31, с. 130]. Совершенно противоположной точки зрения придерживаются болгарские и румынские ученые, доказывая независимое от скифского влияния развитие звериного стиля в искусстве фракийских племен. Впервые это мнение высказал Б. Филов [32, с. 30], позднее

⁴ К этому убору нащечник отнесен не безоговорочно, так как смущает то обстоятельство, что он золотой. Возможно, он относился и к иному гарнитуру, утраченному при ограблении.

его точку зрения в той или иной мере разделили А. Милчев [33], Д. Димитров [34, с. 64], И. Венедиков [35, с. 5; 36, с. 1 и сл.; 37, с. 106, 109]; Т. Герасимов [5], А. Фол [38, с. 160], И. Маразов [39, с. 26]. Д. Берчу, признавая определенное сходство звериного стиля в скифском и фракийском искусстве, вслед за И. Венедиковым объясняет его общими прообразами, восходящими к преахеменидскому и ахеменидскому искусству Ирана [19], так же считает и Л. Огненова — Маринова [40, с. 133]. Ряд исследователей относит определенные украшения уздечек к бесспорно фракийским. Так, Е. Малкина отнесла к их числу украшения из Огуза и Чмыревой Могилы [41, с. 160], А. П. Манцевич — огузские уздечки из раскопа В. Рота [1, с. 277], Б. Н. Мозолевский — две уздечки из Хоминой Могилы [7, с. 175]. И. Т. Никулицэ предполагает фракийское происхождение, заимствованное из восточных цивилизаций (в частности, Ирана), свастикообразных блях из Пириту, Бэйчень, Огуза и других памятников [21, с. 136].

Особое внимание вопросам взаимосвязей скифского и фракийского искусства в целом ряде своих работ уделила А. И. Мелюкова [42, с. 32—41; 43, с. 36—37; 44, с. 54; 45, с. 106; 2; 3]. По ее мнению, уздечные украшения из скифских и фракийских памятников IV в. до н. э. следует рассматривать как две ветви, развившиеся из одних и тех же скифских прототипов. Однако на протяжении длительного времени, помимо влияния греческого и ахеменидского искусства, они постоянно испытывали и взаимное воздействие. Последняя гипотеза, видимо, наиболее правомерна. Несмотря на внешнюю схожесть сюжетов, стилистическую близость, и скифские и фракийские произведения искусства сохраняли свои специфические, только им присущие особенности.

Вряд ли можно совершенно уверенно говорить о центре производства огузских уздечных уборов фракийского типа. И все же, учитывая ряд характерных особенностей (сюжеты на нащечных бляхах первого и второго гарнитуров, более упрощенное и в то же время более реалистичное изображение животных на нащечниках и узде № 4, своеобразную статичность изображений, особый узор из рельефных заштрихованных полос и т. д.), мы склонны видеть в этих гарнитурах произведения фракийских мастеров. Специфическими особенностями скифского звериного стиля являются синкретизм и особая динамика изображений, совмещающих одновременно несколько образов в момент борьбы или порывистого движения. Именно этих стилистических особенностей скифского изобразительного искусства мы не находим на рассматриваемых украшениях узды. Окончательно опровергнуть или подтвердить сделанный вывод, возможно, помогли бы данные металлографического анализа, но таковых, к сожалению, в нашем распоряжении пока нет.

Находки узды фракийского типа на территории Северного Причерноморья происходят главным образом из погребений представителей высшей суифской аристократии. Вполне вероятно, что эти уборы были сделаны фракийскими мастерами по заказу скифов с учетом их вкусов. А возможно, они были преподнесены в дар особе царского происхождения. Подобное предположение было высказано М. П. Грязновым в отношении коней Пазырыкских курганов на Алтае [16, с. 70] и коней более раннего по времени погребального комплекса Аржана в Туве [46, с. 47]. По наблюдениям Л. К. Галаниной, среди уздечных наборов Келермесских курганов выделяется две группы — половина из них относится к типично скифским, вторая принадлежит к памятникам иного культурного облика [47, с. 32]. Разнообразие типов уздечных украшений в одном погребении говорит о разноэтничности владельцев погребенных в нем коней [48, с. 30], т. е. в захоронениях скифских царских курганов лошади, по-видимому, являлись подношениями от представителей зависимых этнических группировок. По сообщениям Фукидида (II, 97), обычаи требовали от фракийцев преподносить подарки из золота, серебра и другие вещи как властителю, так и управителю (наместнику) и благородным особам. Подобные же обычаи описаны и в «Анабазисе» Ксенофонта (VII, 3, 15—20). Кстати, и на территории Фракии такие уздечные уборы происходят лишь из богатых погребений местной аристократии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Манцевич А. П. Об уздечках фракийского типа из кургана Огуз//Actes de II^e Congrès international de Thracologie. Bucuresti, 1980.
2. Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. М., 1979.
3. Мелюкова А. И. Краснокутский курган. М., 1981.
4. Мозолевский Б. М. Товста Могила. Киев, 1979.
5. Венедиков И., Герасимов Т. Тракийское искусство. София, 1973.
6. Виноградов В. Б. Новые находки предметов скифо-сибирского звериного стиля в Чечено-Ингушетии//СА. 1974. № 4.
7. Мозолевский Б. Н. Фракийская узда из Хоминой Могила//ST. Sofia, 1975.
8. Отрощенко В. В., Болдин Я. И., Жигулина Л. Н. и др. Отчет в раскопках Белозерского отряда Запорожской экспедиции в 1979 г.//Архив ИА АН Украины, № 1979/4^a.
9. Фракийское искусство и культура Болгарских земель. М., 1974.
10. Kitow G., Pawlow P. Kultura Tracka na ziemiach okregu Zoweczanskiogo. Sofia, 1987.
11. Тракийски легенди. София, 1981.
12. Русяева А. С. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 1992.
13. Лазаревский Я. Александропольский курган//ЗРАО. 1894. Т. 7.
14. Petrescu-Dimbovitsa M., Dinu M. Le tresor Vaiceni//Dacia. N. S. XIX. Bucuresti, 1975.
15. Николов Б. Каните от Рогозенското съкровище//Изкуство. 1986. № 6.
16. Грязнов М. П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950.
17. Данов Х. Древна Тракия. София, 1969.
18. Спицын А. А. Серогозские курганы//ИАК. 1906. Вып. 19.
19. Vergiu D. Arta traco-getica. Bucuresti, 1969.
20. Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. Прага; Л., 1966.
21. Никулицэ И. Т. Северные фракийцы в VI—V вв. до н. э. Кишинев, 1987.
22. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. III. СПб., 1901.
23. Капошина С. И. О скифских элементах в культуре Ольвии//МИА. 1956. № 50.
24. Багаев М. Х., Козенкова В. И. Бронзовые бляхи из Галайтинского могильника (Чечено-Ингушетия)// Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978.
25. Кубишев А. Я., Симоненко А. В. Скифські та сарматські пам'ятки Таврії//Золото степу. Археологя Укра ни. Шлезв. г, 1991.
26. Отрощенко В. В., Бессонова С. С., Болтрик Ю. В. Отчет Запорожской экспедиции за 1976 г.// Архив ИАН АН Украины, № 1976/6.
27. Грязнов М. П. Древнее искусство Алтая. Л., 1958.
28. Rostovtzeff M. Iranians and Greeks. Oxford, 1922.
29. Schefold K. Der Skythishe Tierstil in Sudrusland//ESA. XII. 1936.
30. Погребова Н. Н. Состояние проблем скифо-сарматской археологии к конференции ИИМК АН СССР 1952 г.//Вопросы скифо-сарматской археологии. 1952.
31. Ильинская В. А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. Киев, 1968.
32. Филов Б. Памятники на тракийското изкуство//Известия на Българского археологическо дружество. 1919. VI.
33. Милчев А. Этнические и культурные связи между фракийцами и скифами в VIII—VI вв. до н. э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1949.
34. Димитров Д. Материалната култура и изкуството на Траките през ранната елинистическа епоха//Археологически открития в България. София, 1957.
35. Венедиков И. Предахеменидски Иран и Тракия//Известия на археологическия Институт при БАН. 1969. Вып. XXXI.
36. Венедиков И. Надписите върху тракийските фиали//Археология. 1972. № 1.
37. Венедиков И. Фракийский мотив в искусстве скифов//ST. 1975. 1.
38. Фол А. Thraco-Scythica: проблемы письменных источников о V в. до н. э.//ST. 1975. I.
39. Маразов И. Античная культура на Северното Черноморие//Изкуство. 1975. № 2.
40. Огненова-Маринова Л. Влияние техники выполнения при оформлении стиля и мотивов в тореитике фракийцев и скифов//ST. 1975. I.
41. Malkina K. Zu dem skythischen Pferdegeschirrechtmuck aus Craiova//PZ. 1927. XIX.
42. Мелюкова А. И. Скифские элементы в гетской культуре//КСИА. 1965. № 105.
43. Мелюкова А. И. К вопросу о взаимосвязях скифского и фракийского искусства «звериного» стиля//Тез. докл. III Всесоюз. конф. по вопросам скифо-сарматской археологии (скифо-сибирский «звериный» стиль). М., 1972.
44. Мелюкова А. И. Итоги и задачи изучения взаимосвязей киммерийских и скифских племен с фракийцами в советской науке//ST. 1975. I.
45. Мелюкова А. И. К вопросу о взаимосвязях скифского и фракийского искусства//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976.
46. Грязнов М. П. Аржин. Л., 1980.
47. Галанина Л. К. Раннескифские уздечные наборы (по материалам Келермесских курганов)//АСГЭ. 1983. № 24.
48. Ковалев А. А. О захоронениях лошадей в Келермесских курганах (к разработкам М. П. Грязнова)// Исторические чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. обл. науч. конф. Ч. I. Омск, 1987.

Институт археологии АН Украины,
Киев

E. E. FIALKO

THE THRACIAN BRIDLE FROM OGUZ BARROW

S u m m a r y

The article deals with six silver bridle sets belonging to the Thracian type found in Oguz barrow. They were discovered in the Northern grave and the central burial construction. All the sets differs from each other by the mythological plots which unites logically their details. The variety of the plots can be explained by the fact that the richly decorated horses were the funeral gifts from the political units of probably the same ethnic origin. Oguz decorations have a small number of the stylistic and compositional analogies among the artifacts from the Scythian aristocracy barrows. But the main number of the analogies were found among the Thracian sites artifacts in Romania and Bulgaria. The last fact can be used in the argument about the origin of the Thracian art artifacts found in the Northern Pontic area.

И. В. СЕРГАЦКОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ХРОНОЛОГИИ РАННЕСАРМАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

После выхода в 1947 г. известной статьи Б. Н. Гракова в археологической литературе утвердилась существующая до наших дней без каких-либо серьезных изменений четырехчленная периодизация истории савромато-сарматских племен [1]. Хронологические рамки двух последних периодов сарматской культуры в ней даны с учетом исследований К. Ф. Смирнова. Начало среднесарматского этапа, а соответственно, и конец раннесарматского периода им были отнесены к концу II — началу I вв. до н. э. [2, с. 75—82]. Эта дата вошла в основные работы по истории и культуре сарматов и до последнего времени не подвергалась сомнению [3, с. 8; 4, с. 159—177]. Однако недавно А. С. Скрипкин высказал иную точку зрения и отодвинул верхнюю хронологическую границу раннесарматской культуры до рубежа н. э. [5, с. 94; 6, с. 122]. Эта попытка пересмотра конечной даты раннесарматской культуры вызвала возражения М. Г. Мошковой, придерживающейся традиционных взглядов на хронологию сарматских древностей [7, с. 36—46]. Таким образом, в результате дискуссии между ними в сарматской археологии возникла проблема определения хронологических рамок существования раннесарматской культуры. Недавно А. В. Симоненко, активно включившийся в эту дискуссию, усомнился в правомерности выделения среднесарматской культуры и предложил новую периодизацию всей сарматской культуры вообще. Верхняя хронологическая граница раннесарматской культуры им была поднята до середины I в. н. э., хотя каких-либо серьезных аргументов в пользу своих соображений исследователем приведено не было [8, с. 119]. Таким образом, спор о временных рамках ранне- и среднесарматской культур выходит за пределы вопроса чисто хронологического — речь идет об этнополитическом содержании этих культур и о характере сложения последней из них.

Интересные материалы, вносящие ясность в хронологический аспект этой проблемы, были получены автором во время раскопок могильника Петрунино II в 1989 г. Курганная группа располагалась на левом берегу р. Иловля у с. Петрунино Камышинского района Волгоградской обл. Здесь в курганах 1 и 4 раскопана серия раннесарматских погребений, некоторые из них поддаются узкой датировке.

В кургане 1 к сарматскому времени относятся погребения 7, 9, 11—15. Курган сооружен в эпоху бронзы, все сарматские захоронения впускные. Они располагались кольцом вокруг погребения 13, являвшегося для них центральным. Исключение составляет погребение 11, принадлежащее, вероятно, к типу диагональных первых веков н. э., но оно полностью разграблено и не поддается точной датировке. Погребения 7, 12 и 15 не содержали вещей, но детали обряда — наличие костей овцы (ноги с лопатками), кусков мела, а также включение их в кольцевую систему могил позволяет отнести их вместе с остальными к раннесарматскому времени. Погребения 7 и 12 — детские, а все остальные — мужские¹. Почти все могилы однотипны — узкие прямоугольные, лишь в погребении 14 яма имела заплечики. Во всех погребениях, кроме 7, отмечены остатки перекрытия могил, а подстилка имелась лишь в погребении 9. В захоронении

¹ Антропологические определения М. А. Балабановой.

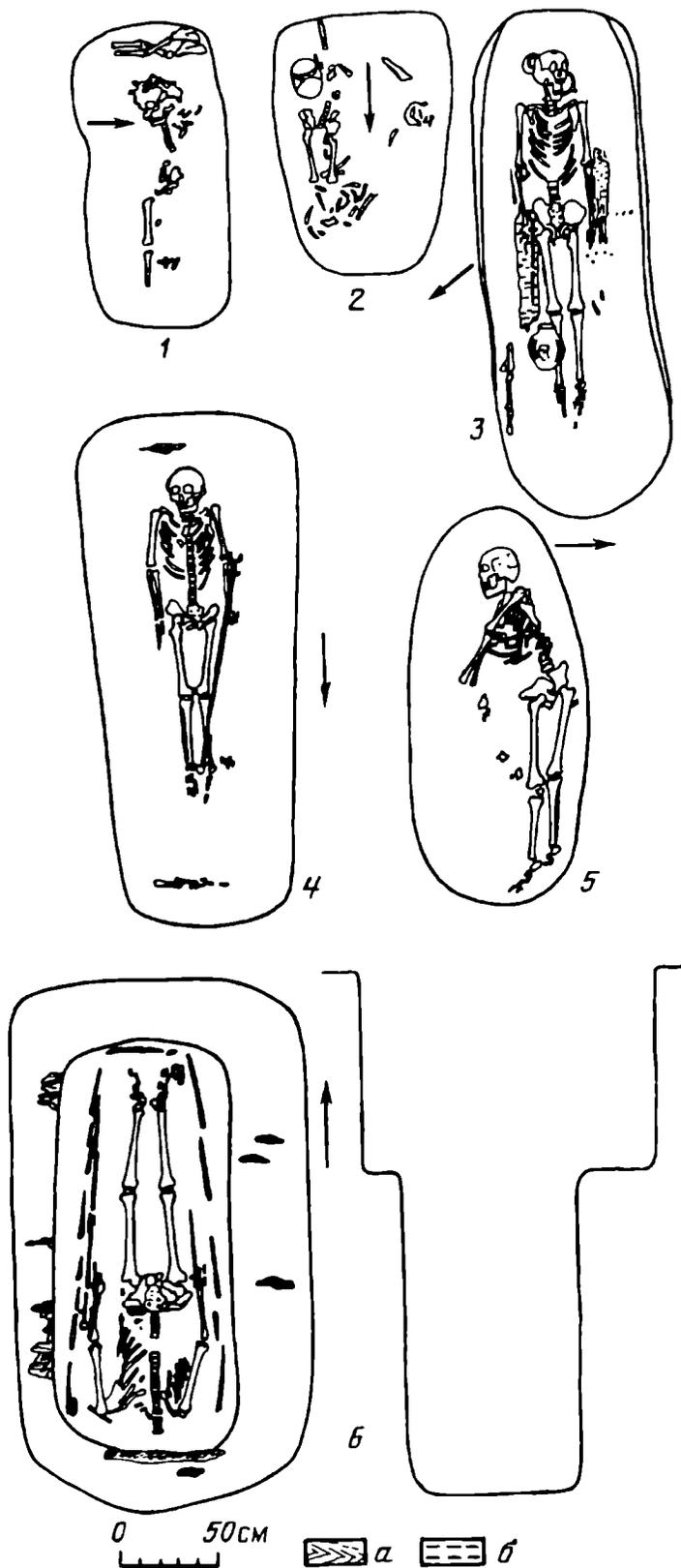


Рис. 1. Планы погребений в кургане 1 могильника Петрунино II.
 1 — погр. 12; 2 — погр. 7; 3 — погр. 9; 4 — погр. 13; 5 — погр.
 15; 6 — погр. 14; а — дерево; б — органическая подстилка

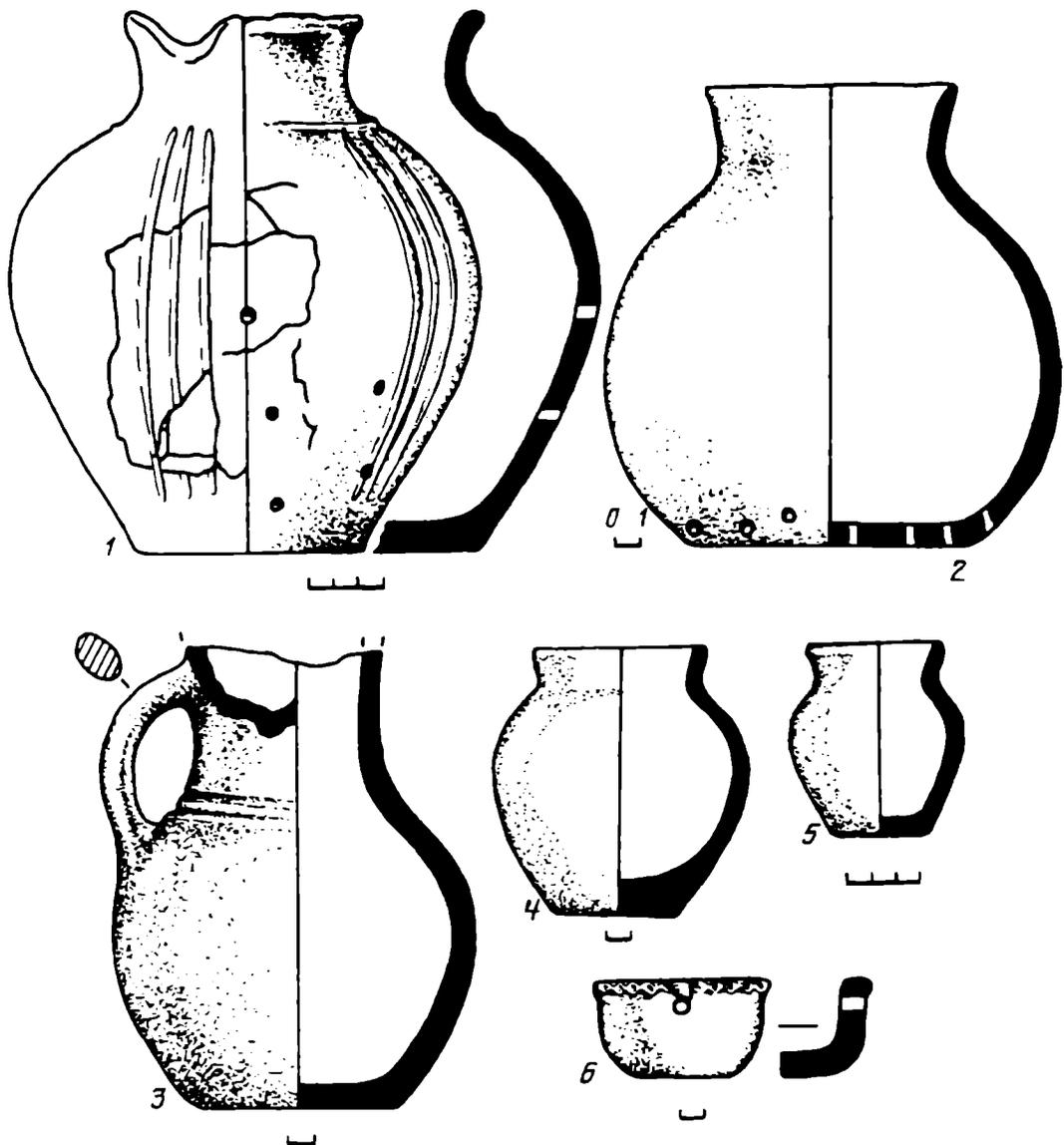


Рис. 2. Керамика из курганов 1 и 4. 1, 5 — погр. 9, курган 1; 2 — курган 4 (насыпь); 3 — погр. 1, курган 4; 4 — погр. 14, курган 1; 6 — погр. 13, курган 1

14 погребенный покоился в дощатом гробу. Особенностью этого комплекса является то, что у костяка отсутствовал череп. В некоторых погребениях имелись ритуальные красящие вещества: 9 — ярозит (минерал желтого цвета), 12 — куски мела. В погребениях 9, 12 и 13 были кости жертвенных животных (овцы). Ориентировка погребенных поставлена в зависимость от положения могилы в кольцевой системе расположения захоронений, однако преобладает южный сектор. В двух погребениях (12 и 15) ориентировка западная (рис. 1).

Вещевой материал довольно выразителен и традиционен для раннесарматской культуры. Глиняные лепные сосуды, найденные в погребениях 9 и 14 (рис. 2, 1, 4, 5), характерны для керамического комплекса раннесарматской культуры [3, табл. 6, 34; табл. 7, 29, 31]. Курильница из погребения 13 (рис. 2, 6) относится к IV типу по классификации М. Г. Мошковой [3, табл. 11].

Предметы вооружения представлены наконечниками стрел и мечами. Наконечники все железные, черешковые, трехлопастные (рис. 3, 2, 5, 7). Они найдены в погребениях 9, 13 и 14. Все они, за исключением одного (рис. 3, 5), типичны для раннесарматских комплексов. Время существования их охватывает почти весь раннесарматский период [3, табл. 17; 9, табл. XIX]. Отмеченный наконечник

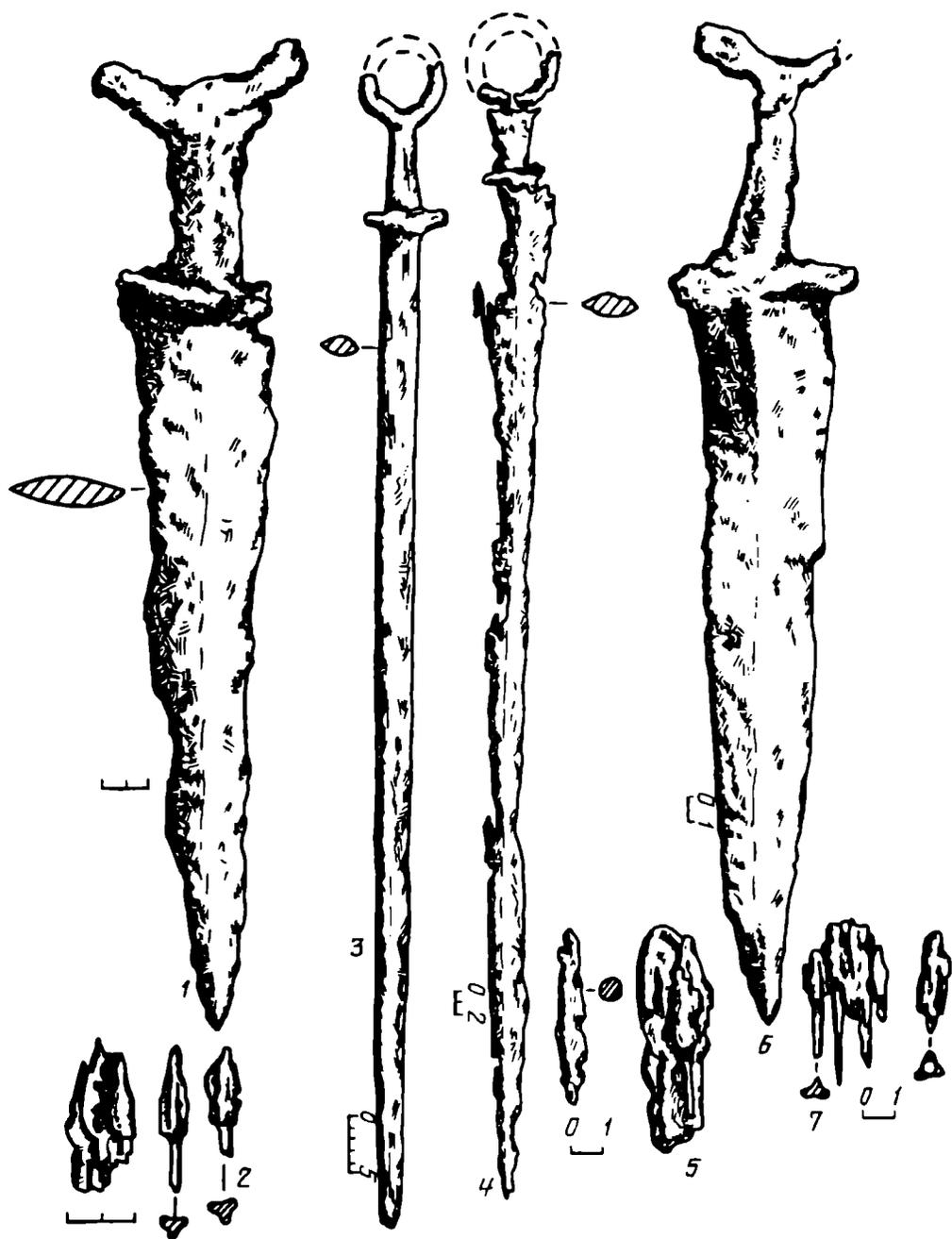


Рис. 3. Предметы вооружения из кургана 1 могильника Петрунино II. 1, 2 — погр. 9; 3, 7 — погр. 13; 4—6 — погр. 14

со штыревидной головкой оригинален, но на датировку всего набора он не влияет. Мечи (рис. 3, 1, 3, 4, 6), найденные в тех же погребениях, что и наконечники стрел, также традиционны для раннесарматской культуры. В погребении 9 — короткий меч с серповидным навершием и прямым перекрестием, а в погребениях 13 и 14 длинные мечи с кольцевыми навершиями сопровождались кинжалами. В первом случае тип кинжала не установлен из-за его плохой сохранности, а во втором — кинжал имел серповидное навершие. Не исключено, что и в погребении 13 было такое же сочетание типов. Совместные находки мечей с кольцевым и серповидным навершиями в раннесарматских погребениях не редкость. Сводка их приведена в недавней работе А. В. Лукашова [10, рис. 1]. Все эти комплексы, включая и петрунинские, несомненно, датируются в пределах раннесарматской культуры.

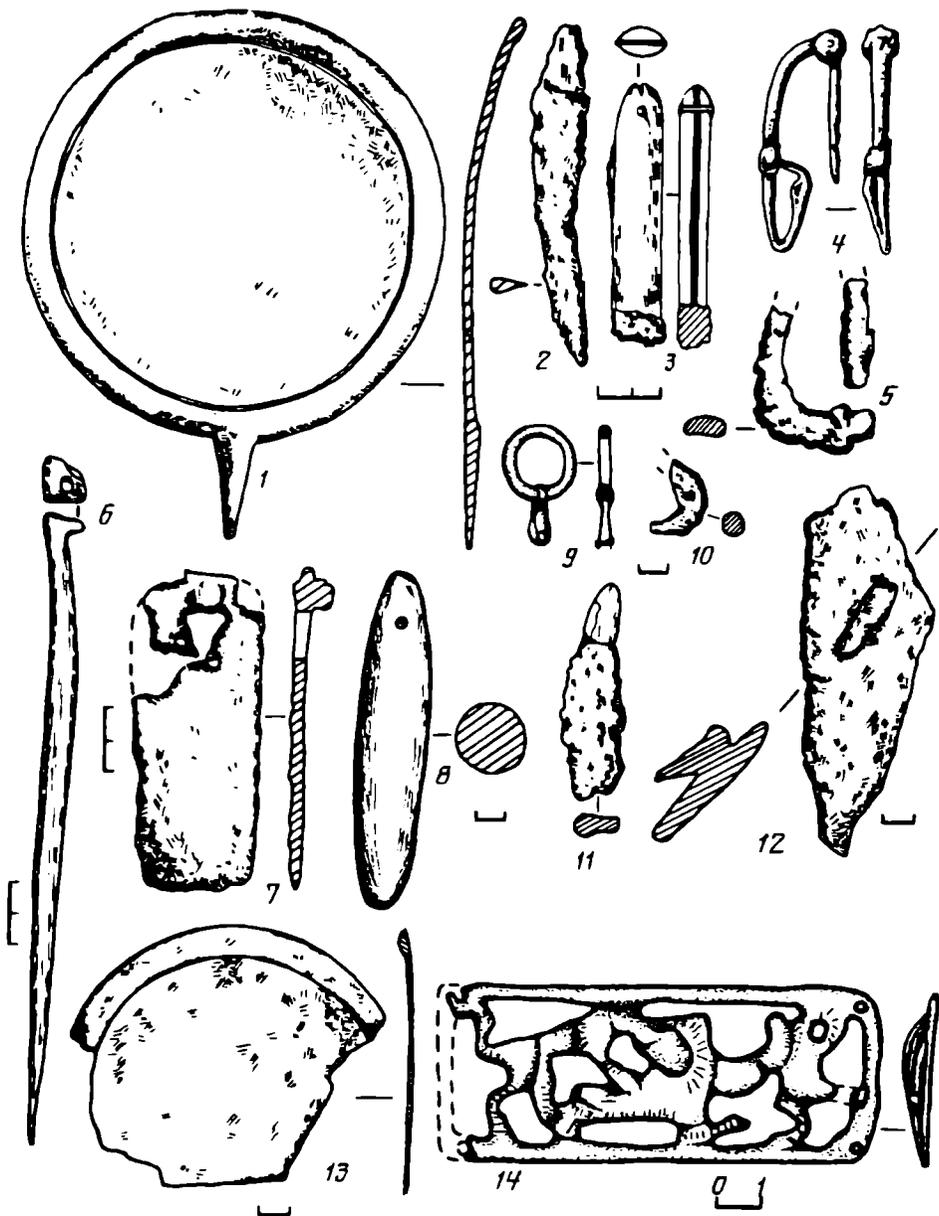


Рис. 4. Находки из кургана 1 могильника Петрунино II. 1—7 — погр. 9; 8—14 — погр. 14

В погребениях 9 и 14 найдены бронзовые зеркала с валиком по краю (рис. 4, 1, 13). Это, пожалуй, самый популярный тип зеркал для сарматских памятников III—I вв. до н. э. М. Г. Мошковой они отнесены ко II отделу с делением на типы в зависимости от морфологических особенностей, но существуют они в одно и то же время — в IV—II вв. до н. э. [3, табл. 28, с. 42].

Особый интерес представляет бронзовая прямоугольная ажурная пряжка со сценой терзания верблюда кошачьим хищником. Изображение довольно условно, фигурки животных выполнены схематично, но порода все же угадывается. Хищник сверху вцепился в передний горб верблюда, а он припал на передние ноги и кусает заднюю лапу «пантеры» (рис. 4, 14). Эта пряжка относится к числу хорошо известных в раннесарматских древностях бронзовых ажурных пряжек [3, табл. 25, 16]. Типологически близкая пряжка с изображением всадника была найдена в Мечетсайском могильнике [11, рис. 34, 9]. Своим происхождением они, видимо, связаны с восточными районами евразийских степей — основным ареалом ажурных пряжек. Петрунинская находка имеет точные аналогии в

Средней Азии, где имеется небольшая серия таких же пряжек. Одна из них происходит из могильника Карамурун II [12, с. 364, рис. 64], вторая — из Лявандакского, третья — из Шахривайронского могильника [13, рис. 1]. Обломок пряжки со сценой нападения тигра на верблюда происходит из Челябинской обл. [14, с. 62, рис. 256]. Петрунинский экземпляр наиболее близок среднеазиатским пряжкам, особенно карамурунской. Изображение на челябинской пряжке выполнено в иной, несколько отличной манере. Авторами раскопок перечисленные находки датируются следующим образом: карамурунская — II в. до н. э. [12, с. 369—402], лявандакская и шахривайронская — I в. до н. э.— I в. н. э. [13, с. 69, 70]. Пряжка из Приуралья вряд ли может служить хронологическим ориентиром, так как это случайная находка. Видимо, время существования таких пряжек следует ограничить указанными датами. Наиболее точные аналогии петрунинской пряжке имеются в Средней Азии, что позволяет предположить ее восточное происхождение. В Нижнем Поволжье кроме нее известна еще одна близкая, но не идентичная ей находка [15, с. 79—82], относящаяся, так же как и пряжка с берегов Иловли, к раннесарматскому времени.

Остальные материалы погребений кургана I Петрунинского могильника: ножи (рис. 4, 23, 11), костяная проколка (рис. 4, 6), оселок (рис. 4, 8), железные и бронзовые пряжки (рис. 4, 5, 7, 9), фрагмент колчанного крючка (рис. 4, 10) — также характерны для раннесарматского культурного комплекса и не выходят за его рамки.

Небольшая группа раннесарматских погребений была выявлена в кургане 4 этого могильника. В курганной группе Петрунино II он являлся самым большим (высота ~2 м). Интересующие нас погребения 1, 3, 5, 6 и 8 — все впускные. Если в предыдущем кургане зафиксирована четкая планировка погребений по кругу вокруг центрального, то в данном случае захоронения располагались полукольцом, а в центре находилось погребение 1. По половозрастному составу погребенных этот курган кардинально отличался от кургана 1. Погребения 1 и 8 — детские, 3 и 6 — женские, причем в последнем пожилая женщина похоронена с младенцем. Погребение 5 не определено, так как полностью было разрушено погребением 6. Все могилы, за исключением 1, — подбойные, а упомянутое погребение совершено в узкой прямоугольной яме. Во всех могилах зафиксированы остатки деревянных перекрытий, в погребении 3, кроме того, дно и стены подбоя облицованы досками. Позы и ориентировка погребенных обычны для раннесарматской культуры: юго-восток (погребения 1 и 3); восток — юго-восток (погребение 8); запад (погребение 6). В последнем случае скелет ребенка лежал поперек могилы, за головой женщины, черепом на север (рис. 5). В этом же погребении отмечен интересный факт — череп женщины носил следы искусственной кольцевой деформации. В женских захоронениях встречены кости овцы и красящие вещества: в погребении 3 — реальгар, в погребении 6 — реальгар и куски мела. Вещевой материал кургана 4 менее разнообразен, чем в первом, но он все же дает возможность датировать эти комплексы. Лепной кувшин из погребения 1 (рис. 2, 3) — единственный сосуд в этом кургане, найденный непосредственно в захоронении, — относится к широко распространенному в раннесарматских древностях типу плоскодонных кувшинов [3, табл. 8, 17]. Бронзовые зеркала (погребения 3 и 6) идентичны зеркалам из кургана 1 и датируются тем же временем, т. е. IV—II вв. до н. э. (рис. 6, 1, 7). Глиняные пряслица (рис. 6, 3, 8), костяная проколка (рис. 6, 9), игольник (рис. 6, 2), золотые браслеты (рис. 6, 11) и другие материалы (рис. 6, 4, 6, 10) хотя и не дают точной даты, однако «укладываются» в рамки раннесарматской культуры. Сузить датировку комплексов могли бы бусы — они найдены в погребениях 1, 3, 6 и 8, но лишь в погребении 6 имеется достаточно представительный набор, поддающийся хронологическому анализу. В него входят гешировые бусы (рис. 6, 24), стеклянные округлые, биконические бусы черного, зеленого, желтого и белого цветов (рис. 6, 18—22) и пронизки с внутренней позолотой (рис. 6, 23, 25). Все они бытуют на протяжении длительного времени, с III в. до н. э. по II в. н. э., кроме

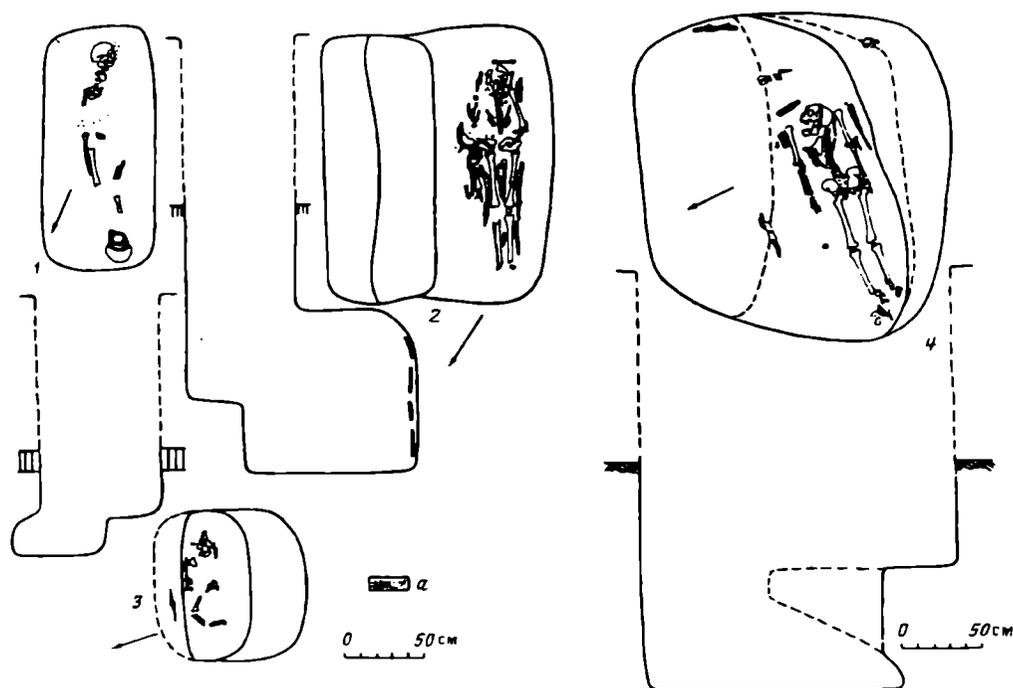


Рис. 5. Погребения из кургана 4 могильника Петрунино II: 1 — погр. 1; 2 — погр. 3; 3 — погр. 8; 4 — погр. 5 и 6. а — дерево

округлых бус янтарно-желтого прозрачного стекла типа 6 по классификации Е. М. Алексеевой. Они датируются ею I в. до н. э.— II в. н. э. [16, с. 63]. В остальных погребениях наборы бус традиционны для раннесарматских комплексов — это гешировые дисковидные бусы (рис. 6, 15, 16, 26, 27, 33, 34), стеклянные округлые, цилиндрические, трехчленные бусы разных цветов, а также пронизки и округлые бусы с внутренней позолотой (рис. 6, 12—14, 17, 28, 32).

В насыпи кургана 4 обнаружен гончарный сероглиняный сосуд грушевидной формы (рис. 2, 2). Эта находка непосредственно не связана с погребениями, а является, вероятно, остатками поминальных ритуалов.

Таким образом, в могильнике Петрунино II открыта серия погребений, по обряду и вещевому материалу безусловно относящихся к раннесарматской культуре, к той стадии ее, которую принято датировать III—II вв. до н. э. [3, с. 8]. В разработке хронологии савромато-сарматской культуры, да и не только ее, громадное значение имеют импорты либо восточного, либо античного происхождения, являющиеся основными временными привязками. С этой точки зрения чрезвычайный интерес представляют находки в петрунинских курганах двух фибул. В погребении 9 кургана 1 обнаружена железная лучковая фибула с подвязным приемником (рис. 4, 4). Она принадлежит к I варианту, который датируется А. К. Аброзом первой половиной I в. н. э. [17, с. 48]. Эту датировку на материалах Нижнего Поволжья подтвердил и А. С. Скрипкин [18, с. 105]. Весьма интересна серия лучковых фибул Беляусского могильника, выделенная Б. Ю. Михлиным. В конструкции некоторых из них отмечаются элементы предшествовавших им среднелатенских надвязных фибул. Автор не исключал для них даты — конец I в. до н. э. [19, рис. 7, с. 205, 206], хотя следует заметить, что еще никто аргументированно не датировал их ранее рубежа н. э. Петрунинская фибула морфологически чрезвычайно близка, а точнее идентична, беляусским, следовательно, датировка ее, как и всего погребения [9], концом I в. до н. э. или даже началом I в. н. э. вполне вероятна.

В погребении 3 кургана 4 найден фрагмент бронзовой фибулы с подвязным приемником (рис. 6, 5). К сожалению, фрагментированность затрудняет ее

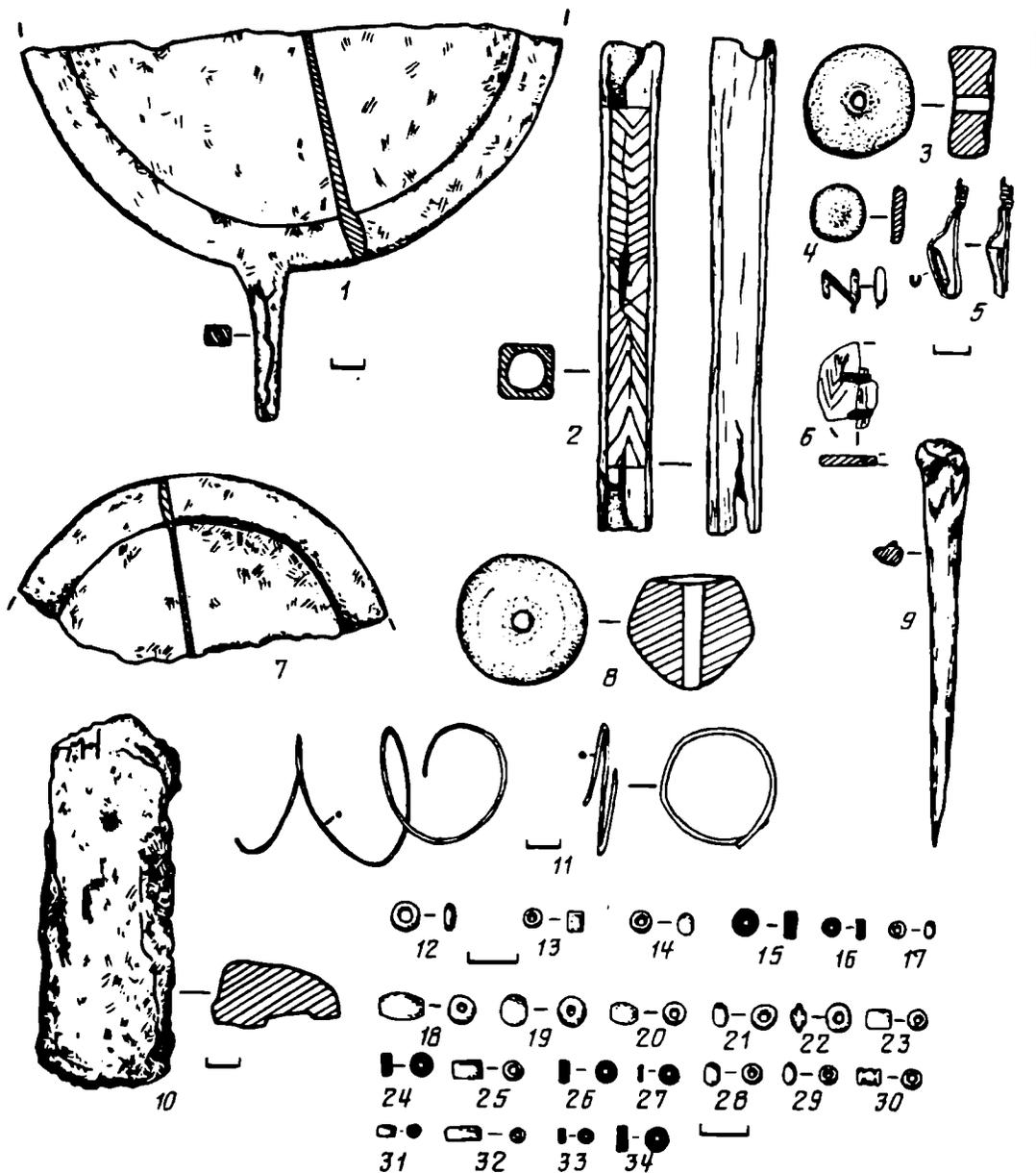


Рис. 6. Находки из кургана 4 могильника Петрунино II. 1—6, 31—34 — погр. 3; 7—10, 18—25 — погр. 6; 11, 26—30 — погр. 8; 12—17 — погр. 1

типологическое определение, однако конструктивные особенности оставляют для этого лишь два варианта. Либо это обломок лучковой фибулы раннего варианта, о времени бытования которого уже говорилось, либо фрагмент прогнутой подвязной фибулы. Сильный прогиб спинки их ножки, косая подвязка и форма приемника, довольно узкий корпус фибулы при длине фрагмента 3,6 см,— все эти признаки сближают петрунинский экземпляр с фибулами верхнеднепровской серии [17, с. 57, табл. 11, 1—3]. Правда, следует заметить, что на некоторых лучковых фибулах из Беляусского некрополя эти признаки также присутствуют [19, рис. 7], что, видимо, служит подтверждением мысли А. К. Амброза о происхождении верхнеднепровской серии фибул от лучковых [17, с. 57], но не исключено, что оба типа фибул появились независимо друг от друга, имея исходной формой среднелатенскую. Скорее всего, отмеченные детали: прогиб корпуса, скошенная подвязка — это пережиточные явления, рудименты фибул среднелатенской схемы. Они достаточно ярко представлены на фибулах «лебяжьинской» серии, произ-

водных от среднелатенских [17, с. 55, табл. 10]. Независимо от типологической принадлежности рассматриваемой фибулы (отнесения ее к раннему варианту лучковых или верхнеднепровской серии подвязных) она датируется I в. н. э.

К настоящему моменту в Нижнем Поволжье известна серия раннесарматских погребений с фибулами. В Калиновском могильнике, в кургане 27, погр. 3, найдена бронзовая фибула среднелатенской схемы [20, с. 384, рис. 41, 1]. Помещение ее в таблицу инвентаря среднесарматской культуры [4, табл. 82, 23] — явное недоразумение, так как весь комплекс безусловно раннесарматский. Железная фибула обнаружена в погребении 2 кургана 7 Быковского могильника [21, с. 191, рис. 9, 3]. Она сильно корродирована и поэтому неопределима, но скорее всего лучковая. Включение К. Ф. Смирновым этого захоронения в число среднесарматских [21, с. 262] ошибочно — судя по обряду и вещевому материалу, оно несомненно раннесарматское. Обломок железной среднелатенской фибулы имеется в комплексе находок из погребения у пос. Рыбный [22, с. 273—275, рис. 1, 7]. К числу раннесарматских следует причислить погребение, открытое А. А. Спицыным в 1895 г. у станции Лебяжья на р. Иловля (в 10 км выше по течению от Петрунино) и датированное А. К. Амброзом I в. до н. э. Наряду с бронзовой фибулой оно содержало фрагмент типичного раннесарматского зеркала с валиком по краю и ручкой-штырем [17, с. 56]. Там же, на Иловле, в 1988 г. в погребении 9 кургана 10 I Барановского могильника, раннесарматского по всем показателям (меч с серповидным навершием, бронзовое зеркало с валиком и т. д.), был найден фрагмент железной фибулы, по всей вероятности лучковой [23, рис. 6, б]. В погребении 9 кургана 2 могильника Петропавловка I (междуречье Волги и Иловли) В. И. Мамонтовым была обнаружена железная фибула-брошь в сочетании с лепным горшком, зеркалом с валиком по краю и бусами, характерными для раннесарматской культуры. Эта фибула имеет конструктивные параллели с фибулами-брошами Беляусского некрополя и датируется II—I вв. до н. э. с упором на I в. до н. э. [23, рис. 2, 3б].

Таким образом, сумма фактов свидетельствует, что твердо датированные фибулами нижеволжские погребения II—I вв. до н. э. представляют собой комплексы определенно раннесарматской культуры. Следовательно, ограничивать время существования ее II в. до н. э. нельзя. М. Г. Мошкова высказала предположение, что I в. до н. э. является переходным периодом, когда происходит постепенное вызревание и нарастание элементов среднесарматской культуры [7, с. 41, 42]. Однако четко датированные фибулами и бусами памятники I в. до н. э. дают обряд и вещевой комплекс лишь раннесарматские, а петрунинские материалы свидетельствуют, что время существования раннесарматской культуры, возможно, захватывает и первую половину I в. н. э. Вполне вероятно, что именно начало I в. н. э. и было тем переходным периодом, когда ранне- и среднесарматские племена в Нижнем Поволжье определенное время сосуществовали, сохраняя свои культурные традиции. Существует еще одно обстоятельство, которое косвенно может подтверждать это предположение. Одной из наиболее широко практиковавшихся форм планировки раннесарматских погребений в курганах является обычай располагать их кольцом или полукругом вокруг центрального захоронения. В погребальном обряде среднесарматской культуры такого явления не наблюдается. Курганы с подобной планировкой принято считать семейно-родовыми кладбищами, все погребения, входящие в них, хронологически компактны [21, с. 258]. В пользу этого мнения говорят чрезвычайно редкие случаи нарушения одного погребения другим в таких системах. Кстати, в петрунинских курганах зафиксировано именно такое расположение захоронений. В этом отношении интересен курган 8 у с. Политотдельское, где погребения с типичным инвентарем I в. н. э., т. е. уже среднесарматского периода, но по обряду раннесарматские (узкие прямоугольные и подбойные могилы), образуют классическую кольцевую систему [24, с. 256—260]. Такой же случай отмечен в кургане 8 Калиновского могильника, в котором среднесарматские погребения 4 и 5 вписываются в кольцевую планировку раннесарматских захоронений [20, с. 343—356]. Подобные примеры можно было

бы продолжить. Этот факт скорее всего отражает ситуацию, когда какая-то часть племен — носителей раннесарматской культуры продолжала существовать уже в новых этнокультурных условиях в среде среднесарматских племен, сохраняя при этом определенную культурную обособленность. Для нас же в данном случае важен тот факт, что погребальные традиции раннесарматской культуры продолжают существовать и в I в. н. э.

Итак, подытоживая анализ материалов, в том числе и новейших, можно сделать некоторые выводы предварительного характера. Верхнюю хронологическую границу раннесарматской культуры в Нижнем Поволжье следует отодвинуть до рубежа н. э. или даже в первую половину I в. н. э. Следует оговориться, что это предположение касается только Поволжья, в Приуралье ситуация может быть несколько иной. Твердо датированные комплексы из II Петрунинского могильника служат, на мой взгляд, конкретным подтверждением верности точки зрения А. С. Скрипкина и А. В. Симоненко, разрабатывающих новую версию развития сарматской культуры. В то же время нельзя согласиться с последним исследователем в его сомнениях о правомерности выделения среднесарматской культуры [8, с. 119]. Впрочем, это уже задача особой работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Граков Б. Н. Пережитки матриархата у сарматов//ВДИ. 1947. № 3.
2. Смирнов К. Ф. Сарматские курганные погребения в степях Поволжья и Южного Приуралья//Докл. и сообщ. ист. ф-та МГУ. 1947. Вып. 5.
3. Мошкова М. Г. Памятники прохоровской культуры//САИ. 1963. Вып. Д1—10.
4. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время//Археология СССР. М.: Наука, 1989.
5. Скрипкин А. С. Этнические проблемы сарматской культуры//Вопросы древней и средневековой истории Южного Урала. Уфа, 1987.
6. Скрипкин А. С. Азиатская Сарматия: проблемы истории и культуры//Проблемы сарматской археологии и истории: Тез. докл. конф. Азов, 1988.
7. Мошкова М. Г. Пути и особенности развития савромато-сарматской культурно-исторической общности//Науч. докл., представленный в качестве дис. ... д-ра ист. наук. М., 1989.
8. Симоненко А. В. О периодизации сарматской культуры//Скифия и Боспор. Археологические материалы к конференции памяти академика М. И. Ростовцева. Новочеркасск, 1989.
9. Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука, 1971.
10. Лукашов А. В. К вопросу о миграции прохоровских племен Южного Приуралья в Нижнее Поволжье//Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1986.
11. Смирнов К. Ф. Сарматы на Илеке. М.: Наука, 1975.
12. Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966.
13. Обельченко О. В. Шахривайронская пряжка//История и археология Средней Азии. Ашхабад, 1978.
14. Берс Е. М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея. Свердловск, 1959.
15. Дворниченко В. В., Федоров-Давыдов Г. А. Отчет о раскопках курганов в зоне строительства 1-й очереди Калмыцко-Астраханской рисовой оросительной системы//Архив ИА АН СССР. Р-1, № 82545.
16. Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. 1978. Вып. Г. 1—12.
17. Амброз А. К. Фибулы Юга европейской части СССР//САИ. 1966. Вып. Д1—30.
18. Скрипкин А. С. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам сарматских погребений)//СА. 1977. № 2.
19. Михлин Б. Ю. Фибулы Беляусского могильника//СА. 1980. № 3.
20. Шилов В. П. Калиновский курганный могильник. Памятники Нижнего Поволжья//МИА. 1959. № 60.
21. Смирнов К. Ф. Быковские курганы//МИА. 1960. № 78.
22. Скрипкин А. С. К датировке некоторых типов сарматского оружия//СА. 1980. № 1.
23. Сергацков И. В. О времени заселения сарматами северной части волго-донского междуречья//СА. 1992. № 1.
24. Смирнов К. Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской обл.//МИА. 1959. № 60.

**THE NEW DATA ABOUT THE EARLY SARMATIAN CULTURE
TIME FRAME**

S u m m a r y

The question about the Early Sarmatian culture time frame has been discussed in the archaeological works more than ones recently. Nowadays Skripkin A. S., Simonenko A. V. and Polin S. V. specify the idea about the Sarmatian culture development worked out by Grakov B. N., Smirnov K. Ph. and Moshkova M. D. The time frame of the Early Sarmatian culture is in the centre of the discussion. The author publishes the artifacts from the Sarmatian burial ground Petrunino II (Kamyshin district, Volgograd region) which are of great importance in finding out the upper time limit of the Early Sarmatian culture. According to the fibulaes it can be dated to the beginning of the first centuries A. D. It was probably the final period of the Early Sarmatian culture in the Low Volga river basin.

БРОНЗОВЫЕ ФИГУРКИ МИНЕРВЫ ИЗ СОБРАНИЯ РОСТОВСКОГО МУЗЕЯ

В Ростовском областном музее краеведения хранятся две фигурки Минервы античного времени: статуэтка (инв. № 782) и бюст-гиря (инв. № 790), не привлекавшие до сих пор серьезного внимания исследователей, несмотря на упоминание в работах, посвященных римскому импорту на территории юга Восточной Европы и в каталогах выставок [1, с. 208; 2, с. 122, № 1177; 3, с. 132, № 166 (статуэтка Минервы); 3, с. 133, № 170 (бюст-гиря)]. Интересно, что это единственные изображения Минервы в бронзовой пластике первых веков нашей эры, происходящие с юга Восточной Европы¹.

Фигурка Минервы² (рис. 1) отлита по утраченной восковой модели. Высота статуэтки 23 см. Богиня изображена стоящей, с отставленной в сторону правой рукой, согнутой в локте и поднятой вверх (кисть руки утрачена; судя по ее положению, первоначально богиня держала в правой руке копье). Левая рука опущена вниз и отведена в сторону, через нее переброшен край накидки. Левая нога слегка выставлена вперед, правая — отставлена в сторону. Минерва смотрит прямо перед собой, черты небольшого округлого лица несколько смазаны. На голове богини шлем с рельефными завитками над ушами. Пеплос и наброшенная накидка моделированы многочисленными глубокими складками, в основном вертикальными, выполненными в архаистической манере. Поверх пеплоса и накидки одет панцырь, следы которого видны на груди и на спине богини. На груди Минервы — отверстия для крепления эгиды (круглое, правильной формы, — дм. 0,6 см, и подтреугольное с рваными краями), в центре которой видна голова Медузы Горгоны с волосами в виде змей. Волосы собраны в хвост, выходящий из под шлема и уложенный на спине, длиной 4,5 см. На левом плече на крае панцыря видны гравированные насечки. Статуэтка была найдена при земляных работах в г. Зернограде Ростовской обл. в 1954 г.

Подобные по иконографии изображения Минервы С. Буше относит к редкому типу «*Minerva à Chlamyde en pointe*» [6, с. 138 сл.]. Статуэтки этой группы отличает характерная драпировка — накидка, наброшенная поверх пеплоса, образует длинный конец, доходящий почти до ног богини. Эта схема, как отмечает исследовательница, характерна также для изображений Фортуны и Изиды. Помимо нескольких находок фигурок Минервы рассматриваемого типа в Галлии, Центральной Европе (Босния, Паннония, Загреб), известна еще одна находка в Италии и одна в Марокко. Всего С. Буше картографировала 9 подобных фигурок [6, с. 380 сл., карта XVIII]. Дополним этот список статуэтками из Вальденбурга [7, № 60, табл. 59—60], Кельна [8, с. 36 сл., № 77, табл. 42—43], из Испании [9, № 152]. К. Нойгебауэр, рассматривая одну подобную статуэтку, проданную на берлинском художественном рынке, отмечал, что она не имеет прототипов в скульптуре предшествующего времени, а является классицизирующим созданием римской эпохи [10].

¹ Об изображениях Минервы в римском искусстве см. [4; 5, с. 168—181].

² Описания публикуемых памятников выполнены В. М. Косяненко, атрибуции — М. Ю. Трейстером.



Рис. 1. Бронзовая статуэтка Минервы из собрания Ростовского областного музея краеведения

Вместе с тем публикуемую нами статуэтку с фигурками выделенной С. Буше группы сближает не столько оформление драпировок, сколько характерная поза, прежде всего положение рук. Что касается специфики деталей, то они различны. Рассмотрим их.

Шлем. Шлем на фигурке из Ростовского музея имеет полусферическую тулью и довольно широкие отогнутые поля с завитками по бокам. Нет сомнений, что на голове богини не обычный для ее изображений коринфский шлем. Данный шлем относится к довольно редкой разновидности эллинистических шлемов аттического типа без гребня. В качестве аналогии можно привести шлем из Пергама первой половины II в. до н. э. [11, с. 174, 446, № 53]. Подобные шлемы встречаются на ряде бронзовых фигурок Минервы, в частности на статуэтке из Дальхайма (Люксембург) [12, № 11; 13, с. 161—162, № 100], на фигурке, проданной в 1967 г. на Базельском аукционе [14, № 40], на статуэтке из Западной Швейцарии [15, № 45, табл. 64—65]; фигурках из Будапештского [4, № 198] и Британского музеев [16, № 1037, 1040]. Аналогичный шлем, но с плюмажем украшает фигурку из Аванша (Швейцария), которую сближает с ростовской и аналогичная поза [4, № 195; 17, № 22, табл. 24—26].

Прическа. Оформление волос в виде туго заплетенной косы, спадающей на спину из-под шлема, также находит аналогии на упомянутых выше фигурках из Далхайма, Кельна, Аванша, статуэтке, проданной на Базельском аукционе, фигурках из Британского музея [16, № 1040, 1044].

Драпировка. Наиболее близкая параллель — фигурка из Дальхайма. В оформлении складок с боков фигурки из Ростовского музея чувствуются традиции архаического стиля. Подобные складки украшают и фигурку из Будапештского музея. Аналогичным образом, в виде «ласточкина хвоста», трактованы складки одежды статуэтки Изиды из Херсонеса [18, с. 208, рис. 2]. Что касается конца драпировки, переброшенного через левую руку, то известно множество подобных деталей, характерных не только для изображений Минервы (назовем статуэтку из Музея Лейдена конца I в. н. э. [19, с. 31—32]). В качестве примера можно назвать фигурку Фортуны из Аосты эпохи Ранней Империи [20, с. 148, 154, табл. 22, № 98].

Таким образом, в отличие от большинства бронзовых статуэток из Северного Причерноморья фигурка Минервы из Ростовского музея представляет собой довольно редкую разновидность, не имеющую точных аналогий.

Центр изготовления. Рассматривая фигурку из Аванша, А. Нойгебауэр, основываясь на местах находок известных ему реплик, предполагал восточно-галльскую мастерскую [10]. А. Ляйбундгут поставила это предположение под сомнение, учитывая находку в Волубилисе [17, с. 40]. Если учесть также довольно широкое распространение рассматриваемых фигурок и их сравнительную редкость, на сегодняшний день скорее верна точка зрения о полицентризме их изготовления, в том числе в Галлии и Подунавье.

Датировка рассматриваемых фигурок довольно неопределенна. За редкими исключениями авторы публикаций избегали точных определений. Так, автор базельского каталога датировал фигурку II в. н. э. Этим же временем датируется статуэтка из Будапештского собрания [4, № 198; 14, № 40]. А. Ляйбундгут относит статуэтку из Аванша к сравнительно узкому хронологическому промежутку — позднему периоду правления Клавдия — времени Нерона [17, с. 40 сл.]. Традиция изготовления бронзовых статуэток рассматриваемого типа существовала и в позднеантичную эпоху — фигурка из собрания Детройтского института искусств относится к концу III — началу IV в. до н. э. [20, № 280].

Определению даты создания статуэтки из Ростовского музея может способствовать анализ мраморных фигурок Минервы первых веков н. э., воспроизводящих различные статуарные типы Афины-Минервы, восходящие к образцам греческой пластики V—IV вв. до н. э., а также изображений Минервы на римских рельефах и фресках [4, 21, 22]. Надежность датировки некоторых образцов первых веков н. э. подтверждается анализом сопровождающих надписей. Так,

например, аналогичные шлемы и прически имеют мраморные фигурки Минервы, восходящие к типу Афины Парфенос и Медичи, найденные на территории Греции. Данные фигурки датируются в пределах второй-третьей четверти II в. н. э. [22, табл. 38—39, 44, 2—4; № В16, В18, В114]. Подобный шлем имеет Минерва на мраморном саркофаге антониновской эпохи из Палаццо Консерватори в Риме [4; № 419а]. Похоже трактованы складки хитона слева на мраморной фигурке из Афин, найденной в районе храма Диониса и датирующейся ~180 г. [22, табл. 40, 1; № В17], и на бронзовой фигурке Минервы II в. н. э. из частного собрания в Швейцарии [5, с. 174, рис. 223]. Аналогичные зигзагообразные складки украшают статую Церес из Виллы Альбани, относящуюся к антониновской эпохе [23, с. 116—124, № 187, табл. 72], изображение Минервы на мраморных антефиксах из Музеев Ватикана, которые датируются эпохой поздних Флавиев или антониновским временем [5, с. 179, рис. 232]. Таким образом, указанные признаки характерны в основном для произведений антониновской эпохи, хотя встречались и ранее. В частности, подобные рассматриваемым шлем и прическа украшают мраморную фигурку, происходящую с Афинского Акрополя или из его окрестностей, датирующуюся по стилистическим признакам августовской эпохой [22, табл. 51, 2; № ВV1]. Аналогичный шлем представлен и на помпейской фреске из атриума Каса дель Эпиграммы эпохи Флавиев [4, № 2]. Переданный в виде зигзагов край одежды — довольно характерный прием в римском классицизирующем искусстве — был распространен еще в I в. до н. э. [24, табл. 14, 2; 15, 2; 30, 1], в раннеимператорское время. В качестве примера можно привести кариатид из Виллы Альбани, которые, вероятно, следует датировать 40-ми годами I в. н. э. [23, с. 256—257, № 180, табл. 55]. Приведенные выше наблюдения дают возможность с наибольшей вероятностью относить статуэтку Минервы из Ростовского музея к произведениям «классицизирующего стиля», который получил особенное развитие в искусстве Римской империи при Адриане и его наследниках [22, с. 396—398; 25]. По мнению А. Кауфман-Хайниман, статуэтка датируется не позднее II в. н. э., скорее всего началом II в. н. э., хотя не исключено, что I в. н. э.³

Бюст-гиря (рис. 2) найдена при земляных работах в хуторе Холодном, Романовского района, Ростовской обл. в 1954 г. Высота 19,5 см, размер основания — 9,5 × 7,3 см. Гиря отлита по восковой модели, внутри полая, толщина стенок 2—4 мм. Бюст Минервы помещен на массивную подставку трапециевидной формы с прямоугольным профилированным основанием. Богиня изображена в шлеме с высоким забралом, оканчивающимся сверху массивным кольцом для подвешивания; на гребне шлема имеются гравированные насечки. Из-под шлема выступают узкие волнистые пряди волос, окаймляющие лоб. Большие глаза выпуклы и широко открыты, губы и подбородок — полные, шея короткая. Минерва одета в тунику, собранную на шее симметрично лежащими складками и скрепленную на плечах круглыми фибулами; на спине одежда моделирована слабо. Поверх туники одет схематически переданный панцирь с эгидой в виде сильно стилизованной головы Медузы-Горгоны. Постамент украшен пуансонным орнаментом в виде «бегущей волны» (?), лучше сохранившейся на передней и задней частях. На спине гравированными линиями изображены чешуйки панциря с точками в центральной части. В настоящее время гиря весит 1 кг 100 г.

Подобные бюсты-гири принадлежали изобретенным римлянами весам с одной чашечкой или крючком и одним бюстом-гирей. Большинство таких безменов могло подвешиваться двумя способами; соответственно на перекладине имелись две шкалы для более легких и тяжелых грузов. Время и место изобретения таких весов точно неизвестно. Большое количество подобных находок происходит из Помпей и Геркуланума; об их использовании упоминает Витрувий (10.3.4). Таким образом, их употребление в I в. н. э. в Италии не подлежит сомнению [26, с. 137 сл., прим. 1]. Бюсты-гири оформлялись в виде голов негров, детей,

³ Авторы чрезвычайно признательны за консультацию А. Кауфман-Хайниман (Базель).



Рис. 2. Бронзовая гиря в форме бюста Минервы из собрания Ростовского областного музея краеведения

персонификации Африки, пленных варваров, танцующих пигмеев, атлетов и др. Среди сравнительно немногочисленных бюстов божеств преобладают изображения Меркурия, Минервы, Изиды, Юпитера и Марса. В позднеантичную эпоху типы бюстов-гирь не столь разнообразны, в основном получили распространение изображения императоров или императриц [27], а также Минервы. Широкое распространение последних в позднеантичную эпоху до сих пор не получило адекватного объяснения [26, с. 138 сл., прим. 27].

Бюсты-гири, оформленные в виде Минервы, были достаточно характерны в римское императорское и ранневизантийское время [8, с. 100—101, № 236; 28, табл. 115, № 3284]. Критерии их датировки — стилистические. Так, бюст, подобный публикуемому, проходивший в 1988 г. на аукционе Сотбис в Лондоне, датирован примерно I—II вв. н. э. [29, № 277]. Гиря, подобная ростовской, но более схематизированная, из Испании относится к IV в. н. э. [9, № 344], весы с подобной гирей из собрания Л. Маевского, представленные на выставке «Master Bronzes», датируются V в. [20, № 315].

Оба публикуемых памятника — случайные находки. Интересно, что в местах, где они найдены, поселения античного времени неизвестны. Трудно допустить, что публикуемые памятники происходят из распаханных сарматских курганов. Таким образом, реконструировать путь, по которому изображения Минервы оказались на далекой периферии античного мира, не представляется возможным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Капошина С. И. Итальянский импорт на Нижнем Дону//ЗООА. 1967. Т. 11 (35).
2. Кропоткин В. В. Римские импортные изделия в Восточной Европе//САИ. 1970. Вып. Д1—27.
3. The Treasures of Nomadic Tribes in South Russia. Tokyo, 1991.
4. Canciani F. Athena-Minerva//LIMC. V. II. Zürich; München, 1984.
5. Simon E. Die Götter der Römer. München: Hirmer, 1990.
6. Boucher S. Recherches sur les bronzes figures de Gaul Pre-Romaine et Romaine. P.: Boccard, 1976.

7. Kaufmann-Heinimann A. Die römischen Bronzen der Schweiz. Bd I. Mainz: Zabern, 1977.
8. Menzel H. Die römischen Bronzen aus Deutschland. Bd III. Bonn. Mainz: Zabern, 1986.
9. Los bronzes romanos en Espagne. Madrid, 1990.
10. Neugebauer A. Bronzestatue der Minerva//AA. 1948—1949. Sp. 64—70.
11. Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin. Mainz, 1988 (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Monographien; 14).
12. Thill G. Bronzes figures de l'époque romaine. Musée d'histoire et d'art Luxembourg. Luxembourg, 1971.
13. Die Römer an Mosel und Saar. Mainz: Zabern, 1983.
14. Münzen und Medaillen A. G. Basel. Kunstwerke der Antike. Auktion 34 6. Mai 1967.
15. Leibundgut A. Die römischen Bronzen der Schweiz. Bd III. Mainz: Zabern, 1980.
16. Walters H. B. Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman and Etruscan in the British Museum. L., 1899.
17. Leibundgut A. Die römischen Bronzen der Schweiz. Bd II. Avenches. Mainz: Zabern, 1976.
18. Рыжов С. Г. Бронзовая статуэтка Иисиды из Херсонеса//СА. 1992. № 3. С. 206—213.
19. Kleitert M. Minerva op oorlogspad//Goden en hun beestenspul (Bull. of the Friends of the Allard Pierson Museum. № 49). Amsterdam, 1991.
20. Mitten D. G., Doeringer S. F. Master Bronzes from the Classical World. Cambridge, 1967.
21. Roccas L. J. Athena from a House on the Areopagus//Hesperia. 1991. V. 60.
22. Karanastassis P. Untersuchungen zur kaiserzeitlichen Plastik in Griechenland. II: Kopien, Varianten und Umbildungen nach Athena-Typen des 5. Jhs. v. Chr.//AM. 1987. Bd 102.
23. Forschungen zur Villa Albani. Katalog der Bildwerke/Hrsg. von P. C. Bol. Bd II. Berlin: Gebr. Mann, 1990.
24. Froning H. Marmor-Schmuckreliefs mit Griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. Untersuchungen zur Chronologie und Funktion. Mainz: Zabern, 1981.
25. Ridgway B. S. Roman Copies of Greek Sculpture. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1984.
26. Philipp H. Zu einer Gewichtsbüste aus dem Kerameikos//AM. 1979. Bd 94.
27. Garbsch J. Wagen oder Waagen?//BayVBl. 1988. Jg. 53.
28. De Ridder A. Les bronzes antiques du Louvre. T. II. P.: Ernest Leroux, 1915.
29. Sotheby's. Ancient Glass, Ancient Jewellery, Middle Eastern, Egyptian, South Italian, Greek, Etruscan and Roman Antiquities also Art Reference Books. London, 23rd May 1988.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Ростовский областной музей краеведения, Ростов-на-Дону

M. Y. TREISTER, V. M. KOSYANENKO

THE BRONZE FIGURES OF MINERVA IN THE COLLECTION OF ROSTOV-ON-DON MUSEUM

Summary

In the collection of Rostov-on-Don Museum there are two bronze figures of Minerva found in 1954 in the Rostov region. The statuette belongs to a rather rare type, being a piece of the Classicizing style, which was especially wide spread in the art of the Roman Empire under Adrian and his successors, although the figure may be dated as early as the beginning of the 1st century A. D. The weight in form of Minerva bust belongs to a type well known in the Late Antiquity and Byzantine epochs. From the stylistic point of view it should be most probably dated to the IInd-IIIrd centuries B. C. Both pieces are the chance finds; no settlements of the first centuries A. D. are known near the places where they had been found. It is also difficult to assume, that they originate from the ploughed tumuli. Thus, it seems impossible to reconstruct the way of their penetration in the periphery of the Roman world.

М. Н. ФЕДОРОВ, А. М. МОКЕЕВ

СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША XI в. ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

В мае 1991 г. на кафедре древней и средневековой истории Киргизского государственного университета студент Б. К. Мамырбаев доставил на предмет определения серебряную чашу, хранившуюся у М. Д. Курманбекова, директора средней школы с. Джонбулак Джетыгогузского района Иссык-Кульской области Республики Кыргызстан.

Точное время и обстоятельства находки неизвестны. Известно лишь, что она была найдена чабаном на летнем пастбище на сырте (высокогорном плато) в бассейне речки Ак-Шыйрак, к югу от оз. Иссык-Куль. Севернее этой местности, на южном берегу Иссык-Куля, находится городище Барскаун (остатки средневекового г. Барсхан, столицы одного из уделов на территории Восточного Караханидского каганата). Видимо, на богатых травами сыртах Ах-Шыйрака, примерно в 100 км к юго-востоку от их столицы, находилась летовка Караханидских владетелей Барсхана.

Находка оказалась уникальной. Расшифровка надписи показала, что чаша несет на себе почетную титулатуру караханидского правителя третьей четверти XI в. 'Имад ад-Даулы Тогрул-карахан, коему она принадлежала или, по крайней мере, была изготовлена. Для Кыргызстана эта находка имеет такое же значение, как если бы на территории бывшей Киевской Руси была найдена серебряная чаша с именем Владимира Мономаха или какого-либо другого князя, современника этого Тогрул-карахан.

Перейдем к описанию чаши (рис. 1—3). По форме она представляет в верхней части цилиндр, который, плавно сужаясь, переходит в сферическое дно. Первоначально чаша имела поддон в виде широкого, сужающегося кверху усеченного конуса («блюдец» — по сообщению информатора) высотой около 3 см. Поддон был отломан находчиком для изготовления украшения для лошади.

Форма чаши изящна, она хорошо ложится в ладони, и так из нее пить гораздо удобнее, чем держа за ручку. Ручка, судя по всему, была приделана позднее. Выполнена она довольно грубо и примитивно и явно к чаше не подходит. Она приклепана к чаше двумя железными штифтами, проходящими через отверстия в стенке чаши. Жидкость, налитая в чашу, через эти отверстия просачивается.

Анализ показал, что тулово чаши сделано из серебра 903,4 пробы, а ручка — 917,8 пробы. То обстоятельство, что тулово чаши и ручка сделаны из металла разной пробы, говорит в пользу того, что чаша и ручка изготовлены в разное время.

Вес чаши 590 г. Емкость 1,8 л. Диаметр по венчику 15,6 см, высота 13,7 см. Снаружи на донце чаши следы припоя (видимо, на оловянной основе). Судя по этим следам, диаметр верхней части донца в месте его соединения с туловом чаши составлял 4,4—4,5 см. Толщина стенок донца, судя по этим следам, могла быть до 0,4 см. Если информация о высоте поддона (около 3 см) правильна, то чаша должна была напоминать по форме бронзовые на коническом поддоне сакские котлы.

Венчик выполнен в виде ободка, идущего снаружи по стенкам чаши. Его высота 0,55 см. Посередине ободка — горизонтальная ложбинка шириной 0,4 см,

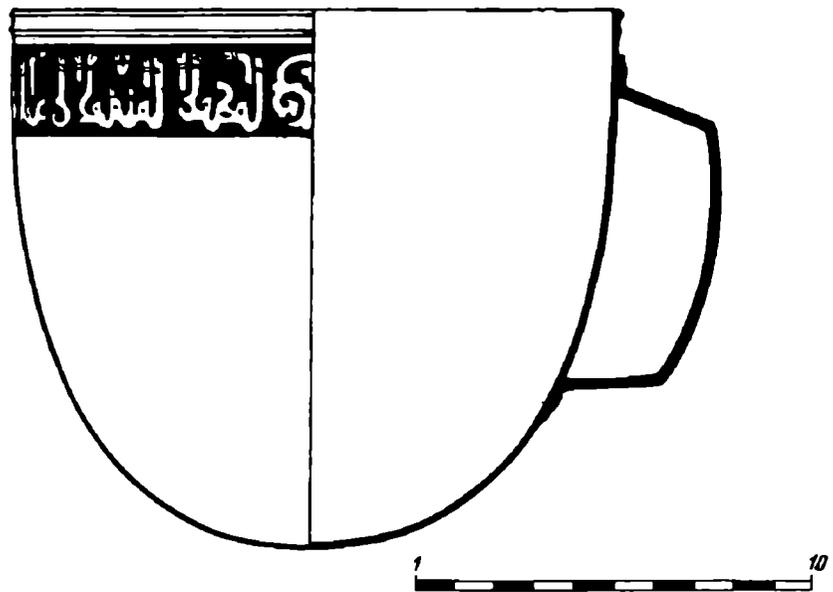


Рис. 1. Караханидская чаша. Разрез. Развертка надписи

углубляющаяся к центру до 0,1 см. Толщина венчика 0,27 см. Под ним, отступя на 0,12 см, идет стенка чаши. Ее толщина 0,15 см. На расстоянии 1,1 см вниз от венчика начинается скоба приклепанной ручки. Это грубо выполненная серебряная пластина шириной 1,6 см. По ее краям на наружной стороне скобы два продольных бортика высотой и шириной до 0,1 см. Толщина ручки с бортиками по краям 0,25 см. Без них — 0,15 см. Длина приклепанных к чаше концов ручки до 1 см. Расстояние между ними 7,5 см. Боковые части скобы отходят от тулова чаши под углом, так что скоба сужается к верхней части. Длина боковых частей скобы 2,6 см. Ее тыльная часть имеет вид дуги (с основанием 6,3 см и наибольшим прогибом от основания в 0,6 см).

Отступя на 0,2 см ниже венчика, по стенкам чаши идет горизонтальная полоса эпиграфического орнамента шириной 2,4 см (гравировка, чернь). Серебряные буквы красиво выделяются на черном фоне с тонкими серебряными растительными побегами. Фон выполнен в технике ниелло, или черни. Это украшение металлического сосуда узорами из сплава серебра, меди, серы и буры. Толченый сплав в виде порошка или кашицы наносился на поверхность или в специальные углубления и подвергался плавлению. Получалось красивое глянцеви́тое покрытие черного или темно-серого цвета, напоминающее эмаль. В зависимости от замысла мастера, получались светлые узоры на черном или черные на светлом фоне.

Местами орнамент поврежден и растительные побеги разглядеть невозможно. На этих участках фон сплошной черный или коричневатый.

Надпись разделена на 4 части. В трех случаях эпиграфический орнамент прерывается изящными арабесками в виде стилизованного растительного побега, заключенного в круг. В двух случаях круг прослеживается, в третьем — из-за



Рис. 2. Чаша. Общий вид с началом надписи

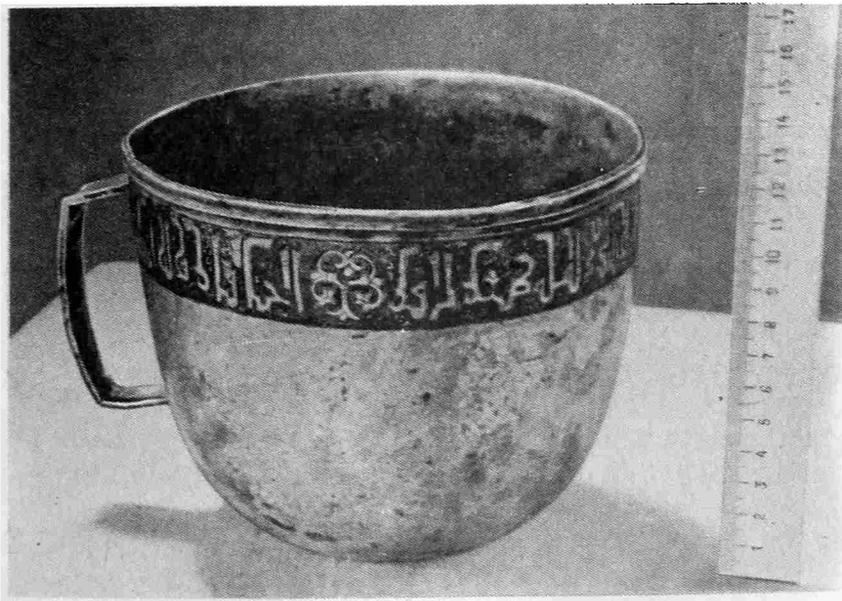


Рис. 3. Чаша. Общий вид с окончанием надписи

поврежденности орнамента не прослеживается. В четвертом случае надпись прерывается полосой гладкого серебра без какого-либо орнамента. Видимо, это место было приготовлено для ручки, которая, как мы предполагаем, должна была по первоначальному замыслу быть припаяна (и иметь более изящный вид). Не исключено, что чаша была не закончена мастером, ее изготовлявшим, по причинам, от него не зависящим, и позднее появилась грубая ручка в виде скобы, изуродовавшая сосуд.

Судя по тому, что местами на поверхности чаши прослеживаются раковины и пузырьки (рис. 3), она могла быть изготовлена в технике литья (но тогда, наверно, она отливалась бы вместе с поддоном).

Орнаментальный фриз является самой важной частью чаши. Он не только



Рис. 4. Начало надписи



Рис. 5. Продолжение надписи

позволяет ее датировать, но и содержит интересную историческую информацию (рис. 4—7).

Датировки, полученные в результате анализа палеографии и содержания надписи, удачно взаимоподтверждают и уточняют одна другую.

Палеографический анализ. Надпись выполнена почерком «цветущая куфа». Помимо начертания букв важным датирующим признаком является введение U-образных украшений и дополнительных стволов над низкими буквами для



Рис. 6. Продолжение надписи



Рис. 7. Окончание надписи

достижения равновесия верхней орнаментальной зоны с густо заполненной письмом нижней частью ленты эпиграфического орнамента. Дополнительные стволы и U-образные украшения симметрично заполняют пробелы между высокими частями букв в верхней зоне орнаментального пояса.

Такие дополнительные стволы и U-образные украшения имеются в надписи на портале караван-сарая Рабат-и Малик на торговом пути из Бухары в Самарканд. Рабат-и Малик был построен караханидским правителем Шамс ал-Мулком между 460—472 гг. хиджры, т. е. между 1068 и 1080 гг. [1, с. 18—19, рис. № 22]. U-образные украшения имеются в надписях мавзолея Шах-Фазил в Ферганской долине (Ошская область Республики Кыргызстан). Согласно новейшим данным

мавзолей Шах-Фазил датируется временем между 447—451 гг. хиджры, т. е. 1055—1060 гг. [2, с. 76, рис. 1, 2]. Симметричные U-образные украшения имеют в верхней зоне надписи мавзолея Мухаммад Ханапья в Мерве, относящиеся к 1112—1113 гг. [1, с. 19, рис. 23].

Датирующим признаком является отсутствие диакритики. По наблюдениям В. Н. Настича диакритические точки в эпиграфических памятниках Узгена появляются, например, не раньше первой половины XII в. [3, с. 154].

По наблюдениям В. П. Даркевича чернь на серебряных сосудах Средней Азии появляется в середине XI в., а фон в промежутках между буквами (оставленные в серебре завитки на черном фоне) характерен для середины XI — начала XII в. [4, с. 115].

Вертикальные концы букв в надписи на чаше слегка расширяются и отсечены от ствола двумя поперечными насечками. Отсеченные концы имеют еще одну продольную насечку посередине расширения. В целом этим создается впечатление головы какого-то сказочного существа на длинной гибкой шее и со слегка приоткрытой пастью. Иногда конец вертикального ствола повернут вправо или влево под углом, близким к 90°. В таком случае эффект головы сказочного существа усиливается.

Таким же образом оформлены окончания вертикальных букв в надписи на серебряном кувшине среднеазиатского или иранского происхождения (XI — начало XII в.), найденного в 1959 г. в Пермской области [4, с. 30, 121, рис. 15, 3 и табл. 32, рис. 1, 3—5]. Здесь также расширяющиеся концы букв отсечены поперечными насечками, только продольных насечек не одна, а две — четыре. Фон также сделан с применением черни (серебряные побеги на черном фоне). Обращает на себя внимание сходство в написании буквы «вāv».

Примерно так же начертана эта буква в надписях мавзолея Шах-Фазил. Хвост буквы там короткий и расположен горизонтально, но из промежутка между ним и петлей поднимается вверх плавно изогнутый как бы второй хвост. На рассматриваемой нами чаше и на кувшине из Пермской области он уже вплотную соединен с петлей, но еще прослеживается и горизонтальное окончание буквы в слове «валӣ».

Имеется сходство в форме буквы «йā» на чаше и в мавзолее Шах-Фазил. Только в надписи из Шах-Фазила поднимающееся вверх окончание буквы имеет посередине узорное переплетение [2, с. 69, рис. 1].

На чаше среднеазиатского или иранского происхождения (XI в.) из Аниковского клада [4, с. 30, табл. 33, рис. 5] конечная буква «ра» в слове «сурӯр» изображена в виде запятой с отходящим от ее вершины вертикальным декоративным стволом. Так же и на рассматриваемой нами чаше. Совпадает начертание буквы «гайн» на аниковской и на рассматриваемой нами чаше.

Таким образом, общий стиль почерка, сходство в написании отдельных букв, наличие орнаментальных элементов в виде U-образных украшений и дополнительных вертикальных стволов, оформление вертикальных окончаний букв, наличие черни и характер фона — все это позволяет датировать чашу второй половиной XI в.

Анализ содержания надписи. Надпись содержит титулатуру караханидского правителя, для которого она была изготовлена: «Ал-хакан ал-Аджалл ас — Саййид ал-Малик а//л-Музаффар ал-Мансур'Имад-ад-Дау//ла ва Садад (а)л-Милла Тогрул-кар//ахакан Вали Амир ал-Муминин», что означает: «Хакан славнейший, господин, царь победоносный, побеждающий, Опора государства и Правый путь религиозной общины Тогрул-карахахан, приближенный Повелителя правоверных» (т. е. халифа).

Здесь датирующим признаком является ханский титул «Тогрул-карахахан». По нумизматическим и письменным источникам нам известно несколько караханидов, носителей титула «Тогрул-карахахан» (или «карахан», или «хакан», или «хан»). Два из них для XI в. «Тогрулы» XII в. отпадают, так как ни один из них не имел, насколько нам известно, лакаба (почетного прозвища) «'Имад

ад-Даула» [5, с. 119—122]. К тому же данные палеографического анализа не позволяют относить надпись на чаше ко времени более позднему, чем вторая половина XI — начало XII в. Что касается «Тогрулов» XI в., то один из них определенно имел лакаб «'Имад ад-Даула», помещая его на своих монетах [6, с. 60—61]. Так, на дирхеме Тараза 46... г. х. (между декабрем 1067 и июнем 1077 г.) в третьей строке легенды поля реверса помещен титул «Тогрул-карахакан», а лакаб расположен двумя частями: «'Имад» над и «ад-Даула» — под легендой поля. На дирхеме Маргинана 461/1068—69 гг. титул «Тогрул-карахакан» помещен в легенде поля реверса, а лакаб «'Имад ад-Даула» — над и под легендой поля аверса.

Такое расположение титула и лакаба оставляет место для сомнения: лакаб мог принадлежать вассалу Тогрул-карахакана. Однако все сомнения снимает дирхем Шаша 462/1069—700 гг. На нем лакаб «'Имад ад-Даула» помещен в легенде поля реверса сразу после почетного упоминания халифа (т. е. там, где помещают лакаб, титул или имя сюзерена) и перед титулом «Тогрул-карахакан». И наконец, еще одним подтверждением является сама чаша.

Итак, мы установили, что лицом, для которого была изготовлена чаша, является один из правителей Восточного Караханидского каганата 'Имад ад-Даула Тогрул-карахакан, чеканивший монеты в 60-х и 70-х годах XI в.

Кем же был и когда правил караханидский правитель, для которого была изготовлена серебряная чаша, найденная на летних пастбищах Ак-Шыйрака к югу от средневекового г. Барсхан на берегу Иссык-Куля? К сожалению, нам неизвестны бесспорные даты начала и конца его правления, а также его имя. Одним из важных источников по интересующему нас вопросу является сообщение арабского историка XIII в. Ибн ал-Асира: «... и правил после него (Богра-хана сына Йусуфа Кадир-Хана.— М. Ф., А. М.) Тогрул-хан, сын Йусуфа Кадир-хана. Он владел царской властью и царствовал в Баласагуне. Его царствование длилось 16 лет. Затем он умер, и воцарился его сын — Тогрул-тегин, и пребывал 2 месяца. Потом пришел Харун Богра-хан, брат Йусуфа Тогрул-хана, сына Тафгаджа Богра-хана. Перешел в Кашгар и схватил Харуна. Войско его повиновалось ему, и он завладел Кашгаром, Хотаном и тем, что примыкает к нему до Баласагуна, и он оставался царем 29 лет. Он умер в 496 (1102—1103) г.» [7, с. 60].

В. В. Бартольд несколько иначе перевел конец этого отрывка: «...Харун Богран-хан зашел за (абара) Кашгар, взял в плен Харуна (ошибка, вместо Тогрул-тегина); войско этого последнего подчинилось ему, и он захватил Кашкар, Хотан и соседние области до Баласагуна» [8, с. 419]. В. В. Бартольд отметил ряд неточностей, имеющих место в этом сообщении Ибн ал-Асира. По Ибн ал-Асиру, Богра-хан (т. е. Мухаммад б. Йусуф — М. Ф., А. М.) погиб в 439 г. х., тогда как историк Байхаки, современник Богра-хана, дает дату 449 г. х. Ибн ал-Асир называет Богра-хана, взявшего в плен Тогрул-тегина, Харуном и братом Тогрул-хана, т. е. (учитывая сообщение Ибн ал-Асира, что Тогрул-хан сын Кадир-хана Йусуфа) сыном Кадир-хана. В действительности этого Богра-хана звали Хасаном и он был сыном Сулаймана Арслан-хана, т. е. внуком Кадир-хана. Так этот Богра-хан назван в одном из вариантов «Кутадгу билик», посвященной ему в 462 г. хиджры Юсуфом Баласагунским, и в юридическом документе конца XI в. из Яркенда [8, с. 420—421].

Если Ибн ал-Асир допустил неточности в весьма сложном и запутанном вопросе титулатуры и генеалогии Караханидов, то приведенные им сроки правления 16 и 29 лет должны заслуживать внимания. Итак, Табгач Богра-хан Хасан, сын Арслан-хана Сулаймана и внук Кадир-хана Йусуфа, умер в 496/1102—1103 г. Если мы вычтем из 496 г. х. 29 лет, получим 467 г. х. Если понимать слова Ибн ал-Асира «оставался царем 29 лет» как общий срок правления Хасана, получится, что он начал править в 467 г. х. Но уже в 462/1069—1070 г. этот Хасан с ханским титулом «Табгач Богра-хан» был владельцем «Ордукента» (т. е. «Стольного города», по мнению В. В. Бартольда — Кашгара), где ему была преподнесена поэма Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билик». Следовательно,

сообщение «и оставался царем 29 лет» надо понимать как срок правления Хасана после его похода против Омара Тогрул-тегина, сына Тогрула-хана. В таком случае дата похода минус 2 мес. правления Омара дает дату смерти Тогрул-карахакана: 467 г. х.

По Ибн ал-Асиру Тогрул-хан (карахахан и т. д.: часто один и тот же правитель на разных монетах имел титулатуру с вариантами «хан», «карахахан», «карахан») правил 16 лет. 467 г. х. минус 16 дает 451 г. х., т. е. дату начала правления Тогрул-карахакана. Промежуток между 449 г. х. (год смерти Богра-хана Мухаммада) и 451 г. х. В. В. Бартольд, а вслед за ним О. Прицак и М. Н. Федоров [8, с. 420; 9, с. 44; 10, с. 41; 11, с. 118, 125], считавшие Тогрул-хана сыном Кадир-хана Йусуфа, заполнили правлением Ибрахима, младшего сына Богра-хана Мухаммада. Ибрахим был приведен к власти своей матерью, совершившей дворцовый переворот и отравившей Богра-хана Мухаммада. Этот Ибрахим вскоре погиб на войне с другим караханидом, правителем Барсхана Йинал-тегином [9, с. 44].

Однако в 1988 г. Б. Д. Кочнев [6, с. 64, 65] заново перекроил всю историю Восточных Караханидов этого времени. По Б. Д. Кочневу, Тогрул-хан (карахахан) был не сыном, а внуком Кадир-хана и братом Хасана, сына Арслан-хана Сулаймана. Он начал править не в 451, а «не ранее 545 г. х.». Умер «не ранее 473, но не позднее 481 г. х.» (а как же быть с сообщением Ибн ал-Асира, что Тогрул-хан правил 16 лет?). Сын Тогрул-хана Омар Тогрул-тегин, после смерти отца принявший титул карахахан, правил «2 месяца между 473 и 481 г. х.» (!). Богра-хан Хасан, оказывается, правил «после 473 г. х.» (а как же 29 лет, упомянутые Ибн ал-Асиром, и приведенная им дата смерти этого Богра-хана — 496 г. х.?).

Все эти удивительные сведения приведены в генеалогической таблице [6, с. 65] цитируемого сочинения Б. Д. Кочнева. Посмотрим, как он обосновывает свои выводы. Б. Д. Кочнев публикует [6, с. 61] дирхем «Тараза(?)» 454/1062 г., на котором читает титул и имя правителя как «Арслан(?) — хан Ибрахим», и относит его к чекану Ибрахима, сына Богра-хана Мухаммада. Следовательно, считает он, Ибрахим погиб не в 451, а после 454 г. х. Но что это меняет? Караханидский каганат всегда был конгломератом удельных владений во главе с различными представителями Караханидской династии в зависимости (временами реальной, временами номинальной) от верховного правителя каганата. То обстоятельство, что в 454 г. х. Ибрахим владел «Таразом (?)», отнюдь не исключает того, что Тогрул-хан начиная с 451 г. х. был правителем какого-то другого владения. Причем оба могли претендовать на пост верховного правителя Каганата и оспаривать его один у другого. Кстати гибель Ибрахима на войне с каким-то караханидом может говорить в пользу этого.

Вообще аргументы Б. Д. Кочнева рассчитаны главным образом на неспециалиста или того, кто не пожелает сам досконально во всем разобраться. Посмотрим, например, как обосновывает Б. Д. Кочнев предложенную им датировку конца правления Тогрул-хана «не ранее 473 и не позже 481 г. х.». «Вычисленный В. В. Бартольдом на основании Ибн-ал-Асира конец его (т. е. Тогрул-хана — М. Ф.) правления (467/1074—1075 г.) тоже оказывается неверным, поскольку, как показывает дирхем Тараза типа 13, Тогрул-хан был жив еще в 472/1079—1080 г.» [6, с. 64]. Вопреки утверждению Б. Д. Кочнева, дирхем Тараза 472 г. х. отнюдь не «показывает», что он выбит Тогрул-ханом отцом. Как это знает и сам Б. Д. Кочнев, Тогрул-тегин после смерти отца сменил княжеский титул «тегин» на ханский «карахахан», т. е. стал Тогрул-карахаханом. Так что дирхем Тараза 472 г. х. вполне мог быть выбит Тогрул-карахаханом Омаром. Не исключено, что, будучи захвачен в 467 г. х. в плен Табгач Богра-ханом Хасаном, Омар был затем отпущен на волю и сохранил свой удел при условии признания Табгач Богра-хана Хасана верховным правителем (отсюда, видимо, идет отсчет 29 лет, упомянутых Ибн ал-Асиром). Причем, как верховный правитель, так и правители наиболее крупных уделов могли иметь ханский титул. Например, в 424—448 гг. х. верховным правителем был Арслан-хан Сулайман, но его брат и дядя имели ханские титулы:

Богра-хан и Тонга (Тура)-хан [11, с. 115—117]. То обстоятельство, что сын и наследник Омара Джебраил упоминается в письменных источниках как владетель Таласа, т. е. Тараза [9, с. 45], говорит, на наш взгляд, о том, что Омар владел после 467 г. х. Таразом и передал его Джебраилу. Если бы на монете Тараза 472 г. х. титул «Тогрул-карахахан» был неоспоримо связан с лакабом «'Имад ад-Даула», принадлежавшим Тогрул-карахахану отцу, только тогда упомянутая Б. Д. Кочневым монета «показывала» бы, что она именно им чеканена. Наличие же на монете лакаба «Зайн ад-Дин», который Б. Д. Кочнев относит к Омару [6, с. 63], как и имени последнего может говорить о том, что она им чеканена после смерти отца и принятия им ханского титула.

Еще один аргумент Б. Д. Кочнева — в одном письменном источнике «под 473 г. х... Умар назван Тогрыл-Тегин». Но этот аргумент вообще ничего не доказывает. Так, газневидский историк Бейхаки [12, с. 295, 300, 306, 307, 310—320 «Летопись года 423»; 337 «Летопись года 424»; 384 «Летопись года 425» и 393, 395, 411, 416 «Летопись года 426»] современного ему караханидского правителя Бухары и Самарканда Али ибн ал-Хасана иначе как «Али-тегин» не называет, в то время как на своих монетах (по крайней мере с 423 г. х.) этот караханид пышно величал себя «Табгач-Богра-карахаханом» [13, с. 171, 172]. Здесь, видимо, сказывалось тенденциозное отношение газневидского историка к Али-тегину, бывшему врагом Газневидов.

Следующий аргумент — «Не позже 481 г. х.». В 481/1088—1089 г. был чеканен дирхем, на котором Табгач-хакан Хасан выступает как сюзерен Мухаммада (?) Богра-илека. Название монетного двора на дирхеме не сохранилось, но «полная (? — М. Ф.) идентичность оформления и совпадение большинства (но не всех. — М. Ф.) надписей» с монетой Тараза 48... г. х., по мнению Б. Д. Кочнева, «...не оставляют сомнения в том, что они произведены на одном монетном дворе» [6, с. 62, прим. 26]. На наш взгляд, оставляют, и немалое. Как видим, уже здесь у Б. Д. Кочнева натяжка. Итак, опираясь на монету так называемого «Тараза» 481 г. х., Б. Д. Кочнев и устанавливает, что правление Тогрул-хана отца продолжалось «не позже 481 г. х.». Однако с равным основанием можно предположить, что «не позже» 481 г. х. продолжалось правление Тогрул-хана Омара, а в 481 г. х. ему наследовал Богра-илек, признавший Табгач-хана Хасана сюзереном.

Как видно из нашего анализа аргументов Б. Д. Кочнева, мы вправе усомниться в справедливости его выводов. Вопреки утверждениям Б. Д. Кочнева, он не смог обосновать неоспоримыми аргументами предложенную им трактовку истории Восточных Караханидов указанного времени. При настоящем состоянии нумизматических и письменных источников в силе остается трактовка истории Восточных Караханидов второй половины XI в., предложенная В. В. Бартольдом, поддержанная О. Прицаком и М. Н. Федоровым. Исходя из этого, мы датируем правление 'Имад ад-Даулы Тогрул-карахахана 451—467/1059—1075 гг. Таким образом, великолепная серебряная чаша, послужившая предметом нашего исследования, была изготовлена для Караханида Тогрул-карахахана между 1059—1075 гг.

Чаша, даже если не учитывать стоимость ее изготовления, представляла по тем временам большую ценность. По весу она соответствовала 200 высокопробным дирхемам, что в зависимости от колебания курса составило бы 13—14 динаров или стоимость 13—28 овец, так как в VIII—XIII вв. стоимость овцы колебалась от 0,5 до 1 динара [14, с. 199].

Серебряная чаша 'Имад ад-Даулы Тогрул-карахахана является великолепным и пока единственным образцом караханидской именной торевтики третьей четверти XI в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крачковская В. А. Эволюция кувфического письма в Средней Азии // ЭВ. 1949. Вып. III.
2. Настич В. Н., Кочнев Б. Д. К атрибуции мавзоля Шах-Фазил // ЭВ. 1988. Вып. XXIV.

3. *Настич В. Н.* Эпиграфические памятники Узгена XII—XX вв.//Киргизия при Караханидах. Фрунзе: Илим, 1983.
4. *Даркевич В. П.* Художественный металл Востока. М.: Наука, 1976.
5. *Федоров М. Н.* Политическая история Караханидов в XII — начале XIII в. (Караханидские монеты как исторический источник)//НЭ. 1984. Т. XIV.
6. *Кочнев Б. Д.* Тогрыл-хан и Тогрыл-тегин (Нумизматические данные к истории Восточных Караханидов во второй половине XI в.)//ЭВ. 1988. Вып. XXIV.
7. Ибн ал-Асир. *Китаб ал-камил фи-т-тарих*/Пер. К. Б. Старковой//Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. 1. М.: Наука, 1973.
8. *Бартольд В. В.* Богра-хан, упомянутый в «Кутадгу билик»//Соч. Т. 5. М.: Наука, 1968.
9. *Бартольд В. В.* Очерк истории Семиречья//Соч. Т. II. Ч. 1. М.: Наука, 1963.
10. *Pritsak O.* Die Karachaniden//Der Islam. 1953. Bd XXXI. 1.
11. *Федоров М. Н.* Очерк истории Восточных Караханидов конца X — начала XIII в. по нумизматическим данным//Киргизия при Караханидах. Фрунзе: Илим, 1983.
12. Абу-л-Фазл Бейхаки. *История Мас'уда. 1030—1041*/Пер., вступ. статья и примеч. А. К. Арендса. Ташкент: Фан, 1962.
13. *Федоров М. Н.* Политическая история Караханидов в конце первой и второй четверти XI в.//НЭ. 1974. Т. XI.
14. *Большаков О. Г.* Средневековый город Ближнего Востока VIII — сер. XIII в. М.: Наука, 1984.

Кыргызский государственный национальный
университет, Бишкек
Кыргызский государственный институт
гуманитарных наук, Бишкек

FEDOROV M. N., MOKEEV A. M.

11th CENTURY SILVER CUP FROM KIRGHIZIA

S u m m a r y

The article deals with an investigation, dating and attribution of a magnificent silver cup. It was found on the summer pastures in the Ak-Shyirak river basin approximately 100 km to the south-west from a medieval town of Barskhan situated on the southern coast of the Issyk-kul lake. Inscription analysis shew that the cup was made for Karakhanid ruler 'Imar ad-Daula Torgul-kara-khakan lived in the 3rd quarter of the 11th century AD.

Н. В. ЖИЛИНА

ПЛАСТИНА ИЗ СТАРОЙ РЯЗАНИ («ОПРАВА ДЛЯ КРЕСТА») МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ СКАНИ И ЗЕРНИ

Загадочная и прекрасная вещь, названная исследователями «оправой с крестовидной прорезью», «киотцем» или «оправой для креста», была случайно найдена на городище Старая Рязань, обнаружена в фондах Государственного Исторического музея, а затем и опубликована Б. А. Рыбаковым [1, с. 341, рис. 90 на с. 340; 2, рис. 18]. Б. А. Рыбаков так описал пластину — шедевр ювелирного искусства, что последующие исследователи, как правило, не могли не привести это описание дословно [3, с. 151, рис. 119; 4, с. 14, рис. 12; 5, с. 178].

Охарактеризуем размеры и конструкцию пластины. Общий размер 37×37 мм, высота (с кастами) 5—6 мм. Стороны вогнуты на 1 мм. Основой является пластина толщиной 0,4 мм. По внешнему и внутреннему контуру сделан «бортик», или бордюры, из рубчатой ленты такой же толщины, что и пластина-основа. Для внешнего бордюра использована одна заготовка, внутренний оформлен четырьмя. С помощью кастов пластина как бы поделена на восемь частей, и в каждой расположено приблизительно по три ряда спиралек для цветков и шариков зерни. В двух внешних рядах количество спиралек выдерживается: 5 и 3; на центральной же части они располагаются нестрого, заполняя свободное пространство (рис. 1).

Сама эта пластина, по-видимому, не могла служить оправой (вряд ли возможно что-то зажать в ее лепестковом отверстии). Фигурное отверстие могло служить для того, чтобы показать красивый фон, а сама пластина могла быть лицевой частью более сложного составного украшения. Это подтверждается следующими наблюдениями: наружный бордюры с внешней стороны обработан напильником на всем протяжении, вероятно, для того, чтобы облегчить зажим. Этому же способствовала и вогнутость сторон, слишком малая, чтобы быть орнаментальной. Кроме того, на обороте пластины по углам хорошо заметны круглые вдавления (не отверстия) от отпечатавшихся гвоздей или шпеньков. То есть пластина была плотно прижата углами к некой части украшения (может быть, эмалевому фону), закрепленной гвоздиками на общей основе.

Бордюры и «спиральки-ножки» исполнены в технике штампа¹, по определению Б. А. Рыбакова, сделаны из рубчатой проволоки. Развернем эту характеристику. Проволока имеет форму ленты. Лента бордюров имеет размеры: толщина 0,4, высота 1,25 мм; лента спиралек — толщина (вдвое меньшая) 0,2, высота 0,5 мм (рис. 2, а). Каждая спиралька имеет четыре витка, высота (с цветком или с шариком) 3—3,5 мм. Диаметр спиральки 2 мм. Морфология штампованных лент имеет характерный технологический признак изготовления их с помощью специального напильника — «equator cut», или экваториальный разрез, возникающий в результате избыточного давления на напильник, когда его верхняя часть давила

¹ Мы не используем термин «ложная скань», так как он подразумевает и литье, и штамп, а главное, может, как в данном случае, принижать технику штампования, с помощью которой можно создать не менее тонкий филигранный эффект нежели витьем и кручением миниатюрных проволок. В. Дучко применяет термин «beaded wire» [6, с. 18, 19, рис. 39], что можно переводить как «зернистая проволока». Штампование на проволоке миниатюрных шариков-бусинок как бы сближает две техники — скань и зернь.

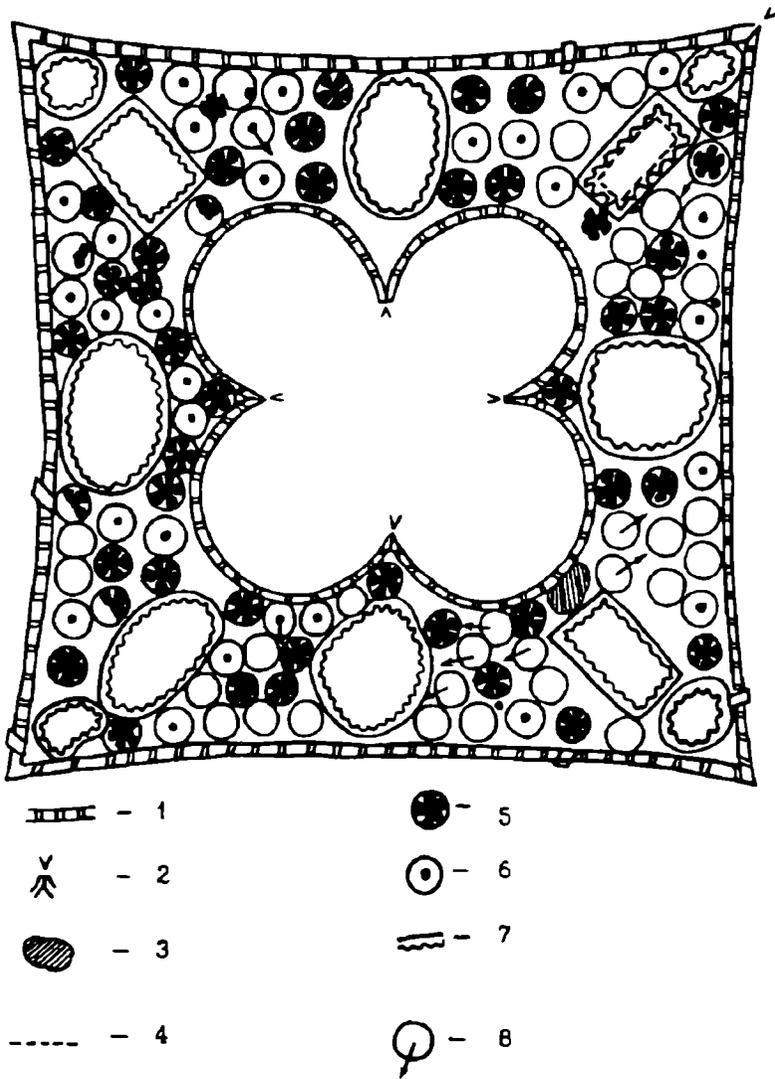


Рис. 1. Схема орнаментации пластины. 1 — штампованный бордюр; 2 — соприкосновение «в стык» концов бордюра; 3 — пролом; 4 — грань вставки; 5 — штампованный цветок на спиральке; 6 — спиралька с шариком зерни; 7 — край каста; 8 — смещение, деформация элементов декора

на экватор образующегося шарика-отпечатка² (рис. 2, а). Вероятно, для бордюров и спиралек использованы два разных по величине напильника, поскольку частота нанесения штампа на единицу длины разная, у проволоки спиралек она бóльшая приблизительно в 2 раза. Подобные напильники имели внутреннюю бороздку, ширина которой соответствовала по размеру диаметру миниатюрного отштамповываемого шарика. На напильнике для бордюров ширина этой бороздки должна была быть 0,5 мм, на напильнике для спиралек — 0,25 мм. Концы некоторых спиралек нештампованы, и можно наблюдать форму первоначальной заготовки: это круглая проволока диаметром 0,3 мм (рис. 2, б). По-видимому, общая длинная заготовка провальцовывалась в ленту и затем, вероятно, штамповались верхнее и нижнее ребро ленты отдельно (а не способом вращения напильником заготовки, поскольку штамп несимметричен относительно продольной оси проволоки, а также отсутствует на боковых сторонах ленты). Затем

² Это известно из трактата Теофила [7, главы 9—10, с. 120]. Реконструкции инструментов и технологического процесса предложены В. Дучко [6, рис. 7, с. 20; рис. 13, с. 23; рис. 3, 4, 6, с. 18]. Штампованная проволока может быть изготовлена на инструменте (органаariume), имеющем двустороннюю матрицу или с помощью более легкого напильника.



Рис. 2. Микрофотография деталей технологии: *a* — внешний бордюр и «спиральки-ножки» из штампованной ленты; *б* — спиралька с непроштампованным концом; *в* — золотая зернь, бракованная гранула удлинённой формы; *г* — золотая зернь, бракованная гранула с плоским основанием; золотые цветочки пластины; *д* — разрывы деталей, образовавшиеся при паянии; *е* — цветочки пластины с браком, образовавшимся при их штамповании

готовая филигранная лента разрезалась на отдельные заготовки для спиралек (большинство из них покрыты штампом по всей длине).

Золотая зернь пластины имеет диаметр 1 мм. Изготовлена она расплавлением равных обрезков проволоки³. Это доказывают два шарика зерни с характерными дефектами. «Шарик» удлиненной формы образовался оттого, что отрезок проволоки при расплаве недостаточно нагрелся и поэтому не успел принять правильную сферическую форму (рис. 2, а). Второй бракованный шарик имеет плоское основание и полусферический верх. Этот случай указывает на способ получения зерни, плоское основание предполагает плоскую основу, что имеет место именно при втором способе (рис. 2, б). В данном случае была взята заготовка, несколько большая нормы, и при расплаве капля металла просела на свое основание.

Характеризуя цветочки, напаянные на спиральки, нельзя не вспомнить мастера Левшу. Цветочки диаметром 2 мм имеют по пять лепестков и круглую выпуклую сердцевину. Толщина пластины, из которой сделан цветок, 0,05—0,1 мм, высота сердцевины 0,05 мм (рис. 2, в). Исходя из формы цветочков, можно реконструировать процесс их изготовления следующим образом: техника, по всей видимости, сочетала в себе приемы мелкопуансонной чеканки с вырезанием и тиснением. Мог быть использован инструмент типа очень тонкого пуансона — стержень толщиной 2 мм. Этот инструмент вырезал, выдавливал своим торцом из тончайшей пластины цветки. Доказательством является характерный дефект: недовырезанная (недовыдавленная) часть металла у сердцевины цветка. Для оттискивания рельефной сердцевины в пуансоне было вырезано углубление диаметром 0,75 мм. Контур рабочей части пуансона имел форму цветка. Для оформления лепестков в ней нужно было сделать прорезы шириной 0,3 мм. Видимо, такова была ширина лезвия прорезающего инструмента (рис. 3). Подтверждает высказанное и факт существования особо миниатюрных пуансонов, применявшихся для канфарения поля [1, с. 281, 282]⁴.

Заготовки, использованные для пластины, были трех видов по толщине: 1) пластина-основа (возможно, ленты для бордюров были отрезаны от нее же) толщиной 0,4 мм; 2) проволока для спиралек толщиной 0,3 мм, развальцована в ленту толщиной 0,2 мм; 3) наиболее тонкая пластина толщиной от 0,05 до 0,1 мм для изготовления цветочков и кастов. Вероятно, набор заготовок определенных параметров может характеризовать мастерскую. По этому признаку можно сделать попытку выделения мастерских. Кстати, и Теофил дает рекомендацию: «...разбей золото, вытяни из него толстые, средние и тонкие нити» [7, кн. третья, гл. 52, с. 141—143].

Следующим технологическим этапом после изготовления миниатюрных деталей является набор узора на поверхность-основу и затем паяние. У сложных украшений с объемным многоярусным узором набор и паяние могли производиться в несколько приемов. Можно предполагать, что на старорязанскую пластину сначала были напаяны бордюры и спиральки, а во вторую очередь — цветочки и зернь (цветочек укладывался на последний виток спиральки, шарик зерни — в последний виток). Предположение об очередности паяния основывается на следующем наблюдении: довольно много отвалившихся или сместившихся цветочков и шариков, спиральки же все остались на своих первоначальных местах,

³ Известно два способа получения зерни: 1) разбивание струи расплавленного металла на мелкие шарики, при этом они неравномерны, нестроги по форме [1, с. 333; 6, с. 22]; 2) расплавление равных кусочков металла, размер которых рассчитан так, что в результате жидкостного поверхностного натяжения они сплавляются при нагреве в шарики. В. Дучко отметил, что древнерусская зернь в большинстве изготовлена вторым способом с использованием обрезков проволоки как заготовок. Это замечание нуждается в обосновании на базе изучения древнерусского материала. Могут быть выявлены разные варианты этого способа [6, с. 22].

⁴ Канфарение (нанесение точечных углублений) также один из видов наиболее тонких работ. Способом канфарения могли, например, наноситься мелкие углубления для укладки зерни.

имеются лишь деформированные. Это может говорить о разнице условий паяния (рис. 2, а, д)⁵.

Набранные на пластину детали необходимо было закрепить. Известны специальные закрепки. Внешний бордюр пластины закреплен пятью такими закрепками, расположенными бессистемно, но ближе к углам аналогичными скрепляющим деталям, приведенным В. Дучко (рис. 4, в) [6, с. 24, рис. 15].

На большинстве древнерусских украшений использован металлический припой, хорошо заметный в бинокулярную лупу и довольно грубо утапливающий детали орнамента из скани и зерни [6, с. 26—28; 10, с. 238, 239]. Такой же припой и на пластине.

С условиями паяния связаны разрывы на некоторых миниатюрных деталях орнамента пластины (цветочков). В одном случае лепесток цветка, оторвавшись, припаялся к касту, другие детали в этом месте отклонились в стороны. Объяснить это можно резким вскипанием флюса (недостаточно обезвоженной буры) [11, с. 110] (рис. 2, д).

Информацию об изготовлении украшения несут микроследы орудий. Их сохраняется не так много, поскольку они уничтожаются шлифовкой. На пластине помимо следов обработки краевого бордюра напильником присутствуют следы оббивания или обжима оправ для камней. Это микроследы скольжения или скользящего удара (трения), имеющие вид серии бороздок, трасс [12, с. 8]. На металлической пластине каста следы накладываются друг на друга. Благодаря же тому, что два раза инструмент «соскочил» на вставку из стекла, можно наблюдать несоприкасающиеся следы [рис. 4, б, г]⁶. Видна и особенность инструмента — оригинальный набор трасс с одной, более широкой. Ширина его рабочей части 1,5 мм. По-видимому, для создания подобных украшений-шедевров мастера изготавливали и специальные миниатюрные инструменты.

Технология накладного декора пластины абсолютных аналогий пока не имеет. Есть вещь, близкая по стилю орнаментации основы украшения мелкими накладными орнаментальными деталями. Это золотая «диадема» из Каменнородского клада 1903 г. [14, с. 59—62, рис. 16]. Здесь, как и на старорязанской пластине, нет связи этих накладных элементов (раковинок с жемчужинами, спиралек с зернью, кастов) в единый орнамент, что как раз является характерной особенностью узоров «рязанских барм», а также западноевропейских памятников ювелирного искусства, приводимых в качестве аналогий русским украшениям (см. ниже). Ю. Д. Аксентон писал об аналогичности «скани в виде спиралек» на этих двух вещах [13, с. 25]. Однако скани (от слова «скать», т. е. «вить») на пластине из Старой Рязани нет. Сохранившееся хорошее изображение диадемы и точное описание ее филиграни не оставляет сомнений в том, что это именно витая скань. В описании различаются рубчатая техника краевого бордюра и «двойная плющенная скань спиралек», указано и на аналогичность скани диадемы и скани оправ украшений рязанского клада 1822 г. (ошибочно назван кладом 1824 г.). Различны по форме и сами сканые спиральки рассматриваемых украшений. На диадеме они имеют два витка разного диаметра, нижний больше; это существенно отличает их от «спиралек-ножек» пластины в четыре витка, равных по диаметру. Штампованный бордюр обеих вещей одинаков по технологии, на диадеме он также изготовлен с помощью напильника. На фотографии можно разглядеть «экваториальный разрез». К тому же автор описания выразительно охарактеризовал его морфологию: «рубчатая филигрань в виде катушек» (форму,

⁵ Технически возможны вторичные пайки для использования дефектов, образовавшихся во время первой [8, с. 240—248]. При этом первоначально спаянные детали надо было предохранить от нового нагрева [9, с. 18]. Пластинка имеет объемный узор, и с помощью паяльной трубки (паяльника, февки), вероятно, было возможно произвести обогрев верхней части изделия (не такой сильный, как в первом паянии) для припаивания цветочков и шариков.

⁶ Ю. Д. Аксентон отметил, что шесть вставок пластины не соответствуют размерам кастов, деформированы их внешние кромки. Возможно, описываемые мною микроследы образовались в результате этой вторичной подгонки [13, с. 9].

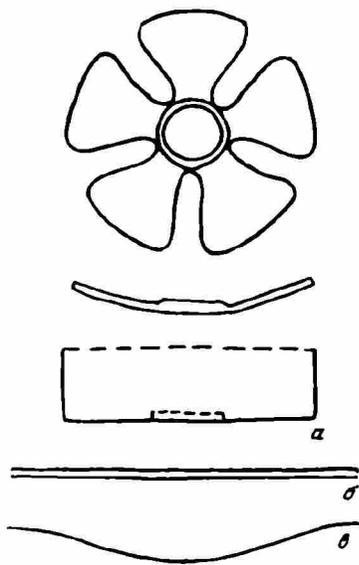


Рис. 3

Рис. 3. Реконструкция процесса изготовления золотых цветочков. *а* — рабочая часть пуансона; *б* — металлическая пластина; *в* — подкладка с углублением

Рис. 4. Фотографии микроследов инструментов на деталях пластины: *а* — вид сбоку внешнего бордюра со следами напильника; *б* — микроследы инструмента на вставке; *в* — скрепляющая деталь на внешнем бордюре; *г* — микроследы инструмента на оправе вставки

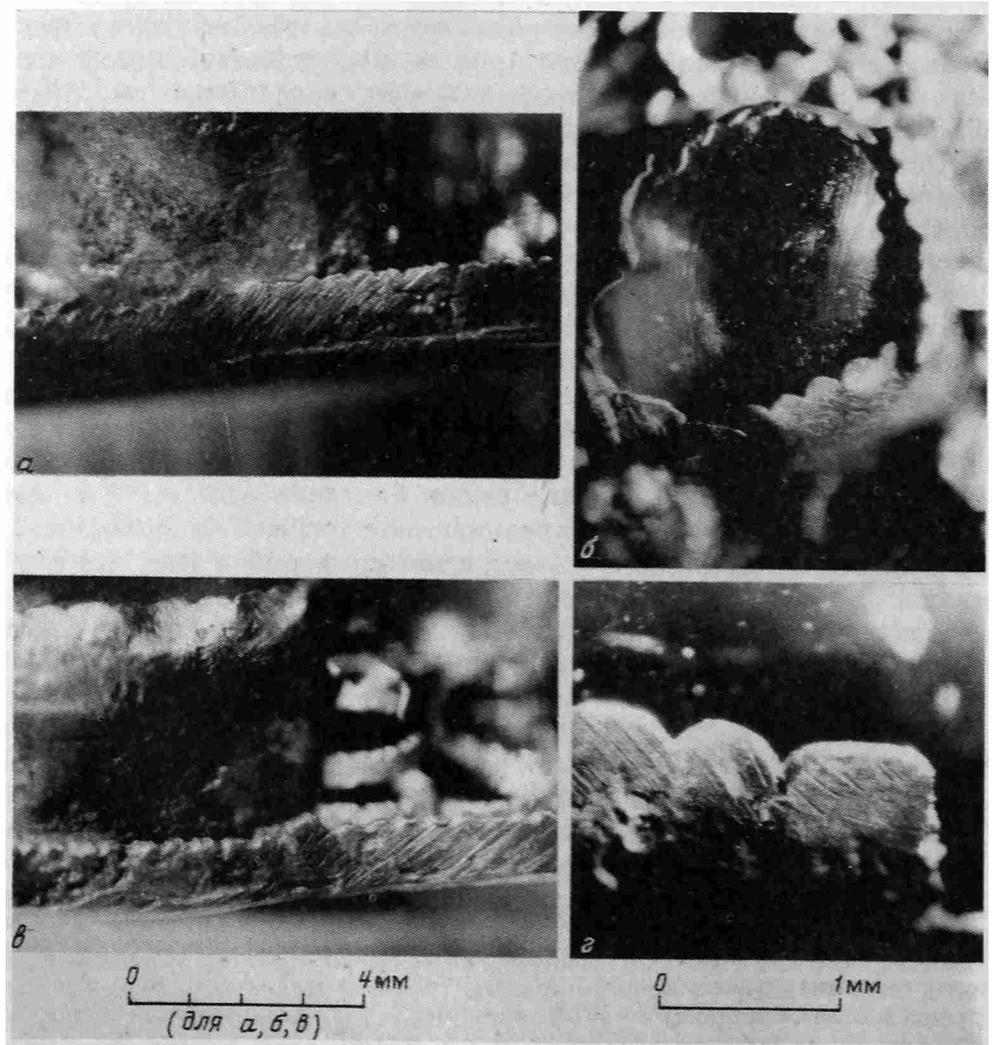


Рис. 4

аналогичную катушке, действительно придает разрез посередине отштампованного шарика) [15, с. 196, табл. VII, 1].

Накладные раковинки с жемчужинами присутствуют и на медальонах клада 1880 г. (Киев, ул. Житомирская). Узоры скани проще, в виде завитков [16, табл. III; 14, с. 59—62].

Моментов сходства пластины с вещами старорязанского клада 1822 г. тоже немного. Одинакова золотая зернь (диаметр 1 мм), но это может быть обусловлено и только технологическими требованиями. Кастам пластины аналогичны также касты крайнего ряда камней рязанских медальонов ожерелья, не имеющего эмалевых изображений.

Развернутая характеристика западноевропейских аналогий вещам этого клада принадлежит Н. П. Кондакову [16, с. 50, 59]. Продолжил исследования в этом направлении Г. Н. Бочаров, придя к выводу о русском производстве украшений клада и об использовании русскими мастерами в качестве образцов вещей западноевропейского производства. В качестве наиболее близкой аналогии пластине из Старой Рязани Г. Н. Бочаров указал страсбургский реликварий 1230 г. [5, с. 167—172, 178; 17. WK 7, 121, 122, abb 57—66].

Можно привести и другие аналогии: два креста из Фрейбурга мастера Иоганна 1235 г. и 1250—1260 гг. (17, WK 9, abb 70—82, WK 10, abb 84—90); кельнский крест XIII в. (Эрмитаж, собрание Бувье) [18, илл. 58]; выносной крест (третья четверть XIII в., Париж) [18, илл. 61]. Но, пожалуй, ни одну из всех, приведенных в качестве аналогий вещей, нельзя считать образцом для пластины. Образец предполагает дальнейшее сходство в деталях. Филигранная спираль на западноевропейских вещах имеет развернутый вид (это не цилиндрическая форма), она расширяется на плоскости. Цветки и шарики зерни закреплены в отходящих завитках (аналогично и на «рязанских бармах» и упомянутых киевских вещах). «Спиралек-ножек», поддерживающих цветки и зернь, нигде нет. Существенны и отличия в оформлении кастов для камней. На пластине край кастов выполнен более простым способом — оформлены полукружия, обжимающие камень. На страсбургском реликварии касты выполнены более тонко и более развиты: по краю каста вырезаны сложные с рельефной или гравированной выделкой «листочки». А один из типов кастов имеет крапаны.

Мы фиксируем внимание на различиях не для того, чтобы пытаться опровергнуть сходство русских и западноевропейских ювелирных шедевров средневековья. Это сходство неопровержимо существует. Детальные сравнения помогают подчеркнуть оригинальность анализируемой пластины, произведения ювелирной техники и искусства из Рязани. На основании изучения ряда произведений прикладного искусства Западной Европы из собрания Государственного Эрмитажа можно сказать, что в XII—XIII вв. рубчатая лента широко использовалась западноевропейскими мастерами для создания основного филигранного узора произведений. Но ни на одном из пяти исследованных нами памятников точных аналогий старорязанским штампованным лентам все-таки нет. Между тем, сама эта группа западных произведений обнаруживает определенное единство в параметрах штампованной заготовки, что указывает на предпочитаемый стандарт. Толщина ленты равняется 0,25 мм, а ширина (или высота ленты, поставленной на ребро) составляет от 1,5—2,0 до 3,0 мм. Таковы параметры лент на Реликварии святой Елизаветы Венгерской (Франция, после 1235 г.), Реликварии святого Вельтина в виде благословляющей руки (середина XIII в.), а также на книжном окладе с эмальями и флореллуме XII в. [18, илл. 50, 59]. На Реликварии святого Вельтина для мелких завитков использована лента шириной 1,0 мм. Такой же небольшой ширины лента имеется и на одном из потиров⁷. На флореллуме же лента и несколько тоньше: 0,15—0,2 мм. Следовательно, относительно стандартна толщина ленты, а ширина, видимо, варьирует в зависимости от конкретных задач и технологии. Важно отметить, что толщина — это именно тот размер,

⁷ Инвентарный номер Ф-106.

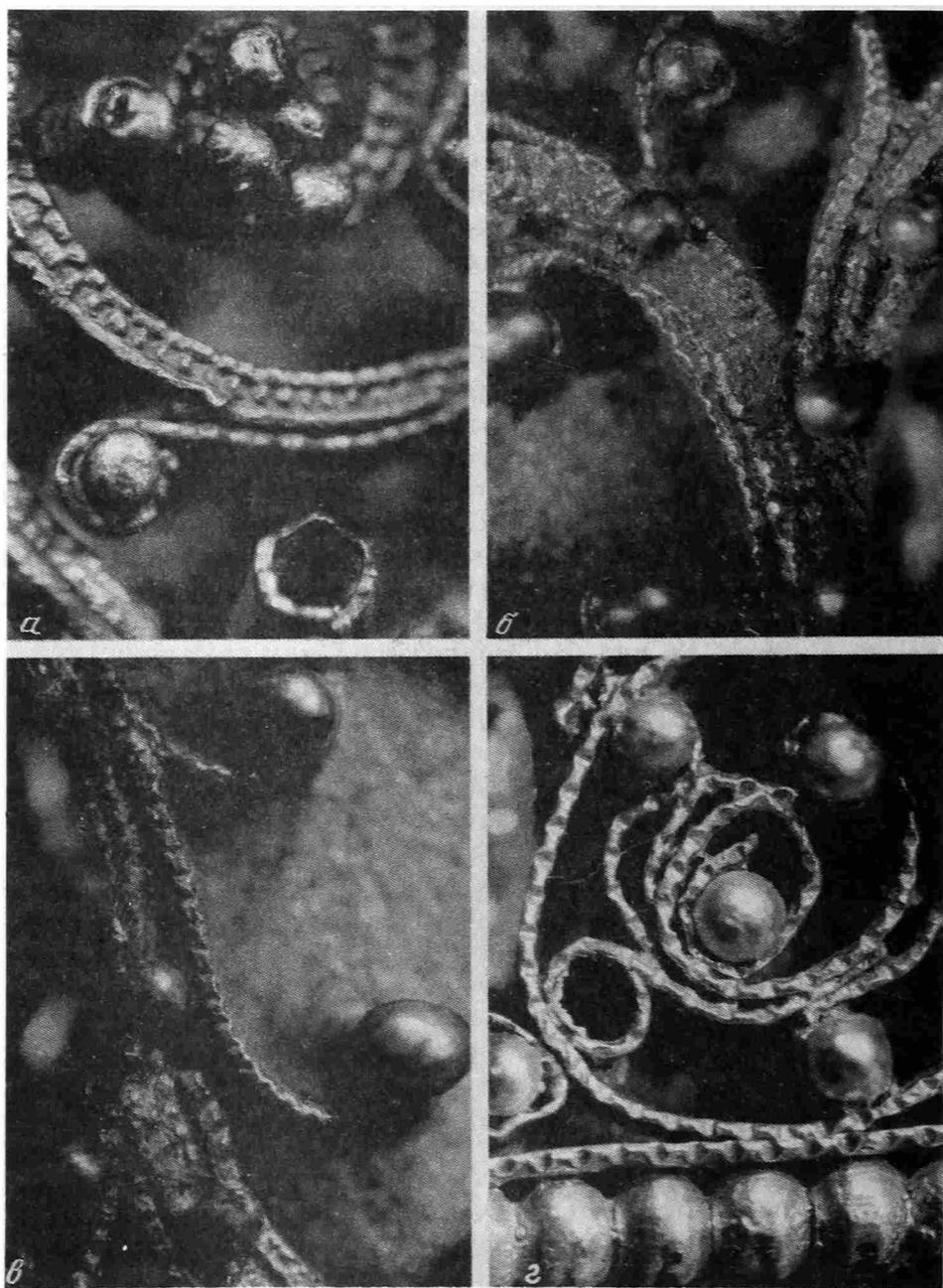


Рис. 5. Микрофотосъемка деталей технологии западноевропейских и русских произведений прикладного искусства: *а* — Реликварий св. Елизаветы Венгерской; *б* — Реликварий св. Вельтина; *в* — книжный оклад XII в.; *г* — флореллум XII в.; *д* — потир; *е* — подвеска-«сионец» клада 1903 г. (Киев, Михайловский монастырь); *ж* — бусы Тверского клада; *з* — бусы из собрания М. П. Боткина (Русский музей)

который виден при фронтальном взгляде на изделие, по нему можно судить о тонкости работы мастера (рис. 5, *а—д*).

Сравним с этими данными параметры штампованных лент старорязанской пластины. Будучи в абсолютных величинах более миниатюрными, пропорционально они уже, но толще западноевропейских. Толщина первого типа рязанской ленты для краевого бордюра — 0,5 мм — более, чем в два раза больше толщины, а ширина — 1,25 мм — приблизительно равна минимальной ширине филигранных лент западноевропейских памятников. Толщина второго типа ленты рязанской пластины («спиральки-ножки») равна соответствующим параметрам западных вещей: 0,2 мм, но ширина более, чем в два раза меньше самых узких лент предметов эрмитажной коллекции: 0,4 мм. Наряду с этим наметившимся отличием

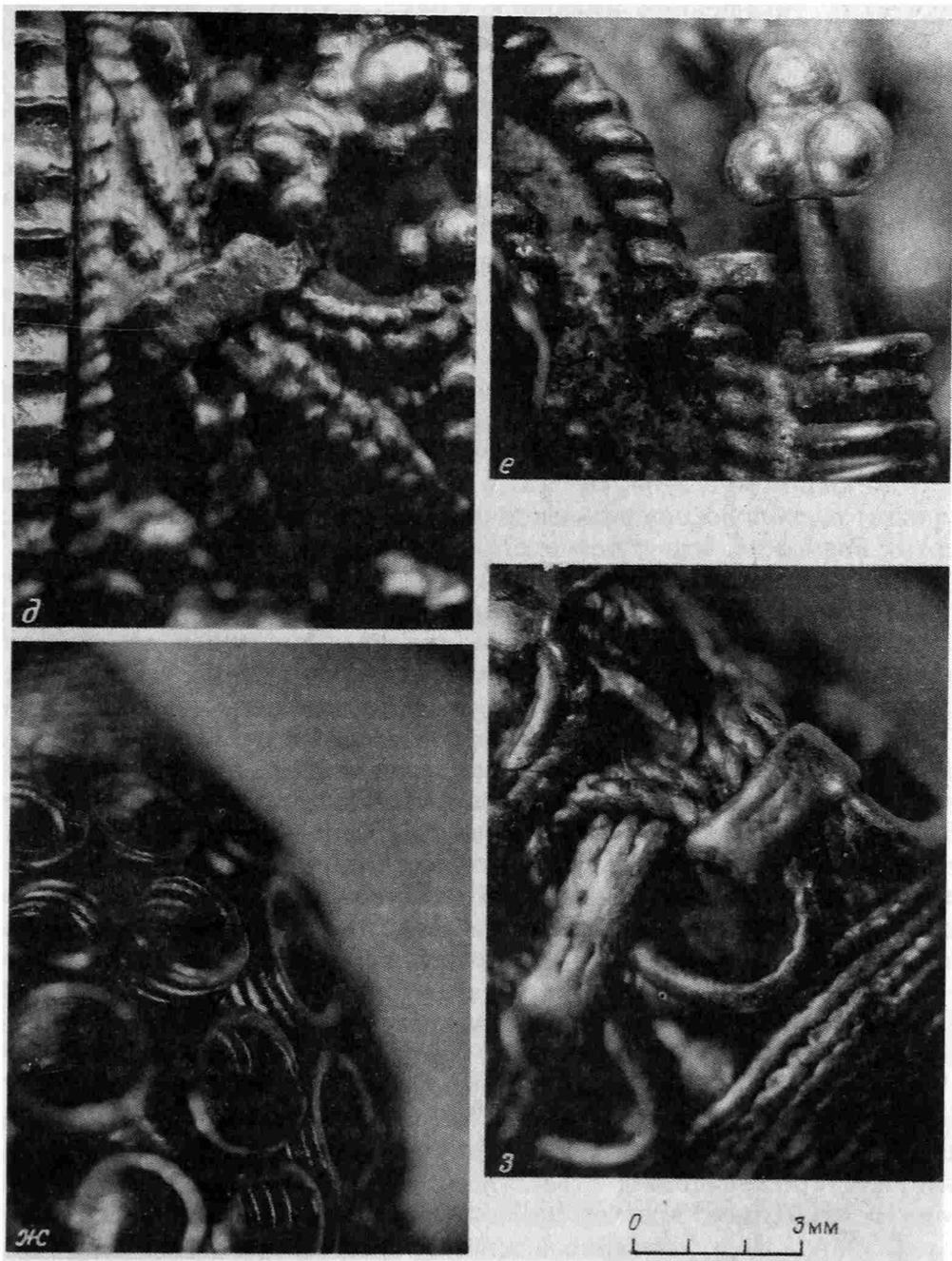


Рис. 5 (продолжение)

филиграни старорязанской пластины от филигрны западноевропейских памятников следует отметить ее оригинальность и на фоне русских произведений прикладного искусства XII—XIII вв., для создания основного филигранного декора которых применяется обычно витая скань.

Технологические аналогии пластины с эрмитажными предметами касаются и способа производства зерни. На упомянутом книжном окладе прослежена удлиненная зернь (1,25×2,0 мм; 1,1×0,75 мм), а в качестве заготовки использована спираль цилиндрической формы, контур которой просматривается на гранулах, оплавившихся не полностью (рис. 5, в, а). На старорязанской же пластине спираль использована не как технический, а как декоративный элемент. Спирали, изготовленные навиванием проволоки или ленты на стержень, часто встречаются

на древнерусских украшениях именно в качестве лицевых элементов декора. Известны серебряные бусы с канительным ободком из клада 1851 г. у с. Исады под Суздалем [19, с. 147] и клада 1970 г. из Старой Рязани [20, табл. XIV, XVI]. Золотые сионцы имеют колонки, исполненные в подобной технике (клад 1887 г. Михайловского монастыря в Киеве) [19, с. 119—120]. Спирали центральной зоны бус из Тверского клада ($D = 2—2,5$ мм) и из собрания М. П. Боткина в Русском музее ($D = 3—4$ мм) выглядят аналогично спиралькам старорязанской пластины (рис. 5, *e—з*) [19, с. 147—148].

Решение вопроса о месте изготовления пластины усложняется тем, что ее невозможно причислить к «кругу» каких-либо сходных памятников. Аналогии с другими материалами касаются частностей. Присутствуют и столь оригинальные черты, которым пока трудно привести аналогии. Изготовление цветочков, имеющих 2 мм в диаметре, заставляет предположить незаурядную технологическую высоту работы. На каменнородской пластине накладные штампованные и сканые детали крупней: раковинки более 10 мм в диаметре, диаметр же спирали составляет, по-видимому, 5—6 мм [21, табл. XIV, 2—4]⁸. Как указывалось выше, для изготовления декора рязанской пластины мастеру потребовались особые инструменты. Возможно, что и технологию мелкопуансонной чеканки ему пришлось в какой-то мере воссоздать, так как согласно выводам Б. А. Рыбакова в XII—XIII вв. она уже не применялась в древнерусских городах [1, с. 281—290].

Растительный декор пластины исполнен живо и реалистично, что приближает вещь к готическому этапу в средневековом искусстве [18, с. 25]. Логическая нить связи появления подобных вещей на Руси с западноевропейским импортом существует: торговый путь, по которому произведения ювелиров Запада могли попасть в Рязань, шел от Киева вверх по Десне и Угре [22, с. 67], и вещи с богатым накладным металлическим декором происходят пока лишь из Киева и Старой Рязани. Не отдалит нас от западноевропейских параллелей и предполагаемое назначение вещи: лицевая часть особо миниатюрного филиактерия, реликвария для хранения реликвий лечебного свойства. Филиактерии имеют форму квадрифолия. Пластина, вероятно, была вжата в четырехлопастную по форме основу, при этом четырехлепестковый вырез хорошо сочетался бы с общим обликом вещи и миниатюрными цветочками (рис. 6). На западноевропейских филиактериях част мотив цветочка, выполненного чеканной техникой. Фигурные прорезы в виде цветков аналогичной формы имеются на ларце-реликварии святой Валерии (около 1170 г., Лимож) [18, 6, 8, 9, 13].

Можно предполагать, что пластина была составной частью другого предмета, например, концом или средокрестием креста. Вставные пластины с четырехлепестковыми или крестовидными отверстиями часто употреблялись на западноевропейских реликвариях, крестах, окладах, потирах XIII—XIV вв. На одном кресте-реликварии XIV в. пластина с прямой крестообразной прорезью обжата для закрепления краем внешней пластины-оправы [23, илл. 109, 212, 214, 286, 295; 18, илл. 4]. Но и русские аналогии можно продолжить весомым примером. Рассмотрим облицовочные пластины средокрестий креста Евфросиньи Полоцкой 1161 г. Боковые края пластин имеют фигурную вогнутость, использованную для соединения с пластинами концов креста. Наиболее же сходство проявляется в четырехлепестковой форме отверстия в центре, причем средокрестия предназначены также для хранения реликвий [24, рис. 4, 7].

Форма квадрифолия довольно широко распространена на Руси в XIII в. Об этом можно судить на материале произведений прикладного искусства с чернью и перегородчатой эмалью. Среди черневых перстней можно указать аналогичные по рисунку на щитке четырехлепестковому вырезу пластины. Имеются клейма квадрифолийной формы и на черневых браслетах [25, рис. 15, № 58, 65, 91—96, 98—100, 103; с. 45—48; рис. 42, № 231]. Известны бляшки рясен с перегородчатой

⁸ Каменнородская пластина, по-видимому, опубликована в натуральную величину: диаметр золотой зерни на фотографии равен 1 мм [15, с. 196].

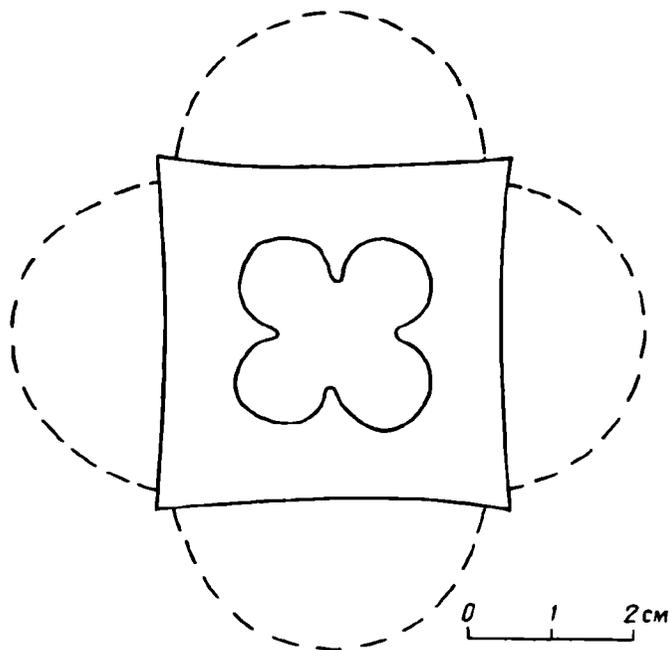


Рис. 6. Реконструкция филактерия

эмалью квадрифолийной формы, подвески к диадемам, нашивные бляшки [21, с. 42, табл. 9, № 11, 13, 24, 25].

Будь старорязанская пластина найдена в Западной Европе, мы могли бы говорить о западноевропейском производстве, предполагая безусловную связь с древнерусским материалом. Но, будучи найдена в Старой Рязани, она, как известно является далеко не единственным шедевром ювелирного искусства, происходящим отсюда (клады 1822 и 1992 гг.). Следовательно, мы вправе предположить русское изготовление вещи, на примере которой можно говорить об общем русле развития стилей и технологии прикладного искусства Руси и Западной Европы.

Происходя из культурного слоя Старой Рязани, пластина, по-видимому, бытовала в пределах широкой даты: 70-е гг. XI — первая треть XIII в. (1237 г.). Вещи, входящие в круг аналогий, суммарно относятся к периоду XII—XIV вв. Аналогии, касающиеся внешней формы вещи, квадрифолийные черневые перстни и крест Лазаря Богши относятся к 60-м гг. XII — 30—60-м гг. XIII вв. Учитывая готический облик вещи и имея в виду верхний рубеж культурного слоя домонгольской Рязани, мы можем отнести пластину к первой трети XIII в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1948.
2. Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство X—XIII вв., Л., 1971.
3. Монгайт А. Л. Старая Рязань//МИА. 1955. № 49.
4. Монгайт А. Л. Художественные сокровища Старой Рязани. М.: Наука, 1967.
5. Бочаров Г. Н. Художественный металл Древней Руси. М.: Наука, 1984.
6. Duczko V. Birka undersuchungen und studien. V. The filigree and granulation work of the viking period. Uppsala Univ. Kungl viterhets Historie och antikvitets Akad. almvists wiksell Internat. Stockholm, 1985.
7. Пресвитер Теофил. Записка о разных искусствах//Сообщ. Всес. Центр. н.-и. лаб. консервации и реставрации Мин-ва культуры РСФСР. 1963. № 7.
8. Флеров В. А. Технология художественной обработки металлов. М.: Высш. школа, 1968.
9. Существующие приемы производства серебряного дела/Сост. Барков И. В. М.: Типография А. Г. Кольчугина, 1893.
10. Минжулин А. И. Технология зерна//СА, 1990. № 4.
11. Селиванкин С. А. Производство ювелирных изделий. М.: Госторгиздат, 1951.

12. *Литвиненко Л. К.* Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 1960.
13. *Аксентон Ю. Д.* Дорогие камни в культуре Древней Руси (по памятникам прикладного искусства и литературы XI—XV вв.: Диссертация канд. истор. наук. Л., 1973.
14. *Гущин А. С.* Памятники художественного ремесла Древней Руси X—XIII вв. М.; Л.: Соцэргиз, 1936.
15. ОАК за 1903 г. СПб, 1906.
16. *Кондаков Н. П.* Русские клады. Исследования древностей великокняжеского периода. Т. I. СПб., 1896.
17. *Heuser H. Y.* Oberheinische Goldschmiedekunst im Hockmittelalte//Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft. В.; 1974.
18. *Лапковская Э. А.* Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже: изделия из металла. М.: Искусство, 1971.
19. *Корзухина Г. Ф.* Русские клады IX—XIII вв. М.; Л.: изд. АН СССР, 1954.
20. *Даркевич В. П. Монгайт А. Л.* Клад из Старой Рязани. М.: Наука, 1978.
21. *Макарова Т. И.* Перегородчатые эмали Древней Руси. М.: Наука, 1975.
22. *Даркевич В. П.* Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе X—XIV вв.// САИ. 1966. Е1-57.
23. *Fritz J. M.* Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa, München, 1982.
24. *Алексеев Л. В.* Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. из истории прикладного искусства Полоцкой земли//СА. 1957. № 3.
25. *Макарова Т. И.* Черное дело Древней Руси. М.: Наука, 1986.

Институт археологии РАН,
Москва

ZHILINA N. V.

**THE PLATE FROM STARAYA RYAZAN ("THE CROSS SETTING").
METHODS OF THE ANCIENT RUSSIAN GRANULATION
AND FILIGREE TECHNOLOGY INVESTIGATION**

S u m m a r y

The article deals with a jewelry masterpiece found in Staraya Ryazan and named a "cross setting". Nevertheless it functioned as a face ornamental plate and was a part of a bigger artifact, a phylactery or a cross. Technological analysis of the decoration and the plate parts helps the author to reestablish the production process and makes more precise its construction. So this Staraya Ryazan finds is and original and unique work of applied art. All known West European analogies are not very similar to the plate and could not be the samples for it. The scholar supposes its Ryazan production on the base of ornamental style likeness with the Kiev finds. Further technology investigations will define more accurately the conception of the West European jewelry influence on the Russian one.

История науки

Н. А. ТИХОМИРОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ Б. Ф. ПОРШНЕВА И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Наблюдения над накопленным материалом приводили исследователей к интуитивному пониманию процессов, проходящих в древних материальных культурах и обществах. Разнообразие исходных точек зрения подтолкнуло развитие теории археологии. Однако и сегодня остаются неясными предмет и задачи археологии, нет четких понятий этноса, археологической культуры, локального варианта, критериев оценки памятника, комплекса, отдельных находок. Попытки постановки общетеоретических задач и методов науки, формулировки ее понятий на основе интуитивно принятых аксиом не могут исключить множественности толкований. В вопросах, касающихся предмета, объекта и субъекта археологии, Л. С. Клейн вместе с В. А. Булкиным и Г. С. Лебедевым выделяют семь школ с разницей взглядов в области «функций и компетенции археологии как отдельной науки» в процессе исторического познания [1, с. 211].

Не останавливаясь на анализе взглядов представителей этих школ, отметим, что они рассматривают археологию как самостоятельную сферу знаний, связанную с добыванием и анализом раскопчного материала. На первый план выдвигаются сами анализируемые материалы — артефакты, на втором оказываются обычаи, духовные традиции и воззрения носителей древних материальных культур. Так, к примеру, археологические издания, посвященные погребальному обряду, рассматривают сочетания предметов, остатков умерших, конструкции могильных ям и тому подобные (вполне осязаемые) вещи. Однако они не анализируют обряд как традиционное действие людей — носителей культуры. Современные школы в основном не учитывают, что археология, изучающая продукты человеческой деятельности, является в конечном итоге наукой о человеке, о материальных проявлениях его психики.

Разработки Б. Ф. Поршнева все еще отражают современное состояние отечественной исторической социальной психологии, но не все его выводы бесспорны. Так, тезис о первичности понятия «ОНИ» [2, с. 80] нуждается в существенном уточнении и корректировке.

Очевидно, что возникновению в сознании человека ОНИ предшествует интуитивный сравнительный анализ, в котором данное понятие является результатом. Корни этого анализа лежат глубоко в недрах психики и могут быть объяснены рефлексом самосохранения, поскольку его задачей является выработка адекватного поведения. Такое сравнение невозможно без набора признаков эталонов, зафиксированных в памяти. Эти признаки — результаты работы сигнальной системы — формируются сознанием во взаимосвязь и составляют образ явления. Поэтому у детей преобладает образное мышление. Очевидно, что именно в младенчестве формируются и закладываются в память жизненно важные для субъекта образы. Их он воспринимает от ближайших родственников. Таким образом в сознании ребенка в первую очередь формируется набор образов понятия и само понятие «СВОЙ». С приобретением отрицательного опыта общения с окружающим миром складываются и понятия «НЕ СВОЙ», «ЧУЖОЙ».

Понятия «МЫ» и «ОНИ» связаны с социальной стороной психики индивида и могут возникать только в группе людей как осознание ее единства. Очевидно,

что формирование «МЫ» начинается немногим позднее «СВОЙ» и проходит в среде общения ребенка с окружающими его близкими на основе выделения определяющих признаков или образов. К этому моменту он должен осознавать свое «Я», поскольку само понятие «МЫ» подразумевает осознанное включение «Я» в группу лиц, объединенных этими образами.

Значения определяющих признаков, зафиксированные индивидом в процессе обучения, регламентируют круг лиц, входящих в каждую конкретную группу «МЫ». Этот процесс невозможен без зачатков абстрактного мышления, поскольку одни и те же объединяющие признаки в разных обстоятельствах могут принимать противоположные значения.

Регламентирующее поведение личности механизм распознавания «СВОЙ» — «НЕ СВОЙ», «ЧУЖОЙ» имеет большое значение в формировании понятия «МЫ». Подражание и заражение, которым Б. Ф. Поршнев отводит главную роль в формировании «МЫ» [2, с. 108], начинают действовать только при положительном решении альтернативы «СВОЙ» — «НЕ СВОЙ» напрямую или опосредованно, через третье лицо, уже прошедшее этот контроль.

Понятия «НЕ МЫ» и «ОНИ» возникают почти параллельно с «МЫ». При этом первое («все, кто не МЫ») опережает второе («ОНИ»), поскольку последним понятием индивид обозначает группы с собственными определяющими признаками, в которые он себя не включает.

Очевидно, что понятия «МЫ» и «ОНИ» развиваются вместе с интеллектом индивида от простых форм (мы родственники, мы дети, они родители, они взрослые) к сложным (мы жители деревни, они соседняя деревня, мы охотники, они пахари, мы племя и т. д.).

Консерватизм механизма распознавания «СВОЙ» — «ЧУЖОЙ», «МЫ» — «ОНИ» является основой сохранения и закрепления культурных традиций. Отрицательное решение альтернативы предусматривает запрет обучения чужому. В этом механизме заложены не только основы развития личности и коллектива, но и социальные корни культуры, в том числе и материальной.

В условиях действия механизмов подражания и заражения столь сложное явление, как материальная культура, развивается во взаимосвязи с совершенствованием цивилизации. Человеческая общность, объединенная понятием «МЫ», начала складываться на раннем этапе истории. В этом процессе сыграл свою роль фактор толпы. Она могла объединяться не только на основе противопоставления «ИМ», как считает Б. Ф. Поршнев [2, с. 93], но и вполне нейтральными признаками, например, способом, процессом добывания пищи. Толпа, как никакая другая общность, подвержена подражанию и заражению и поэтому является почвой для становления способности индивида к обучению.

Возникновение в эпоху верхнего палеолита индивидуальных украшений фиксирует появление моды. Б. Ф. Поршнев пишет: «Люди, придерживающиеся той или иной моды, могут и не принадлежать к какой-то социологической общности. Но они и не составляют чисто статистической общности, так как приобщаются к моде не независимо друг от друга, по каким-либо одинаковым причинам, а перенимают ее при непосредственном общении друг с другом. Несомненно, что мода является взаимным подражанием» [2, с. 90]. Но и с этим противоречивым тезисом нельзя согласиться до конца. Очевидно, что мода возникает как потребность выделения своего «Я» в общности «МЫ». Предметы или образы моды не подпадают под запрет на обучение и воспроизведение после принятия решения типа «ЧУЖОЙ». Поэтому она может захватывать самые разные социальные группировки. В то же время мода фиксирует направление и характер их эстетических представлений, направление и характер контактов разных групп.

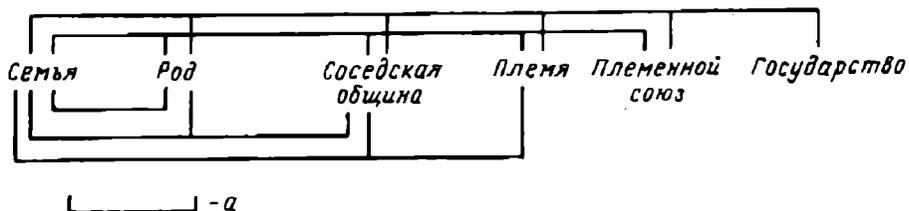
В обучении имеются два субъекта процесса — учитель (авторитет, лидер, член группы «МЫ», носитель ее определяющих признаков) и ученик, готовый воспринимать от него эти образы. При этом лидеров может быть несколько, так как разные образы могут восприниматься от разных людей. В качестве лидера — учителя может выступать и группа.

С развитием системы образов и понятий возрастает роль лидера. Он переходит из разряда «человек, от которого не запрещено перенимать информацию» в разряд «человек, от которого лучше всего перенимать информацию». Этот процесс связан с выделением в каждой области деятельности группы общепризнанных специалистов. При этом группа осознает их авторитет и выдвигает как пример для подражания. Такая регламентация механизмов подражания и заражения — один из путей прогрессивного развития группы. В процессе жизнедеятельности группы, в процессе «обучение — воспроизведение» лидер со временем теряет свои позиции, уступая место новым авторитетам — бывшим своим ученикам.

Механизмы «обучения, воспроизведения, распознавания», имея глубокие корни в психике индивида, являются основой для развития культуры.

С социологической точки зрения *материальная культура* представляется как *выработанная социальной группой система образов, определяющих ее единство, осознанная каждым членом группы и воплощенная в материальных продуктах ее деятельности*. При этом образ — система признаков — результатов работы сигнальной системы, сформированных сознанием индивида в процессе обучения во взаимосвязь и зафиксированных в его памяти.

Система образов каждой материальной культуры имеет тенденцию к расширению границ, поскольку их формирование проходит по мере расширения круга общения индивида. Этот процесс, как пишет Б. Ф. Поршнев, «двойственный: культурного обособления (создание всевозможных отличий „НАС“ от „НИХ“) и культурной ассимиляции путем заимствований, приобщений (частичное или полное вхождение в общее „МЫ“)» [2, с. 107]. Однако он не безграничен и находится в зависимости от уровня социально-экономического развития общества (рисунок).



Зависимость процесса культурной ассимиляции от уровня развития социально-экономических отношений.
 а — область распространения объединяющих образов

Исходя из этого, понятие *археологическая культура* можно определить так: *материальная культура, локализованная хронологически и территориально социально-экономическими отношениями и зафиксированная результатами археологических исследований*.

Теперь принимают конкретное содержание и такие терминологические новообразования, как локальный вариант, культурно-хронологический горизонт и т. п. Все они имеют в виду совокупности археологических материалов, оставленных общностями «МЫ», занимающих хронологически или территориально более узкие рамки, чем системы термина «археологическая культура». В анализе археологических материалов приобретает новое значение тезис Б. Ф. Поршнева о том, что «чем меньшую этнографическую общность мы берем, тем определеннее и ограниченнее круг признаков, которыми отличают своих от чужих» [2, с. 105]. Иначе говоря, чем меньшую общность мы рассматриваем, тем определеннее и ограниченнее будет список образов, ее характеризующих и локализирующих.

Таким образом, археологическое исследование сегодня должно строиться на выделении и анализе совокупностей параметров образов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клейн Л. С. О предмете археологии // СА. 1986. № 3.
2. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979.

Курский государственный областной музей археологии

Заметки

В. Ю. КОВАЛЬ

КАМЕННЫЙ ТОПОР ИЗ РОСТИСЛАВЛЯ РЯЗАНСКОГО

Публикуемый каменный шлифованный топор-молоток был найден в 1992 г. при сборе подъемного материала на селище, примыкающем к городищу Ростиславль (Озерский район Московской обл.) и составляющем часть посада одноименного летописного города в составе Рязанского княжества. Место находки располагалось в 45 м от края глубокого оврага, пересекающего платообразную равнину правого коренного берега р. Оки (городище лежит на противоположной стороне этого оврага), расстояние от места находки до русла р. Оки — 230 м, высота над уровнем воды в реке — 40 м.

Средняя мощность культурного слоя на посаде Ростиславля не превышает 40 см. Керамика и находки из слоя относятся к древнерусскому времени (XII—XIV вв.), однако кроме них здесь собрано несколько обломков сетчатой и гладкостенной лепной керамики раннего железного века, а также более 20 кремневых отщепов и обломков изделий. Находку каменного топора тут нельзя считать случайной, поскольку неподалеку от него был найден обломок другого каменного сверленого топора (относившегося к типу обушковых усеченно-конических). В то же время никаких других находок или керамики эпохи бронзы здесь пока не встречено.

Топор изготовлен из темно-красного кварцита (встречается на Русской равнине в виде валунов) и тщательно отшлифован, на лезвии и обухе имеются явные следы сильной изношенности, а также мелкие сколы. Его длина 121 мм, максимальная ширина 50 мм, длина лезвия 75 мм, диаметр обушка составлял, вероятно, 50—55 мм. На более узкой боковой стороне топора есть небольшое углубление диаметром 25 мм — начатая, но не завершенная сверлина (рис. 1, 2). Форма топора уникальна, прямые аналогии для нее отсутствуют. Выделяются три главные особенности этого топора.

1. Наличие двух ярковыраженных симметричных округлых лопастей на лезвии. Двулопастные каменные топоры вообще чрезвычайно редки в лесной зоне Восточной Европы. В Московской группе памятников фатьяновской культуры известен лишь один такой экземпляр, но он имеет совершенно иную (ромбическую) форму, узкий обушок и несимметричные лопасти [1, с. 31, табл. XVI, 3]. Две округлые лопасти встречаются лишь на топорах кабардино-пятигорского типа [2, рис. 44, 15—17; 3, рис. 21, 2], близких по форме топорах, находимых в лесостепной зоне [4, рис. 47], и в степной Украине [5, рис. 36, 4, 7], где их связывают с северокавказским импортом [5, с. 91], однако все они имеют перегиб тулова — с вогнутой нижней и выпуклой верхней сторонами, что совершенно не характерно для нашего экземпляра.

2. Сочетание двулопастного лезвия с пестикообразным обухом. Среди фатьяновских топоров подобное сочетание аналогов не имеет. При этом следует отметить, что у половины однолопастных топоров имеется обушок с выраженной головкой [1, с. 31, табл. X, 9], а некоторые исследователи объединяют все лопастные топоры в один тип (ладьевидных топоров) [6, с. 25, табл. 17]. Сочетание двулопастного лезвия с пестиковым обухом характерно также для топоров ка-

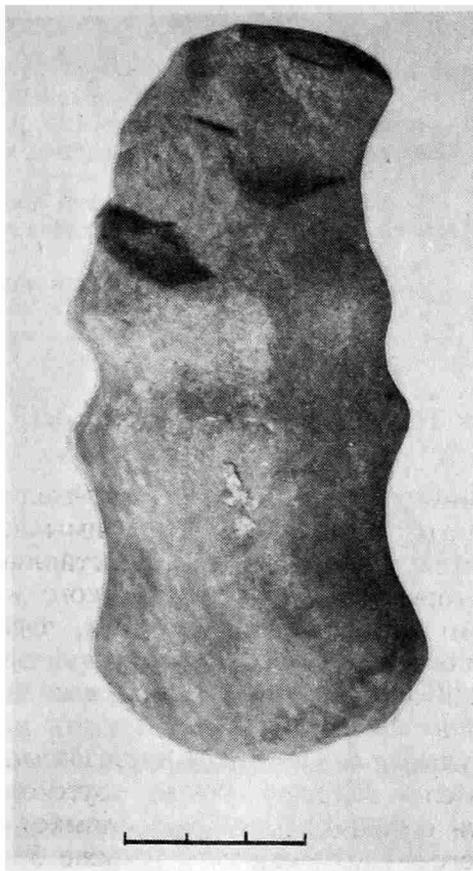


Рис. 1. Топор из Ростиславля Рязанского. Фото

бардино-пятигорского типа и их аналогов. По очертаниям *en face* публикуемый экземпляр наиболее близок немногочисленной группе фатьяновских топоров, которые выделены Д. А. Крайновым в особый тип пестиковых топоров [8, с. 57, рис. 21, 12—14], встречающихся главным образом в восточной зоне фатьяновской культуры — на правобережье Средней Волги. Интересно, что среди них известны и топоры с начатками сверлины [8, рис. 21, 14].

3. Наличие глубокого кольцевого желобка, опоясывающего топор в том месте, где должна была проходить сверлина. На сверленных топорах подобный элемент вообще нигде не встречается, но орудия с «желобчатым перехватом», включающие клиновидные топоры и молоты подцилиндрической формы, крепившиеся к топоричу при помощи шнура, пропущенного по желобу, известны в Среднем Поволжье на территории балановской культуры [7, табл. 22, 45; 47, 14], т. е. в том же регионе, что и пестиковые топоры фатьяновской культуры. Кроме того, такие орудия найдены в бассейне Дона (Воронежская и Харьковская области) [4, рис. 90; 9, табл. LXXVII, 1]. Однако для всех подобных топоров характерна примитивная форма, резко отличающаяся от изящных очертаний ростиславльского топора. Возможно, кроме утилитарной функции, кольцевой желобок имел и декоративное назначение.

В морфологии топора из Ростиславля прослеживается связь с четырьмя различными типами каменных топоров:

1) Пестиковыми фатьяновскими топорами, атрибуция которых в роли боевых вызывает у исследователей сомнения; допускается и культовое их назначение. Поздняя датировка топоров этого типа аргументированно доказана Д. А. Крайновым [8, с. 59].

2) Обушковыми коротколопастными боевыми топорами, распространенными преимущественно в Волго-Окском междуречьи и Поочье [8, с. 55].

3) Топорами кабардино-пятигорского типа, получившими распространение в эпоху расцвета северокавказской культуры (2-й этап, 1700—1500 гг. до н. э.)

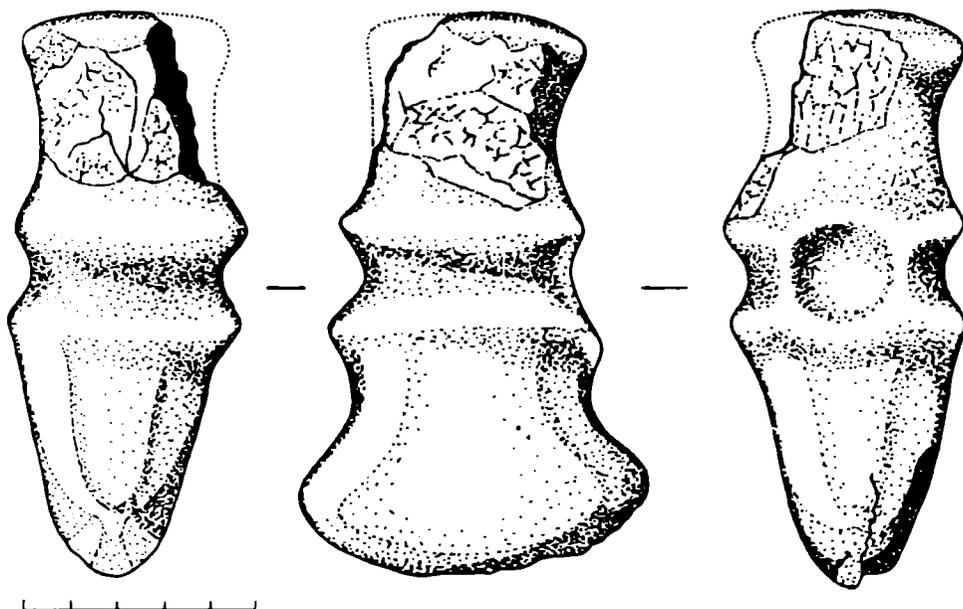


Рис. 2. Топор из Ростиславля Рязанского. Прорись

[2, с. 86, 102] и попадавшими в виде импорта в степную и лесостепную зоны Восточной Европы.

4) Клиновидными топорами с «желобчатым перехватом», встречающимися в лесостепной зоне и Среднем Поволжье.

Таким образом, топор из Ростиславля допустимо отнести к типу пестиковых фатьяновских топоров, форма которого усложнена кольцевым желобком и двулопастным лезвием, обычным для пестиковых топоров иной генерации (северокавказского происхождения). Возможно, в этом изделии оказались синтезированы местные (Поочье, коротколопастные топоры), южные (лесостепь, Северный Кавказ) и восточные (Среднее Поволжье) традиции изготовления каменных сверленых топоров, причем материал указывает на его местное изготовление. Каменные топоры подобных вычурных форм обычно атрибутируются как навершия, церемониальные топоры или знаки власти [4, с. 80, 85; 10, с. 174] «сравнительно позднего времени» [6, с. 28]. Подобная атрибуция и датировка (серединой — второй половиной II тыс. до н. э.) допустимы и для данного случая.

Остается неясным, каким образом этот каменный топор и упомянутый выше обломок другого топора оказались на территории посада древнерусского города. Вероятно, еще в древности они были найдены и использовались в хозяйстве горожан. Об этом свидетельствуют следы изношенности на лезвии и обухе топора, сколы на обухе и следы действия огня на лезвии, которые могли появиться лишь при использовании его в качестве рабочего инструмента, что невозможно допустить для эпохи, когда это изделие (знак власти либо культовый топор) было создано.

Нельзя также исключать возможность того, что оба упомянутых топора происходят из могильника эпохи бронзы, существовавшего непосредственно на месте посада Ростиславля. Подтвердить или опровергнуть это предположение позволят дальнейшие работы на городище.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крайнов Д. А. Памятники фатьяновской культуры. Московская группа//САИ. 1963. Вып. В1—19.
2. Марковин В. И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы//МИА. 1960. № 93.
3. Нечитайло А. Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев: Наук. думка, 1978.
4. Äугärpää А. Über die Streitaxtkulturen in Russland//ESA. 1933. № 8.
5. Нечитайло А. Л. Связи населения степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. Киев: Наук. думка. 1991.

6. Брюсов А. Я., Зимина М. П. Каменные сверленные боевые топоры на территории Европейской части СССР//САИ. 1966. Вып. В4—4.
7. Бадер О. Н., Халиков А. Х. Памятники балановской культуры//САИ. 1976. Вып. В1—25.
8. Крайнов Д. А. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура. II тыс. до н. э. М.: Наука, 1972.
9. Сібільов М. В. Старовинності Ізюмщини. Ізюм, 1930. Вып. IV.
10. Санжаров С. Н. Каменные сверленные топоры-молотки Донбасса//РА. 1992. № 3.

Центр археологических исследований
Управления госконтроля охраны и использования
памятников истории и культуры г. Москвы

О. Н. ЕНУКОВА

РОМЕНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ ИЗ ЛЕБЯЖЬЕГО

При раскопках в 1965—1966 гг. безкурганного могильника колочинского времени около с. Лебяжье Курского р-на Курской обл. Ю. А. Липкингом было обнаружено труположение с роменским горшком. Краткая информация о нем содержится в публикации автора, где захоронение было датировано X—XI вв. [1, с. 151]. К IX в. погребение отнес Н. А. Тихомиров, опубликовавший лебязинские материалы в более полном виде [2, с. 145]. А. П. Моця рассматриваемый комплекс датировал X в. [3, с. 119, табл. 1, 26].

Конкретный анализ материалов, а также архива Ю. А. Липкинга, хранящихся в Курском государственном областном музее археологии, позволяет существенно уточнить дату захоронения и наметить место, которое оно занимает в общем массиве погребальных древностей летописного «Посемья». Кроме того, в публикации Ю. А. Липкинга есть некоторые неточности и опечатки¹.

Труположение (погр. А по Ю. А. Липкингу) располагалось в крайней восточной части могильника [1, с. 143, рис. 3]. С трех сторон его окружали трупосожжения в ямах конца VI — начала VIII вв. [2, с. 145]. Насыпь отсутствовала. По предположению Ю. А. Липкинга, она была уничтожена распашкой и ветром [1, с. 151]. А. П. Моця определил лебязинское погребение как труположение в подкурганной яме, аргументируя это тем, что бескурганные некрополи X—XI вв. на территории Днепровского Левобережья до сих пор не выявлены [3, с. 119]. Действительно, есть основания полагать, что покойная была помещена в неглубокой яме. Так, захоронения колочинского времени в Лебязьем располагались примерно на той же глубине (0,5—0,8 м), причем размещение их именно в ямах сомнения не вызывает. Кроме того, сам Ю. А. Липкинг отмечал, что уровень поверхности почвы до позднейшей распашки был выше [1, с. 142].

Скелет женщины, обнаруженный на глубине 0,6 м, располагался вытянуто, на спине, с руками вдоль тела, головой на ЮЗЗ [4]. У правой ступни стоял лепной роменский горшок с веревочным орнаментом (рис. 1, 12). Около виска были найдены перстнеобразное бронзовое височное кольцо со слегка заходящими концами (рис. 1, 11), монетовидная сердоликовая бусина (рис. 1, 8), а также стеклянная четырехчастная лимоновидная пронизка белого цвета (рис. 1, 2). В области правого плеча — аналогичное височное кольцо (рис. 1, 9), сердоликовые призматическая (рис. 1, 6) и монетовидная (рис. 1, 7) бусины. Возле левого плеча — две призматические сердоликовые бусины (рис. 1, 4, 5) и стеклянная синяя двухчастная пронизка, изготовленная в технике навивки (рис. 1, 3). Около

¹ Вместо «перстня» — «браслет»; из восьми бусин, найденных при погребенной, указаны только четыре.

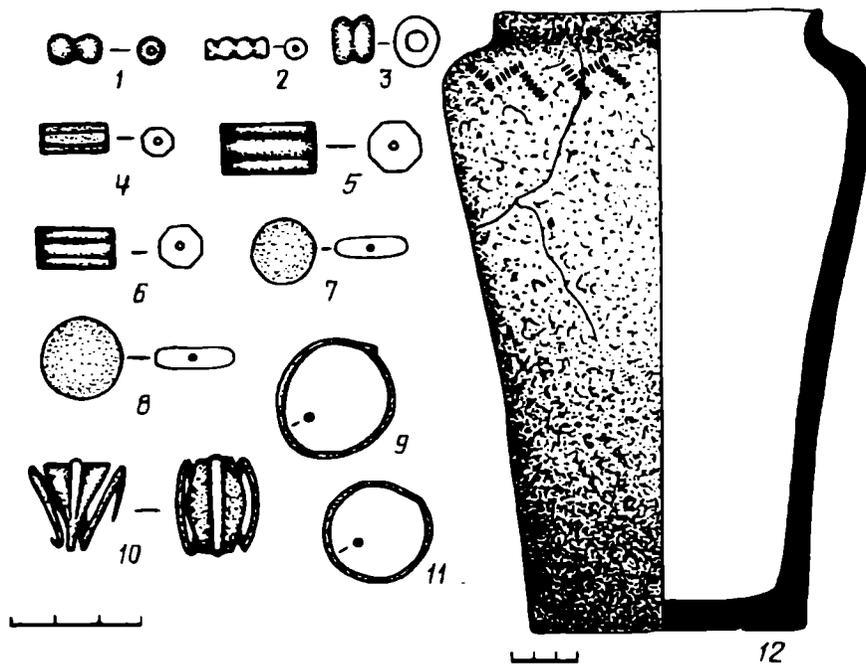


Рис. 1. Вещи из погребения. 1—3 — стекло, 4—8 — сердолик; 9—11 — бронза; 12 — глина

копчиковой кости находилась еще одна двухчастная стеклянная пронизка темно-серого цвета, изготовленная в той же технике (рис. 1, 1). На указательный палец был надет бронзовый овальнощитковый перстень, украшенный продольновыпуклым ребром и насечками (рис. 1, 10).

Обнаруженные в погребении вещи позволяют достаточно точно датировать его. Время бытования сердоликовых призматических бус на территории Восточной Европы ограничивается IX—XI вв. [5, с. 26], но характерны они в основном для захоронений X—XI вв. [6, с. 98; 7, с. 170; 8, с. 99]. Монетовидные сердоликовые бусы были встречены в комплексах VI—XII вв. [5, с. 48]. М. В. Фехнер по курганным материалам ряда древнерусских областей датирует их X—XII вв. [9, с. 177]. Подобные бусы были найдены также в одном из погребений в Липино, которое по вещам надежно датируется концом X — началом XI вв. (группа 1, к. 111) [10]². К X—XI вв. относятся синие двухчастные пронизки [11, с. 78]. До начала XI в. были распространены ближневосточные лимоновидные бусы [12, с. 163], хотя, по Б. А. Колчину, отдельные их экземпляры встречаются до середины этого столетия [13, с. 168]. Усатый перстень относится к типу, распространенному в конце X — начале XII вв. [14, с. 257]. Таким образом, совершение лебяжинского захоронения следует отнести к концу X — началу XI вв.

В Курском Посеймье, помимо Лебяжьего, труположения с лепной роменской керамикой были обнаружены в Липино (к. 3, 99, 107, 109, 111 в группе 1 и к. 1 в группе 2) [10]. Все они, как и в Лебяжьем, совершены в неглубоких ямах, от 0,15 до 0,9 м. Скелеты плохой сохранности, поэтому положение рук (вдоль тела) установлено только в одном случае (к. 3 группы 1). Судя по всему, весьма характерным для этих захоронений были обычай разбивать сосуды. Однако в двух случаях (к. 109 группы 1 и к. 1 группы 2) наряду с разбитыми в ногах погребенного, как и в Лебяжьем, был поставлен целый горшок. Таким образом,

² В погребении были найдены следующие предметы: 6 бронзовых перстнеобразных височных колец с заходящими концами, бусы — хрустальная эллипсоидная уплощенная, 5 сердоликовых монетовидных, стеклянная синяя призматическая с белыми глазками, стеклянная круглая красная с белыми глазками, стеклянная многогранная красно-черно-синяя глазчатая, 6 золотостеклянных бочонковидных с каймой, глиняный лепной сосуд, орнаментированный по венчику, фрагменты дна и стенок кругового сосуда.

с точки зрения обрядности погребение из Лебяжьего очень близко липинским. Аналогичен и инвентарь: перстнеобразные височные кольца, бусы, усатые пластинчатые перстни. Некоторые различия наблюдаются только в керамике: в Лебяжьем лепной горшок не сопровождался круговыми сосудами, что было характерно для Липино. А. В. Григорьев, анализирувавший труположения из Липино, отнес их ко времени не позднее XI в. [15, с. 87].

Таким образом, ранние липинские погребения и захоронение из Лебяжьего образуют единую группу по крайней мере одного из вариантов последующего развития обрядности в регионе (более поздние труположения в подкурганых ямах с древнерусской круговой керамикой в Липино). В рамках этой группы, судя по сочетанию керамики, лебяжинское погребение является самым ранним.

Роменские труположения в подкурганых ямах немногочисленны. Ряд исследователей связывает появление такой обрядности на северянской территории с влиянием полян, которые несли власть киевских князей на соседние земли [16, с. 139; 17, с. 27; 18, с. 82]. Вероятно, на появление обычая совершать захоронения в ямах сказалось и влияние христианства [3, с. 124; 17, с. 27].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Липкин Ю. А. Могильники третьей четверти I тыс. н. э. в Курском Посеймье // Раннесредневековые восточнославянские древности. Л.: Наука, 1974.
2. Тихомиров Н. А. Княжинский и Лебяжинский могильники // Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Вып. 1. Курск, 1990.
3. Моця А. П. Некоторые сведения о распространении христианства на юге Руси по данным погребального обряда // Обряды и верования древнего населения Украины. Киев: Наук. думка, 1990.
4. Липкин Ю. А. Могильник Лебяжий. План погребений // Архив Курск. гос. обл. музея археологии. № 9/3.
5. Полубояринова М. Д. Украшения из цветных камней Болгара и Золотой Орды. М., 1991.
6. Равдина Т. В. Погребения с древнерусскими монетами // СА. 1979. № 3.
7. Рябинин Е. А. Бусы Старой Ладogi (по материалам раскопок 1973—1975 гг.) // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., 1982.
8. Школьникова Н. А. Стекланные украшения конца I тыс. н. э. на территории Поднепровья // СА. 1978. № 1.
9. Фехнер М. В. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни // Тр. ГИМ. 1959. Вып. 33.
10. Липинские курганы. Коллекционная опись 1949 г. // Архив Курск. гос. обл. музея археологии. № 20/3.
11. Львова З. А. Стекланные бусы Старой Ладogi // АСГЭ. 1968. Вып. 10.
12. Шапова Ю. Л. Византия и Восточная Европа. Направления и характер связей в IX—XII вв. (по находкам стекла) // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М.: Изд-во МГУ, 1991.
13. Колчин Б. А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. М., 1982.
14. Недошивина Н. Г. Перстни // Тр. ГИМ. 1967. Вып. 43.
15. Григорьев А. В. К вопросу о погребальном обряде северян VIII — нач. XI вв. // Питания археологии Сумщины. Суми, 1990.
16. Седов В. В. Восточные славяне в IV—XIII вв. // Археология СССР. М.: Наука, 1982.
17. Русанова И. П. Курганы полян X—XII вв. // Свод. археол. источников 1966. Вып. Е1—24.
18. Шинаков Е. А. «Восточные территории» Древней Руси в конце X — начале XIII в. (этнокультурный аспект) // Археология славянского юго-востока: Материалы к Межвуз. науч. конф. Воронеж: Ворон. пединститут, 1991.

Курский государственный
областной музей археологии

С. В. БЕЛЕЦКИЙ, В. И. КИЛЬДЮШЕВСКИЙ

ПЕЧАТЬ ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, ТИУНА НОВГОРОДСКОГО ИЗ РАСКОПОК В ПСКОВЕ

В 1987 г. при проведении охранных раскопок на Запсковье в Пскове (Богоявленский 5-й раскоп) была найдена вислая свинцовая печать (рис. 1). На лицевой стороне размещена четырехстрочная надпись ПЕЧ/ТЬ ТИМ/ОФЪЯ
ВА/СИЛЬЕВ. Пятая строка не читается и, судя по всему, отсутствовала, хотя



Рис. 1. «Печать Тимофея Васильевича, тиуна новгородского» из Пскова. 1 — аверс; 2 — реверс

окончание слова напрашивается. На оборотной стороне буллы размещена четырехстрочная надпись **ТИВУ/НА НОВ/ГОРОЧ/ЬКОГО**. Диаметр буллы 29—30 мм. Стратиграфическое положение находки в слое, к сожалению, ничего не добавляет к характеристике печати: булла была обнаружена при зачистке поверхности котлована после снятия верхней части балласта при помощи землеройной техники.

Для Пскова печати, оформленные двусторонними строчными надписями и включающие в текст легенды имя и титул владельца, не характерны. Однако непсковское происхождение находки очевидно из формулы легенды. Печать принадлежала новгородскому тиуну Тимофею Васильевичу. Аналогичным образом оформленные печати, принадлежащие трем парам матриц, зафиксированы в Корпусе актовых печатей древней Руси [1, № 649—651]. В. Л. Янин не исключает, что все эти печати принадлежали одному лицу, и датирует буллы началом XV в. [1, с. 111]. Печать, найденная в Пскове, по матрицам не соответствует уже известным печатям Тимофея Васильевича, однако принадлежность буллы тому же самому должностному лицу весьма вероятна. Таким образом, число известных пар матриц тиунской печати Тимофея Васильевича увеличивается до четырех. Аналогичным образом оформленные печати новгородских тиунов известны (на 1969 г.) в количестве не менее 104 экз. от 54 пар матриц [1, с. 205—213, № 615—667].

Н. П. Лихачев, анализирувавший известные на момент подготовки «Сфрагистического альбома» буллы, не исключал появление рассматриваемого разряда еще в XIII в., однако относил большинство известных ему печатей к XIV—XV вв. [1, с. 106, 107]. В. Л. Янин, первым предпринявший поматричный анализ тиунских печатей Новгорода [1, с. 107, 108, 205—213], был склонен помещать «всю группу тиунских печатей в хронологические рамки конца XIII — начала XIV вв.» [1, с. 111]. Исследователь связал данный тип сфрагистической регалии с деятельностью купеческих старост Новгорода, упоминаемых в источниках конца XIII—XV вв. [1, с. 108—110].

Думается, есть некоторые основания для уточнения хронологических границ бытования тиунских печатей Новгорода. Точно так же в Новгороде оформлялись печати посадников [1, с. 197—199, № 580—589], тысяцких [1, с. 201—203, № 595—607], соцкого [1, с. 241, № 613а]. Аналогичным образом были оформлены и печати великокняжеских тиунов, происходящие из новгородских находок [1,

Должностная принадлежность держателя буллотирия	Места находок печатей									
	Новгород			Любек	Тверь	Рига	Ладога	Русса	Псков	Орешек
	городище	?	вне городища							
Посадники	—	6	1	2 *	2 *	1 *				
Тысяцкие	1	5	1	2 *	4 *	3 *				
Великокняжеские тиуны	6	7	1				1			
Новгородские тиуны	20	61	6					1 **	1 **	1

Примечание. Количественные данные взяты на [1]. * Печать сохранилась при документе.
** Печати «Тимофея Васильевича».

с. 171, 172, № 442, 444, 445—447, 449, 450]. Подавляющее большинство перечисленных памятников несомненно относится к последней четверти XIV — первой четверти XV в. Исключение составляет, пожалуй, только булла № 595 Корпуса, сохранившаяся при документе начала XIV в. [1, с. 201], но она отличается от прочих печатей рассматриваемого разряда не только отсутствием отчества владельца, но и отсутствием упоминания в легенде факта его новгородской деятельности.

Таким образом, можно считать рассматриваемый разряд печатей — буллы, оформленные двусторонними строчными надписями с именем и титулом владельца, — характерным для новгородского чиновничества разного ранга именно в последней четверти XIV — первой четверти XV вв., не исключая, разумеется, того, что сфрагистический тип новгородской чиновничьей печати сформировался в более раннее время, а доживал еще в середине XV в. Отсутствие на тиунских печатях в массе своей отчества держателя буллотирия, как представляется, еще не аргумент в пользу ранней датировки булл. На протяжении всего XIV в. на булле высших боярских магистратов Новгорода, оформленной двусторонними текстовыми легендами, формула легенды содержит имя и отчество владельца, и даже при отсутствии титула [1, № 584—586, 696, 600, 672, 673]. Единственное исключение — печать № 598 Корпуса, легенда на которой содержит имя владельца и полный титул.

Вопрос о границах юрисдикции новгородских тиунов специально ставился В. Л. Яниным. Исследователь подчеркивал, что новгородские тиунские печати не имеют отношения к деятельности новгородских тиунов, известных по новгородско-княжеским докончаниям и отправлявших должностные обязанности за пределами Новгорода [1, с. 107]. Действительно, подавляющее большинство известных тиунских печатей Новгорода обнаружено в самом городе. Но можно отметить и еще одну любопытную особенность рассматриваемого сфрагистического разряда. В то время как аналогично оформленные печати посадников и тысяцких слабо связаны с комплексом архива на городище, а печати великокняжеских тиунов, напротив, концентрируются именно на городище, печати новгородских тиунов сравнительно широко представлены и в городищенском комплексе, и в черте города вне комплекса городищенских находок (табл.). В то же время тиунские печати Новгорода, в отличие от печатей посадников и тысяцких, почти не уходят за пределы Новгорода.

Таким образом, именно скрепленные тиунской печатью документы оседали в городских кварталах Новгорода, «хранились за иконой или в ларе... горожанина»

[2, с. 157]. В то же время документы, скрепленные печатью посадника и тысяцкого, по преимуществу уходят за пределы Новгорода, а документы, утвержденные великокняжескими тиунами, прежде всего оседают в комплексе городищенского архивохранилища. Как ни расценивать это наблюдение, можно сформулировать по крайней мере два вывода: 1) области юрисдикции тиунов, тысяцких и посадников Новгорода были различными; 2) в пределах своих должностных обязанностей новгородские тиуны обладали всей широтой полномочий.

А. Ф. Медведев предлагал отождествлять владельца печати, найденной в Старой Руссе и несущей на обеих сторонах аналогичную псковской находке легенду, с Тимофеем Васильевичем, избранным в 1416 г. в новгородские посадники [3, с. 285, 286, рис. 2 : 6 на с. 280]. В. Л. Янин отказался от этого отождествления, считая, что печати новгородских тиунов принадлежали представителям купеческих, а не боярских семейств [1, с. 111]. Однако единственным аргументом В. Л. Янина против отождествления, предложенного А. Ф. Медведевым, стала собственная гипотеза о принадлежности печатей купеческим старостам, чрезвычайно интересная, но все-таки только гипотеза. Датировку печатей Тимофея Васильевича «сравнительно поздним временем» В. Л. Янин не отрицал.

Ни в коем случае не настаивая на атрибуции печатей Тимофея Васильевича, предлагавшейся А. Ф. Медведевым, отметим, что отправление одними и теми же лицами в разные годы различных должностей в аппарате управления Новгорода фиксировалось неоднократно [1, с. 100, 101]¹. В свете изложенного выше рискнем предположить, что тиунское в Новгороде могло быть одной из первых ступеней в карьере представителя новгородской боярской семьи — ступенью, предшествовавшей баллотировке чиновника на должность тысяцкого точно так же как тысяцкое предшествовало (или, по крайней мере, могло предшествовать) избранию в посадники².

Вне зависимости от происхождения Тимофея Васильевича, обнаружение его печати в Пскове свидетельствует об активности этого чиновника и, возможно, о его особых полномочиях: две из пяти известных теперь печатей Тимофея Васильевича, тиуна новгородского, найдены за пределами Новгорода (Псков, Русса), еще одна происходит из городищенского комплекса (о месте находки двух печатей сведений нет). На вероятность особых полномочий, которыми мог обладать Тимофей Васильевич, указывает и наличие четырех пар матриц его печати, свидетельствующих о необходимости по меньшей мере трижды обновить буллотирый.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Янин В. Л. Актовые печати древней Руси X—XV вв. Т. 2. М.: Наука, 1970.
2. Янин В. Л. Актовые печати древней Руси X—XV вв. Т. 1. М.: Наука, 1970.
3. Медведев А. Ф. Из истории Старой Руссы // СА. 1967. № 3.
4. Янин В. Л. Новгородские посадники. М.: Изд-во МГУ, 1962.

Институт истории
материальной культуры,
Санкт-Петербург

¹ Посадники Александр Игнатьевич, Борис Васильевич, Василий Александрович Казимир, Дмитрий Васильевич Глухов и др. [4].

² Комментируя списки тысяцких, имеющиеся в летописи, В. Л. Янин объяснял ряд пропусков в них следующим образом: «Для всех перечисленных здесь лиц... характерно одно обстоятельство, отличающее их от тех тысяцких, имена которых включены в список. Все они после того, как побывали в степени тысяцкого, были избраны в число посадников, и поэтому их имена оказались включенными не в список тысяцких, а в список посадников» [1, с. 101]. Значительная часть новгородских тысяцких в посадники не избиралась. Точно так же, вероятно, подавляющее большинство тиунов никогда не «дослуживалось» до тысяцкого.

КАМЕНЬ С ЧАШЕЧНЫМИ УГЛУБЛЕНИЯМИ С «ЧЕРТОВА ГОРОДИЩА» ПОД КОЗЕЛЬСКОМ

Культовые камни — уникальные археологические объекты, привлекающие внимание большого числа исследователей, особенно в последние 20 лет. Накопленные к настоящему времени сведения о них послужили основанием для попытки создания их классификации и определения хронологии в разных регионах Восточной Европы [1—3]. Одной из групп культовых камней являются камни с выемками, известные в литературе как камни с «отверстиями», с «углублениями», «чашечные» и т. п. Один из таких камней был обнаружен и обследован в урочище «Чертово городище» Козельского района Калужской обл. (рис. 1) [4, с. 59].

Урочище находится приблизительно в 18 км к северо-востоку от г. Козельска и в 8 км к северо-востоку от пос. Сосенский на правом коренном берегу речки Любучи (Любутка, Любушка, Чертовская Песочня). Это место интересно еще тем, что представляет собой остаток поверхности каменноугольного периода с выходами наружу серо-желтого песчаника. В результате нагромождений песчаниковых глыб здесь образовалось множество пещер и гротов, где растут реликтовые мхи и папоротники. С урочищем связана довольно поздняя легенда о существовавшем тут некогда замке черта [5].

Во время обследования урочища А. С. Фроловым в 1987 г. здесь было обнаружено городище [6], впоследствии, в 1991—1993 гг. изучавшееся О. Л. Прошкиным. Городище находится на мысу. Площадка в плане имеет подтрапециевидную форму с размерами по оси с запада на восток 80—90 м, с севера на юг 90—100 м и возвышается над летним урезом воды в речке на 18—22 м. С напольной восточной стороны она защищена валом Г-образной формы высотой до 2,5 м, за которым сохранились остатки рва глубиной до 2 м. Хорошо видны следы древних въездов на городище. Один из них поднимается по юго-восточному и восточному склонам мыса на протяжении около 100 м, другой — с северо-восточной стороны. Оба въезда сходятся в одном месте, у северо-западного края городища, где вал частично прерывается, образуя проезд на площадку шириной до 4 м. Здесь же в разрыве вала, в его основании лежат крупные песчаниковые глыбы прямоугольной формы. Культурный слой в центре площадки имеет мощность до 0,35 м (светло-серая рыхлая супесь) и содержит фрагменты лепной, тонко- и толстостенной, серо-, красно- и коричневоглиняной, с грубыми минеральными примесями в тесте посуды с шероховатой поверхностью первой половины I тыс. н. э. Это фрагменты небольших горшков со слабо отогнутыми наружу венчиками и плавно расширяющимся туловом (рис. 2). Донце горшков плоское, с закраиной. Аналогичная керамика известна в коллекции с городища Дуна, где она соответствует второму периоду жизни на поселении [7, с. 6, рис. 2]. Она также близка ранним типам сосудов с Огубского городища [8, рис. 40] и сосудам верхнего слоя городища Троицкое [9 рис. 27]. Некоторые общие черты наблюдаются и с керамикой типа среднего слоя городища Тушемля [10]. Таким образом, найденная здесь лепная керамика имеет аналогии на довольно обширной территории бассейнов Верхней Оки и Верхнего Днепра. Найдены на городище и кусочки железного шлака.

На мысовой, северо-западной части площадки был обнаружен камень, на поверхности которого находились шесть небольших воронкообразных и цилиндрических углублений диаметром от 2 до 7 см и глубиной от 4 до 20 см. Видимая часть камня имела трапециевидную форму с размерами сторон 67×115×28×105 см и возвышалась над современной дневной поверхностью на 5—26 см. Данный камень был зафиксирован авторами условно как культовый и отнесен к группе



Рис. 1. Камень с отверстиями до раскопок

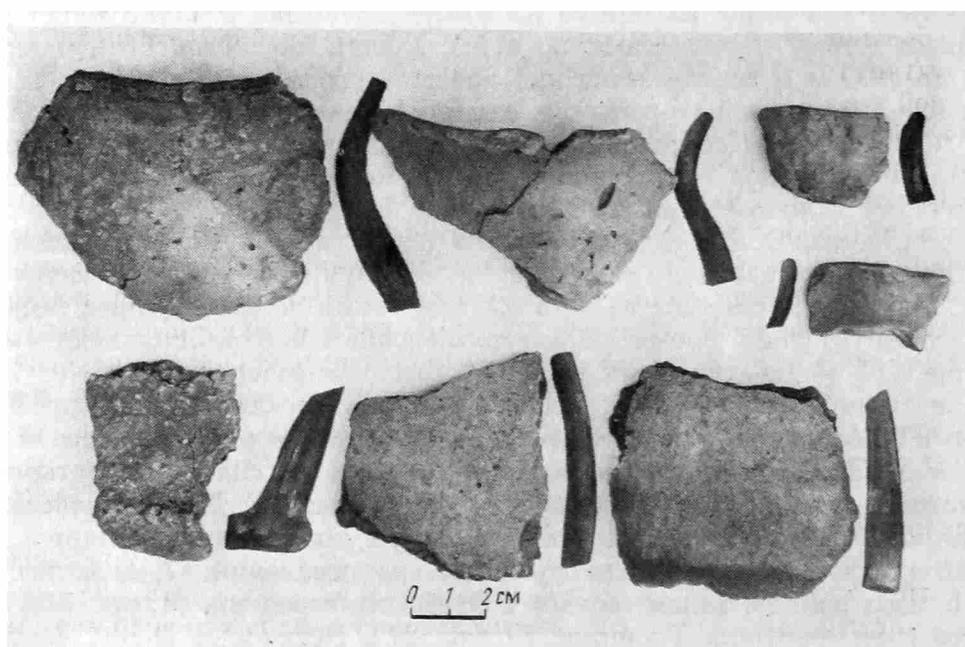


Рис. 2. Фрагменты лепных сосудов, найденные на городище. Подъемный материал

чашечных с круглыми углублениями [4, с. 59]. Основанием к подобной интерпретации камня послужили многочисленные аналогии, известные на территории Новгородской, Санкт-Петербургской, Псковской областей, в Прибалтике, Белоруссии, а также в Центральной Европе и на юге Фенноскандии.

В 1992 г. на городище были проведены небольшие раскопки с целью проверки культового характера камня с отверстиями. Раскоп площадью 18 м² захватил сам камень и прилегающую к нему территорию. В результате раскопок выяснилось

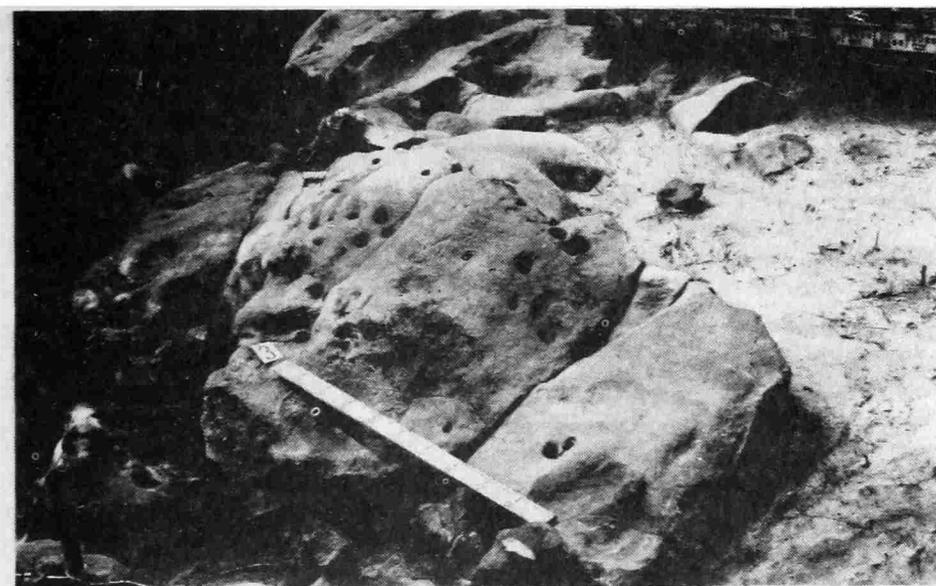


Рис. 3. Камень с отверстиями после раскопок

следующее. Конфигурация и размеры камня стали иными по сравнению с тем, когда он был виден над современной поверхностью. В плане камень был аморфной, слегка вытянутой с запада на восток формы, длиной по центральной оси 2,6 м и шириной от 0,75 до 1,62 м и возвышался над уровнем материка на 52 см. Нижняя часть его углублялась в материк. Количество выявленных углублений на его поверхности увеличилось до 25. Все они имели форму узких лунок диаметром от 2 до 7 см и глубиной от 1,5 до 20 см (рис. 3).

С юга и северо-запада к камню примыкало еще несколько песчаниковых глыб, но без каких-либо отверстий и знаков на поверхности. На камне и у его южного основания найдено шесть фрагментов лепного коричневоглиняного сосуда с орнаментом в виде владений по краю венчика. Культурный слой в пределах раскопа отсутствовал. В северо-западной части раскопа на площади около 8 м² под дерном, на материке местами лежала прослойка серой рыхлой супеси (остатки перегнившего дерна) толщиной до 12 см. В остальной части преобладал супесчаный слой белесоватого оттенка толщиной до 10—13 см, также лежавший на материке под дерном. В 2 м от камня к востоку было зафиксировано пятно, выделявшееся более темным цветом из-за содержания в нем мелких угольков.

Большой интерес представляют данные геологического и химического анализов камня и состава слоя вокруг него¹. Камень с отверстиями — кварцевый мелкозернистый песчаник, предположительно мелового возраста (подобные песчаники встречаются на Мещовском ополье, по берегам р. Брынь и Серпейка в пределах Калужской обл., в верховьях р. Оки в Орловской обл. и других местах). Отверстия на его поверхности — углубления от остатков стволов растений того времени или остатки жилищ древнейших моллюсков. В нескольких отверстиях при расчистке камня нами зафиксированы остатки окаменелостей, повторяющих формы растительных или живых существ в виде цилиндриков. Химический анализ слоя выявил следующий его состав: песок — 78,5%, зола — 21,5%, органика — 1%.

Таким образом, отверстия, как и сам камень, имеют естественное происхождение. Однако возможность его использования в качестве культового в период существования здесь городища вполне вероятна. Косвенными свидетельствами

¹ Анализы выполнены В. П. Есиповым и М. В. Кузиной в химической лаборатории «Калуга-геология».

этому являются: отсутствие культурного слоя в данном месте (нежилая часть поселения); находки фрагментов лепного сосуда у камня; значительное содержание золы в составе слоя вокруг камня (при ее отсутствии в северо-западной части раскопа и в центре площадки).

Археологические раскопки у камней (валунов) с подобными и похожими углублениями, проводившиеся в Эстонии [11] и Латвии [2], доказали их культовый характер — связь с различными ритуальными действиями. Найденный при раскопках материал датируется от середины I тыс. до н. э. до позднего средневековья. В подавляющем большинстве случаев такие камни находятся вблизи водоемов, часто рядом с археологическими объектами.

О наличии культа камней у населения Калужской губернии вплоть до конца XIX в. свидетельствуют сведения, собранные В. М. Кашкаровым. Он писал: «На пространстве между верховьями Десны и Дона разсеяно значительное число громадных камней — валунов. Окрестное население почитает их, как священные предметы» [12, с. 8]. Местные крестьяне в конце прошлого столетия приносили камням «...ища их покровительства, жертвы деньгами, шерстью, шерстяными нитками, пищей и одеждой» [12, с. 8]. Нами, однако, никаких конкретных этнографических сведений, связанных с поклонением описываемому камню, у местного населения не зафиксировано.

Находка камня с подобными отверстиями в Калужской обл. не единственная. Несколько таких камней известно на северо-западной границе Мещовского ополья близ с. Серпейск и на окраине г. Кирова на р. Болве. Но при этом говорить об их культовом назначении без проведения раскопок, анализа топографии, геологического и других определений преждевременно. То же самое, на наш взгляд, касается и основной массы таких камней, зафиксированных исследователями в качестве культовых на основании лишь визуального осмотра.

Раскопки в урочище «Чертово городище» еще раз подтверждают необходимость строгого и тщательного подхода к изучению подобных объектов и разностороннего анализа получаемого при исследовании материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров А. А. О следах язычества на Псковщине//КСИА. 1983. Вып. 175.
2. Уртанс Ю. В. Культовые камни с углублениями в Латвии//КСИА. Вып. 190.
3. Шорин М. В. Вопросы классификации и датировки культовых камней (По материалам Новгородской обл.)//КСИА. 1991. Вып. 205.
4. Прошкин О. Л., Фролов А. С. Древний культовый камень в урочище «Чертово городище»// 5-я краеведческая конференция Калужской обл.: Тез. докл. Обнинск, 1990.
5. Рождественский Т. Свадебный замок дьявола//Нива. 1908. № 38.
6. Фролов А. С. Предварительные итоги работ Калужской экспедиции в 1985—1988 гг.//Материалы Боровских чтений. Боровск, 1988.
7. Носов Е. Н. Лепная керамика городища Дуна//КСИА. 1974. Вып. 140.
8. Никольская Т. Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тыс. н. э.//МИА. 1959. № 72.
9. Розенфельдт И. Г. Керамика Троицкого городища//Древнее поселение в Подмосковье. М., 1971.
10. Третьяков П. Н., Шмидт Е. А. Древние городища Смоленщины//М.; Л., 1963.
11. Краут А. Археологические раскопки в Куусалу//Изв. АН ЭССР. Сер. обществ. наук. 1981. № 4.
12. Кашкаров В. М. «Калужская старина». Т. 3. Калуга, 1903.

Калужский областной
краеведческий музей
Российский институт культурологии,
Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

Со времени создания ряда основополагающих трудов по истории малых форм в древнерусской церковной пластике, которыми пользуются сегодня исследователи средневековья, прошло не так уж много времени. В середине 1970—80-х гг. были изданы своды Т. В. Николаевой и А. В. Рындиной, многочисленные каталоги и отдельные публикации, принадлежащие перу этих и других (Т. И. Макаровой, М. В. Седовой, А. В. Чернецова, В. Г. Пуцко) авторов.

Однако совершенно очевидно, что тема эта далеко не исчерпана; ее исследование явно вступает в период расцвета. Углубляется герменевтика изображений и делается строже общий семантический подход. Исследователи отказываются удовлетворяться чрезмерно размытыми рамками традиционных дат, и тем более — принимать датировки, недостаточно обоснованные источниковедчески. Все больше усилий прилагается для выявления центров производства изделий, очерчивания местных художественных и ремесленных традиций, установления взаимозависимости их элементов.

Достаточно указать на регулярные конференции, организованные Центральным музеем древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, два выпуска материалов которых уже вышли, и на сборники «Древнерусская скульптура», издаваемые Сектором древнерусского искусства НИИ ТИИИ Российской Академии художеств.

Эта работа подталкивается не только научными интересами специалистов или вновь открывающимися перспективами развития церковной археологии как специального раздела исторической науки. Она вдохновляется постоянно умножающимися находками прекрасных образцов древнерусской пластики. Наиболее важны среди них памятники, найденные при раскопках в городах или могильниках, помогающие установить точное время, а иногда — и место их производства. Можно предположить, что новый анализ развития средневековой мелкой пластики Руси будет основан прежде всего на изучении строго документированных археологических материалов, которые послужат своего рода эталоном при трактовке давно известных шедевров, хранящихся в музеях.

Разумеется, подготовка и публикация новых сводов потребует длительного времени. Отдельные же, важные для истории искусства и материальной культуры находки делаются учеными ежегодно. Поиски их среди обширных и сложных по составу археологических комплексов (даже в тех редких случаях, когда памятники опубликованы полно и своевременно) — занятие трудоемкое и мало результативное. Кроме того, авторы публикации, как правило, не имеют возможности уделить каждой отдельной (даже особо интересной) находке столько места, сколько требуется при ее специальной публикации.

Небольшие заметки в журналах и сборниках дают больше возможностей для типологического, иконографического или технологического анализа. Однако и они остаются затерянными в инородном материале.

Представляется разумным попытаться видоизменить способ публикации художественно-значимых или особо важных в культурологическом отношении вещей, помещая статьи о них сериями.

Редколлегия журнала намерена при этом не только группировать поступающие заметки и статьи, но и целенаправленно искать аналогичные неопубликованные материалы, заказывать их публикации, сопровождать публикационные серии обобщающими, полемическими и иными концептуальными выступлениями (как поступающими, так и заказными).

Таким образом, будет не только облегчен поиск небольших информаций в общем потоке публикуемого, но и появится возможность вывести их на уровень предварительного обобщения, самим подбором материала предложить ряд гипотез или выразить определенную научную позицию.

Снабженные редакционными комментариями информационного или полемического свойства, приглашением к обсуждению и т. п., такие подборки заметок и публикаций способны осветить даже маленький материал или сообщение совершенно новым светом.

В качестве первого опыта такой публикации предлагается группа работ, посвященных находкам произведений древнерусской мелкой пластики.

Данная информация о редакционных планах должна рассматриваться и как приглашение присылать для публикации подобного рода материалы, а также концептуальные заметки или сообщения. Авторы таких дополнений выиграют в сроках публикации, поскольку их работы будут помещены в одной «связке» с ранее поступившими в редакцию текстами.

КАМЕННАЯ ИКОНКА «ВХОД В ИЕРУСАЛИМ»
ИЗ СТАРОЙ ЛАДОГИ *

В 1976 г. при разведочных раскопках на Малышевой горе в северной части современного г. п. Старая Ладога (Волховский р-н Ленинградской обл.), близ западной стены церкви «Рождество Иоанна Предтечи», в предматериковом слое вместе с другими находками XIII—XV вв. был обнаружен фрагмент иконки, вырезанной из почти повсеместно распространенной породы камня — мергеля [2, с. 30]. Сохранившиеся размеры изделия 4,55 × 3,2 см (утрачена нижняя треть).

Лицевую плоскость находки занимает композиция «Вход в Иерусалим» — евангельский сюжет, не часто встречаемый в древнерусской пластике. Например, среди 423 изображений на 323 иконках, учтенных Н. Г. Порфиридовым, мотив «Вход в Иерусалим» отмечен лишь в одном случае [3, с. 200—207]. Малочисленность подобных сюжетов, присутствие отдельных элементов, несущих на себе явное влияние византийского искусства эпохи Палеологов и сочетающихся в данном изображении с русской надписью, а также бесспорное мастерство резчика позволяют отнести старолadoжскую находку, несмотря на значительные утраты, к уникальным образцам древнерусской мелкой пластики.

Рельефное изображение обрамляет бортик шириной 0,4—0,6 см, на котором выделяется узкая рамка. В центре рельефа помещена фигура Христа, сохранившаяся частично, а по краям располагаются два сооружения. У подножья одного из них, занимающего правую часть иконки, были вырезаны еще несколько фигур (эта часть изображения сохранилась фрагментарно). На втором плане композиции, за фигурой Христа, выделяются гора и дерево, на ветвях которого — маленькая человеческая фигура (рис. 1). В левом верхнем углу — под бортиком — сохранилась русская надпись **ВХДВЪЕРСАМЪ** (рис. 2). По палеографическим признакам надпись можно датировать XII—XIV вв.¹, но учитывая, что некоторая архаичность в начертании букв с признаками XII в. встречается на резных камнях более позднего времени [5, с. 69], уточнение даты надписи возможно в сторону омоложения нижней хронологической границы. В целом, учитывая тщательность и характер проработки деталей композиции, которые, по мнению А. В. Банк, несут следы палеологовского искусства, следует отнести каменную иконку ко времени не ранее XIV в.²

Стиль исполнения рассматриваемой резьбы отличает глубина рельефа, равная высоте бортика, выпуклая моделировка ликов, а также отмеченная выше тщательность в передаче мелких деталей сюжета. Бросается в глаза подчеркнутая геометричность отдельных деталей изображения (листва дерева, архитектура). На этом фоне выделяется отрешенно созерцательный лик Христа. Хорошо сбалансированная, развернутая горизонтально и в глубину композиция включает большую часть элементов, характерных для иконографии данного сюжета. Резчик

* Подготовленная к публикации рукопись взята из личного архива В. П. Петренко. Рукопись к публикации готовил А. В. Курбатов (ИИМК РАН).

Настоящая статья, несмотря на имеющийся уже разбор сюжета старолadoжской иконки в своде Т. В. Николаевой [1, с. 110, № 243], предлагает оригинальную трактовку находки и непубликовавшееся фотоизображение.

¹ Любезное указание Т. В. Рождественской. Можно сравнить начертание в, ь, е, р в русских надписях XII—XIV вв. [4, табл. VII—XII].

² Отнесение изображения к XIV в. иконографически подтверждается наличием признаков, характерных для стиля византийской периферии конца XIII — первой половины XIV в., наиболее известных в раннепалеологовскую эпоху. Это, в частности, изображение Иерусалима в виде башни-крепости без храма-ротонды [6, с. 204, кат. № 6]. Консультация ст. науч. сотр. Государственного Эрмитажа А. С. Косцовой (прим. А. В. Курбатова).

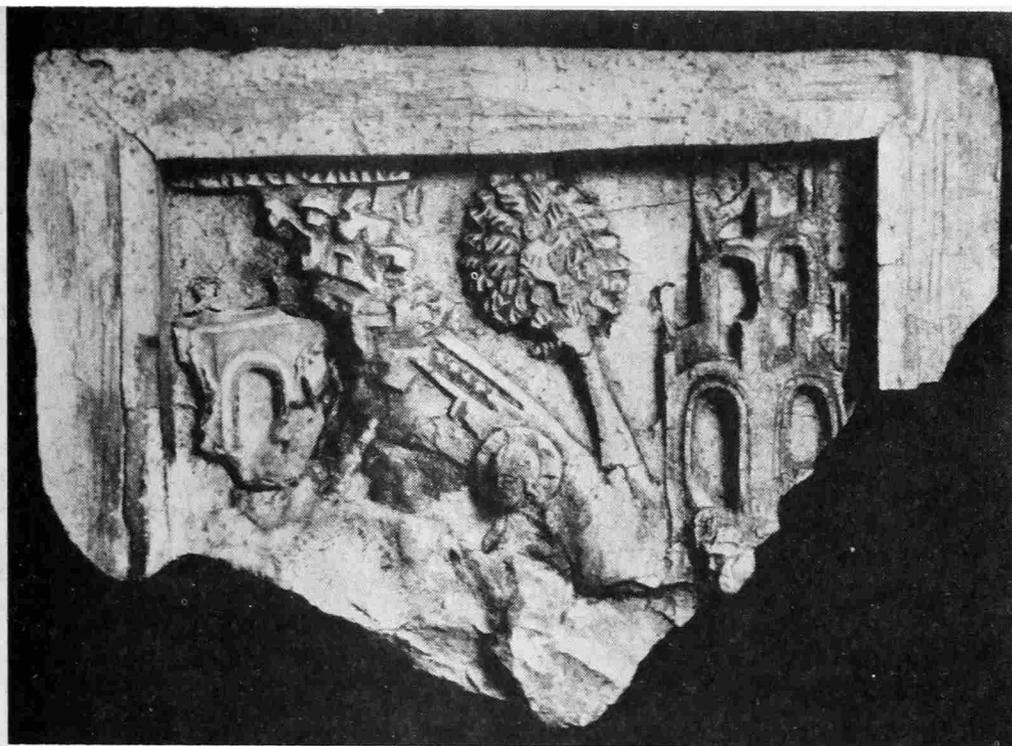


Рис. 1. Каменная иконка с изображением евангельской сцены «Вход в Иерусалим». Современное состояние

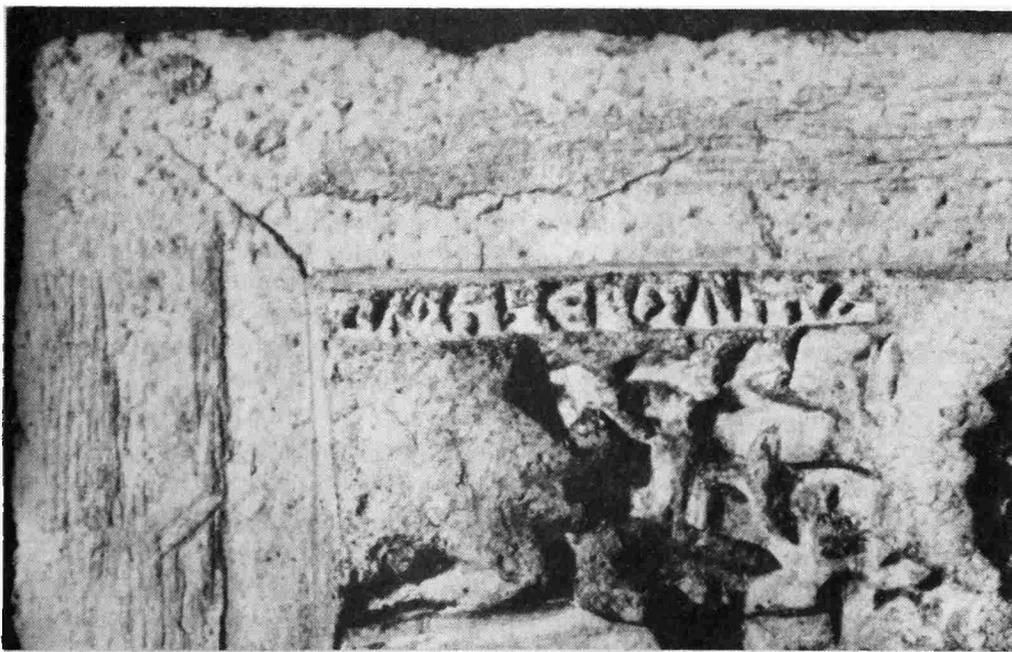


Рис. 2. Каменная иконка. Деталь

удачно использовал специфику материала для усиления выразительности изображения. Линии проведены резцом уверенно, контрастно, глубоко.

Можно подчеркнуть, что иконка из Старой Ладogi созвучна лучшим образцам новгородской мелкой пластики XIV—XV вв., отличающимся заметной «выпуклостью» изображения [5, с. 81]. В то же время ряд особенностей выделяет настоящую находку среди всех известных произведений прикладного искусства

не только Новгорода, но и других регионов средневековой Руси [7, с. 88—105, 159—174]. Поэтому вопрос о происхождении находки приходится оставить открытым³.

Возникновение монастыря Иоанна Предтечи, на территории которого найдена иконка «Вход в Иерусалим», агиографическая традиция связывает с деятельностью архиепископа новгородского Климента (1276—1299 гг.) [8, с. 104]. Впервые монастырь на Малышевой горе письменные источники упоминают под 1311 г. [9, с. 51]. В новгородских писцовых книгах конца XV в. монастырь фигурирует уже под названием, зафиксированным и позднее [10]. В 1646 г. среди построек обители находились две деревянные церкви: Вознесения Господня и Иоанна Предтечи. В 1763 г. здесь отмечены уже церкви: Рождество Иоанна Предтечи (сохранившееся до наших дней каменное здание было возведено в 1695 г.) и мученицы Параскевы [9, с. 52].

Археологическое обследование Малышевой горы показало, что эта возвышенность была заселена уже в эпоху раннего металла, которая представлена находками серии кремневых изделий и фрагментами текстильной керамики. Однако выразительного культурного слоя этого времени на исследованных участках обнаружить не удалось. Более отчетливо представлены отложения XIII—XIV вв., формировавшиеся, судя по всему, в связи со сложением здесь монастырского комплекса. Таким образом, археологические данные подтверждают письменную традицию, относящую основание Ивановского монастыря ко времени не позднее конца XIII в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня//САИ. 1983. Вып. Е1—60.
2. Петренко В. П., Смирнов В. Н., Кучер А. Л. Разведки и раскопки в Южном Приладожье//АО. 1976. М., 1977.
3. Порфиридов Н. Г. Древнерусская мелкая пластика и ее сюжеты//СА. 1972. № 3.
4. Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV вв.//САИ. 1964. Вып. Е1—44.
5. Рындина А. В. Древнерусская мелкая пластика. М., 1978.
6. Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV век//Центры художественной культуры средневековой Руси. М., 1982.
7. Николаева Т. В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976.
8. Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Вып. 11. СПб. 1888.
9. Бранденбург Н. Е. Старая Ладога. СПб, 1896.
10. Переписная окладная книга по Новгороду Вотской пятины//Временник МОИДР. Кн. III. М., 1851.

М. В. СЕДОВА, Т. Ф. МУХИНА

КАМЕННАЯ ИКОНКА ИЗ ВЛАДИМИРА

Десять лет тому назад вышла из печати замечательная работа Т. В. Николаевой «Древнерусская мелкая пластика из камня XI—XV вв.» [1]. В этом своде исследовательница собрала более 370 изделий художников-камнерезов со всех концов Руси. Ею была проделана колоссальная работа по поиску, атрибуции, датировке изделий этого интереснейшего вида прикладного искусства. Особо обращала Т. В. Николаева внимание на произведения мелкой каменной пластики из археологических раскопок, поскольку именно эти предметы позволяют с уверенностью говорить о месте изготовления и времени бытования того или

³Т. В. Николаева относит старолadoжскую иконку ко второй половине XV в., сближая стиль ее изображений с крестами из Троице-Сергиевой лавры, которые приписываются работе троицкого мастера Амвросия [1, с. 110] (примеч. А. В. Курбатова).



Рис. 1. Каменная иконка Богоматерь Одигитрия XIV в. из Владимира



Рис. 2. Каменная иконка XIV в. из собрания Русского музея

иного типа изделий. Безусловно, каждый новый образец резьбы по камню является произведением искусства, иногда более высоким, иногда более ремесленным, в зависимости от таланта и профессиональных навыков исполнителя.

В этом отношении большой интерес представляет каменная иконка, найденная в 1992 г. при раскопках в г. Владимире (рис. 1).

Масштабные работы в историческом ядре города, в западной, так называемой «Новой» его части, созданной во времена Андрея Боголюбского, дали интересные результаты. Открыты большие участки (около 3 тыс. м²) древней застройки XII—XVIII вв. В одном из жилых комплексов, на глубине 147 см от дневной поверхности и была обнаружена иконка. Вместе с ней в жилище были найдены такие предметы, как серебряная плохо различимая монета удельного периода, видимо середины XV в. (по определению П. Г. Гайдукова), железный ключ типа «Г» (по новгородской классификации), датирующийся концом XIII — второй половиной XV вв. [2, с. 162, рис. 3], фрагмент поливного росписного золотоордынского сосуда, шаровидная хрустальная бусина и др. Особо следует отметить находку каменного креста-тельника, начатого, но не завершеного в обработке, а также железного пинцета для зажима изделий при обработке. Крест изготавливался из той же породы камня, что и иконка.

Изготовлена иконка из темно-коричневого глинистого сланца, имеет прямые нижние углы, арочное закругление сверху и подпрямоугольное ушко для подвешивания. Размеры ее 4,6×3,3×0,5 см, обратная сторона гладкая. На лицевой стороне в арочной рамке помещено поясное изображение Богоматери Одигитрии с младенцем на левой руке. Голова Богоматери расположена почти прямо, слегка наклонена к младенцу. Голова Иисуса изображена менее фронтально, с поворотом в три четверти. Правая рука его держит свиток, ноги сдвинуты. Нимбы вокруг голов Богоматери и Христа как бы составляют единое целое; они выделены позолотой, при этом нимб Богоматери орнаментирован вьюном со спирально загнутыми в противоположные стороны завитками, а нимб младенца — крестчатый. Обе фигуры выполнены невысоким скругленным рельефом. Очень изящно, по «форме», сделана разделка складок одежды обеих фигур. На голове и правом

плече Богоматери помещены изображения 12-конечных крестов, рукава ее одежды и край мафория на лбу орнаментированы точечным узором, так же оформлены края одежды младенца.

В левой части иконы процарапаны буквы **МР** и **ФУ**, причем буква **Р** расположена выше буквы **М**, а при написании **Ф** была допущена ошибка, она была заменена буквой **Ф**, причем вторично **Ф** начертано в монограмме с буквой **У**. Справа процарапаны буквы **ІСХ**.

Все композиционное решение иконки оставляет большое впечатление изысканностью позы, тонкостью деталей, скорбностью выражения лица Богоматери. Вполне очевидно, что резал ее талантливый мастер — художник, имевший за плечами большой опыт в исполнении подобных работ. Тонкость резьбы несколько противоречит определенной незавершенности внешней обработки иконки — шероховатости поверхности арки, боковин и оборотной стороны, а также пропиленной черте на ушке (как будто мастер хотел его отпилить, но передумал).

Поиск аналогий привел к очень близкой по форме и деталям двусторонней иконке из собрания Русского музея (рис. 2), где на лицевой стороне изображена Богоматерь Одигитрия, а на оборотной — архангел Михаил и св. Никита. Датируется эта иконка XIV в. [1, с. 91, № 169, табл. 30, 3]. Одинаковая арочная форма обеих иконок, идентичность декора и нимбов — говорит о едином прототипе или образце, по которому они резались. Определенную близость с этими иконками составляют и другие одновременные образки, изображающие Богоматерь с младенцем. Это такие произведения, как Богоматерь Одигитрия XIV в. из собрания П. И. Щукина, Богоматерь Умиление XIII—XIV вв. из собрания ГИМ [1, табл. 22, 1, 3, 4], Богоматерь Умиление XIV в. [3, с. 150, № 31] и ряд других [1, табл. 39, 6, 41, 1, 55, 1]. Всех их отличает своеобразная орнаментация нимбов вьющейся лозой и общая стилевая близость в разделке складок одежды. Некоторые из этих иконок Т. В. Николаева отнесла вначале к московской школе резьбы по камню [4, с. 41—42, рис. 8, 9], отметив, что их отличает «орнаментация края одежды как бы в виде близко посаженных бусин, изображение одинаковой формы двенадцатиконечного креста». Затем, правда, исследовательница переатрибутировала их, включив в новгородскую группу [1, с. 77, № 118, 120], но оговорив при этом специально стилистическую близость с изделиями мелкой пластики среднерусской, московской группы памятников.

Этой же группе каменных миниатюр посвятила отдельную работу А. В. Рындина [5, с. 228—237], высказав предположение, что группа образков, иконографически близких прославленным среднерусским святыням — «Толгской», «Федоровской» и «Донской» иконам Богоматери, имела скорее всего московское происхождение. При этом исследовательница отметила, что подобная атрибуция «станет безусловной лишь тогда, когда мы будем располагать хотя бы одним образцом, непосредственно московским или центральнорусским по происхождению» [3, с. 51].

Новая находка во Владимире, по-видимому, может положить конец этим разночтениям. Она возвращает всю группу образков Богоматери Одигитрии и Умиление с отмеченными декоративными особенностями (нимб с вьюном, 12-конечные кресты и точечное украшение одежд) среднерусской или московской школе резьбы по камню.

Идентичность этой манеры особенно видна на иконке из собрания Русского музея (рис. 2), хотя лицо Богоматери на ней более круглое и молодое. Надписи же, нанесенные в одних и тех же местах обеих иконок, выдают (по мнению А. А. Медынцева) руку одного мастера. Прежде всего обращает на себя внимание написание буквы **Х** с дополнительными мачтами, а также близкое написание букв **М** и **У**.

Скорее всего иконка Богоматери Одигитрии из собрания Русского музея и вновь найденная иконка Богоматери Одигитрии из Владимира выполнены одним и тем же мастером на рубеже XIV—XV вв. Жилище этого мастера и было обнаружено при раскопках. В мастерской изготавливались не только иконки, но и кресты-тельники.

Таким образом, немногочисленная группа Владимиро-Суздальских произведений мелкой пластики пополнилась новыми прекрасными образцами. Оригинал же, по которому могли резаться обе каменные иконки, вероятно, послужила особо почитаемая в этих местах живописная икона. Образ Богоматери Одигитрии (Путеводительницы) в XIV—XV вв. становится вообще на Руси особо популярным. Многочисленные вклады икон в монастыри воспроизводят этот сюжет. Показательно, что одной из двух известных келейных икон Сергия Радонежского также была икона Богоматери Одигитрии [6, № 64, 97, 98, 100, 102, 105, 132]. А сподвижник Сергия архиепископ Суздальский и Нижегородский Дионисий при посещении в 1381 г. Константинополя вывез оттуда две иконы также Богоматери Одигитрии. Одну из икон поставили в соборе Рождества Богородицы в Суздале, а другую — в церкви Спаса в Нижнем Новгороде [7, с. 187]. Возможно, именно соборная икона из Суздаля и послужила оригиналом для воспроизведения образа в камне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня XI—XV вв. // САИ. 1983. Вып. Е1—60.
2. Колчин Б. А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. М., 1982.
3. Рындина А. В. Древнерусская мелкая пластика. М., 1978.
4. Николаева Т. В. Произведения мелкой пластики XIII—XVII вв. в собрании загорского музея. Каталог. Загорск, 1960.
5. Рындина А. В. Об одной группе каменных икон XIV в. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1974 г. М., 1975.
6. Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977.
7. Словарь книжников и книжности Древней Руси второй половины XIV—XVI вв. Ч. 1. Л., 1988.

Институт археологии РАН,
Москва

Н. А. МАКАРОВ, С. Д. ЗАХАРОВ

ТРИ КАМЕННЫХ ОБРАЗКА ИЗ БЕЛООЗЕРА

В 1965 г. Белозерская экспедиция Института археологии, руководимая Л. А. Голубевой, провела последний сезон раскопок летописного города Белоозера. Прекращение работ было связано прежде всего с сооружением Волго-Балтийской водной системы, в результате которого значительная часть средневекового поселения ушла под воду или оказалась подтопленной. Долгое время считалось, что подъем уровня воды в Шексне сделал невозможным продолжение исследования этого памятника — одного из древнейших городских центров Северо-Восточной Руси. Однако с 1989 г. Белозерский отряд Онежско-Сухонской экспедиции возобновил полевые работы на Белоозере. Главным направлением их стал сбор подъемного материала с различных участков поселения с точной фиксацией их на специальном плане. Белоозеро привлекает внимание не только археологов, но и многочисленных любителей древностей и кладоискателей, собирающих здесь огромные коллекции средневековых вещей. Часть из них впоследствии попадает в музеи Белозерска, Кириллова и Череповца.

В Белозерском историко-художественном музее хранится иконка из темно-серого камня с изображением св. Николая¹ (БИХМ, № 3884, А—759), переданная в музей в 1980-х годах (рис. 1). Образок квадратный, со стороной 3,3 см и несколько неровными краями, толщина пластины 0,6 см, обратная сторона

¹ Иконка, как и многие другие предметы, была приобретена музеем по инициативе главного хранителя И. Г. Шукиной. Авторы признательны И. Г. Шукиной за предоставленную им возможность опубликовать эту находку.

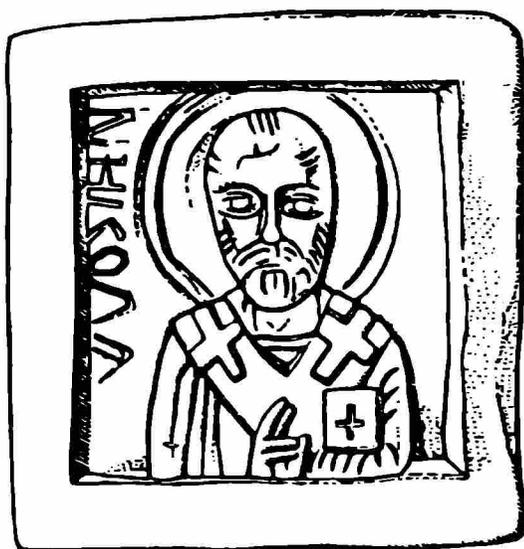


Рис. 1. Св. Николай. Каменный образок из Белоозера

гладкая. Невысоким рельефом на иконке вырезано погрудное изображение Николы с благославляющей правой рукой и Евангелием в левой. На плечах святителя крестчатый омофор. Лицо вытянутое, с большими, широко открытыми глазами и высоким лбом. Врезными редкими штрихами показаны волосы на голове. Нимб рельефный с двойным ободком. Разделка одежд дана углубленными параллельными линиями. На фоне слева резная вглубь надпись: НИКОЛА, читаемая при повороте иконки на правый бок. По краям образка рельефная рамка шириной 0,4 см.

Изображения Николы обычны для древнерусской мелкой каменной пластики. Н. Г. Порфиридов отметил, что по частоте встречаемости они заметно превосходят изображения всех других святых [1, с. 200—207]. Вполне традиционен и иконографический тип, представленный на каменных образках с изображением Николы начиная с XII—XIII вв. [2, с. 53, 54, 60, 114, 115, 128, 145; № 27, 52, 259, 261, 263, 303, 361]. Несколько необычно положение повернутой на бок надписи, имеющее, однако, отдельные аналогии на других иконках [2, с. 142; № 352]. По мнению А. А. Медынцевой, палеографические особенности надписи характерны для конца XII — начала XIII вв. Начертания букв Н и К она считает архаичными, характерными для XI—XII вв., начертание А с незамкнутой нижней петлей — новая форма, появляющаяся в конце XII в. и распространенная в XIII в. Палеография имеет решающее значение для датировки образка, поскольку точные условия и место находки его на территории средневекового города неизвестны.

Среди подъемного материала, собранного на Белоозере во время полевых работ 1992 г. при низком падении воды, есть еще два каменных образка.

Первый из них (рис. 2) представляет собой круглую подвеску диаметром 1,9 и толщиной 0,5 см с ушком размером 0,5×0,7 см. Подвеска изготовлена из темно-серого камня. По мнению д-ра геол.-минер. наук П. В. Флоренского, это — аспидный сланец, по мнению канд. геол.-минер. наук Е. Б. Курдюкова — диабаз. В центре подвески помещено едва различимое невооруженным глазом изображение креста (размер всего 0,5 см) в ромбической раме, вписанной в более сложную геометрическую фигуру. Эта фигура, образованная сочетанием пересекающихся под прямым углом лент и уголков, очевидно, также является стилизованным изображением креста. Она обрамлена выпуклой рамкой шириной

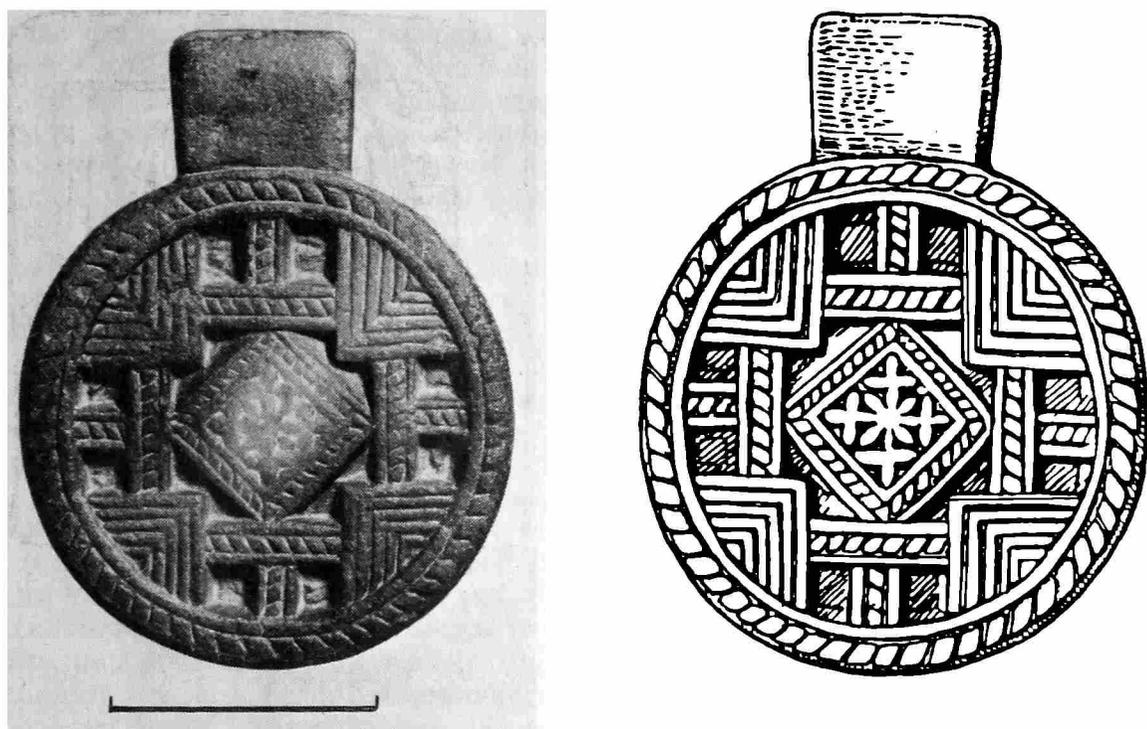


Рис. 2. Образок со стилизованным изображением креста из Белоозера

0,2 см. Ленты, образующие геометрическую фигуру, и сама рамка разделены на три полосы — две внешние, гладкие, и центральную, с косыми насечками, имитирующими перевитой жгут.

Подвеска найдена на участке 8 восточной части Белоозера. Берег р. Шексны до затопления находился приблизительно в 60 м к северу от него. В раскопе 1, заложенном Л. А. Голубевой примерно в 15 м к юго-западу от этого участка, зафиксированы напластования мощностью 0,4—0,6 м [3, л. 41]. Незначительная толщина культурного слоя объясняется, вероятно, тем, что часть его была скрыта при сооружении располагавшейся рядом курганообразной насыпи позднего происхождения. Среди находок в раскопе — стеклянные браслеты, шиферное пряслице и обломок бронзового пластинчатого овально-конечного браслета с тремя валиками. Анализ материала позволяет датировать отложения в раскопе XII—XIII вв. На раскопах, заложенных Л. А. Голубевой примерно в 140 м к востоку от участка 8, обнаружены напластования XIII—XIV вв. [4, с. 110, 111].

На участке 8 и двух соседних участках (длина каждого 10 м) собрано 29 индивидуальных находок. Среди них — шиферные пряслице и крестик, украшенный циркульным орнаментом, обломок стеклянного браслета, обломок стеклянного щиткового голубого прозрачного перстня. Стеклянных бус найдено 6 — желтая лимоновидная, серебростеклянная с каймой, зонная фиолетовая, синяя битрапецидная с пропорциями 1 : 2, зеленая битрапецидная ребристая, зонная бесцветная прозрачная. Среди керамических изделий — обломок амфоры, 3 фрагмента сероглиняной поливной керамики, 2 — с желтой непрозрачной поливой, один — с зеленой, 2 грузила. Кроме того, обнаружено 3 железных ножа, наконечник стрелы 29-го типа, железная обоймица от ножа, обломок двустороннего костяного гребня.

Изучение керамики, собранной на этих участках, показало, что из 249 фрагментов венчиков сосудов 12% относятся к лепным, 88% — к круговым. Среди определимой круговой керамики около 43% венчиков можно отнести к



Рис. 3. Св. Глеб. Неоконченный каменный образок из Белоозера

XII—XIII вв., около 25% — ко второй половине XIII—XIV вв., а 10% — к XIV—XV вв. Таким образом, наиболее представительна здесь серия находок XII—XIII вв., в то же время не исключено и наличие напластований XIV в.

Белозерская подвеска стоит особняком среди древнерусской каменной пластики. В своде иконок из камня Т. В. Николаевой нет образков с подобной иконографией креста, как нет и геометрического орнамента, близкого узору на белозерской подвеске. Может возникнуть предположение, что этот предмет вообще не имеет отношения к христианскому культу. Н. Г. Порфиридов полагал, что на Руси были известны и каменные изделия с изобразительными элементами некультового характера, однако смог привести лишь один пример подобного изделия [5, с. 75—81]. Традиция резьбы по камню как в Древней Руси, так и в финно-угорских областях за ее пределами совершенно не свойственна для некультового ювелирного производства (мы не касаемся изделий с драгоценными камнями). Во всяком случае, нам не известны другие украшения, вырезанные из аспидного сланца или диабазы. Поэтому при всей необычности круглой подвески из Белоозера в ней следует видеть предмет христианского культа.

Прежде чем пытаться объяснить истоки этого своеобразия, рассмотрим второй образок (рис. 3).

Он имеет размеры 2,3×1,5 см. Нижние углы образка прямые, верхние — закругленные, толщина пластины ~0,4 см. Камень, из которого она изготовлена, несколько более темный и плотный. По мнению П. В. Флоренского, это все тот же сланец, канд. геол.-минер. наук В. Ю. Герасимов определяет его как яшмоидную породу. Иконка осталась незаконченной: на правой половине ее рамка и часть фигуры святого изображены рельефом, на левой — процарапаны. Святой изображен в рост в длинной одежде типа кафтана, на голове его шапка с округлым верхом, в согнутой правой руке — крест, левая рука, выступающая из-под плаща, спускающегося к ногам треугольным клином, придерживает рукоять меча. Лицо святого, очевидно безбородое, удлиненное, длинные волосы спускаются на плечи.

Глаза святого, пояс, меч, складки одежды намечены слабой линией. На рамке сверху процарапана монограмма «ІС ХС». Ширина рамки около 0,2 см.

На образке нет надписи, обозначающей имя святого, однако княжеская шапка, меч и крест — символы мученичества — не оставляют сомнения, что это изображение одного из святых князей, принявших мученическую смерть. Длинные волосы и вытянутый овал лица позволяют идентифицировать его как святого князя Глеба.

Образок найден на участке Б западной части Белоозера, на берегу р. Никольской. До затопления ее русло проходило примерно в 25 м к западу от этого места, а берег р. Шексны находился приблизительно в 200 м к северу. В двух небольших траншеях, заложенных Л. А. Голубевой на берегу р. Никольской, ближе к Шексне от места находки, был выявлен бедный маломощный культурный слой [6, л. 37]. В третьей траншее, более удаленной от русла р. Никольской, его толщина достигала 1,4 м [7, л. 16].

Обследования последних лет показали, что здесь имеются культурные напластования, насыщенные многочисленными находками XI—XIII вв. На участке Б и двух соседних (длина каждого 10 м) собрано 67 индивидуальных находок. В их числе — 6 шиферных пряслиц, 3 обломка стеклянных браслетов, 4 обломка стеклянных перстней — желтого и голубого прозрачных плоско-выпуклых, желтого широкого с косыми насечками, бирюзового непрозрачного, украшенного каплями желтого, белого и коричневого стекла. Среди 14 стеклянных бус и их обломков преобладают зонные зеленые и желтые. Кроме них найдены синяя шарообразная бусина, орнаментированная крошками белого и желтого стекла, и крупная синяя ребристая двучастная бусина. Хочется особо выделить обломок синей стеклянной лунницы. В числе изделий из бронзы — рубчатый перстень и обломок узкопластинчатого перстня с тремя валиками, конусовидная шумящая подвеска, обломок пластинчатого браслета. Среди железных предметов 7 ножей, пинцет, наконечник 46-го типа, обломок удила, обломок рыболовного крючка, стержневой ключ от нутряного замка. Изделия из глины представлены тремя обломками амфор, льячкой и обломком сероглиняной поливной керамики с желтой непрозрачной поливой.

Состав вещей, как и на месте находки первой иконки, обычен для жилых кварталов Белоозера, а наиболее многочисленную группу составляют вещи XII—XIII вв. Среди необычных находок — лишь галька с двумя надрезами и процарапанной буквой «Б». Необходимо отметить также, что в 30 м от места находки обнаружен незаконченный каменный крестик. Анализ распределения керамики подтверждает сделанные наблюдения. Из 132 фрагментов венчиков сосудов, обнаруженных на этих участках, 20% относятся к лепным, 80% — к круговым. Среди последних около 60% определимых венчиков можно датировать XII—XIII вв.

Незаконченные каменные иконки — относительно редкие находки на древнерусских памятниках. В свод Т. В. Николаевой включены две такие иконки: двусторонняя с изображением парных святых и поясным изображением святого из Смоленска, найденная в слое XIII в., и поясной Никола XIV в. (?) из Рыбинского музея [2, с. 143, № 354, с. 147, № 370]. Н. Г. Порфиридов издал три иконки из собрания Русского музея с незаконченными изображениями на оборотных сторонах. Он отметил, что вырезание всегда начиналось с рамки. По его мнению, одна из иконок Русского музея осталась незаконченной из-за скола сланцевой пластины, а две других — из-за присутствия твердых включений в камне, первоначально незамеченных мастером [5, с. 8]. На иконке из Белоозера такие включения не просматриваются. Скорее всего она была просто потеряна. Любопытно, что практически во всех случаях работа мастера была прервана на одной и той же стадии: когда прочерчена рамка, полностью или частично выбран фон, оконтурена фигура святого, а на самой фигуре лишь процарапаны детали изображения.

Изображения Бориса и Глеба хорошо известны в древнерусской мелкой каменной пластике, хотя и не очень многочисленны. Н. Г. Порфиридов указал

8 известных ему изображений этих святых среди 423 изображений на каменной пластике [1, с. 200—207]. В свод Т. В. Николаевой включены 4 каменные иконки с изображениями этих святых (в одном случае фигура Глеба, по-видимому, отколота) и один образец с одиночной фигурой Глеба. Это знаменитая иконка с Таманского полуострова, помещенная в каталог под номером 1 [2, с. 48]. Основываясь на эпиграфических и стилистических особенностях, ее датируют XI в. и считают одним из самых ранних каменных образков. По стилистике и иконографии более близкой аналогией является, однако, изображение Глеба на каменной иконке Бориса и Глеба из Новгорода, которую Т. В. Николаева датировала концом XII—XIII вв. [2, с. 65, № 75].

Оба белозерских образка могут быть датированы в сравнительно широких хронологических рамках XII—XIII вв. Предлагая эту дату, мы учитываем следующие обстоятельства. Во-первых, XII—XIII вв.— период наиболее интенсивной жизни на обоих участках, к этому времени относится большая часть массового материала. Во-вторых, по наблюдениям Н. Г. Порфиридова, для иконок XII—XIII вв. характерна небольшая толщина пластин — 0,5—0,6 см, белозерские образки в точности соответствуют этому стандарту. В-третьих, как мне представляется, в стилистическом отношении круглый образец стоит ближе к каменной пластике XIII в., с ее невысоким рельефом и избытком орнамента, чем к предметам XIV—XV вв.

Находки 1992 г. из Белоозера пополняют довольно скромную серию каменных образков, происходящих из северных областей Руси.

В самом Белоозере их найдено еще два. Это миниатюрная (диаметр 1,5 см) круглая иконка с изображением св. Якова, обнаруженная при раскопках Л. А. Голубевой в дерновом слое [4, с. 177; 2, с. 59, № 44] и фрагментированная круглая иконка с погрудным изображением неизвестного святого, происходящая из горизонта XII в. [4, с. 177; 2, с. 57, № 37].

В Вологде при раскопках А. В. Никитина обнаружена прямоугольная иконка из мергеля с очень грубым изображением св. Николы. Она связана с комплексом постройки XIII в., одной из древнейших, исследованных пока в Вологде [8, с. 31—37; с. 117, № 270]. К более позднему времени относится единственная в древнерусской мелкой каменной пластике иконка с подписью мастера, изображающая Константина и Елену, а также Оксению и Параскеву Пятницу. Надпись на образке «Константина Оаврилова а резал Истома на Ввлогде». Т. В. Николаева датировала этот образец 60—70 гг. XV в. [2, с. 117, № 271].

Т. В. Николаева атрибутировала как великоустюжский образец с изображением Собора архангелов Михаила и Гавриила, XIII—XIV вв., обнаруженный в котловане на кладбище Чудова монастыря в Московском Кремле [2, с. 119, № 276]. Однако единственный аргумент в пользу ее устюжского происхождения — сходство иконографии с иконографией известной иконы Собора архангелов Михаила и Гавриила из Михайло-Архангельского монастыря в Великом Устюге. В свод Т. В. Николаевой не вошла каменная иконка с изображением Богоматери Одигитрии, найденная в траншее у церкви Вознесения в Великом Устюге и хранящаяся в Великоустюжском краеведческом музее. Очевидно, она относится к XV—XVI вв.

Из Сольвычегодска происходят две иконки с изображением Гроба Господня XV—XVI вв. Т. В. Николаева атрибутировала как сольвычегодские еще две иконки с Гробом Господнем, близкие им стилистически [2, с. 117—119, № 272—275].

Наконец, далеко за Полярным кругом, на Вайгаче, Л. П. Хлобыстиным найдена серебряная оправа, скорее всего от каменной иконки [9, с. 165, 166, рис. 1]. Принимая во внимание отсутствие на вайгачских святилищах вещей XIV—XV вв., она должна быть датирована XII—XIII вв.

Т. В. Николаева полагала, что на Севере не было крупных мастерских каменной пластики, однако, по ее мнению, в Вологде, Великом Устюге и Сольвычегодске в XV в. работали отдельные мастера, занимавшиеся резьбой по камню. В Вологде резчики работали уже в XIII в.— иконка из раскопок

А. В. Никитина была атрибутирована как изделие местного мастера. Однако две более ранние белозерские иконки, известные Т. В. Николаевой, были включены ею в группу вещей южно-русского происхождения. Основанием для этого послужили стилистические особенности иконки с погрудным изображением неизвестного святого, характерные для южнорусской группы предметов, и ближайшая аналогия миниатюрной иконке с изображением апостола Иакова, происходящая из Любеча [2, с. 57—59]. Иконка с изображением Глеба не оставляет сомнений в том, что весьма квалифицированные резчики работали в самом Белоозере. Мы не знаем, были ли они постоянными жителями этого города или мастерами, выполнявшими здесь какие-то временные работы. Поделочный материал, будь то сланец, диабаз или яшмоид, не может прояснить этот вопрос, поскольку все эти породы камня достаточно широко распространены в средней и северной России.

Нельзя ли в таком случае предположить, что и второй образец из сборов 1992 г. изготовлен в Белоозере, а его необычный облик связан с местными художественными традициями? В пользу этого предположения можно привести некоторые наблюдения. Во-первых, ленты или полоски, из трех жгутов, образующие рамку и стилизованный крест, очень близки аналогичным лентам, использовавшимся при изготовлении бронзовых украшений на Севере и Северо-Востоке Руси. Истоки этой техники и стилистики уходят в финно-угорские культуры, но в XII—XIII вв. она была освоена и переработана древнерусскими ювелирами. При этом следует иметь в виду, что близкие изобразительные элементы довольно широко использовались и в каменной пластике: с помощью подобных лент показывали края одежды, архитектурные детали, конскую сбрую. Но на каменных иконках рифление центральной полосы всегда прямое, а на белозерской подвеске это косые насечки, имитирующие перекрученный жгут. В своде Т. В. Николаевой представлена лишь одна иконка с аналогичной тройной лентой с «перевитой» средней частью, образующей рамку образка, — Федор Стартилат и Козьма и Дамиан, XIV в., из собрания ГИМ [2, с. 123, № 287]. Вторая особенность белозерского образка — само переплетение лент, близкое ажурным решетчатым подвескам, распространенным в конце XII—XIII вв. на Севере.

Предположение о том, что резчик по камню, представитель элитного художественного ремесла, воспроизводил орнаментацию серийных украшений, изготовлявшихся из бронзы, может вызвать определенный скептицизм. Мы хорошо знаем, что обычно направление заимствований было обратным. Но пока мы не находим более близких аналогий каменному образку, чем круглые ажурные подвески XII—XIII вв.

Изображения Глеба без его брата Бориса в древнерусском искусстве исключительно редки и, очевидно, носят патрональный характер. Иконку, найденную на Таманском полуострове, Б. А. Рыбаков и вслед за ним Т. В. Николаева связали с Глебом Святославичем, занимавшим в течение короткого периода Тмутараканский стол, а впоследствии погибшим в Заволочье. История Белоозера вплоть до XV в. исключительно бедна именами. Среди немногих персонажей, известных по именам, первый белозерский князь Глеб Василькович, сын убитого после битвы на р. Сити Василька Константиновича, родившийся в 1237 г., получивший Белоозерское княжение в 1238 г. и спустя 13 лет в 1251 г. вступивший во владельческие права и пришедший на Бело-озеро. Из летописи нам известно о двукратных поездках Глеба в Орду, о женитьбе его нам в 1257 г., о занятии им Ростовского стола в 1277 г. после смерти его брата Бориса [10, с. 157]. Умерший в 1278 г. на ростовском княжении, Глеб Василькович был погребен в Успенском соборе, а затем исторгнут оттуда по приказанию епископа Игнатия, который по сообщению Никоновской летописи «осудил убо бе зело жестоко своего великого князя» [11, с. 157]. Имя Глеба чаще упоминается в летописи в связи с Ростовом, чем с Белоозером. Тем не менее Глеб оставил яркую память о себе в белозерских преданиях. Белоозерцы по крайней мере с XVII в. упорно помещали могилу Глеба на Старом Городе, в часовне св. Василия, где в XIX в. существовала каменная гробница, над которой дважды в году служили панихиду

[12, л. 11, 11 об.]. Сказание о Троицком Усть-Шехонском монастыре — памятник конца XVI—XVII вв.— сообщает о создании Глебом монастыря вблизи города и о вкладах его в этот монастырь [13, с. 7, 8]. Существенно, что недавно Н. А. Охотиной найдена Кормовая книга Усть-Шехонского монастыря конца XVI в. с записями о ежегодном поминовении Глеба, его сына Михаила и внука Федора. Очевидно, Глеб Василькович действительно был ктитором Усть-Шехонского монастыря.

Попытки точного определения владельцев или заказчиков изделий средневекового художественного ремесла, при отсутствии прямых записей об их принадлежности, в большей или меньшей степени гипотетичны. И все же соименность первого Белозерского князя и, пожалуй, единственного белозерского князя, оставившего заметный след в местной истории, святому на неоконченном образке — факт, который нельзя оставить без внимания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Порфиридов Н. Г.* Древнерусская мелкая каменная пластика и ее сюжеты//СА. 1972. № 3.
2. *Николаева Т. В.* Древнерусская мелкая пластика из камня//САИ. 1983. Вып. Е1—60.
3. *Голубева Л. А.* Отчет о работах Белозерской археологической экспедиции в 1949 г.//Архив ИА РАН. Р—1, № 371.
4. *Голубева Л. А.* Вещь и славяне на Белом озере. X—XIII вв. М., 1973.
5. *Порфиридов Н. Г.* О мастерах, материалах и технике древнерусской мелкой каменной пластики//СА. 1975. № 3.
6. *Голубева Л. А.* Отчет о работах Белозерской археологической экспедиции за 1962 г.//Архив ИА РАН. Р—1, № 2572.
7. *Голубева Л. А.* Отчет о работах Белозерской археологической экспедиции 1952 г.//Архив ИА РАН. Р—1. № 1379.
8. *Никитин А. В.* О начальном периоде истории города Вологды//КСИА. 1960. Вып. 81.
9. *Хлобыстин Л. П.* Святылища острова Вайгач//Древности славян и финно-угров. СПб., 1992.
10. *Экземплярский А. В.* Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. Т. 2. СПб., 1891.
11. Патриаршая или Никоновская летопись//ПСРЛ. Т. 9—10. М., 1965.
12. *Лазаревский Я. М.* Об археологических изысканиях в окрестностях Белозерска//Архив ИИМК. Ф. 1, № 15. 1860.
13. *Бычков А. Ф.* Описание славянских и русских рукописных сборников Императорской публичной библиотеки. Вып. 1. СПб., 1878.

Институт археологии РАН,
Москва

Критика и библиография

В. Т. Петрин. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. Новосибирск: Наука, 1992. 162 стр., 11 приложений

Долгое время территория бывшего Советского Союза считалась лишенной палеолитического наскального искусства. Для доказательства его существования привлекались скудные материалы из грота Мгвимеви (Грузия), велись споры вокруг петроглифов Каменной Могилы (Украина), много внимания было уделено утверждению и отрицанию палеолитических рисунков на Шишкинских скалах в Сибири.

Сенсационное открытие А. В. Рюминым в 1959 г. росписей в Каповой пещере на Урале, бесспорный палеолитический возраст которых подтвержден многолетними работами О. Н. Бадера и затем В. Е. Щелинского, вписало новую страницу в историю древнейшего монументального искусства. Капова оказалась не единственной. Планомерные поиски наскальной живописи в гротах Южного Урала привели В. Т. Петрина к обнаружению в 1980 г. палеолитических изображений в Игнатиевской пещере, описанной П. С. Палласом еще в конце XVIII в. и неоднократно посещавшейся археологами в нашем столетии.

В результате комплексных исследований Игнатиевской в 1980—1986 гг. появилась первая в нашей стране полная публикация сложного пещерного памятника наскального палеолитического искусства. Основной текст В. Т. Петрина дополняется данными специалистов разных областей знаний, отраженными в приложениях.

В кратком введении дается хроника археологического исследования пещеры и резюмируются методические задачи долговременного изучения подземного святилища, объединенные в три главных блока программ: геологический, биологический и физико-химический. При отсутствии в нашей научной литературе изложения опыта подобных исследований эти программы должны привлечь особое внимание специалистов, работающих в пещерах, освоенных древними людьми. Нет никаких сомнений в необходимости детальной публикации выработанных программ.

В главе 1 «Описание пещеры» четкое и логичное деление полости на отдельные отрезки, помеченные на плане (рис. 5), снабженное многочисленными фотографиями, дает полное представление об основных особенностях того или иного участка.

Безусловно, центральное место в монографии и по значимости, и по интересу занимает глава 2. Расположение рисунков в двух залах — Большом и Дальнем — с исключительной наглядностью передано на двух схемах (рис. 28 и 29), являющихся прекрасным образцом точной привязки изображений к стенам и потолку пещеры и разделения их на одиночные рисунки, группы и панно.

Описание рисунков сделано с максимальной тщательностью, несмотря на великие трудности, связанные с плохой сохранностью росписей. Подавляющая часть изображений находится в Большом зале, но, как отмечает автор, многие рисунки могли осыпаться вместе с древней кальцитовый корочкой, на которую они наносились. Определение рисунков в ряде случаев не только затруднительно, но и невозможно. Единственное, что можно было сделать, это отметить существование пятен или следов краски. В более труднодоступном Дальнем зале, менее подверженном антропогенному процессу разрушения, изображения сохранились значительно лучше, но и здесь пятнами названы и неясные фрагменты бывших изображений, и закономерно расположенные пятна, имеющие определенные очертания, и точки, часто в виде цепочек, т. е. вполне определенные знаковые изображения. Представляется, что следовало бы разграничить эти три группы.

В. Т. Петрин констатирует различия Большого и Дальнего залов «практически по всем параметрам» (с. 66). Помимо доступности и сохранности рисунки различаются и на «содержательном уровне».

В Большом зале В. Т. Петрин выделяет три «реалистических» (точнее было бы сказать — сюжетных) изображения двух мамонтов и одной лошади, наряду с которыми отмечено 18 знаков. К промежуточным формам отнесено «змеевидное» изображение. Неясно исключение из анализа антропоморфной фигуры, которая, судя по репродукции (рис. 33), не вызывает сомнений. Мы еще вернемся к ней в дальнейшем. Если учесть еще три фигуры животных, две из которых, вполне вероятно, могли принадлежать мамонту, вывод о «знаковости» изображений Большого зала в целом не представляется столь однозначным (с. 68). Подавляющая часть рисунков Большого зала нанесена красной охрой и лишь единичные — черной краской.

На потолке Дальнего зала выделяются две группы изображений по цвету краски. Приведенные автором данные позволяют предполагать их одновременность. Первая группа: Красное панно включает женскую фигуру, переданную в фас в «линейном жанре», и фигуру неопределимого животного в профиль. От той и другой фигуры отходят линии точек, направленные друг к другу и, несмотря на разрыв в 2 м, свидетельствующие о композиционном единстве панно, которое включает также черные рисунки: контур мамонта и змеевидную фигуру.

Вторая группа: Черное панно состоит из многих фигур, уравновешенное расположение которых на плоскости потолка между двумя фигурами мамонтов, возможно, свидетельствует о единстве композиции (с. 69). Черное панно включает контур мамонта, отягощенный дополнительными линиями, антропоморфную личину, треугольный знак, параллелограмм, контуры фигур трех лошадей (?) и одного верблюда (?), силуэт мамонта и тонкий контур быка.

Помимо двух панно имеются еще три группы рисунков черного цвета, одна из которых состоит из ряда знаков и антропоморфной (мужской) фигуры.

В. Т. Петрин отмечает условность, символичность изображений Дальнего зала и их особый характер по сравнению с изображениями Большого зала. В то же время он выделяет три общих для них признака: 1) использование тут и там и красной, и черной краски; 2) наличие одних и тех же элементов — вертикальные линии, копьевидные знаки; 3) манера исполнения — упоминаются лишь «башмаковидные» ноги некоторых мамонтов.

Представляется, что анализ сходства-различия двух залов можно было бы продолжить, особенно в том, что касается манеры исполнения. Если взять, например, антропоморфные сюжеты, то бросается в глаза одинаковый стиль женской и мужской фигур, несмотря на разницу в размерах, что еще раз может свидетельствовать об одновременности рисунков Дальнего зала. «Линейность» этих изображений отличает их от силуэтной мужской фигуры Большого зала, которая по размерам, цвету и стилю удивительно напоминает стилизованные человеческие фигурки из Мурадымовской пещеры. Р. Г. Кузеев и А. Х. Пшеничнюк [1] справедливо трактуют их как своего рода «мостик», соединяющий палеолитическое искусство Каповой пещеры с более поздними наскальными рисунками Урала. Во время написания их статьи еще не была известна Игнatieвская пещера, роль которой в этом мостике необходимо оценить. В. Т. Петрин обращается в заключительной главе к аналогиям, антропоморфным изображениям в более поздних писаницах Среднего и Южного Урала, но лишь перечисляет их, не останавливаясь на характерных особенностях (с. 158).

Контурное изображение мамонта Красного панно, нанесенное черной краской, контурная и силуэтная фигура мамонтов Черного панно Дальнего зала различаются между собой и по размерам, и по стилю, и по технике нанесения. Это требует не только объяснения, но и детального сравнения каждого из них с мамонтами Большого зала. Единственный отмеченный элемент — изображение ступни у силуэтного мамонта Черного панно и очень неясное у мамонта из первой группы Большого зала нельзя принимать за обобщенное «иконографическое совпадение».

Что касается лошадей Черного панно, то они близки между собой стилистически и в целом существенно отличаются от фигуры лошади из группы 23 Большого зала и по размерам, и по цвету, и по манере исполнения. Несколько слов о точности определения. Если фигуры лошадей, несмотря на сомнения автора, бесспорны в их видовом определении, то изображение, напомнившее В. Т. Петрину верблюда, кажется загадочным. Дело не только в том, что в иконографии наскального палеолитического искусства нет изображений этого животного, но и приведенные аналогии из искусства малых форм ни в коей мере не свидетельствуют о том, что образ верблюда «был знаком палеолитическому человеку» (с. 73): антропоморфные головки из Костенок 1 изображают не верблюда, а существо мифического порядка; остря со шляпкой из Авдеева были названы «ножками верблюда» чисто условно. Рисунок «верблюда» из Игнatieвской не поддается расшифровке, трудно представить себе голову в фас, отделенную от туловища. Нет ничего похожего в Большом зале и на изображение гигантского контурного животного из Дальнего зала. Таким образом, можно прийти

к заключению, что сравнение рисунков Большого и Дальнего залов обнаруживает больше различий, чем сходных черт.

Далее, кажется совершенно неоправданным отказ от «конкретного сопоставления» с рисунками Каповой пещеры (с. 70), который можно было бы провести на доступных материалах, не дожидаясь полной публикации памятника. Возможно, высказанные предположения об одновременности и близости двух уникальных комплексов стали бы более доказательными, тем более что изображения мамонтов и лошадей, дополненные знаками, вполне пригодны для детального сравнительного анализа.

Значительно полнее могло быть и сопоставление с пещерным искусством франко-кантабрийского региона. Здесь необъятное поле деятельности, хотя В. Т. Петрин совершенно прав, говоря о самостоятельном центре палеолитического искусства на Южном Урале (с. 70). Следует заметить, что «полного совпадения стиля, иконографии» нет и в близко расположенных пещерах Дордони или Пиренеев. Каждое из крупных святилищ обладает характерными, присущими только ему особенностями, но в целом наскальное искусство палеолита едино, и в это широкое единство с полным правом вписываются и Капова, и Игнatieвская пещеры не только по сюжетным, но и по знаковым изображениям. Особое внимание привлекают знак-клавиформа и круг с тремя овалами во второй группе изображений Большого зала, а также стреловидные знаки и ряды точек. В отношении последних вряд ли правомочно сопоставление женской фигуры Красного панно и гравюры на кости из Брюникеля, принадлежащих к совершенно различным видам источников. Однако это не единственная чисто визуальная аналогия. В гравированных изображениях пещеры Габийю [2] трудно обнаружить сходство с композицией на рис. 38, хотя бы потому, что композиции Габийю основаны на паре бизон — лошадь или бык — лошадь, послужившей основой формулы А. Леруа-Гурана. Уральские пещеры этой формуле не соответствуют.

Проделанная В. Т. Петриным тщательная скрупулезная работа по изучению наскальных фресок Игнatieвской пещеры нуждается в более развернутом и глубоком анализе на фоне богатого и разнообразного, прекрасно изданного пещерного искусства Запада, и хочется надеяться, что В. Т. Петрин не оставит эту «золотую жилу».

Одной из важнейших особенностей Игнatieвской пещеры, которой посвящена глава 3, являются негативы древних сколов на стенах грота. Описание и выразительные фотографии не оставляют никаких сомнений в намеренности оббивки ребер выступов и горизонтальных пластов окремненнного известняка и в ряде случаев их определенной упорядоченности. Древность этой оббивки подтверждается наличием кальцитовых натечков на негативах сколов.

Эта впервые встреченная, насколько известно, особенность связывается автором с функционированием палеолитического пещерного святилища и приводит его к предположению, что сколы могут указывать на целый пласт представлений и верований, относящихся к культуре камня. Это предположение, подкрепленное различными данными, заслуживает самого пристального внимания и может быть продолжено за счет других и археологических, и этнографических фактов.

Глава 4 об изучении культурных слоев пещеры дает детальное описание методики исследования, раскопок, планов с распределением находок, стратиграфии с трактовкой происхождения слоев. Как и в других разделах, глава безукоризненно иллюстрирована многочисленными планами и разрезами. Сравнительно небольшие по размерам раскопы содержат относительно обильный для уральских местонахождений каменный инвентарь, технико-типологический анализ которого свидетельствует о его позднепалеолитическом возрасте. Описанию материала по раскопам и горизонтам посвящена глава 5, в табл. 1 и 2 представлено распределение каменного инвентаря по месту и времени нахождения и типам изделий.

Если в целом типология традиционна, то некоторое недоумение вызывает выделение орудий «с фигурным краем», которые в ряде случаев смешиваются с орудиями с зубчатым краем и по-разному трактуются в табл. 2 и в подписях под рисунками. Типологически они столь различны, что говорить об особой группе или типе орудий кажется преждевременным, а само наименование не представляется удачным.

Но это частный вопрос, а в целом В. Т. Петрин убедительно аргументирует единство каменных изделий, собранных в раскопах V, IV и с поверхности в Низком переходе. Краткий сравнительный анализ с инвентарем стоянки Талицкого, Каповой пещеры и упоминание о сходстве с материалами грота Зотинский, напомним, крайне немногочисленными, приводит В. Т. Петрина к выводу о том, что каменный инвентарь Игнatieвской пещеры «вполне вписывается в контекст культур позднего палеолита Урала» (с. 138).

В заключительной главе 6 «Феномен Игнatieвской пещеры» после краткой характеристики

природного окружения во время существования палеолитического святилища, т. е. около 13 тыс. лет назад, подведены итоги по трем самостоятельным элементам археологического контекста: наскальные изображения, негативы сколов и культурные слои в их взаимосвязи и взаимодействия. Это сопровождается любопытными замечаниями и размышлениями об информативности различных памятников и возможности реконструкций.

Для понимания феномена палеолитического святилища в Игнatieвской пещере В. Т. Петрин обращается к проблеме палеолита Урала. В том, что касается позднего палеолита, он справедливо замечает, что «слишком мал исходный материал для обоснованного выделения культур или линий развития» (с. 145), но этот материал точно так же мал и для сравнительного анализа с памятниками сопредельных территорий, сиречь Костенковско-Боршевского района. Здесь происходит невольная подмена. Говоря об Игнatieвской пещере, В. Т. Петрин ссылается на указания А. Н. Рогачева о близости каменных изделий из Костенок 15 и из стоянки Талицкого и мнения П. П. Ефименко и А. А. Формозова о сходстве материалов стоянок Боршево II и Гонцы опять-таки со стоянкой Талицкого. При этом упускается из вида, что Костенки 15 древнее стоянки Талицкого, а Боршево II и Гонцы (последняя — вне Костенковско-Боршевского района) моложе. В каком отношении находится их инвентарь к материалам Игнatieвской пещеры, остается неясным.

В. Т. Петрин идет далее, находя точки соприкосновения позднего палеолита Урала и Франции в наличии «триады». Если во Франции «триада», наряду с наскальной живописью включает мелкую пластику и орнаментированные орудия охоты в виде наконечников (и многие другие изделия), то уральские материалы для такого сопоставления явно недостаточны, несмотря на привлечение шигирских наконечников, что само по себе требует большей доказательности. Странно звучит и утверждение, что единственная на Урале костяная фигурка животного чем-то напоминает стилизованную женскую статуэтку из Гённерсдорфа «по манере изображения гипертрофированных ягодиц» (с. 146).

Вполне вероятно, что дальнейшие поиски приведут к открытию искусства малых форм на Урале, но и наличие триады вряд ли позволит подтвердить положение о длительных специальных экспедициях всех жителей приледниковой Европы в пещеры Франко-Кантабрии, даже если назвать это находящееся на грани научной фантастики предположение рабочей гипотезой (с. 156—157).

Рассмотренная В. Т. Петриным проблема отражения мифологии в наскальном искусстве и трактовка композиций Игнatieвской пещеры достаточно убедительны, но мысль о том, что сакрализация этой полости связана с обрядами инициации, высказана пока лишь на теоретическом уровне. Прежде всего, возможно, это субъективное восприятие, но трудно согласиться с тем, что «пребывание в пещере приводит человека в суперстрессовое состояние» (с. 151). Напротив, пещеры обладают устойчивым микроклиматом, благотворно влияют на состояние человека, если, конечно, не бояться темноты. Существует много примеров того, что первобытный человек был лишен этого страха.

Во-вторых, нет никаких данных, что в святилищах Франко-Кантабрии «проводились обряды инициации всех племен Европы» (с. 151). Это кажется слишком узкой и специфичной трактовкой положения о том, что позднепалеолитическая Европа представляла собой единую социокультурную систему.

Высказанные В. Т. Петриным предположения и гипотезы объясняются его увлеченностью и глубоким интересом к проблемам, попытками найти собственное универсальное решение, но, как кажется, они не могут опровергнуть очевидного факта, что уральские пещерные святилища являются самостоятельным центром наскального искусства, независимым от франко-кантабрийских святилищ, точно так же как искусство Мальты не могло быть принесено на берега Ангары «пришельцами с Дона», а для изготовления глиняной фигурки обитатели Майнинской стоянки не должны были отправляться за опытом в Моравию.

Значение Игнatieвской пещеры уже нашло признание у наших зарубежных коллег, о чем свидетельствует хотя бы перевод и публикация Г. Бозински статьи В. Т. Петрина и В. Н. Широкова в престижном издании [3].

Заканчивая обзор книги, представляющей несомненный важный вклад в российскую науку, необходимо сделать два замечания, касающиеся ее издания. Бесспорно, издательство Сибирского отделения РАН заслуживает глубокой благодарности, продолжая публиковать в наше нелегкое время научные труды, но требования к технической стороне не должны быть снижены. Это касается досадных опечаток в именах отечественных исследователей, где в числе прочих особенно пострадал С. Н. Замятин, который и в тексте, и в списке литературы превратился в С. И. Замятина. Далее, хотелось бы посоветовать на общую бедность нашей полиграфической базы. Российская Академия наук не имеет возможности издать уникальные произведения палеолитического искусства в цветном

изображении, и не удивление (мы привыкли!), а очередное огорчение (несмотря на привычку!) вызовет возможное появление за рубежом великолепно исполненных красочных репродукций искусства Игнатиевской пещеры, и ссылаясь, увы, будут не на первоисточник, каким бы высоко профессиональным во всех других отношениях он ни был.

Институт истории
материальной культуры РАН,
Санкт-Петербург

З. А. Абрамова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузеев Р. Г., Пшеничнюк А. Х. Новое открытие пещерной живописи на Южном Урале (Предварительное сообщение)//Исследования по исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1981.
2. Gaussen J. La grotte ornée de Gabillou (Près Mussidan, Dordogne)//Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux. Memoire № 3. Bordeaux, 1964.
3. Petrin V. T., Sirokov V. N. Die Ignatievka-Höhle (Ural). Jungpaläolithische Höhlenbilder und einige Aspekte ihrer Interpretation//Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 1991. L38.

А. П. Деревянко, С. В. Маркин. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). Новосибирск: Наука, 1992. 225 с.

Ведущее новосибирскими археологами в настоящее время широкомасштабное исследование мустьерских памятников Алтая без преувеличения можно назвать одним из наиболее заметных событий в археологии Сибири последних десятилетий. Если еще в 60-е годы оценка находок из Усть-Канской пещеры как мустьерских вызывала сомнения [1], то теперь мы располагаем целым рядом четко стратифицированных комплексов, обеспеченных привязкой к геохронологической шкале и позволяющих обрисовать как общий облик мустье Алтая, так и его деление на варианты.

Результаты раскопок, известные ранее специалистам по ряду предварительных малотиражных работ [2—6], а также по статьям обобщающего характера [7, 8], ныне представлены в развернутом виде. Рецензируемая книга является первым в сибирской археологии опытом монографической публикации пещерного мустьерского памятника. Работа содержит подробное описание характера сложного комплекса пещеры им. Окладникова, состоящего из нескольких соединяющихся между собой галерей, грота и привходового навеса. Перед исследователями этого своеобразного памятника стояла нелегкая задача. Чрезмерная узость галерей, практически полностью запечатанных отложениями, препятствовала получению натуральных продольных разрезов. Авторы прибегли к единственно возможному здесь методу частого поперечного профилирования, что в итоге позволило на серии сводных чертежей в аксонометрии реконструировать характер продольных разрезов и изучить чередование отложений.

Исследование пещеры носило комплексный характер. Наряду с детальнейшим описанием стратиграфии, в книге даны результаты гранулометрических, геохимических, палинологических анализов, определения фауны крупных млекопитающих, грызунов, птиц, моллюсков (к сожалению, многочисленные остатки ихтиофауны остались пока не исследованными) и абсолютные датировки. Вся эта сумма данных позволяет авторам обоснованно вести речь о палеоэкологической реконструкции окружения мустьерского человека.

Среди остатков промысловых видов доминирует лошадь, есть также кости козлов или баранов, шерстистого носорога, бизона, благородного оленя и др. В целом для нижних (2—7) слоев пещеры реконструируется обстановка теплого климата с преобладанием разнотравно-лугово-степной растительности, соответствующая времени каргинского межледниковья (вероятно, в основном малохетского потепления). Это подтверждает серия радиоуглеродных и урановых датировок, в основном (за исключением явно выпадающих дат СОАН-2458 и СОАН-2459) лежащих в диапазоне от 44 до 37

тыс. лет назад. Несколько отличается от нижележащих отложений слой 1, для которого восстанавливается более влажный и холодный климат. Авторы справедливо полагают, что этот комплекс может соответствовать периоду конощельского похолодания (единственная радиоуглеродная дата указывает на время порядка 33 тыс. лет назад).

Удивительно, правда, что в столь обстоятельной работе не нашлось места описанию встреченных здесь (в слоях 2, 3 и 7, как явствует из других публикаций [9]) антропологических остатков, находка которых придает памятнику особую значимость. Однако, кроме краткого упоминания о них на с. 4, никакой другой информации в книге не содержится.

Основную часть работы составляет предельно скрупулезное, насыщенное статистическими данными описание выразительной коллекции каменного инвентаря. Оно сопровождается большим числом прекрасно исполненных рисунков, дающих полное представление о характере индустрии.

Индустрия всех слоев памятника в целом однородна, несмотря на количественные колебания. В области техники расщепления она характеризуется преобладанием скальвания отщепов с одно-, двуплощадочных и дисковидных ядрищ, развитой леваллуазской технологией (треугольные и черепаховидные ядрища). Основную массу орудий составляют разнообразные угловатые, значительно реже ковергентные, диагональные, двойные, продольные и поперечные выпуклые скребла. Встречены также скребла с утонченной спинкой, с противоположной отделкой. Имеются в небольшом количестве леваллуазские остря (в том числе ретушированные), остроконечники, ножи с обушком, орудия верхнепалеолитической группы (скребки, проколки, угловые и срединные резцы), зубчато-выемчатые изделия, мелкие бифасы и т. д.

Можно сделать некоторые замечания относительно используемой авторами классификационной сетки. Прежде всего для понимания предложенной схемы подразделения группы угловатых скребел следовало бы дать таблицу с рисунками и словесными определениями разновидностей орудий, что облегчило бы читателю понимание последующего изложения. Авторы принимают крайне расширительное толкование термина «угловатое скребло», включая сюда обычно выделяемые другими археологами тройные орудия, двойные скребла с противоположной отделкой лезвий и т. д. Однако даже при подобном подходе никак нельзя причислить к угловатым скреблам вещи, изображенные, к примеру, на рис. 39, 4; 58, 8; и 59, 2. С другой стороны, истинная роль угловатых скребел как ведущей категории инвентаря комплекса, вероятно, была еще более важной. Ведь целый ряд простых форм скребел несомненно представлял собой не более чем незаконченные обработкой угловатые разновидности. Хорошо известно, что различные морфологические разновидности мустьерских скребел могли представлять лишь отражение последовательных стадий обработки, срабатывания и переоформления [10].

Переходя к сравнительному анализу и выяснению места пещеры им. Окладникова среди мустьерских памятников Алтая, авторы дают краткую характеристику известных индустрий. Особенно важно отметить впервые приведенные в печати результаты статистической обработки материалов пещеры Страшная.

К сожалению, заключительная часть работы, где подводятся итоги исследования, оказалась скомканной (насколько мне известно, не по вине авторов). На завершающих книгу страницах высказан ряд интереснейших идей и гипотез, не получивших должного развернутого обоснования.

Прежде всего речь идет об определении функциональной специфики памятника. Основываясь на аномально высоком проценте законченных форм орудий, редкости ядрищ и первичных сколов, авторы справедливо полагают, что перед нами памятник с ограниченным циклом расщепления. Основная масса заготовок, вероятно, приносилась в пещеру извне. Однако характер памятника остается во многом неясным. Очевидно, что говорить о сколь-либо долговременном обитании и жизнедеятельности в лабиринте узких галерей, где с трудом проходит человек, не приходится. Авторы упоминают о существовании расположенного выше пещеры проникающего понора, через который артефакты и коста могли в принципе попадать в карстовые полости вместе с обломочным материалом. Однако анализ характера обломочного материала приводит к выводу о том, что функционирование его завершилось уже после формирования 7-го слоя.

Другой круг проблем связан с определением культурной специфики памятника. С работ А. П. Окладникова [11] бытует представление об общности леваллуа-мустьерских культур, тянущихся от Ближнего Востока через Среднюю Азию до Алтая и Монголии. Однако результаты исследований последних десятилетий убедительно свидетельствуют о значительной степени внутренней дифференциации мустье Алтая и возможности выделения здесь ряда сосуществовавших вариантов (что само

по себе очень характерно именно для мустьерской культуры). В настоящее время можно говорить о наличии как минимум четырех-пяти таких разновидностей.

Прежде всего, это леваллуа-мустьерская индустрия Страшной (оставим в стороне комплекс из Усть-Канской пещеры, ибо вопрос о гомогенности происходящих отсюда материалов навсегда останется открытым). Гораздо сложнее обстоит дело с выделением зубчатого мустье. Тюмечин II, по материалам которого это подразделение среднего палеолита было выделено [12], представляет собой сумму переотложенных в пролювиальной толще артефактов. Предметы несут следы многочисленных естественных повреждений. Вряд ли на основании памятников подобного рода можно выделять зубчатое мустье, о чем в свое время писал Н. Д. Праслов [13]. Возможно, особый вариант мустье представлен материалами из нижней части колонки Каминной пещеры, хотя в данном случае необычная грубость сырья наложила отпечаток на облик индустрии. Наконец, нельзя не сказать о мустьероидных комплексах с листовидными бифасами типа Усть-Каракола 1 и Мохово 2.

Выяснение хронологического соотношения этих вариантов — дело будущего. Имеющиеся немногочисленные датировки как будто указывают на параллельное существование мустье пещеры им. Окладникова и Страшной, к несколько более позднему времени относится последовательность напластований во внутренней камере Денисовой пещеры, а возраст памятников с листовидными формами, если исходить из корректности датировки Усть-Каракола, оказывается наиболее молодым. Как бы там ни было, ясно, что мустьерские памятники Алтая входят составной частью в мустье Евразии. К числу фактов, показывающих поразительное единство мустьерской культуры, относится и упомянутое авторами сходство индустрии пещеры им. Окладникова с некоторыми комплексами Крыма. Сравнительный анализ в этом аспекте следовало бы продолжить.

В целом фундаментальное исследование А. П. Деревянко и С. В. Маркина представляет собой крупный вклад в изучение среднего палеолита Сибири, выводящий данную проблематику на качественно новый научный уровень. Остается ожидать появления на свет сходных монографических публикаций по другим мустьерским памятникам региона (в первую очередь пещер Денисовой, Каминной и Страшной), чтобы полностью оценить богатство и разнообразие мустье Горного Алтая и определить место сибирских памятников в системе среднего палеолита Евразии.

Институт истории
материальной культуры РАН,
Санкт-Петербург

С. А. Васильев

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Окладников А. П.* Сибирь в древнекаменном веке. Эпоха палеолита//История Сибири. Т. 1. Л.: Наука, 1968.
2. *Деревянко А. П., Васильевский Р. С., Молодин В. И., Маркин С. В.* Археологические исследования Денисовой пещеры (препринты). Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1985.
3. *Деревянко А. П., Молодин В. И., Маркин С. В.* Археологические исследования на Алтае в 1986 г. Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1987.
4. *Деревянко А. П., Гричан Ю. В.* Исследование пещеры Каминная (препринт). Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1990.
5. Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая. Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1990.
6. Комплексные исследования палеолитических объектов бассейна р. Ануй. Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1990.
7. *Маркин С. В.* Многослойный археологический разрез Денисовой пещеры//Древности Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1987.
8. *Деревянко А. П., Маркин С. В.* Предварительные итоги изучения мустье Алтая//Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. Новосибирск: Наука, 1990.
9. *Turner C. G.* Paleolithic teeth of the Central Siberia Altai Mountains//Chronostratigraphy of the Paleolithic in North, Central, East Asia and America. Novosibirsk: IIFIF, 1990.
10. *Dibble H. L.* Reduction sequences in the manufacture of Mousterian implements of France//The Pleistocene Old World. N. Y.: Acad. Press, 1987.
11. *Окладников А. П.* Палеолит Монголии. Новосибирск: Наука, 1986.
12. *Шуныхов М. В.* Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая. Новосибирск: Наука, 1990.
13. *Праслов Н. Д.* Ранний палеолит Русской Равнины и Крыма//Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука, 1984.

Этнокультурные процессы в пограничье разных природных зон (в связи с выходом книги А. С. Смирнова «Неолит Верхней и Средней Десны». М., 1991. 144 с.)

В 1991 г. вышла в свет монография А. С. Смирнова «Неолит Верхней и Средней Десны», где были подведены итоги примерно 20-летних исследований автора в этом районе Восточной Европы. К началу 70-х годов текущего столетия здесь было известно незначительное число местонахождений и стоянок с неолитической керамикой, меньше десятка из них подвергались небольшим раскопкам (Островок I и II, Мыс Очкинский, Холм, Черепеньки, Витховка и некоторые другие). Однако даже эти небольшие материалы позволили исследователям сформулировать первоначальные представления о неолите данного района. Новый этап исследований начался с середины 70-х годов, когда под руководством А. С. Смирнова развернулись работы Деснинской экспедиции Института археологии АН СССР. В результате фронтальных обследований были открыты несколько десятков новых памятников эпохи неолита — энеолита, около 30 из них подверглись раскопкам широкими площадями. Был получен новый хорошо документированный материал, который и позволил автору обратиться к специальному обсуждению вопросов истории древнего населения бассейна Десны.

Рассматриваемый в работе А. С. Смирнова район интересен как в историко-культурном, так и в теоретико-методическом отношении. Автор совершенно справедливо указывает, что эта территория «до недавнего времени оставалась белым пятном, разделяющим днепро-донецкую, верхневолжскую и среднедонскую раннеолитические культуры, а в более позднее время — верхнеднепровскую, льяловскую культуры и культуру ямочно-гребенчатой керамики Украины» (с. 3). Особое географическое положение этого района в наиболее южной части лесной зоны, практически на границе с лесостепью, привело к тому, что он сделался местом интенсивных контактов разных в этнокультурном отношении групп древнего населения. С одной стороны, это были племена лесных охотников и рыболовов, а с другой — население лесостепной и степной зон, владевшее к этому времени некоторыми формами производящего хозяйства. Таким образом, появилась возможность изучения этнокультурных процессов между группами населения, различающимися не только в социально-экономическом отношении, но и с точки зрения экологии своего обитания.

Говоря о рецензируемой работе в целом, прежде всего хочется отметить комплексный подход к проблеме. Автором ставятся и решаются две основные задачи: 1) источниковедческий анализ всех имеющихся на сегодняшний день материалов, как из собственных раскопок, так и из собраний музеев, и 2) изучение происхождения и развития нео-энеолитических культур бассейна Десны на общем фоне этнокультурной истории Восточной Европы этого времени.

В первом разделе монографии достаточно подробно рассматривается история накопления конкретных археологических данных и процесс формирования на этой основе представлений об истории неолитического населения Верхней и Средней Десны. Наиболее спорными до последнего времени продолжали оставаться вопросы о раннем неолите и энеолите в этом районе, о времени бытования ромбоямочной керамики и о так называемой «белевской» культуре. Аргументированный ответ на них и дает данное исследование.

В последние годы стало хорошей традицией рассмотрение истории древнего населения в неразрывной связи с историей места его обитания. Этому посвящен второй раздел монографии, названный «Геоморфология и палеогеография бассейна Десны». Такой подход позволяет, во-первых, добиться большей конкретности в изложении древней этнокультурной истории, во-вторых, выяснить особенности влияния на нее природных факторов. В частности, анализ особенностей рельефа бассейна Десны и некоторых прилегающих территорий позволил прийти к выводу об отсутствии каких-либо естественных препятствий для контактов древнего населения Верхней и Средней Десны с населением Верхней Оки, Днепра и Дона (с. 12). Сопоставление данных о колебаниях климата и истории населения демонстрирует известное соответствие между ними, за которым, вероятно, стоят адаптивные реакции различных форм хозяйственной деятельности древних коллективов на изменения местной экологии. Так, автор пишет: «Раннеатлантическое потепление, приходящееся на V тыс. до н. э., совпадает с активным проникновением населения южных, степных территорий, принесшего традиции накольчато-отступающей орнаментации, в глубь лесной полосы. Среднеатлантическое похолодание (IV тыс.

до н. э.) отмечено господством в южной части лесной зоны населения северного происхождения с традициями ямочной орнаментации... Черновское потепление, интерпретируемое как атлантический термический максимум (III — первая половина II тыс. до н. э.), одновременно появлению на юге лесной полосы энеолитических и раннебронзовых лесостепных и степных культур» (там же).

В специальном разделе монографии («Периодизация деснинского неолита») проводится анализ данных о времени бытования носителей разных культур на изучаемой территории. В качестве основной задачи при этом автор ставит «вычленение из общей массы материала объективно существующих типолого-хронологических комплексов» (с. 13). Этому препятствуют такие обстоятельства, как практическое отсутствие на раскопанных памятниках почвенной стратиграфии, которая позволила бы расчленить единый культурный слой на горизонты, отсутствие так называемых «шлейфов» культурного слоя в пойменных отложениях. А. С. Смирнов видит выход в применении комплексного подхода, который включает, во-первых, выделение разных типологических комплексов на основе планиграфического анализа материалов на памятниках, во-вторых, построение «стратиграфической проекции» материалов на профили раскопа в соответствии с методикой, разработанной А. Н. Сорокиным для анализа стратиграфии мезолитических стоянок. Это, по заключению А. С. Смирнова, «дает возможность даже на смешанных памятниках (а таких большинство) проследить участки с ненарушенной естественной стратиграфией» (с. 14). Сочетание этих двух приемов упорядочения материала конкретных памятников позволило выделить и обосновать основные периоды развития неолитического населения бассейна Десны.

Три последующих раздела («Ранний неолит», «Деснинская неолитическая культура (развитый и поздний неолит)» и «Энеолит») составляют основное содержание работы. Все они построены по единому принципу. Сначала дается подробное описание выделенных в рамках периода культурных комплексов (прежде всего керамического материала), затем проводится их сравнительный анализ, определяется взаимная соподчиненность во времени, делается попытка выяснить связь этих комплексов с археологическими культурами, бытовавшими в это время на соседних территориях в пределах Восточной Европы. Последнее позволяет высказать суждения о местных или неместных корнях тех или иных культурных феноменов. Выделенные культурные комплексы получают в работе и абсолютную хронологическую привязку, что делается на основе данных палинологического анализа и типологических аналогий с культурами Восточной Европы, имеющими уже радиоуглеродную хронологию соответствующих комплексов. В заключительной части каждого из этих разделов обобщаются все полученные результаты, и на этой основе автор рисует картину этнокультурного развития бассейна Верхней и Средней Десны в конкретную эпоху. Должен сразу отметить, что делается это вполне аргументированно. Те сомнения по поводу отдельных выводов автора, которые могут возникнуть и неизбежно возникнут у специалистов, связаны, как мне думается, прежде всего с состоянием имеющихся в его распоряжении источников. Кроме того, совершенно очевидно, что возможности использованного автором обширного фактического материала нельзя считать исчерпанными. В будущем, после применения более совершенных исследовательских методик, решение некоторых вопросов подвергнется уточнению.

Однако на сегодняшний день история неолитического населения бассейна Десны предстает перед нами благодаря изысканиям А. С. Смирнова в следующем виде.

Выяснилось, что в формировании состава раннеолитического населения бассейна Верхней и Средней Десны приняли участие три основные группы. Во-первых, это потомки местного мезолитического населения этого района. Во-вторых, часть пришедшего южного степного и лесостепного населения Волго-Донского бассейна, которое принесло с собой, по мнению А. С. Смирнова, традиции изготовления глиняной посуды. В начале первого этапа раннего неолита (V тыс. до н. э.) эти две группы смешались друг с другом. В-третьих, чуть позднее сюда добавляется влияние носителей лесных раннеолитических культур с традицией гребенчатой орнаментации керамики. Постепенно влияние представителей этих северных культур возрастает, что приводит в первой половине IV тыс. до н. э. к сложению «синкретического типа памятников с накольчато-гребенчатой орнаментацией» (с. 89).

Переход к развитому неолиту связан с формированием здесь примерно в середине IV тыс. до н. э. населения деснинской археологической культуры, не связанной генетически с местным ранним неолитом, хотя какая-то часть этого древнего населения осталась, как считает автор, на этой территории. Деснинская культура своим происхождением предположительно связывается с льяловской. Позднее, на рубеже IV и III тыс. до н. э., в бассейне Оки между территориями, занятыми носителями этих двух культур, оформляется своеобразная «контактная зона», которая традиционно рассматривалась

как занятая носителями особой «белевской» культуры. Для первого этапа деснинской культуры наиболее характерна была посуда с четким ромбоямочным орнаментом, отпечатки «лапчатого» штампа встречаются реже и обязаны своим происхождением влиянию носителей верхнеднепровской культуры. На втором этапе развития культуры это влияние последовательно возрастает, что находит отражение в широком распространении на посуде именно «лапчатого» орнамента и постепенном размывании традиции украшения посуды ромбическими ямками — они приобретают аморфные очертания, овальное, а затем рубчатое дно. С течением времени культурная определенность этого населения снижается. В III тыс. до н. э. в бассейне Десны сохраняются лишь отдельные группы населения деснинской культуры, оставившие памятники так называемого «пережиточного неолита», и носители пришлой, северной группы населения, характеризующейся памятниками «боровичского» типа.

Начиная с середины IV тыс. до н. э. в бассейне Верхней и Средней Десны ощущается определенное влияние более южных энеолитических групп населения. Сначала это представители нижнедонской, а позднее — репинской культуры. Сосуществуя и контактируя с местными группами населения, носители южных энеолитических традиций не оказали, однако, на него существенного влияния (с. 83). В конце III тыс. до н. э. территория этого района была занята населением среднеднепровской культуры шнуrowой керамики.

Таким образом, на протяжении всей нео-энеолитической эпохи население бассейна Десны характеризуется, как выяснилось, постоянным сочетанием южных (степных и лесостепных) и северных (лесных) культурных традиций в своей материальной культуре, что было отражением его полиэтничного состава. А. С. Смирнов высказывает весьма вероятное предположение, что такая модель этнокультурного развития «не является привилегией лесного Подесенья», а распространена гораздо шире, по крайней мере в южной половине лесной зоны Восточной Европы (с. 91).

В заключение хотелось бы кратко остановиться на некоторых безусловных достоинствах рецензируемого исследования, а также на ряде моментов, которые могут стать предметом дискуссии.

Прежде всего отмечу комплексный характер данного исследования, на что я уже обращал внимание выше. Детальному изучению были подвергнуты все имеющиеся сегодня археологические источники, как вещественные, так и фиксируемые непосредственно при раскопках. Кроме того, объектом специального внимания стали природно-климатические особенности рассматриваемого района. При этом представляется существенным, что читатель имеет возможность познакомиться не только с результатами исследования, но и, пусть кратко, с методами получения этих результатов. Последнее является необходимым элементом, который позволяет убедиться в добротности полученных выводов.

Считаю методически корректным такой подход, при котором сначала рассматриваются конкретные материалы какой-то ограниченной территории — в данном случае бассейна Верхней и Средней Десны, а затем они сопоставляются с широким культурно-историческим фоном соседних территорий лесной, лесостепной и степной зон Восточной Европы. Это позволяет попытаться глубже понять закономерности хода древних этнокультурных процессов, в частности, идущих на границе разных природно-климатических зон.

В рецензируемой монографии впервые с такой полнотой и детальностью реконструирована конкретная этнокультурная история неолитического населения бассейна Десны и контакты его с населением смежных территорий. Выяснилось, что эта история была богата разнообразными событиями, на что не последнее влияние оказало географическое положение этого района, расположенного практически на границе двух природных зон — леса и лесостепи.

К разряду наиболее важных дискуссионных вопросов, поднятых в рецензируемой работе, с моей точки зрения, могут быть отнесены следующие.

1. Вопрос о происхождении «гребенчатого» орнамента на посуде раннего неолита лесной зоны Восточной Европы. Мне кажется важным обратить внимание на то, что этот орнамент в культурном и хронологическом отношении не является единым. Одна часть его исходно связана с населением южных или юго-восточных культур степной и лесостепной зоны, другая — с носителями культур с ямочно-гребенчатой керамикой лесной полосы. Ярким примером этого факта может служить верхневолжская культура, где на раннем и позднем этапах ее развития гребенчатый орнамент имеет разное происхождение.

2. А. С. Смирнов конкретизирует сделанный ранее другими исследователями вывод о существовании в лесной зоне Восточной Европы «двух этнических близких групп населения»: более восточной — с ямочно-гребенчатой керамикой и более западной — с ромбоямочной керамикой (с. 55). Эта картина не будет полной, если не сказать об установленном давно факте бытования на

северо-западе Восточной Европы третьей группы населения — с гребенчато-ямочной керамикой. Выяснение историко-культурного содержания этих родственных групп древнего населения, делавших посуду с примесью дресвы и разными видами ямочных и гребенчатых узоров на поверхности сосудов, представляет собой важную и перспективную исследовательскую задачу.

3. Автор обращает внимание на то, что на втором этапе деснинской культуры появляются орудия, выполненные в технике, близкой к волосовской, хотя присутствие непосредственно волосовского населения в бассейне Десны не зафиксировано. Отсюда делается предположение, что «волосовская» индустрия не суть изобретение волосовской культуры» (с. 64). Думаю, что в данном случае может рассматриваться и альтернативное объяснение этого явления. А именно: сегодня хорошо известно, что в первой половине III тыс. до н. э. волосовские племена на территории Волго-Окского междуречья вступают в контакт и интенсивно смешиваются с носителями культуры с ямочно-гребенчатой керамикой. В результате некоторые общие черты могли сформироваться не только в сфере гончарства (что фиксируется достаточно определенно), но и кремневой индустрии. Поэтому допустимо предположение, что распространителями «волосовской» кремневой индустрии на Десне были не сами волосовцы, а носители культуры с ямочно-гребенчатой керамикой, воспринявшие в результате смешения некоторые волосовские культурные традиции обработки кремня.

Доказательный ответ на эти и многие другие дискуссионные вопросы должны дать дальнейшие исследования. Что же касается рецензируемой монографии, то она закрывает белое пятно в истории неолитического населения одного из наименее изученных районов лесной зоны и вместе с аналогичными исследованиями по другим районам (монографии В. П. Третьякова, С. В. Ошибкиной, М. П. Зиминой, Г. А. Панкрушева, И. А. Лозе и др.) создает надежный фундамент для будущей реконструкции истории неолитического населения Восточной Европы в целом.

Институт археологии РАН,
Москва

Ю. Б. Цетлин

E. Dziobek. Das Grab des Ineni. Theben Nr. 81. Ph. von Zabern. Mainz am Rhein. Archäologische Veröffentlichungen 68. Deutsches Archäologisches Institut. Abteilung Kairo, 1992.

Предложенная вниманию специалистов книга «Гробница Инени» является переработанной диссертацией Эберхарда Джиобека, отзывы на которую давали такие крупные ученые, как проф. Дж. Ассманн и проф. Р. Штадельман.

Книга представляет собой не только прекрасную публикацию сохранившихся росписей, текстов, архитектурных деталей и находок, но и довольно оригинальное исследование истории изучения и строительства гробницы чиновника времени ранней 18-й династии Инени. Она — одно из звеньев целой цепи захоронений на холме Шейх абдель Гурна, на территории Фиванского некрополя.

Как известно, гробницы подразделяются на два типа: «закрытого» и «открытого». К первым относятся те из них, у которых нет входного проема, а ко вторым — те, которые лишены входного пространства. Автору удается показать, что гробницы ранней 18-й династии представлены обоими типами, при этом для гробниц «открытого» типа сочетание архитектурной формы и программы изображений неоднозначно. В двух случаях с долей вероятности можно сказать, что на стенах входа не изображаются жертвоприношения богам, но лишь хозяева, сидящие по обеим его сторонам. В четырех случаях никаких выводов сделать нельзя из-за плохой сохранности объектов.

Автор выявил определенные изменения в декоре гробниц этого периода. Они были вызваны различными причинами, одной из которых была «монополия» на гробницы жрецов Амона (с. 121).

Гробница Инени — весьма крупное сооружение, насчитывающее четыре специальных помещения: передний двор, поперечный холл, продольный зал и камеру для статуй. Высота стен переднего двора достигла 3,3 м. При строительстве гробницы помимо естественных уступов, образованных скалой, использовались булыжники и кирпич.

Ф. Шампольон был, пожалуй, первым из исследователей, обратившим внимание на это захоронение [1, I, с. 492—494, 737], он сделал наброски продольного зала и помещения для статуй. Позже гробницу посетили Буссак, Буриан [2, с. 15; 3].

Немецкий археологический институт начал систематические раскопки гробницы с 1981 г. Был составлен четкий план внутренних помещений гробницы, соотнесенный с общим уровнем горизонта. Сохранившиеся росписи были скопированы в красках, а подвергшиеся сильному разрушению сцены прорисованы с помощью Glasfolie 1 : 1.

Однако до сих пор стены переднего двора, с юга и севера достигающие высоты 175 см, не полностью освобождены от почвы. В основе исследовательской части работы Э. Джиобека лежит утверждение, что история создания по крайней мере изучаемой гробницы Фиванского некрополя (ТТ 81) отличается от общепринятой схемы, согласно которой чиновники 18-й династии использовали планы своих предшественников 11-й династии, внося незначительные изменения. Многие постройки времени 11-й династии действительно являлись прототипами сооружений ранней 18-й династии: так, храм Хатшепсут был скопирован с аналогичной постройки Ментухотепа, Фараона 11-й династии. Однако, согласно автору, гробница ТТ 81, незаконченное сооружение ранней 11-й династии, была характерным образом перестроена Инени. Э. Джиобек приводит следующие аргументы, подкрепляющие это предположение.

Пространство между устоями было заделано стенами из кирпича. Из-за естественных разломов в скалах, имевших место в амарнскую эпоху, одна из кирпичных стен была погребена под верхней частью устоя, следовательно, промежуточные стены были построены к началу 18-й династии. Объяснить их появление можно и следующим образом: Инени изменил первоначальный план, добавив стены между устоями. Гробницы с похожим планом строились со времени правления Тутмеса IV.

Перестройка гробниц в античное время вообще потеряла смысл. Можно было бы предположить, что кирпичные стены были возведены в начале XIX в., поскольку весьма точный рисунок переднего двора гробницы в публикации П. Буссака [2, с. 15] вовсе их лишен, следовательно, они должны были бы быть построены после 1890—1892 гг., но, как известно, к этому времени передний двор был почти полностью засыпан грунтом, поэтому ясно, что Буссак лишь предлагал возможную реконструкцию древней гробницы. Более того, судя по находкам внутри гробницы, ее единственным владельцем был Инени, несмотря на то, что он узурпировал гробницу.

Свидетельством узурпации является незаконченная шахта, расположенная в продольном зале. Она чрезвычайно мешала отделке стен, поскольку ее нельзя было обойти, но лишь с трудом перепрыгнуть. Инени принял решение засыпать ее, одновременно начав строительство другой шахты в углу переднего двора.

Кроме того, захоронения, двумя галереями окружающие место упокоения Инени, датируются 11-й династией, составляя таким образом комплекс гробниц одного времени.

Узурпация гробниц — явление довольно обычно для Египта в целом и для Фиванского некрополя в частности [2, 4]. Однако приведенные выше соображения о времени постройки гробницы автор считает недостаточными и пытается подкрепить их определением максимально точного времени строительства той или иной части гробницы. Так, к постройкам, сделанным уже во времена 11-й династии, он относит передний двор и поперечный холл, в то время как во времена 18-й династии, по его мнению, была начата маленькая шахта, предназначенная, возможно, для жены Инени; значительно увеличен фасад надстройки, что впрочем было обычной практикой во времена 18-й династии [5, с. 5]. Кроме того, пространство между устоями было заделано кирпичными стенами, что создавало впечатление отгороженности от внешнего мира; архитрав был отделан фризом, стены декорированы, пол отштукатурен. Вероятно, в это же время была заложена и закончена камера для статуй, о чем свидетельствует высокий уровень пола, не характерный для аналогичных построек 11-й династии и имеющий параллели только среди сооружений 18-й династии (с. 20).

Несмотря на то, что найденные внутри и вне гробницы осколки керамики представлены неполно в силу того, что часть погребального инвентаря была разграблена, а часть не поддается точной датировке, самые ранние из них по декору и форме относятся, без сомнения, ко времени 18-й династии [6, 51], а точнее, ко времени правления Хатшепсут — Тутмеса III. Аналогичное наблюдение автор делает и в отношении мелких находок, предварительно подразделив их на следующие группы: изделия из фаянса, дерева, кости, тканей (с. 90).

Итак, ни в оформлении внутренних помещений, ни среди находок нет никаких свидетельств принадлежности захоронения какому-либо другому лицу помимо Инени. Типичное для памятников послеамарнского периода уничтожение имени Атона не затронуло гробницу, поскольку она к этому времени уже обвалилась и была недоступна.

Определенного интереса заслуживает экскурс автора в природу разрушений, произведенных в Фиванском некрополе. Так, среди последних он выделяет, например, разрушения, причиненные естественными потрясениями: наводнениями, землетрясениями. Фасад и передняя часть гробницы Инени пострадали от них. В то же время разрушения, вызванные гонениями против хозяев гробниц и их семей, не коснулись захоронения Инени. Немалый вред нанесли захоронениям грабители. Э. Джиобек выделяет среди разрушений последней категории те, что были сделаны в поисках «ценностей», типичные для античного времени, и те, целью которых был поиск предметов искусства, прежде всего коснувшийся фресок. К сожалению, несмотря на попытку автора выявить время нанесения тех или иных повреждений, это ему не всегда удается, да и вряд ли подобная задача, по крайней мере в отношении гробницы Инени, вообще разрешима. Можно только констатировать факт, что захоронение оставалось нетронутым с момента его постройки и до правления Тутмоса III (с. 102). Позже грабителям удалось проникнуть в гробницу. К счастью, ее миновали, как уже говорилось, систематические преследования имени Атона послаамарнского времени. В коптское время стенам поперечного холла были нанесены тяжкие увечья, и фрески на них изуродованы. Позже фрески гробницы подверглись выборочному уничтожению «языческих» деталей: глаз, конечностей, корней деревьев и т. д. И хотя эти повреждения не коснулись целых сюжетов, называть их «символическими», как это делает автор, было бы слишком легкомысленно, поскольку по сути они являются теми же самыми разрушениями, хотя и меньшего масштаба. Вероятно, при столь тщательном обзоре различных категорий повреждений было бы логичным выделить в особую группу разрушения, причиненные неизвестными и именитыми исследователями гробниц, которые не гонялись ни за ценностями, ни за предметами искусства, но тем не менее «любопытность» которых нанесла ничуть не меньший вред. Исследователями XIX в. многие места в гробнице были уничтожены. В конце 80-х годов прошлого столетия архитектор П. И. Буссак, посланный Французским институтом расчистить внутренние помещения гробницы, в ходе работ по укреплению нижних частей стен и огораживанию гробниц, вероятно, вызвал многочисленные мелкие разрушения. Уничтожением исторических свидетельств мы обязаны и Сальту, пытавшемуся самостоятельно раскопать гробницу. В этом смысле интересно упомянуть граффито, процарапанное карандашом прямо на списке жертвоприношений: «Лепсиус-разрушитель здесь тоже?» Появилось оно в связи с экспедицией известного немецкого египтолога Р. Лепсиуса и связано с мнимым или фактическим вандализмом членов хорошо известной экспедиции (GR. 17/3). К 1827 г., когда Ф. Шампольон посетил гробницу, было уже невозможно из-за разрушений сделать эскиз ее поперечного холла.

Большой раздел книги посвящен разбору и попыткам восстановления большой автобиографической стелы Инени, которая до этого была скопирована и опубликована К. Зете, правда с копии, предоставленной Бурианом [7, с. 53—62], который, в свою очередь, воспользовался копией П. И. Буссака, читаемой с трудом из-за произвольной формы знаков. Те фрагменты надписи, которые сохранились до сегодняшнего дня, выверены автором и соотнесены с приведенной тут же копией К. Зете. Автор предпринимает попытку реконструкции разрушенной верхней части текста стелы на основании повторов в надписи. Ее содержание он предварительно разбивает на следующие части: восхождение на трон правящего фараона; деятельность Инени во время его правления; смерть царя. По мнению автора, такая разбивка наилучшим образом соответствует содержанию надписи, она помогает Э. Джиобеку существенно дополнить почти уничтоженное начало текста. Последняя часть повествования относится ко времени правления Тутмоса III — Хатшепсут, что позволяет достаточно точно датировать и время строения гробницы.

Большое место в работе уделено изучению граффити, сохранившихся начиная от эпохи Нового царства (с. 102—109).

В целом все, что касается публикаций сохранившихся изображений и текстов, будь то надписи или граффити, сделано чрезвычайно добросовестно: каждая сцена прорисована, имеет пояснительный текст, анализ стиля изображений (с. 38). Так, в сцене приношения дани особая нежность при изображении сириек позволяет автору даже сделать вывод о том, что древний художник находился под обаянием этого чужого для него народа. Тщательно изучены не только цветовые тона, но и яркость, интенсивность красок (с. 32—33). Отдельный раздел книги посвящен изучению деятельности Инени, в том числе строительной. Карьера Инени в большей степени освещается списком его титулов. В этом же разделе собраны все имеющиеся сведения о семье Инени.

Однако книга страдает и определенными недостатками. Так, вряд ли можно считать удачной структуру книги в целом, поскольку сведения исторического плана, рисующие общую картину истории строительства гробницы, можно почерпнуть лишь урывками и ближе к концу книги, что

безусловно затрудняет восприятие конкретного материала. В такой подаче материала прослеживается стремление автора познакомить читателя со всеми трудностями получения сведений из разрозненных источников. Однако специалисты вполне знакомы с подобными трудностями, а интересующихся историей читателей подобная структура изложения может просто отпугнуть.

Не всегда понятна логика автора при попытках подразделения тех или иных явлений на группы. Так, классифицируя разрушения, произведенные в гробнице, наряду с разрушениями, вызванными внешней средой, и преследованиями по религиозным соображениям, в отдельную группу занесены «разрушения большой площади» (с. 98).

Однако в целом книга представляет несомненный интерес, и в первую очередь с точки зрения сохранения прекрасного памятника ранней 18-й династии.

Институт востоковедения
РАН, Москва

Г. А. Белова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Champollion F.* Notices descriptives conformes aux manuscrits autographes recues sur les lieux. Paris, 1844.
2. *Arnold D.* Das Grab des Jnj-jtj.f Die Architektur. Mainz, 1971.
3. Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes. 1892. 12 Fasc. 3/4.
4. *Petrie W. F.* Six temples at Thebes. London, 1897.
5. *Davies N.* The Tomb of Rekh-Mi-Re at Thebes. New York, 1943.
6. *Holthoer R.* New Kingdom Pharaonic Sites. The Pottery. Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia. V. 5, 1. Copenhagen, 1977.
7. Urkunden der 18. Dynastie. Urkunden des ägyptischen Altertums. IV Abteilung. Bearb. von K. Sethe. Berlin, 1961.

С. В. Полин. От Скифии к Сарматии. Киев, 1992. 202 с., 22 рис.

Эллинистическая эпоха в Северном Причерноморье на всем своем протяжении изучена весьма неравномерно. Какое-то время период III—II вв. до Р. Х. воспринимался как своего рода пролог к римской эпохе, в ходе которого более или менее отчетливо выглядела лишь чрезвычайно поредевшая ко II в. до Р. Х. сеть античных городов при довольно неясной историко-археологической ситуации на варварской периферии. Поначалу проблемы «Барбарикума» III в. до Р. Х. как бы не существовало, поскольку классические скифские древности датировались суммарно IV—III вв., максимально сближаясь по времени с раннесарматскими. Однако основательная ревизия хронологии раннего железного века Восточной и Юго-Восточной Европы за последние 10—15 лет наряду с иными «темными» отрезками на хронологической шкале I тыс. до Р. Х. обозначила и III столетие. И действительно, по сравнению с нынешним положением дел в скифской архаике, да и на развитом этапе истории Скифии, культурно-хронологические обстоятельства ее финала выглядят достаточно туманно. Это значит, что тема перехода от Скифии к Сарматии весьма актуальна, о чем свидетельствует уже сам факт появления монографического исследования с таким названием.

По сути основной объем книги занят критическим обзором археологических памятников, в той или иной мере обозначающих этот переход, с довольно обширными историческими комментариями. Монография С. В. Полины является логическим завершением определенного этапа в работе исследователя над данной проблемой. Поэтому тем, кто в силу научных интересов непосредственно связан с изучением этой проблемы, наверно, нетрудно было предугадать расстановку акцентов в монографии уже хотя бы потому, что концепция С. В. Полины на сей счет достаточно хорошо известна, равно, впрочем, как и другие, касающиеся гибели Скифии.

Уже первая глава подразделами 1.1 и 1.2 обозначает две из этих концепций — «кельтскую» и

«сарматскую», которые хотя и неравнозначны по числу сторонников, однако в настоящее время наиболее популярны. Автор в хронологической последовательности рассматривает различные мнения, высказанные в поддержку обеих концепций и основанные на данных как письменных, так и археологических источников. С. В. Полин не ограничивается чисто историографическим обзором и уже здесь приводит ряд собственных соображений и критических замечаний. Автору удалось выявить слабую аргументацию положений о гибели степной Скифии под натиском сарматов и кельтов, сделав тем самым заявку на собственную оригинальную позицию. Однако редкое единство мнений исследователей по данному вопросу заставило автора предпринять подробный критический разбор прежде всего археологических источников. Этому и посвящена следующая глава.

Вполне разделяя точку зрения о рубеже IV—III вв. до Р. Х. как верхней дате классических скифских древностей, С. В. Полин далее останавливается на тех степных памятниках, которые до настоящего времени датировались III—II вв. Детальный анализ хронологии этих памятников, сгруппированных территориально (Нижний Днепр, Крым, Нижний Днестр) и типологически (северо-причерноморская группа комплексов с конскими пластинчатыми налобниками позднего типа), при свободном чтении кажется почти безупречным. Однако, когда в заключительных абзацах главы оказывается, что степная часть Северного Причерноморья в III — начале II вв. до Р. Х. практически свободна от полноценных археологических памятников (с. 72), интуитивное чувство протеста заставляет вернуться к началу главы и попытаться вникнуть во все сказанное более внимательно, сверяясь с библиографией, рисунками и т. п.

В подразделе «Нижний Днепр» С. В. Полин пересматривает датировки довольно значительной группы погребений (около 20) из Петуховки и Агжигёла, которые П. Рау, М. Эберт и Б. Н. Граков в свое время относили к III—II вв. В результате вся эта группа оказалась выведенной автором за пределы III в. (вверх и вниз), и если для большинства комплексов это кажется обоснованным, то для некоторых — нет. Последнее относится к курганам № 15, 21, 22, 32, 38 и, вероятно № 53 из Петуховки. Для курганов № 15, 32 и 38 вообще нет данных для сколько-нибудь внятной датировки. Курган № 15 отнесен С. В. Полиным к I в. от Р. Х. на основании описания вроде бы краснолаковой (или желтоглиняной?) чашечки и меридиональной ориентировки погребенного. Курган № 32 датирован IV в. до Р. Х. по схематичному рисунку пальметты на дне чернолакового сосуда, причем рисунок самого сосуда отсутствует. Но совершенно неприемлемы логические построения автора при датировании кургана № 38, отнесенного М. Эбертом к III в. На с. 36 читаем: «В кургане № 38 найдена чернолаковая солонка... Рисунка нет. Оснований для поздней датировки недостаточно. IV в. до н. э.» (!) Чересчур занижен *terminus post quem* кургана № 22 (здесь наиболее вероятен рубеж IV—III вв.) и кургана № 53, где из поля зрения автора при обзоре датирующего материала почему-то выпали два светильника.

Полностью аналогичную процедуру С. В. Полин проделал и в подразделе «Нижний Днестр» с Тираспольской группой. Она также выведена за рамки III в. (с. 45—48). Надо признать, что хронологические упражнения автора с этой группой крайне поверхностны, а потому не слишком убедительны. Согласимся, что работать с конкретным материалом, не видя его (поскольку его нет), очень трудно. Это в полной мере относится к фибулам тираспольских курганов, из которых (всего 11) сохранилось лишь два. И кстати, фрагмент фибулы с фальшивой пружиной из Паркан наиболее соответствует именно III в. до Р. Х. [1, с. 80, рис. 4]. Помимо фибул, С. В. Полин оперирует и другими хроноиндикаторами: чернолаковая керамика, лепные курильницы и железные втульчатые наконечники стрел. Пожалуй, наименее уязвимо для критики некоторое понижение дат комплексов с чернолаковой посудой. Излишне принципиальной кажется позиция автора в отношении хронологии лепных курильниц (с. 46—47). Погребения с курильницами никак не могут быть датированы III в. Максимальным допуском здесь, по мнению С. В. Полина, может быть рубеж IV—III вв. Тираспольские курильницы нельзя сопоставлять с позднескифскими, поскольку «...керамика позднескифских городищ отличается значительно большим своеобразием» по сравнению с керамикой V—IV вв. Это так, однако, по-моему, автор чересчур жестко ограничивает время бытования отдельных типов такой морфологически весьма консервативной группы материала, как лепная керамика. Примерно то же самое можно сказать и о бронзовых наконечниках стрел, массовое производство которых С. В. Полин ограничивает временем около 300 г. до Р. Х., но которые, минуя III век (поскольку памятники этого периода отсутствуют), вновь появляются уже в позднееллинистическую эпоху II—I вв. в Неаполе, Тираспольских курганах и др. Аналогичным образом обстоит дело и с железными трехлопастными наконечниками, производство которых началось в IV в. до Р. Х. В следующем столетии оно, видимо, протекало в латентной форме и вновь проявилось только во II в. до Р. Х. Стилистически

крайне неудачен вывод С. В. Полина по поводу датирующих возможностей железных стрел. Говоря на с. 40—41 о начале их производства в IV в., с чем можно поспорить, он далее пишет: «Их использование в Причерноморском регионе продолжалось до II в. н.э. ... Поэтому (!?) такие наконечники не могут определять дату погребений III—II вв. до н.э.»

В подразделе «Нижний Днестр» методически не вполне корректной кажется попытка С. В. Полина передатировать комплекс «На горбах» (курган у с. Николаевка) временем около 300 г. до Р. Х. (с. 49). При более внимательном знакомстве с публикацией А. И. Мелюковой [2, с. 93] очевидно, что синопские клейма из комплекса относятся не ко II или III хронологическим группам, а по определению Ю. Г. Виноградова — «скорее всего» к началу III и должны датироваться 270—250 гг. Не спасает положения, хотя и дает основания для некоторого удревления комплекса, ссылка С. В. Полина на статью В. И. Каца и Н. Ф. Федосеева, в которой границы III группы указаны достаточно ясно — в пределах I четверти III в. [3, с. 99]. Почему-то обойдены вниманием фасосские клейма из этой же тризны, датируемые Ю. Г. Виноградовым III в. Наконец, никак не может быть датировано IV в. херсонесское клеймо II группы. Таким образом, нет достаточных оснований для пересмотра даты кургана, предложенной А. И. Мелюковой, — около середины III в. или вторая четверть — середина того же столетия.

Нет места в III в. и для северопричерноморской группы комплексов с конскими пластинчатыми налобниками позднего типа. Для памятников этого типа в Северо-Западном Причерноморье (Бравичены, Бубуеч, Великопловское и Семеновка) предложены датировки от конца III в. до Р. Х. по I в. от Р. Х. (с. 50—57, 64). В отношении Великопловского нужно согласиться с мнением С. В. Полина о чересчур узкой дате этого комплекса (конец III в.), предложенной авторами публикации, тогда как вещи, входящие в его состав, показывают значительный хронологический разброс. Вряд ли, однако, оправданно такое значительное омоложение комплекса в целом, которое обосновывает автор, — I в. до Р. Х. Что касается кургана № 20 у с. Семеновка, то здесь, согласно С. В. Полину, речь должна идти о двух одновременных комплексах в пределах одной насыпи: вторая половина IV и конец III—II вв. до Р. Х. Основанием для этого послужило *упоминание* (выделено мной. — И. Б.) в тексте первой публикации фрагментов амфор Гераклеи и типа Солоха-1. В публикации 1984 г. самих вещей из комплекса, амфор ранних типов нет [4]. 400 лет, согласно автору, находился в употреблении шлем из Бубуеч, и только в I в. до Р. Х. он вместе с другими изделиями был зарыт в землю неподалеку от нынешнего Кишинева. Кстати, утверждение С. В. Полина о принадлежности комплекса из Бубуеч гето-дакийским древностям спорно (с. 65). Как раз изображения на пластинах и маски, на которые опирается автор, сопоставимы соответственно с гундеструпским и североиталийским кругами древностей [1, с. 84—85].

Справедливости ради надо отметить, что вещевые комплексы отмеченных местонахождений в хронологическом отношении действительно выглядят несколько странно. В них явно присутствуют одновременные вещи, причем как будто с внушительным (до 150 лет) разбросом дат. В чем здесь дело — сказать трудно. Либо это результат не вполне четкой хронологии отдельных групп материала (изъян, присущий в целом эпохе эллинизма), либо перед нами действительно так называемый фактор запаздывания, или даже «музеефикации» отдельных вещей, которые по не до конца понятным нам причинам намного пережили «свою» эпоху. В связи с этим можно упомянуть также близкие по составу и хронологии комплексы с кельто-италийскими шлемами в южнорусских степях.

В стремлении очистить III в. от степных памятников С. В. Полин проявил излишнее усердие. Тем не менее полностью осуществить задуманное не удалось. Так, автором вскользь упоминаются «немногочисленные находки» III — начала II вв. в Крыму (Неаполь, Кермен-Кыр, погребение № 56 Ак-Ташского могильника), «крайне слабые по мощности» слои этого же времени на ряде нижнеднепровских городищ общим количеством «не более 20» (с. 41) и комплексы III в. до Р. Х. из Семеновки и Курчи в Днестро-Дунайском междуречье (с. 49—50). Перечень может быть расширен за счет данных, которые были опубликованы или просто стали известны уже после выхода монографии С. В. Полина. Так, временем не ранее III в. определенно датируются некоторые фибулы из скифских погребений Нижнего Подунавья [5]. В этом же районе материал III и II вв. присутствует на фракийском городище Новосельское-II и в кургане у с. Холмское. Не исключено, что III в. датируется погребение группы Хамуш-Оба (к. 2, п. 1) в Северном Приазовье, в состав которого входят железные наконечники стрел, дротик, латенский бронзовый браслет [6]. Относительно Крыма также представляют интерес данные, опубликованные недавно. Здесь достаточно убедительны доказательства основания Булганакского поселения около 200 г. до Р. Х. [7, с. 22], а существование здания 7 на городище Чайка с 60-х годов III в. до конца этого же столетия просто не вызывает сомнений [8,

с. 77]. Между прочим, говоря на с. 44 об отсутствии строительных остатков III в. в Неаполе, С. В. Полин упускает из виду ряд работ, в которых публикуемые материалы позволяют утверждать обратное.

Заслуживает небольшого комментария и этюд С. В. Полина о скифах в Добрудже. Разделяя точку зрения о том, что вряд ли стоит приписывать Атею роль владыки всей Причерноморской Скифии, автор далее вполне справедливо полагает, что трансдунайская экспансия скифов не может быть поставлена в связь с усилившимся натиском сарматов с востока, в том числе и из-за хронологической неувязки. В то же время спорной выглядит концепция мирного расселения скифов в Добрудже, в особенности на фоне предложенной автором начальной даты этого расселения — вторая половина V в. до Р. Х. (с. 100). Учитывая, что граница между Скифией и Одрисским царством проходила по нижнему течению Дуная, можно думать, что более или менее организованные перемещения скифов за Дунай вряд ли могли иметь место ранее IV в. до Р. Х., да и то скорее всего уже после распада государства одриссов. Неверно утверждение С. В. Полина о полном отсутствии в Добрудже археологических материалов, которые можно было бы связать с пребыванием здесь скифов в III—II вв. (с. 114). Тот факт, что эти материалы неизвестны автору, отнюдь не означает, что их нет вообще. Так, М. Иримия неоднократно высказывался в пользу скифской принадлежности погребений III—II вв. у Мангалии и 2-го Мая [9, с. 76; 10, с. 82]. Комплексы III в. со скифской лепной керамикой известны на могильнике Николае Бэлческу (скорее всего первой четверти III в.), поселениях Мошняны и Аджижя [11, с. 8].

Вклад С. В. Полина в развитие керамической эпиграфики недавно уже был оценен [12]. Теперь под угрозой находится хронология боспорской медной чеканки, которая не позволяет убрать из III в. едва ли не единственное признанное автором для Причерноморья погребение № 56 Ак-Ташского могильника (с. 110). Возвращаясь к эпиграфике, можно заметить, что при любом отношении к существующим хронологическим схемам клеймения синопской тары штемпели III и особенно IV групп, обнаруженные на поселении, к которому приурочен данный могильник [13, с. 89—90], никакими силами невозможно вывести за пределы III в. до Р. Х. С. В. Полин попытался внести также ясность в хронологию рельефной керамики (мегарские чаши). Однако в данном случае, ограничивая время их поступления в Северное Причерноморье второй половиной — последней третью II в. до Р. Х. (с. 36—37), следовало бы привлечь для доказательства этого предположения более веские аргументы, поскольку здесь подвергается корректировке хронология весьма значительной по объему группы импортной продукции. Вопреки С. В. Полину, в Танаис чаши из Делоса поступали на протяжении всего II в., о чем совершенно ясно сказано в монографии Д. Б. Шелова [14, с. 21]. Однако автор привлекает эту монографию для подтверждения тезиса о том, что *все комплексы* (выделено мной.— И. Б.) с мегарскими чашами в Причерноморье датируются не ранее второй половины — последней трети II в. Нет никаких данных о сужении даты комплекса с мегарскими чашами из Кеп. По крайней мере, в публикации, на которую ссылается С. В. Полин, рельефная керамика также датируется всем II в. [15]. Для обоснования поздней датировки комплексов с мегарскими чашами в Причерноморье автор ссылается на статью В. С. Забелиной, посвященную рельефной керамике Пантикапея. Это просто некорректно, поскольку как раз в данной работе отмечено, что по меньшей мере три группы рельефной керамики (делосская, малоазийская и аттическая) начинают поступать в Пантикапей с середины — второй половины III в. [16]. Также III в. могут быть датированы наиболее ранние экземпляры аттического и беотийского производства из Тиры [17].

Вообще надо сказать, что подход С. В. Полина к составлению библиографии достаточно избирателен. В ряде случаев, причем достаточно принципиальных, данные о вещевом составе того или иного комплекса и соответствующих датировках не подкреплены ссылками на литературу. Поэтому читателю «ближнего зарубежья» трудно судить о том, насколько правомерны, к примеру, датировки греческой керамики из раннесарматских погребений Поволжья и Приуралья II—I вв. до Р. Х. (с. 79). Довольно заметна и непоследовательность автора в отношении к хронологии некоторых памятников. До крайности запутано собственное мнение С. В. Полина по поводу верхней даты боспорского эмпория на Елизаветовском городище. Здесь он использует главным образом две работы — В. И. Каца и Н. Ф. Федосеева, в которой обоснованы широкие рамки существования эмпория (конец 90-х — конец 60-х годов III в.) [3], и тезисы доклада В. А. Горончаровского, где нумизматические находки дают *terminus ante quem* эмпория 280—275 гг. [18]. Разница в 15—20 лет между длинной и короткой хронологией как раз и дает возможность для относительного маневра, что и произошло с датировкой уже упоминавшегося комплекса «На горбах» в Нижнем Поднепровье. Здесь С. В. Полину необходимо

обосновать раннюю дату этого кургана, где была найдена серия клейм (см. выше). Для этого привлекаются материалы упомянутого эмпория. Причем, отмечая наличие на нем клейм аналогичных Николаевке групп, С. В. Полин ссылается на первую из указанных публикаций, а датировку на основании тех же самых клейм, которая содержится здесь же, почему-то заимствует из второй (с. 49).

Своеобразно отношение автора и к принципу датирования по нумизматическим данным. В зависимости от ситуации оно колеблется от скептически-нисходящего (с. 110) до безоговорочного (с. 68) признания. Если комплекс (например, курган № 20 у с. Семеновка) не укладывается в предназначенные ему хронологические рамки, проблема решается за счет «сомнительной фиксации в процессе раскопок» (с. 57). Излишне говорить, что в том случае, когда датировка, действительно устаревшая, соответствует общей концепции автора, как, например, в случае со шлемом из Марьевки (ссылка на А. М. Тальгрена и Б. З. Рабиновича, с. 61), или укреплениями Гавриловского городища (с. 108), она воспринимается им совершенно спокойно. Четырьмя строчками выше указано, что датировка укреплений Знаменского городища из той же публикации Н. Н. Погребовой (II в. до Р. Х.) «нуждается в уточнении». Это вполне естественно, поскольку, согласно С. В. Полину, появление сарматов в междуречье Дона и Днепра, с чем необходимо связывать сооружение оборонительных линий вокруг скифских поселений бассейна Днепра, относится только к середине — второй половине II в. Впрочем, никакой проблемы здесь не существует. Оказывается, среди датирующего материала есть фибула I в. до Р. Х. Следовательно, время сооружения вала Знаменского городища — не ранее рубежа II—I вв. Понятно, что ни сомнительность фиксации, ни единичность находки здесь никакой роли не играют. Еще один пример. В Великопоском и Бубуечах, разделенных несколькими десятками километров, были найдены сарматские котлы. При этом кроме самого факта упоминания о находке котла в Бубуечах никакой дополнительной информации о нем не сохранилось. Однако, «по данным А. В. Симоненко, котел из данного комплекса принадлежит сарматским...» (с. 52). Мало того! По этим же данным он аналогичен котлу из Великопоского, а последний датируется концом II—I вв. (с. 52). Вполне логично было бы предположить, что и котел из Бубуеч также должен быть отнесен к этому времени. Однако это не так. «Поскольку котел из Бубуя,— пишет С. В. Полин,— сарматского типа, дата комплекса в целом должна быть сдвинута в I в. н. э.— время появления сарматов в Дунай-Днестровском междуречье» (с. 53). Здесь все ясно. Хотелось бы только заметить, что источник А. В. Симоненко по Бубуечам, по-видимому уникальный, несомненно должен был быть предан гласности.

Чересчур вольное обращение С. В. Полины с хронологическими индикаторами, пренебрежение одними в пользу других в зависимости от конкретной ситуации, наконец, принцип датирования комплексов (вернее, отсутствие такового),— все это становится характерным для работ этого исследователя. В итоге хронологическими корректировками, содержащимися в рецензируемой монографии, можно пользоваться с предельной осторожностью.

Сосредоточившись на хронологии степных древностей, С. В. Полин практически не уделяет внимания сельским поселениям округи греческих городов. Мотивы этого не вполне понятны. С одной стороны, он, похоже, не склонен отрицать причастность скифского населения к формированию очагов оседлости в колонизационных анклавах. Во всяком случае, в тексте мирно уживаются такие словосочетания, как «скифские поселения» и «греческие поселения» и даже «поселения греческих, гетских и скифских земледельцев» (с. 114). С другой стороны, налицо явное противопоставление «земледельцев эллинов» и «кочевников скифов», вступивших, по мнению С. В. Полины, в вооруженное противостояние, в результате чего исчезла сельская округа греческих городов в Побужье и Поднестровье (с. 108—109). При этом, замечает автор, для Нижнего Поднестровья ни на скифских, ни на гетских поселениях нет следов внезапной гибели (с. 114), т. е. можно думать, что нападению подверглись только греческие поселения. Складывается впечатление, что проблема этнической атрибуции конкретных поселений сельской округи античных городов С. В. Полиным решена, хотя ее критерии по каким-то причинам он не счел нужным обнародовать. Однако сделать это будет весьма трудно, во всяком случае пока. Эллино-варварский культурный диалог на протяжении двух-трех столетий привел в конечном итоге к возникновению в IV в. до Р. Х. весьма своеобразного и устойчивого симбиоза, воплощением которого явилась в том числе и материальная культура сельских поселений в округе греческих городов. Если это так, то совершенно бессмысленными представляются попытки вычленив из общей массы сельских поселений «типично эллинские» (греческие) и «типично варварские» (в данном случае скифские). Тогда существование традиций скифской культуры (здесь неважно, в какой форме) параллельно и в пределах самих античных поселений и городов более чем вероятно. А потому, хотя и по чисто формальным признакам, памятники такого рода не могут

быть приравнены к степным скифским, однако согласимся, что для скифской тематики они располагают довольно разнообразной информацией. Ощущение того, что С. В. Полин сознательно уходит от обсуждения этого вопроса, возникает всякий раз, когда он вынужден касаться проблемы хронологии античных поселений. Это неизбежно происходит, поскольку вопросы хронологии конкретной территории предусматривают привлечение всех групп памятников. В затруднительном положении оказался С. В. Полин, когда возникла необходимость обзора демографической ситуации на востоке Скифии в III в. до Р. Х. Исключительная важность Елизаветовского городища для решения вопроса эллинско-варварских отношений в Подонье плюс жесткая территориально-хронологическая связка Елизаветовка — боспорский эмпорий — Танаис, все это вынудило автора к тому, чтобы именно для Нижнего Подонья попытаться определить свое отношение к вопросу о скифском населении в зонах колонизации. Попытку, однако, следует признать неудачной. Согласившись с Т. М. Арсеньевой в том, что в Танаисе продолжало обитать население, родственное елизаветовскому, С. В. Полин тут же поставил под сомнение существование самого Танаиса в III в., так как хотя в городе к III в. и относится «около 20 ям и 1 фундамент», но тем не менее следов застройки этого времени «практически не обнаружено» (с. 68—69).

Калейдоскопический обзор причерноморских памятников, довольно захватывающий своей динамикой вначале, в конце концов утомляет и наводит на размышления о том, что весь ход изложения совершенно определенно подгоняется под изначально заданную идею археологического вакуума в степной части Северного Причерноморья в III в. до Р. Х. Однако такая излишне «принципиальная» хронологическая ревизия вряд ли столь уж необходима, поскольку и без того картина запустения степи по сравнению с предыдущим столетием совершенно очевидна.

От частных мы вплотную подошли к концептуальной стороне монографии. А именно, какова первопричина северопонтийского кризиса III в.? Какому из факторов, судя по всему, заранее была отведена роль дестабилизирующего? Вероятно, у многих, кто знаком с более ранними работами С. В. Полина, по мере приближения к разделу «Заключение» сомнений на этот счет практически не осталось. И действительно, на с. 104—107 вновь, правда на этот раз крайне сжато, формулируется известная концепция природно-климатической обусловленности гибели Великой Скифии. Автору необходимо обосновать актуальность этого фактора для весьма ограниченного отрезка III в., поскольку как раз здесь располагается археологически наиболее слабое звено. С анализом археологических источников мы уже ознакомились. Однако имеется достаточно обширная письменная традиция, при опоре на которую до настоящего времени существуют две основные концепции кризиса III в. до Р. Х. — «сарматская» и «кельтская».

Говоря о сарматском расселении в Северном Причерноморье, С. В. Полин, несомненно, прав в главном. Вряд ли стоит приписывать ритмичному и довольно продолжительному расселению новых кочевников в Причерноморье черты обвальной военно-миграционной катастрофы, случившейся в первой половине — середине III в. В данном случае не столь важно, была ли гибель Скифии результатом агрессивного внедрения сарматских племен или просто серии набегов, после чего они отходили на восток в Подонье. Важно лишь то, что сарматы не были тем самым универсальным дестабилизирующим фактором для всего Причерноморья. Позиция С. В. Полина, однако, еще более жесткая. Он вообще не приемлет сарматский фактор в каком бы то ни было проявлении (с. 122). Вероятно, более правильным будет рассматривать этот фактор с учетом территориально-хронологического аспекта. В таком случае ситуация могла бы выглядеть примерно следующим образом: давление сарматов на восточные рубежи Скифии, и в частности разгром ими Елизаветовского городища (около 300 г. до Р.Х.), более или менее систематические набеги в междуречье Дона и Днепра в III в. и расселение здесь, как и предполагает С. В. Полин, во II в. до Р. Х. Приблизительно вторая половина этого же и начало (первая половина) следующего столетия были потрачены на продвижение сарматов вплоть до Днестра, и лишь во второй половине I в. до Р. Х. (ближе к концу) они достигают Прута и Низовьев Дуная. Ясно, что при таком раскладе непосредственная причастность сарматов к деструктивным процессам III в. одновременно на всей территории Северного Причерноморья невозможна.

С. В. Полин отрицает и кельтское влияние на события первой половины III в. в Северо-Западном Причерноморье. Поскольку археологические данные на этот счет крайне скудны, главное внимание автором уделено анализу письменных источников, и в первую очередь тексту декрета в честь Протогена. С. В. Полин никак не реагирует на наметившуюся в последнее время тенденцию к удревнению событий, о которых повествует текст декрета, а при датировке самого документа опирается на максимально высокую из существующих ныне датировку В. П. Яйленко (с. 27). Прочие имеющиеся

на этот счет мнения, исключая точку зрения В. В. Латышева, не рассматриваются и не упоминаются. Вряд ли автору незнакома монография Ю. Г. Виноградова, где дата декрета определяется 20—10 гг. III в. до Р. Х., а, привлекая работы П. О. Карышковского, посвященные этому вопросу, следовало бы упомянуть и ту последнюю, где исследователь также склоняется к дате около 220 г. [19, с. 71].

Декларативными кажутся выводы автора по поводу этнической информативности декрета. Так, предполагаемое на с. 30 отождествление бастарнов с галатами (кстати, вопреки мнению С. В. Полина, отнюдь не «устойчивое») на с. 101 уже прочно занимает место в тексте самого декрета. Всего полторы страницы потребовалось автору, чтобы выяснить наконец, что скиры и галаты Протогенова декрета не имеют никакого отношения к кельтам-галатам Балкан и Малой Азии III в. до Р. Х. (с. 26—27). Потенциальный источник кельтской угрозы для причерноморского региона С. В. Полин видит в кельтах Тиле. Именно по этому адресу направлены основные критические замечания, хотя уже давно стало очевидным, что скромные масштабы этого «царства», крайне непродолжительный период его существования и внушительное расстояние, отделяющее его территорию от степного Причерноморья, явно говорят сами за себя. В этом плане более продуктивной кажется гипотеза о кельтско-галатском «царстве» Ремакса в районе дунайского «колена» (слияние Прута, Сирета и Дуная) со всеми вытекающими отсюда возможными последствиями в отношении Ольвии и Северо-Западного Причерноморья.

Археологические свидетельства пребывания кельтов в Северо-Западном Причерноморье весьма неочетливы, что в общем вполне согласуется с очень непродолжительным периодом их вероятной активности здесь, который можно ограничить несколькими десятилетиями. Однако вполне диагностичными кажутся фибулы скифских могильников Нижнего Подунавья и Калфы, шлем типа «Монтефортино» из Беленького (Белгород-Днестровский район Одесской обл.).

И тем не менее, по С. В. Полину, единственной причиной кризиса Причерноморский Скифии, а также сельской округи античных городов является природно-климатический фактор. Выше уже отмечалось, что в монографии природно-климатическая концепция сформулирована автором в крайне сжатом виде. Из этого, вероятно, следует, что ничего принципиально нового по сравнению с предыдущими публикациями в разработку этой концепции автором не внесено. Это плохо, поскольку единственный вариант расширенного изложения, статья 1984 г. [20], страдает существенными недостатками. Ограничусь перечислением основных. Во-первых, С. В. Полин так и не определился в том, какая же из теорий обусловленности климатической ритмики положена в основу его концепции. Иными словами, отсутствует фундамент для всех последующих построений, что уже само по себе не способствует серьезному восприятию идеи в целом. Во-вторых, автором не учитывается разный уровень таких понятий, как «историческая хронология» и «геохронология». Во многом из-за этого в схеме С. В. Полина отсутствует тот самый, довольно длительный по историческим меркам период накопления суммы отрицательных климатических изменений, который в конечном итоге приводит к «моментальной», с точки зрения геохронологии, реакции на эти изменения социально-экономических структур. Ведь еще в IV в. до Р. Х., согласно С. В. Полину, природно-климатические условия были оптимальными. И вот в начале III в. наступает настолько сильная и стремительная (совершенно в духе теории Р. Брайсона) аридизация, что это влечет за собой даже смещение к северу почвенных зон (на одну подзону). Если понимать это несколько упрощенно, то можно сказать, что ландшафт причерноморской степной полосы был близок современному облику полупустыни. Для сложения подобных, в высшей степени неблагоприятных условий в концепции С. В. Полина попросту нет времени и места. Единственное, с чем можно сопоставить столь ограниченные рамки «Вызова и Ответа», — это последствия природных катастроф. В итоге из трех рассмотренных концепций кризиса начала III в. именно «климатическая» кажется наиболее уязвимой для критики.

Если говорить о частностях ненаучного плана, то здесь можно отметить стилистические погрешности (с. 44, 60, 61), незаконченные предложения и пропущенные слова, несоответствие ссылок и путаницу в библиографии и т. п. Не вполне удачным кажется и избранный автором телеграфный стиль изложения. Впрочем, все это не может существенно ухудшить общего впечатления.

Подчиняя весь ход изложений одной концептуальной идее, автор, похоже, настолько увлекается, что любые сопутствующие сюжеты рассматриваются им прежде всего как представляющие угрозу жизнеспособности этой идеи. В конечном итоге и сама климатическая концепция, как уже отмечалось, прозвучала в монографии глухо и невнятно. Что же касается параллельных точек зрения, идей, мнений и пр., то подобный нетворческий подход автора лишает их вообще всяких рациональных моментов. Так, вполне здравая по своей сути идея ограниченного сарматского влияния на гибель Скифии в конечном счете была низведена до полного отрицания какого бы то ни было участия

сарматов в этом событии. Не убеждают аргументы С. В. Полина против причастности кельтов к деструктивным событиям в Северо-Западном Причерноморье в III в. до Р. Х., хотя, конечно, состояние источников по данной проблеме заставляет в большей, чем хотелось бы, мере опираться на общеисторическую картину событий III в. Это, в свою очередь, открывает значительные перспективы для «свободного» творческого поиска решения этого вопроса. Неясной остается ситуация вокруг рокового для Скифии 300 г. до Р. Х. Искусственно прерывая схему развития скифских древностей в течение III в., автор должен был объяснить, где же и в каких формах сохранялась, а может быть, реализовывалась та скифская традиция, которая достаточно уверенно вновь заявила о себе во II—I вв. до Р. Х. Пока что инерционное существование каких-то небольших локальных очагов степной скифской культуры в III в. не вызывает сомнений. Другое дело — есть ли предел такому существованию в рамках этого столетия и как соотносятся в культурном и хронологическом плане классические и позднескифские древности. Впрочем, последнее, видимо, не входило в круг первостепенных задач рецензируемой монографии.

В заключение хотелось бы заметить, что многие из перечисленных недостатков книги — следствие, на мой взгляд, экстремистского отношения С. В. Полина к методике интерпретации материала, вопросам хронологии и историографии проблемы. Над автором совершенно не довлеет груз авторитетов. Скорее всего до определенной степени это хорошо, однако все же, наверное, стоило бы почтительнее обращаться с обрабатываемым археологическим материалом, а также более терпимо относиться к чужому мнению.

Одесский археологический
музей АН Украины

И. В. Бряуко

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славяне и их соседи в конце I тыс. до н. э. — первой половине I тыс. н. э. Археология СССР. М., 1993.
2. Мельюкова А. И. Курганы скифских кочевников у с. Николаевка // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1984.
3. Кац В. И., Федосеев Н. Ф. Керамические клейма «боспорского эмпория» на Елизаветовском городище // Античный мир и археология. 1986. Вып. 6.
4. Дзис-Райко Г. А., Суничук Е. Ф. Комплекс предметов скифского времени из с. Великопоское // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1984.
5. Редина Е. Ф. Классификация фибул из скифских погребений Северо-Западного Причерноморья // Древнее Причерноморье: Крат. сообщ. Одесск. археол. о-ва. Одесса, 1993.
6. Кравец Д. П. Раскопки кургана в урочище Хамуш-Оба (Северное Приазовье) // Донецкий археологический сборник. 1992. Вып. 2.
7. Храпунов И. Н. Булганакское позднескифское городище (по раскопкам 1981—1989 гг.) // Материалы по истории археологии и этнографии Таврии. 1991. Вып. II.
8. Яценко И. В. Амфоры и пифосы из здания III в. до н. э. на городище «Чайка» в Евпатории // Памятники бронзового и железного веков в окрестностях Евпатории. М., 1993.
9. Irimia M. Date noi privind necropolele din Dobrogea in a doua epoca a fierului // Pontica. 1983. XVI.
10. Ibidem. Morminte plane si tumulare din zona litorala a Dobrogei (sec. IV—II i. e. n.) si probleme apartenentei lor etnice // Thraco-Dacica. 1984. V. 1—2.
11. Андрух С. И. Нижнедунайская Скифия в VI — начале I вв. до н. э. (этнополитический аспект): Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06. Киев, 1992.
12. Кац В. И. Принципы использования керамических клейм в качестве датирующего материала скифских погребальных сооружений // Киммерийцы и скифы-2: Тез. докл. конф. Мелитополь, 1992.
13. Бессонова С. С., Бунятян Е. П., Гаврилюк Н. А. Акташский могильник скифского времени в Восточном Крыму. Киев, 1988.
14. Шелов Д. Б. Танаис и Нижний Дон в III—I вв. до н. э. М., 1970.
15. Усачева О. Н. Рельефная керамика из Кеп // КСИА. 1978. Вып. 156.
16. Забелина В., С. Импортные «магарские» чаши из Пантикапея // Сообщ. ГМИИ. 1984. Вып. 7.
17. Самойлова Т. Л. Рельефная керамика эллинистического времени из раскопок Тиры // Северное Причерноморье. Киев, 1984.
18. Горончаровский В. А. К вопросу о времени существования боспорского эмпория в дельте Дона (по нумизматическим данным) // Античная цивилизация и варварский мир в Подонье: Тез. докл. конф. Новочеркасск, 1987.
19. Карышковский П. О., Клейман И. Б. Древний город Тира. Киев, 1985.
20. Полін С. В. Про сарматське завоювання Північного Причорномор'я // Археологія. 1984. № 45.

Ethnoarchaeological Approaches to Mobile Campsites. Hunter-Gatherer and Pastoralist Case Studies/Ed. Gamble C. & Boismier W. Ann Arbor, Michigan, 1991. 420 p.; 130 fig.

Невзирая на пессимизм, неоднократно высказывавшийся специалистами в отношении значения данных этноархеологии для совершенствования археологической теории [1, с. 277—279], развитие этого направления в западной, и прежде всего англо-американской науке, не прекращается. Свидетельством тому является появление в серии «Международные монографии по доистории» рецензируемого сборника статей ведущих английских, американских, австралийских и южноафриканских ученых.

Один из редакторов сборника К. Гэмбл во «Введении» к книге указывает на главный замысел ее — представить археологам этноархеологические материалы, позволяющие реконструировать по данным раскопок стоянок первобытных охотников, собирателей и скотоводов их деятельность в экономическом и социально-культурном аспектах. В статьях, представленных в сборнике, приводятся сведения по раскопкам поселений отсталых мобильных обществ, проживавших в недавнем прошлом в различных природно-географических условиях, имевших разные формы экономической деятельности и социальной организации. Первоочередной интерес к пространственной адаптации этих народов ставит рецензируемую работу в один ряд с известными отечественным специалистам исследованиями Дж. Йелена (1977), Л. Бинфорда (1978) и Дж. О'Коннела (1987) [2—4].

К. Гэмбл подчеркивает значение экологических, социальных, антропометрических и тафономических факторов для пространственного структурирования останков деятельности человека. В статьях, помещенных в сборнике, раскрывается механизм взаимодействия перечисленных факторов в глобальном, региональном и локальном пространственных срезах в сопоставлении этнографического и археологического контекстов.

Так, в статье Л. Бинфорда «Когда путь становится трудным, его преодолевает сильнейший: локальные группы нунамутов, композиция стоянок и экономическая организация», занимающей около 1/4 сборника, особо выделена роль социальных отношений в условиях экстремального природного окружения, проявляющаяся, в частности, в пластично изменяющихся моделях пространственной организации стоянок. На примере американских эскимосов-нунамутов Л. Бинфорд установил, что «фундаментальное воздействие на взаимоотношение семей нунамутов друг с другом, выразившееся и в освоении пространства поселений, их плане, оказывает не линейное родство, а возраст и возрастные роли членов этих семей». Эта идея прослеживается им на основе сопоставления летних и зимних лагерей нунамутов и их поведения в эти сезоны.

Летом в условиях разреженного распространения охотничьей добычи, чтобы исключить неудачу, нунамуты насыщают территорию мелкими группами, состоящими из нескольких молодых охотников. Два представителя одной семьи обычно не уходили из резиденции в одной охотничьей партии. В это время охотничьи лагеря наиболее многолюдны, среди их населения особенно высок удельный вес мужчин. При этом рост численности поселенцев сопровождается уменьшением плотности их проживания. Летом расстояние между палатками самое значительное, что по мнению Л. Бинфорда, свидетельствует о возросшей самостоятельности отдельных семей, как правило молодых охотников, в условиях недостатка пищи. В центре охотничьего лагеря помещались наиболее активные производители, невзирая на их взаимное родство. Несмотря на привлечение большого числа охотников и значительных трудовых затрат (60—80% рабочего времени), эффективность охоты летом была низкой.

Летние и весенние лагеря устойчиво отличаются по расстояниям между жилищами отдельных семей от осенних и зимних, когда зримо уменьшается территория лагеря, повышается компактность расположения отдельных семейных жилищ. Зимой в связи с уменьшением роли охоты в доставке продуктов возрастает социальная сплоченность, образуются расширенные семейные резиденции за счет включения детей — активных охотников-производителей в состав семей родителей. Основопологающее значение в сплочении приобретает распределение главами больших семей запасов сушеного мяса, которое уравнивает различие вклада отдельных заготовителей осенью во время миграции карibu.

Экономическая независимость семей родственников, связанных преемственностью поколений,

через призму возрастных различий также имеет пространственное выражение. С увеличением разницы в возрасте между смежными главами семей с межпоколенными связями (родитель — ребенок) расстояние между жилищами линейно уменьшается. По мере старения старший глава семьи будет более тесно связан с более молодой главой семьи. В этом проявляется не только зависимость стариков от материальной помощи сородичей, но и заинтересованность их детей в восприятии ценного жизненного опыта старших.

По-иному проявление роли социальных связей в освоении пространства поселений охотниками, собирателями и рыболовами рассматривается в статье Т. Уайтлоу. На основе обобщения 1762 социальных ситуаций из жизни известных этнографам сообществ фуражиров (foragers) в различных природно-географических зонах он приходит к выводу о том, что расстояние между жилищами на стоянках, несмотря на все различия культур, зависит от степени родства их жителей. Вместе с тем при сопоставлении планов поселений в различных природно-географических зонах автор обращает внимание на устойчиво компактное размещение жилищ в тропиках и рассеянное в высоких широтах. Среди возможных причин, объясняющих этот феномен, Т. Уайтлоу выделяет характер распределения добытых продуктов. В тропиках межсемейная сплоченность обусловлена общественным характером распределения, в отличие от преимущественно внутрисемейного дележа продуктов на Американском Севере.

Хотя выводы Т. Уайтлоу и Л. Бинфорда, совпадающие в высокой оценке зависимости планировки стоянок охотников-собирателей от характера социальных отношений, различаются в понимании тех или иных их компонентов, думается, что они не отрицают, а дополняют друг друга. Расхождения, на мой взгляд, кроются в специфике использованных источников. Если Л. Бинфорд опирался главным образом на дневниковые записи эскимоса Хомера Мекианы, что позволило установить круглогодичную динамику изменений в жизни конкретного охотничьего коллектива, то исследование Т. Уайтлоу, выгодно отличающееся широтой охвата привлеченных фактов, основано тем не менее на эпизодических описаниях этнографами пространственной адаптации реликтовых народов.

В статье У. Бойсмьера «Формирование стоянки у субарктического населения: этноисторический подход» анализируется возможность обнаружения в археологических источниках проявлений полового разделения труда, установленного этнографами в культуре эскимосов, населявших в начале XX в. северо-западную Аляску. Раскопки поселений двух групп оседлых эскимосов ингалик, относящихся к группе атапасков, дали автору основание утверждать способность археолога при соблюдении определенных правил адекватно установить различия в характере деятельности человека в домах, населенных преимущественно женщинами и детьми, и кашимах — своеобразных мужских домах. У. Бойсмьер предостерегает от упрощенного подхода к реконструкции половозрастной специализации деятельности. Специфика вещи, которая является основой для подобного рода заключений, такова, что одна и та же вещь в разных поведенческих контекстах может выполнять различную роль. Из этого вытекает необходимость выяснения связей между предметами, находящимися в одном археологическом комплексе, как этапа, предваряющего определение его содержательного статуса.

Показательно, что, по данным У. Бойсмьера, из произведенного женским трудом только 17% имеет потенциальные условия для сохранения в земле, в то время как у мужчин этот показатель составляет 99%.

В интересной для археолога статье Дж. Фишера, Джона и Хелен Стрикленд «Жилища и очаги: ключи к структуре стоянки пигмеев Эфе» представлены наблюдения, сделанные в 1984—1985 гг. на 30 стоянках бродячих лесных охотников пигмеев Эфе, жителей северо-восточного Заира. Исследования проводились методом непосредственных наблюдений за жизнью и раскопок покинутых стойбищ. По данным авторов, стоянки пигмеев Эфе состоят из пяти основных компонентов: жилищ, очагов, куч мусора, центральной площади и внешней границы. Жилища — главный компонент пространственного структурирования. Они располагаются вблизи внешней границы лагеря дверным проемом либо к его центру, либо к соседнему шалашу, но никогда к лесу. Очаги создавались и внутри, и снаружи жилищ. Расстояния между жилищами неустойчивы и определяются разными социокультурными факторами, включая родственные связи, психологические отношения обитателей стоянки. Место проведения тех или иных работ зависит от их характера. Большая часть из них выполнялась возле наружных очагов. Работы, требующие значительного пространства, например дубление кож, производились в стороне от очагов на открытой площадке. На периферии из-за санитарных соображений и неприятных запахов осуществлялась разделка убитых животных.

Поскольку на покинутых пигмеями стоянках не остается следов жилищ, авторы полагают, что их можно определить по очагам и мусорным кучам. При длительном обитании внутренний контур

отходов образует границу арочной формы вокруг или сбоку жилища, способствуя наряду с очагом его идентификации. В силу применяемой пигмеями Эфе стратегии фуражиров (foragers) состав мусорных куч на их стоянках практически идентичен, хотя некоторые виды деятельности, например изготовление деревянных стрел с острием, покрытым ядом, происходили в специализированных местах за пределами лагеря.

Археологов, занимающихся раскопками пещерных памятников, заинтересует статья П. Горецки об использовании аборигенами островов Папуа Новой Гвинеи скальных убежищ. Автор подчеркивает, что использование скальных убежищ — лишь эпизод, связанный с охотой и собирательством, в многообразной деятельности аборигенов, которая включала также садоводство, ремесло, рыбную ловлю и скотоводство. П. Горецки приводит наблюдения за закономерностями в размещении людей и культурных остатков в скальных навесах и пещерах, которые основаны на этнографических данных и археологических раскопках.

Одна из наиболее полезных для археологов — статья А. Николсон и С. Кэйна «Стоянки в пустыне: анализ доисторических лагерей австралийских аборигенов», поставивших перед собой цель установить закономерности в пространственном распространении культурных остатков на территории заселенных до недавнего времени аборигенами Западной пустыни Австралии скальных навесов и открытых лагерей. Источниковую основу работы составили материалы из раскопок С. Кэйна в 1980—1984 гг. покинутых аборигенами стойбищ, на двух из которых жизнь продолжалась до 1984 г.

Стоянки аборигенов в скальных убежищах, заселявшихся аборигенами в период сильных дождей на срок от 1 до 10 дней, подразделяются на жилые и сакральные. Площадь первых в целом менее 20 м², вторых — больше 20 м². Жилые стоянки отличаются от убежищ по составу артефактов и большей насыщенностью культурного слоя. Сакральные стоянки выделяются наличием гравировки и живописных изображений на стенах убежищ. Авторы отмечают, что 80% артефактов располагались у входа в пещеру за пределами капельной линии. Очаги в жилых стоянках размещались, как правило, посередине, в то время как в сакральных убежищах наряду с центром для этих целей использовалась фронтальная часть. Размер очага определялся числом обитателей и длительностью остановки.

Открытые стоянки размещались по преимуществу возле источника воды, но на некотором (до 70 м) удалении от него, чтобы не испугать пришедших к водопою животных. Обычно место, занятое лагерем, не использовалось вторично. При повторном посещении этого места аборигены селились рядом на расстоянии до 10 м, и поэтому следы их остановок создают впечатление единого по своей протяженности лагеря. Размеры стоянок варьировали от 6 до 43 м². Показательно мнение авторов о том, что нет прямой связи между общим размером стоянки, числом ее обитателей и продолжительностью остановки. Размер пространства для сна в большей степени зависит от увеличения числа присутствующих людей, в то время как величина кухонного пространства не зависит от количества обслуживаемых. Соответственно число очагов, используемых для обогрева во время сна, пропорционально числу обитателей стоянки, в то время как численность очагов для приготовления пищи не коррелировалась с демографическими показателями.

Очаги и спальные места находились возле ветровых заслонов, причем последние были удалены от них на устойчивое расстояние 0,5—1 м. Авторы указывают на наибольшую археологическую распознаваемость лагерей, где происходило приготовление пищи и обработка камня. Эти виды деятельности пространственно обособлены от спальных мест.

Важные наблюдения сделаны А. Николсон и С. Кэйн над скоростью накопления культурного слоя. Они справедливо отмечают, что формирование слоя зависит в большей степени от характера деятельности, имевшей место на стоянке, нежели от количества ее обитателей и продолжительности функционирования поселения.

Обращают на себя внимание крайне низкие темпы попадания артефактов в культурный слой. Так, например, на стоянке № 11 девять человек за 2 недели жизни потеряли или выбросили всего 3 артефакта, что диссонирует с показателями, отмеченными Б. Хайденом среди аборигенов Пинтуби: 6,7 артефакта на человека в неделю [5]. Возможно, что такая низкая скорость накопления каменных артефактов в слое объясняется более широким, нежели полагают авторы, использованием аборигенами металлических орудий труда. В отличие от Дж. Фишера, Джона и Хелен Стрикленд, А. Николсон и С. Кэйн не видят возможности на основе изученных ими материалов выявить проявления полового разделения труда в деятельности аборигенов.

Сопоставив собственные наблюдения с данными этноархеологических исследований других отсталых народов, авторы пришли к двум важным выводам. Во-первых, не существует зависимости

между численностью коллектива охотников и размером пространства, которое занимает стоянка, поскольку в каждой туземной культуре характер использования территории лагеря варьирует. Вторых, их измерения радиуса разброса культурных останков вокруг очага (5—6 м от его центра), соответствующие аналогичным показателям в культурах других отсталых народов, свидетельствуют о всеобщем, транскультурном значении этого наблюдения.

Идея тесной взаимосвязи социальной организации охотников и скотоводов Южной Африки в недавнем прошлом и планировки их поселений пронизывает статью Д. Паркинтона и Г. Милза. Устойчивая круговая планировка лагерей бушменов Сан, состоящих из ветровых заслонов, обращенных лицевой стороной внутрь круга на открытое пространство площади, по мнению авторов, является своеобразной социограммой общества. Она свидетельствует о внутренней зависимости друг от друга членов данного коллектива при отсутствии иерархии между ними, что базируется на основе совместного труда и справедливом распределении производственного продукта. С появлением скотоводства у охотников и собирателей Сан происходят изменения в территориальном устройстве их поселений. Возникшая социальная асимметрия выразилась в смене ориентации ветровых заслонов по отношению к центральной площади на противоположную, появлении ограждений вокруг них. Стойкие взаимосвязи между социальной организацией общины и способом адаптации жилого пространства прослеживается авторами в использовании охотниками, собирателями пещер и скальных навесов и в устройстве деревень скотоводческого народа Нои. Вывод Дж. Паркинтона и Гл. Милза о том, что архитектурный план поселений и жилищ — это знаковая характеристика, не только отражающая, но и активно организующая отношения социального взаимодействия, а также отношения власти и подчинения, выглядит убедительным.

Сходные мысли высказаны Р. Криббом в статье «Кочевые скотоводы: структура и организация стойбищ на Ближнем Востоке». Автор, проанализировав различия в мобильном образе жизни между охотниками-собирателями, подвижными земледельцами и кочевыми скотоводами, приходит к выводу, что номады в силу гибкости их социально-политической и экономической организации, непосредственно реагирующей на изменения во внешнем окружении и внутреннем развитии (это выражается в смене форм пространственного устройства их селений), в наибольшей степени могут выступать объектом этноархеологического изучения. Он прогнозирует возможности поиска мест остановок кочевников-номадов. Р. Крибб характеризует планировку и использование двух основных типов жилищ кочевников Ближнего Востока: центральноазиатской улееобразной юрты (alacik) и черного шатра, распространившегося сюда из Среднего Востока. Кочевнические жилища в отличие от стационарных домов имеют портативные конструктивные элементы, позволяющие изменять многие функциональные зоны в течение суток. Фиксированные архитектурные элементы: выровненный пол жилища, каменные платформы-хранилища, очаги, дренажные канавки, каменные сваи — могут создавать модель, доступную для археологического изучения.

Информативен и план самого поселения скотоводов-кочевников. Не случайно, что дома, построенные иранским правительством после землетрясения в Казвине без учета закономерностей их планировки, остались незаселенными. План поселения номадов зависит и от природных факторов (местоположение солнца, направление ветра, характер склона), и от социальных: родственные отношения, безопасность семьи и скота, иерархическая организация собственности. Зачастую плотность размещения жилищ внутри лагеря зависит от взаимодействия противоположных сил: с одной стороны, тенденции к интеграции семей, с другой — к их рассеиванию, необходимому для маневра стадами животных, уборки мусора, ведения домашних работ.

Статья Р. Флетчера «Очень крупные мобильные сообщества: фактор взаимодействия и плотность жилого пространства» содержит анализ моделей пространственного поведения очень крупных мобильных социумов, исходя из перспективы возможных реконструкций такого поведения на основе археологических материалов. Используя описанные в историко-этнографической литературе случаи объединения людей в очень крупные (500—3000 человек) мобильные сообщества, к примеру североамериканских индейцев в Литтл Бигхорн в 1876 г., мобильных столиц эфиопских вождей XIII—XVI вв., монголов в ставке Бату-хана и др., автор выясняет культурные механизмы, вызвавшие их к жизни и дальнейшему функционированию. Главная мысль Р. Флетчера заключается в том, что размеры таких агрегаций в числе прочих причин обусловлены развитием средств коммуникации, через которые осуществляется взаимодействие индивидов. Автор приводит данные, подтверждающие наблюдения Л. Бинфорда, что по мере увеличения населения в мобильных социумах плотность их расселения снижается. Вместе с тем с появлением оседлости наблюдается увеличение плотности населения, что сопровождается многими изменениями в жизнедеятельности общества, в частности

оптимизацией средств коммуникации (появлением дорог, более совершенного транспорта и т. п.). Р. Флетчер считает, что один из способов организации связи, взаимодействия и контроля внутри поселения — это строгие пространственные модели его устройства. Например, планировка индейского лагеря в Литтл Бигхорн включала в себя радиальные дороги, круговую компоновку вигмамов, а передвижные столицы эфиопских вождей, ставка Батыя содержали изолированные от излишнего уровня общения центры проживания социальной элиты, которые одновременно были местом сбора информации и ее контроля. Факты, приведенные автором, свидетельствуют о самонадеянности существующих в археологической литературе попыток демографических расчетов, исходящих из размеров поселения или количества и размеров жилищ.

Статьи, представленные в настоящем сборнике, нацеливают археологов, интересующихся проблемами реконструкции социального поведения первобытных охотников, собирателей, скотоводов, на изучение их пространственной адаптации. Планиграфия жилища, места производственной или иной деятельности, разброс культурных остатков у очага, планировка поселения, прослеженная на максимально возможном пространстве, должны стать предметом такого же тщательного анализа, как изучение артефакта или экофакта. Собственно, ценность сборника заключается не в этом призыве, воспроизводящем идеи «поселенческой археологии» и «новых археологов», а в содержащихся новых этнографических и этноархеологических материалах, приближающих археологов к постижению содержательных возможностей анализа перечисленных проблем. Безусловно, что приведенные на страницах книги наблюдения за деятельностью мобильных реликтовых сообществ, адаптированных к разным природно-климатическим условиям, осуществленные через сопоставление этнографических и археологических аспектов их культуры, не дадут готовых рецептов для дешифровки остатков, встреченных при традиционных археологических раскопках. Доисторическая первобытность во многом отличалась от жизни эскимосов Аляски, бушменов Южной Африки или аборигенов Австралии. И все же постепенно, шаг за шагом устанавливаемые в этноархеологических исследованиях транскультурные закономерности, как это очевидно и из рецензируемой работы, позволяют надеяться вместе с К. Гэмблом, что «археологи будущего будут помнить в своей науке скорее Ватсонов, чем Холмсов!».

Институт археологии
АН Украины, Киев

А. Ф. Горелик

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Watson P. J.* The Idea of Ethnoarchaeology: Notes and Comments//Ethnoarchaeology. Implications of Ethnography for Archaeology. N. Y., 1979.
2. *Binford L. R.* Nunamiut Ethnoarchaeology. N. Y., 1978.
3. *O'Connell J.* Alawara site structure and its archaeological implications//American Antiquity. 1987. № 52.
4. *Yellen J. E.* Archaeological Approaches to the Present. Models for Reconstructing the Past. N. Y., 1977.
5. *Hayden B.* Palaeolithic reflections: lithic technology and ethnographic excavations among Australian Aborigines. Canberra, 1979.

Хроника

ХІІ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ, ЯЗЫКА СКАНДИНАВСКИХ СТРАН И ФИНЛЯНДИИ (Москва, 1993)

Очередная конференция по проблемам скандинавистики состоялась в Москве 16—19 ноября 1993 г. В ее работе приняли участие ученые разных специальностей, чьи научные интересы в той или иной степени связаны с изучением северо-европейского региона — из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска, Смоленска и других городов России, а также из Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Основная работа конференции проходила в девяти секциях — языковедения, литературоведения, археологии, этнографии, истории средних веков, новой истории, новейшей истории, искусствоведения и экономики. В настоящей статье речь идет только о докладах по археологической тематике. Таковых на заседаниях секции археологии и на совместных заседаниях с секцией истории средних веков было заслушано и обсуждено 15.

В нескольких докладах рассматривались актуальные темы скандинавской и восточноевропейской археологии. Большой интерес представляет выступление И. Янссона (Стокгольм) «К вопросу о полиэтнических общностях в эпоху викингов», в котором анализировалась этническая структура населения торгово-ремесленных поселений, функционировавших в эпоху викингов как в Северной, так и в Восточной Европе. Докладчик возражал против установившейся в науке точки зрения о полиэтничности населения этих протогородских центров. Обращаясь к конкретным археологическим материалам из Бирки, Ладоги, Тимерева и др., он утверждал, что можно говорить только о формировании их населения из разных племен. Но в условиях активной жизни этих торгово-ремесленных поселений это была уже единая этническая среда, общавшаяся между собой на общем языке. По мнению И. Янссона, можно говорить и о становлении этнического самосознания — это была Русь письменных источников.

Доклад В. В. Седова (Москва) «Роль скандинавов в истории древнейших городов Северной Руси» был посвящен начальной стадии древнерусского градообразования в контексте норманской проблематики. Рассмотрев конкретные условия зарождения и становления девяти древнейших городов Северной Руси (Белоозера, Изборска, Ладоги, Мурома, Новгорода, Полоцка, Пскова, Ростова и Смоленска), докладчик показал, что почти все они формировались по единой модели. Племенные центры в условиях развития международной торговли становились протогородами (относительно крупными неаграрными поселениями) и притягивали скандинавский этнический элемент. Торговые операции способствовали накоплению богатств. По мере обогащения местная знать в X в. поблизости от протогородов строит города, куда перемещаются и административные функции. Скандинавы в этом процессе не участвуют, они остаются в протогородах, занимаясь международной торговлей. Города же ориентируются в большей степени на местную торговлю, которая становится импульсом в активизации ремесленной деятельности. Города вскоре становятся центрами волостей — составных частей Древнерусского государства, а протогорода теряют свое былое значение. Вне этой схемы становления города оказываются начальные истории Ладоги, Изборска и Пскова, что исторически объяснимо.

В докладе Е. А. Мельниковой (Москва) «Скандинавы и процессы образования государства на Северо-Западе Восточной Европы» рассмотрена историческая ситуация второй половины IX в. этого региона. Подчеркивалась принципиальная роль в процессе становления государственности крупномасштабной международной торговли, и прежде всего Волховско-Ильменского участка торгового пути, на котором были сосредоточены торговые и военно-стратегические центры. Существенную роль в экономическом и политическом развитии северо-западного региона сыграли скандинавы, поскольку их деятельность привела к установлению контактов Северной Европы с арабским миром, что способствовало притоку ценностей, но «носителями основ государственности» скандинавы не были.

А. Стальсберг (Тронхейм) в выступлении «Женщины-торговцы в эпоху викингов в Северной Европе» обратила внимание на многочисленность находок весов и гирек в женских погребениях эпохи викингов как в Скандинавии, так и в дружинных курганных могильниках Руси. На основе этого делается вывод об активном и широком участии женщин в торговых операциях, в том числе женщины были и странствующими купцами, проживали или останавливались в протогородах Северной и Восточной Европы.

Вопрос о месте скандинавских женщин в истории Восточной Европы в эпоху викингов посвятил свой доклад «Скандинавская женщина на Востоке: жена, рабыня или „валькирия“?» и В. Я. Пе-

г р у х и н (Москва). На основании женских погребальных комплексов из Гнездова, Тимерева и других подобных некрополей, с привлечением информации Ибн Фадлана и древнескандинавской мифологии, исследователь утверждал, что парные погребения и захоронения женщин связаны с центрами формирующейся государственности, где находилась дружина. Скандинавских дружинников сопровождали в далекие походы не только жены, но и «валькирии», которые следовали в «загробный мир» вместе с павшими в бою.

В четырех докладах исследовались вопросы, связанные с Гнездовским археологическим комплексом. Д. А. А в д у с и н (Москва) в выступлении «Об этническом составе населения Гнездова» пересмотрел свои прежние представления о незначительной роли скандинавов в истории этого дружинного центра Верхнего Поднепровья. Докладчик утверждал, что отчетливо проявляются в Гнездове и по обряду, и по инвентарям только скандинавские погребения и их здесь множество. Наличие же славянской керамики не является показателем славянской принадлежности погребенных. Славян в Гнездове было не слишком много. Кривичи, по мнению Д. А. Авдусина, были не славянами и ославянились на заключительном этапе своей истории. Вещей балтского происхождения в Гнездовских курганах нет вовсе, единичные обнаружены лишь в культурных отложениях поселений. Это говорит о незначительности кривичей-балтов в составе населения рассматриваемого комплекса. Надежно славянскими в Гнездове можно считать только немногочисленные труположения в подкурганных ямах, которые докладчиком сопоставляются с захоронениями полян. В итоге Д. А. Авдусин утверждает, что господствующим этносом в Гнездове были скандинавы. Этот памятник является чуждым среди синхронных древностей Верхнего Поднепровья. Гнездово не было предшественником Смоленска. Последний формировался на иной культурной основе.

Т. А. П у ш к и н а (Москва) в докладе «Раскопки Гнездова Левобережного» проанализировала материалы раскопок одного из могильников Гнездовского комплекса, произведенных экспедицией Московского университета в 1987 г. Открыто было парное захоронение по обряду труположения с характерным скандинавским инвентарем (преднамеренно поломанный меч, несколько скорлупообразных фибул, железная гривна с молоточем Тора и др.). В составе инвентаря было 12 восточных монет разного времени — от 865 г. до середины X в. Докладчик определила курган как скандинавский, а присутствие в составе инвентаря находок как IX, так и X в. говорит о постоянных контактах варягов Руси со Скандинавией.

С интересом был выслушан доклад Н. В. Е н и о с о в о й (Москва) «Литейные формы Гнездова», в котором в научный оборот вводится коллекция формочек из камня и глины и обсуждаются связанные с ними вопросы бронзолитейного ремесла. Определяется, что гнездовские мастера применяли отливку легкоплавких сплавов в каменных формах, а глиняные формочки свидетельствуют о местном производстве скандинавских украшений. Подробно рассмотрено изготовление украшений со сложной орнаментацией, делается вывод о широком распространении метода копирования — глиняные формочки делались с помощью оттиска в глине готовых украшений.

В выступлении Е. В. Ка м е н е ц к о й (Москва) «Некоторые вопросы изучения керамики Гнездова» отмечалось многообразие глиняной посуды этого археологического комплекса. Многие из типов и вариантов сосудов находят аналогии далеко за пределами Верхнего Поднепровья. Докладчица обратила внимание на редкие, нестандартные формы керамики, которые свидетельствуют о широких экономических и культурных связях Гнездова со многими областями Северной и Восточной Европы. Такими причерноморские амфоры, поливная посуда, сосуды, находящие аналогии в Скандинавии, западнославянских землях и других регионах. По пути «из варяг в греки» проходили многочисленные торговые караваны из разных стран, поставляя керамику в Гнездово. Вместе с тем многообразие керамического материала в какой-то степени отражает и сложный этнический состав населения этого поселения.

В докладе «Волоки на „пути из варяг в греки“ между Днепром и Западной Двиной» Е. А. Шмидт (Смоленск) на основании археологических материалов и данных топонимики определил три основных направления преодоления водоразделов посредством волоков: 1) от Орши к р. Лучесе и по ней до Витебска; 2) по Березине к Рутавечи; 3) по р. Катынке к оз. Касплянскому. Археологические находки, обнаруженные на этих отрезках торгового пути, свидетельствуют о начале функционирования их в IX в. Появление скандинавских вещей на осваиваемых волоках относится также к IX в. Широкое использование волоков приходится на X столетие.

Е. А. Р ы б и н а (Москва) в выступлении «О новгородско-датских контактах» дифференцировала связи Новгорода Великого с Данией на два основных периода. Прямые контакты между этими регионами устанавливаются в XI—XII вв., о чем говорят находки датских монет в Новгородской земле и фрагмента кости с датской рунической надписью в культурном слое первой половины XI в. Новгорода, а также сообщения Адама Бременского и русских летописей. После XII в. наступает перерыв в прямых связях Новгорода с Данией, и они возобновились только после присоединения Новгорода к Московскому государству. В XVI в. в Новгороде устраивается датский гостинный двор (на Торговой стороне вблизи Волхова).

В докладе «Норвежско-русский проект по изучению мечей эпохи викингов» А. Н. К и р п и ч н и к о в (Санкт-Петербург) и А. Стальсберг познакомили аудиторию с результатами совместно проведенных работ по этому проекту. Речь шла об изучении клейм мастерских, в которых изготавливались мечи эпохи викингов. Визуальному анализу было подвергнуто 105 клинков из музеев Тронхейма, Осло и Бергена. Выявлены ранее неизвестные надписи. Возможности произвести расчатку клейм на мечах, к сожалению, не было, поскольку действующие в Норвегии нормы сохранения музейных коллекций не позволяют этого. А. Стальсберг высказала предположение о возможности изготовления в Скандинавии подписных и дамаскированных клинков в мастерских IX—X вв.

Проблема протогородских поселений в земле пруссов рассматривалась в докладе В. И. Кулакова (Москва) «Трусо и Кауп». Охарактеризовав эти торгово-ремесленные центры VIII—X вв. на основе новейших полевых изысканий, докладчик показал, что они дали первичный импульс развитию торговли в этом регионе Балтии. К концу IX в. инициативу в торговых операциях перехватывают скандинавы — выходцы из Готланда и Сконии. Янтарный берег Пруссии был весьма притягательным источником торговых сделок. В докладе были конкретизированы связи Пруссии со Скандинавией и Средним Поднепровьем. Историческая ситуация в междуречье нижней Вислы и Немана создавала предпосылки зарождения здесь городской жизни.

С. М. Тодорова (Санкт-Петербург) в докладе «Генезис орнаментальной традиции рунических камней. Классификация орнаментики (на материале Швеции)» предложила искусствоведческую классификацию элементов орнаментики и ее композиций. Утверждалось, что искусство на рунических камнях связано с магией и мифологическими представлениями средневековых скандинавов. Стиль изображений отличался от орнаментики на иных вещах эпохи викингов тем, что мастера из всего многообразия мотивов для рунических камней отбирали функционально значимые петли и узлы. Рунические «змеи» соответствуют идеограммам таких узлов.

В выступлении А. А. Хлевава (Санкт-Петербург) «К вопросу о начале изучения норманских древностей» был проанализирован ранний этап археологических изысканий скандинавских древностей в России — от середины XIX до начала XX в.

Тезисы докладов, прочитанных на конференции, опубликованы в книге: «XII Конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии» (М., 1993).

Институт археологии
РАН, Москва

В. В. Седов



ПАМЯТИ ДАНИИЛА АНТОНОВИЧА АВДУСИНА

(1918—1994)

3 июня после недолгой болезни скончался Даниил Антонович Авдусин — профессор кафедры археологии исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, один из крупнейших специалистов в области древнерусской археологии и русско-скандинавских связей периода формирования древнерусского государства.

Даниил Антонович Авдусин родился 19 августа 1918 г. в г. Сычевке Смоленской области. После окончания школы поступил сначала в Институт связи в Москве, но вскоре, увлеченный историей, оставил его и в 1938 г. стал студентом исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Закончил он исторический факультет в 1942 г. в г. Свердловске, уже в эвакуации. Был призван в армию и после окончания школы пулеметчиков направлен на фронт. Участник Курской битвы. После тяжелой контузии и лечения в госпиталях — демобилизован.

В 1946—1948 гг. Д. А. Авдусин учился в аспирантуре кафедры археологии исторического факультета МГУ и одновременно работал экскурсоводом в Музее истории и реконструкции г. Москвы и Мосгорэкскурсбюро. В 1948 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Дружинные курганы кривичей», а через 20 лет — в 1968 г. — докторскую по комплексу работ.

С 1949 г. Даниил Антонович начал работать на кафедре археологии исторического факультета в должности старшего преподавателя (до 1953 г.), затем — доцента (до 1964 г.), старшего научного сотрудника (до 1970 г.) и профессора (с декабря 1971 г.). В 1953—1954 гг. являлся заместителем заведующего отделением археологии и этнографии исторического факультета МГУ. Много времени отдавал активному участию в общественной жизни: ряд лет он работал в профкоме, в последние годы возглавлял Совет ветеранов МГУ.

Большую роль в становлении Д. А. Авдусина как ученого и как личности сыграл профессор А. В. Арциховский, о котором всегда вспоминал он с глубоким уважением и благодарностью.

В 1949 г. Д. А. Авдусин организовал и более 40 лет возглавлял Смоленскую археологическую экспедицию, определив два основных направления в ее работе — изучение Гнёздовского комплекса археологических памятников и изучение древнего Смоленска. Гнёздовские курганы — это одна из основных научных тем Д. А. Авдусина, которой он занимался вплоть до самой кончины — на столе осталась рукопись готовящейся монографии.

Огромное место в жизни Д. А. Авдусина занимала преподавательская работа, которую он любил и считал для себя очень важной и которой отдал всю жизнь, иногда жертвуя своими научными интересами. Одним из первых его спецкурсов был «Военное дело Древней Руси», а оригинальный более поздний спецкурс «Археология древнерусского города» помог многим определить выбор направления специализации на кафедре. В течение многих лет он вел такие спецдисциплины, как «Типологический метод в археологии» и «Методика полевых исследований», читал общий курс «Археология СССР», который лег в основу учебника, выдержавшего несколько изданий и переведенного на армянский и китайский языки. Большое внимание Д. А. Авдусин уделял преподаванию методики полевых исследований. Он стал автором нескольких учебных пособий для вузов, специальной статьи

«К методике раскопок больших курганов». С 1968 г. под его руководством работал Смоленский семинар, объединявший студентов и аспирантов, увлеченных проблематикой древнерусской археологии.

Даниил Антонович отличался внимательным и главное доброжелательным отношением к студентам. Был он очень строг и требователен, не шел на компромиссы и бывал порой резким. Но общительность, остроумие, дар прекрасного рассказчика и собеседника привлекали к нему многих. Его интересы в жизни были очень разнообразны. Даниил Антонович увлекался историей архитектуры и филателией, очень любил и хорошо знал русскую поэзию — легко цитировал Пушкина, Надсона, Блока, Твардовского, Симонова. Классическая музыка — еще одна его привязанность, он часто бывал в консерватории, был благодарным слушателем Декабрьских вечеров в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Обладая хорошим голосом, он с удовольствием пел, при этом поражал слушателей широтой репертуара — от русского романса и народной песни до озорных студенческих частушек. С особенным чувством исполнял он песни военной поры. Эти песни поют сейчас во многих археологических экспедициях.

Не одно поколение студентов выросло на историческом факультете МГУ, сдавая экзамены Авдусину — обычно он сам экзаменовал весь курс. В его записях сохранились интересные «шедевры» из числа более 3 тысяч ответов. Много времени Д. А. Авдусин уделял научному студенческому обществу кафедры, будучи его куратором несколько лет.

Научные интересы Д. А. Авдусина связаны с проблемами ранней истории славян, формирования древнерусского государства и города. В рамках изучения этих проблем он работал над вопросами русско-скандинавских отношений, хронологии гнёздовских курганов, причинами возникновения и историей материальной культуры древнерусского города. Более 120 работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, отразили не только круг его научных интересов, но и динамику взглядов ученого, умевшего понять значение новых фактов и принять их. Это прекрасно видно по работам, связанным с так называемой варяжской проблемой. Дискуссия, начатая статьей Д. А. Авдусина в «*Norwegian Archaeological Review*», послужила началом нового этапа изучения скандинавских древностей как в России, так и за ее рубежами. Д. А. Авдусин сумел заинтересовать этой проблемой своих учеников, поддерживая их в работе и советом, и вниманием не только к успехам, но и неудачам.

Свои взгляды Д. А. Авдусин высказывал не только в публикациях. Он постоянно участвовал в работе различных конференций, конгрессов, симпозиумов. Имя Д. А. Авдусина хорошо знали многие археологи и историки. Он выступал с лекциями по проблемам древнерусской археологии во многих зарубежных университетах — в Торунь (Польша), Оксфорде (Англия), Стокгольме (Швеция), Брно (Чехословакия) и др. В 1989 г. ему был вручен диплом Почетного доктора Брненского Университета.

Особое место в жизни Д. А. Авдусина занимало Гнёздово — здесь он начал самостоятельный путь ученого, здесь же, по его собственному признанию, отдыхал душой, слушая шум соснового бора на курганах. Почти 45 лет посвятил он изучению уникального комплекса, испытал редкую радость научного открытия. Одно из них — это древнейшая русская надпись-граффито. Больше всего интересовали Д. А. Авдусина курганы, но, начав исследование гнёздовского поселения в 50-х годах, он верно понял его значение и связь с могильником («Гнёздовские курганы», 1952).

Опыт раскопок в Гнёздове использовался в работе со студентами, многие из которых именно здесь получили свои первые уроки полевой практики, познакомились с археологическим песенным фольклором.

Так же неразрывно связано имя Д. А. Авдусина со Смоленском, история которого его чрезвычайно интересовала. С 1951 г. в течение нескольких полевых сезонов он производил раскопки, которые явились началом планомерного археологического исследования одного из древнейших русских городов. Смоленской экспедицией были открыты и изучены новые памятники русской архитектуры XII—XIII вв. (церковь в Перекопном переулке и ротонда). Большое значение имеют открытие смоленских городских усадеб XI—XV вв. и берестяных грамот XII—XIII вв., среди которых одна с рунической надписью.

Д. А. Авдусина интересовала не только археология Смоленской земли. Одним из обязательных элементов археологической практики для первокурсников в Смоленской экспедиции были проводимые им экскурсии по городу, по ходу которых Даниил Антонович рассказывал много интересного об архитектуре города и выдающихся личностях этого края.

Д. А. Авдусин был руководителем, который щедро делился своими знаниями, идеями и материалами с учениками, среди которых кандидаты и доктора наук.

Ушел из жизни Даниил Антонович Авдусин — человек яркий, сложный и интересный, никогда не бывший равнодушным к жизни и окружающим его людям. Таким запомнили его не только ближайшие коллеги и ученики, но и многие выпускники исторического факультета, слушавшие его курсы и участвовавшие в его экспедициях, его друзья.

Друзья, сотрудники и выпускники кафедры археологии

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ Д. А. АВДУСИНА

1. Варяжский вопрос по археологическим данным//КСИИМК. 1949. Вып. 30.
2. Древнейшая русская надпись (совместно с М. Н. Тихомировым)//ВАН СССР, 1950.
3. Раскопки в Гнёздове (1949)//КСИИМК. 1951. Вып. 38.
4. К методике раскопок больших курганов//КСИИМК. 1951. Вып. 40.
5. Гнёздовские курганы. Смоленск, 1952.

6. Археологические раскопки в Смоленске//Смоленский альманах, Кн. 10. Смоленск, 1952.
7. Гнёздовская экспедиция (1950 г.)//КСИИМК. 1952. Вып. 44.
8. Некоторые итоги и задачи археологических исследований в городе Смоленске//Смоленский альманах. Кн. 11. Смоленск, 1952.
9. Отчет о раскопках Гнёздовских курганов в 1949 г.//МИСО. 1952. Вып. 1.
10. Рец. на книгу Н. В. Андреева, Д. П. Маковского «Доисторические и исторические памятники города Смоленска и его окрестностей»//ПИШ. 1952. № 5.
11. Рец. на книгу Н. В. Андреева, Д. П. Маковского «Смоленский край в памятниках и источниках (с древнейших времен до второй половины XIX в.)», ч. 1//ПИШ. 1952. № 5.
12. Рец. на книгу Н. В. Андреева «О чем рассказывают курганы»//ПИШ. 1952. № 5.
13. Программа курса «Методика полевых археологических исследований», 1953.
14. Гнёздовские городища//Смоленский альманах. Кн. 12. Смоленск, 1953.
15. К вопросу о первоначальном месте Смоленска//ВМУ. 1953. № 7. Серия общественных наук. Вып. 3.
16. Неонорманистские измышления буржуазных историков//ВИ. 1953. № 12.
17. Раскопки Гнёздовских городищ в 1953 г.//ВМУ. 1953. № 11. Серия общественных наук. Вып. 4.
18. Методические указания по курсу «Основы археологии» (для студентов-заочников ист. фак. гос. ун-тов). М., 1955.
19. Программа курса «Методика полевых археологических исследований». М., 1956.
20. Методические указания по курсу «Основы археологии» (для студентов-заочников I курса ист. фак. гос. ун-тов). М., 1957.
21. Возникновение Смоленска. Смоленск, 1957.
22. Новый памятник смоленской архитектуры (церковь в Перекопном переулке)//СА. 1957. № 2.
23. Отчет о раскопках Гнёздовских курганов (в 1950 и 1952—1955 гг.)//МИСО. 1957. Вып. 2.
24. Смоленская берестяная грамота//СА. 1957. № 1.
25. Археологические разведки и раскопки. М., 1959.
26. Основы археологии. Методические указания для студентов-заочников I курса ист. фак. гос. ун-тов. М., 1959.
27. Многоцветные поливные ручки ножей из Смоленска//СА. 1960. № 1.
28. Смоленск. Справочник-путеводитель (в соавт.). Смоленск, 1960.
30. Смоленская ротонда//Историко-археологический сборник (в честь А. В. Арциховского). М., 1962.
31. Рец. на книгу Sawyer P. H. The Age of the Vikings//ВИ. 1963. № 9.
32. Смоленск. Путеводитель (совместно с Н. Н. Ворониным и др.). 1965.
33. Основы археологии. Методические указания для студентов-заочников I курса гос. ун-тов ист. фак. М., 1966.
34. Рец. на книгу «Археологические открытия 1965—1966 гг.»//ВАН. 1966. № 10.
35. Смоленские берестяные грамоты из раскопок 1964 г.//СА. 1966. № 2.
36. Археология в Московском Университете за 50 лет советской власти//ВМУ. 1967. История. № 4.
37. Археология СССР. Учебник для ист. фак. ун-тов и пед. ин-тов. М., 1967.
38. К вопросу о происхождении Смоленска и его первоначальной топографии//Смоленск. К 1100-летию первого упоминания города в летописи. Материалы юбилейной научной конференции. Смоленск, 1967.
39. О датировке гнёздовского кургана с мечом из раскопок М. Ф. Кусцинского//Культура и искусство Древней Руси. Л., 1967.
40. Работы Смоленской археологической экспедиции//АО — 1966. М., 1967.
41. Археология в Московском Университете (1922—1965 гг.)//Очерки по истории советской науки и культуры. М., 1968.
42. Памяти Яна Петерсена (совместно с А. Н. Кирпичниковым)//СА. 1968. № 3.
43. Панагюриштенский клад//Филателия СССР. 1968. № 6.
44. Смоленская археологическая экспедиция//АО — 1967. М., 1968.
45. В глубь веков//Рабочий путь, 1969, 4.07.
46. Ровики славянских курганов//МИА. 1969. № 169.
47. Смоленские берестяные грамоты из раскопок 1966 и 1967 гг.//СА. 1969. № 3.
48. Смоленская экспедиция//АО — 1968. М., 1969.
49. Таинственный IX век//ЗС. 1969. № 1.
50. Smolensk and the varangians according to the Archaeological Data//Norwegian Archaeological Review. 1969. V. 2.
51. Гнёздовская корчага//МИА. 1970. № 176.
52. Курганы, городища, клады. Из цикла «Памятники русской культуры». М., 1970.
53. Отчет о раскопках в Гнёздове в 1957—1960 гг.//МИСО. 1970. Вып. 7.
54. Смоленская экспедиция//АО — 1969. М., 1970.
55. История новгородских открытий//ВИ. 1971. № 6.
56. Работы Смоленской экспедиции//АО — 1970. М., 1971.
57. Полевая археология СССР. Учебное пособие. М., 1972.
58. Гнёздово и Днепровский путь//Новое в археологии. М., 1972.
59. Материальная культура Древней Руси//ВИ. 1972. № 7.
60. Семидесятилетие А. В. Арциховского//ВИ. 1972. № 12.
61. Смоленская экспедиция (совместно с Н. И. Асташовой, Т. А. Пушкиной)//АО — 1971. М., 1972.
62. Рец. на книгу «Очерки русской культуры XIII—XV вв.»//СА. 1972. № 4.

63. The history of the Novgorodian discoveries//Soc. sci. 1972. № 2.
64. Археологические источники по варяжскому вопросу//VI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. Таллин, 1973.
65. Восточные славяне: Начало//ЗС. 1974. № 11.
66. Исследованиям — 100 лет//Рабочий путь. 1974. 16.02.
67. Скандинавские погребения в Гнёздове//ВМУ. 1974. История. № 1.
68. Об изучении археологических источников по варяжскому вопросу//Скандинавский сборник, 1975. Т. 20.
69. Раскопки в Гнёздове (совместно с Т. А. Пушкиной и др.)//АО — 1974. М., 1975.
70. Смоленская экспедиция (совместно с Н. И. Асташовой и др.)//АО — 1974. М., 1975.
71. Основы археологии: Метод. указ. для студентов-заочников I курса ист. фак. гос. ун-тов. М., 1976.
72. Основы археологии: Программа курса. Для гос. ун-тов. М., 1976.
73. Скандинавские ингумации в Гнёздове//VII Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. Л., 1976.
74. Раскопки в Гнёздове (совместно с Е. В. Каменецкой и др.)//АО — 1975. М., 1976.
75. Раскопки в Смоленске (совместно с Н. И. Асташовой)//АО — 1975. М., 1976.
76. Археология СССР (Учебное пособие) М., 1977.
77. Раскопки в Гнёздове (совместно с И. В. Белоцерковской и др.)//АО — 1976. М., 1977.
78. Раскопки в Смоленске (совместно с Н. И. Асташовой и др.)//АО — 1976. М., 1977.
79. Gnezdovo — der Nachbar von Smolensk//Zeitschrift für Archäologie Berlin, 1977. № 11.
80. А. В. Арциховский как археолог//ВМУ. 1978. История. № 6.
81. VII Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии//СА. 1978. № 3.
82. Раскопки Гнёздовских курганов (совместно с Е. В. Каменецкой и др.)//АО — 1977. М., 1978.
83. Гнёздово как источник по истории раннего русского феодализма//VIII Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. Петрозаводск, 1979.
84. Когда начинаются города на Руси?//ЗС. 1979. № 6.
85. О Гнёздове и Смоленске//ВМУ. 1979. История. № 4.
86. Раскопки в Гнёздове (совместно с Е. В. Каменецкой и др.)//АО — 1978. М., 1979.
87. Археологические данные о возникновении древнерусских городов//Slovaně 6.— 10. století. Sborník referatu ze symposia Břeclav—Pohansko 1978. Brno, 1980.
88. Полевая археология СССР: Учебное пособие. М., 1980.
89. Происхождение древнерусских городов (по археологическим данным)//ВИ. 1980. № 12.
90. Раскопки в Гнёздове (совместно с Е. В. Каменецкой и др.)//АО — 1979. М., 1980.
91. Археология СССР. Учебник для ист. фак-тов ун-тов и педвузов. Ереван, 1981 (армянск. яз.).
92. Мир древних славян: Открытие немецких археологов (Раскопки в ГДР на Штернбергском оз.), коммент. совместно с В. Я. Петрухиным//ЗС. 1981. № 5.
93. Полевая археология СССР (Учебное пособие). Ереван, 1981 (армянск. яз.).
94. Рец. на книгу Grässlund A.-S. The Burial Customs. Birka IV.//Древнейшие государства на территории СССР. 1982. М., 1982.
95. Преподавание «Основ археологии» в вузах//Вестник МГУ. 1984. Серия истории. № 5.
96. Варяжский вопрос в работах Смоленской экспедиции//IX Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. Тарту, 1982.
97. Взлет и падение древнего Гнёздова//ЗС. 1982. № 11.
98. Гнёздово в исследованиях Смоленской экспедиции (совместно с Т. А. Пушкиной)//Вестник МГУ. 1982. История. № 1.
99. Гнёздовские древности//ЗС. 1982. № 4.
100. «Ключ—город»//Путешествия в древность. М., 1983.
101. Леса и реки в процессе расселения восточных славян в VI—IX вв.//Доклады сов. делегации на XVI международном конгрессе исторических наук. М., 1985.
102. Образование северных древнерусских городов//Тезисы докладов советской делегации на V международном конгрессе славянской археологии. М., 1985.
103. Смоленские берестяные грамоты (совместно с Е. А. Мельниковой)//Древнейшие государства на территории СССР. 1984 г. М., 1985.
104. Раскопки в Гнёздове (совместно с Т. А. Пушкиной)//АО — 1984. М., 1986.
105. Современный антинорманизм//X Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. М., 1986.
106. Образование древнерусских городов лесной зоны//Труды V международного конгресса славянской археологии. Киев. 18—25 сентября 1985 г. Т. I. Вып. 2а. М., 1987.
107. Раскопки в Гнёздове (совместно с Т. А. Пушкиной)//АО — 1985. М., 1987.
108. Рец. на книгу Х. Ловмянского «Русь и норманны»//ВИ. 1987. № 9.
109. Раскопки в Гнёздове/совместно с Т. А. Пушкиной/ // АО — 1986. М., 1988.
110. Современный антинорманизм//ВИ. 1988. № 7.
111. Three chamber-graves at Gniozdovo/совместно с Т. А. Пушкиной/ //Fornvännen. 1988. V. 83.

112. Гнёздовские импорты//XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. Архангельск. 1989.
113. Основы археологии. Учебник для вузов. М., 1989.
114. Три погребальные камеры из Гнёздова//История и культура древнерусского города. М., 1989 (совместно с Т. А. Пушкиной).
115. Rivers, Forests and Settlement Pattern of the Eastern Slaves//Montagnes, fleuves, forets dans l'histoire Traveux présentés au XVI-e Congres internationale des Sciences historiques Stuttgart août, 1985. St. Katarinen.
116. Проникнуть в тайны//Рабочий путь. 1989. 16.09.
117. Археологические данные о внешних связях Гнёздова//Труды философского ф-та Брненского Университета (ЧССР). Е. 34—35. 1989—1990 гг. Брно, 1990 (чешск. яз.).
118. Актуальные вопросы изучения древностей Смоленска и его ближайшей окроти//Смоленск и Гнёздово. М., 1991.
119. Ред. «Смоленск и Гнёздово». М., 1991.
120. Гнёздовская находка: археология Смоленска и русская письменность//Рабочий путь. 1991. 24.05.
121. De gammelrussiske byers oppkomst: Historiografi. (Начало древнерусских городов. Историография)//GUNNERIA, 1991. 64. V. 2. Trondheim.
122. Об этническом составе населения Гнёздова//XII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы. Ч. I. М., 1993.
123. Археологические общества//Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Т. 1. М., 1994.
124. Археология//Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Т. 1. М., 1994.
125. Гнёздово//Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Т. 1. М., 1994.



ПАМЯТИ ИГОРЯ ИЛЬИЧА КОРОБКОВА

(1934—1993)

28 октября 1993 г. скончался старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, кандидат исторических наук Игорь Ильич Коробков, один из ведущих и авторитетных исследователей каменного века. С его именем связаны важные методические разработки в области первобытной археологии, многолетние полевые исследования палеолитических памятников на Черноморском побережье Кавказа, раскрытие особенностей эволюции палеолитических индустрий в пределах этого региона и всего Кавказа в целом, создание капитального труда о палеолите обширной территории Восточного Средиземноморья.

И. И. Коробков родился 1 июля 1934 года в Ленинграде в семье видного университетского ученого-палеонтолога. Археологией начал интересоваться еще в детстве. В год окончания школы он провел первую самостоятельную археологическую разведку в окрестностях г. Ессентуки. Университетский курс обучения прошел на кафедре археологии исторического факультета Ленинградского государственного университета в 1952—1957 гг., специализируясь в области археологии каменного века. Университетские годы Игорь Ильич использует предельно полно для овладения методикой разведок палеолитических памятников (Юго-Осетия, 1954 г.) и раскопок разнотипных стоянок (верхнепалеолитические стоянки Костенки 17 и 19 на Русской равнине, 1955—1956 гг.; многослойные палеолитические пещерные стоянки Кударо I, Кударо II и Шагат-хох в Юго-Осетии, 1958—1959 гг.).

В 1961 г. Игорь Ильич заканчивает аспирантуру при Ленинградском отделении Института археологии АН СССР и приступает к систематическим полевым работам на обширном (более 50 пунктов сбора на площади около 100 га) Яштухском палеолитическом местонахождении в Абхазии. Одновременно он производит раскопки пещер Хостинская I (1961, 1963 гг.) и Хостинская II (1961, 1968 гг.) в Сочинском Причерноморье. В эти же и последующие годы им в музеях Ленинграда, Сухуми и Тбилиси изучаются многотысячные коллекции кремневых изделий, собранные ранее на Яштухе С. Н. Замятиным, Л. Н. Соловьевым, Н. З. Бердзенишвили.

Многолетние полевые изыскания на Яштухе позволили ему начисто отвергнуть «террасовую систему датировок», подтвердить приуроченность части находок к различным горизонтам покровных суглинков и несмешанность отдельных комплексов. Опираясь на однородный материал, он впервые производит морфолого-статистическую оценку местных индустрий, прослеживает закономерности развития палеолитических комплексов Абхазии от раннего ашеля до позднего мустье, устанавливает специфические особенности палеолита Черноморского побережья на фоне палеолита других регионов Кавказа и Ближнего Востока. Ашельские индустрии дифференцируются им как по хронологической вертикали, так и в горизонтальном срезе, рассматриваясь при этом, как фракции единой культурной традиции.

Возможность локализации «чистых» индустрий на Яштухе он с блеском продемонстрировал комиссии, созданной в 1965 г. в связи с пожеланием Всесоюзного палеолитического совещания. Комиссия (в составе преисториков и геологов из Ленинграда, Москвы, Киева, Тбилиси и Сухуми)

изучила ряд пунктов сосредоточения палеолитического материала на террасах, у подножия горы и на верхнем плато Яштуха и подтвердила заключение И. И. Коробкова о том, что район горы Яштух является «комплексом разновременных и разнохарактерных памятников, залегающих в определенных геологических условиях».

Показательны этапы разработки И. И. Коробковым «проблемы Яштуха». Вслед за основательной работой по методике полевых исследований местонахождений открытого характера типа Яштуха, последовательно публикуются статьи о технике расщепления камня на Яштухе, об особенностях набора и оформления местных ашельских и мустьерских орудий, о морфологических и типологических особенностях ашеля Кавказского Причерноморья и, наконец, об истоках и корнях культурной традиции этого ашеля. Последняя, как явствует из его последних докладов, имела несомненные параллели в комплексах средиземноморского ашеля Сирии, Ливана, Палестины и Магриба.

Высшим достижением Игоря Ильича является, безусловно, его книга «Палеолит Восточного Средиземноморья» (1978 г.), одна из наиболее цельных и ценных в серии «Палеолит мира». Работу эту, наиболее цельных и ценных в серии «Палеолит мира». Работу эту, как отмечал ее редактор П. И. Борисковский, «характеризует очень скрупулезное, законченное и самостоятельное описание археологического материала, сочетающееся с оригинальными выводами». И. И. Коробков нарисовал в этой книге общую картину развития палеолитических индустрий в Восточном Средиземноморье на протяжении примерно миллиона лет, выделил локальные варианты палеолитических культур в разные эпохи каменного века и отметил закономерности их развития.

И. И. Коробков принимал участие во многих международных, всесоюзных и региональных конгрессах, конференциях и симпозиумах (Прага, 1968; Тбилиси, 1971; Самарканд, 1972; Симферополь-Тбилиси, 1978; Москва, 1982; Ленинград, 1983; Кутаиси, 1986 и др.).

Игорь Ильич был чрезвычайно требователен к себе, труды его — образец методической тщательности и завершенности. Его педагогическая, наставническая деятельность была гораздо шире тех лекций, которые он прочел в университете. Он был безотказным и бескорыстным советчиком многих начинающих и молодых исследователей. Его консультации и неофициальное, как бы негласное, руководство были незаменимыми при создании многих диссертаций по палеолиту различных регионов страны. К огромному сожалению, множество оригинальных мыслей и наблюдений ушло вместе с ним.

В памяти коллег разных поколений, друзей, учеников Игорь Ильич останется как ученый, беззаветно преданный любимому делу, добрый и отзывчивый товарищ.

*В. П. Любин, Н. Д. Праслов,
Х. А. Амирханов, С. А. Кулаков*

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АИМ — Археологические исследования в Молдавии
АО — Археологические открытия
АСГЭ — Археологический сборник Гос. Эрмитажа. Санкт-Петербург
ВА — Вопросы антропологии
ВАУ — Вопросы археологии Урала
ВДИ — Вестник древней истории
ВИ — Вопросы истории
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины. Санкт-Петербург
ГАИМК — Гос. академия истории материальной культуры
ГИМ — Гос. исторический музей, Москва
ГМИИ — Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва
ГМСБ — Годишник на музеите от Северна България. Варна
ГЭ — Гос. Эрмитаж. Санкт-Петербург
ЗОАО — Записки Одесского археологического общества
ЗОРСА — Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества.
СПб.— Пг.
ЗРАО — Записки русского археологического общества. СПб.— Пг.
ИА — Институт археологии РАН
ИАИ — Известия на археологическия Институт при БАН. София
ИАК — Известия Императорской археологической комиссии. СПб.— Пг.
ИБАИ — Известия на Българския археологически институт. София
ИСОАН — Известия Сибирского отделения РАН
ИЭА — Институт этнологии и антропологии РАН
КСИА — Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР, Москва
МАК — Материалы по археологии Кавказа. Москва
МАР — Материалы по археологии России. СПб.— Пг.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва, Ленинград
МНИИЯЛИЭ — Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР
НЭ — Нумизматика и эпиграфика. Москва
ОАК — Отчет археологической комиссии. СПб.— Пг.
ПСА — Проблемы скифской археологии
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РА — Российская археология
САИ — Свод археологических источников. Москва, Санкт-Петербург
СЭ — Советская этнография
ТИЭ — Труды Института этнографии
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, М., Л.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете
AA — American Anthropologist
AA — Archäologischer Anzeiger
AH — Archaeologia Hungarica. Budapest
AJA — American J. of Archaeology. New York
AM — Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung
AmA — American Antiquity. Menasha; Solt Lake City
AP — Archeologia Polski. Warszawa

AR — British Archaeological Reports. Oxford
BAR — British Archaeological Reports
BayVBI — Bayerische Vorgeschichtsblätter
BCH — Bulletin de correspondance hellenique. Paris
CAn — Current Anthropology
ESA — Eurasia septentrionalis antiqua Helsinki
CGE — Les ceramiques de la Crece de l'Est et leur diffusion en Occident. Paris-Naples, 1978
DA — Daramberg Ch., Saglio M. E. Dictionnaire des antiquités. t. I. Paris
IOSPE — Inscriptiones antique orae septentrionalis Ponti Euxini
JDI — Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts, Berlin
JHS — Journal of Hellenic Studies, London
JRS — Journal of Roman Studies
LIMC — Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
MSW — Materialy starożytnie i wczesnosredniowieczne
PZ — Prahistorische Zeitschrift. Berlin, Leipzig
RA — Revue archeologique. Paris
RE — Pauly — Wissowa — Kroll. Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart
SCIV — Studii și cercetari de istorie veche. București
ST — Studia Thracica. Sofia

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская археология» публикует на своих страницах работы теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, археологические материалы, представляющие большой интерес, критические статьи и рецензии на новые книги по археологии.

Направляемые в журнал статьи должны быть оформлены в соответствии с правилами, принятыми в журнале.

1. Объем рукописи не должен превышать 18—20 машинописных страниц и 8 иллюстраций; для раздела «Заметки» — не более 5 страниц и не более 3 иллюстраций.

2. Статья должна быть напечатана на машинке с четким, контрастным шрифтом, через два интервала на одной стороне листа белой бумаги стандартного размера с полями. Материалы, напечатанные на портативной машинке, редакцией журнала не принимаются. Не допускаются поправки от руки в тексте статьи. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы.

3. Все знаки, которые не могут быть напечатаны на машинке, должны быть вписаны в текст от руки, черными чернилами (пастой, тушью), отчетливо в единой системе написания. Необходимо пояснить на левом поле, какая именно буква, знак, символ вписан, если они могут быть спутаны с другими, близкими по начертанию. Греческие буквы нужно подчеркивать красным карандашом. Знаки в тексте, которые не могут быть воспроизведены буквами русского, латинского или греческого алфавита, должны быть сдублированы на отдельном листе для изготовления клише.

4. Иллюстрации следует представлять в пригодном для воспроизведения виде. Размер авторских оригиналов иллюстраций должен быть в полтора — два раза больше размера иллюстраций в журнале. Рисунки представляются вычерченными тушью на ватмане или кальке, а также в виде четких фотопрепродукций. Следует максимально сокращать пояснения на рисунке, переводя их в подписи. Эскизы карт должны быть выполнены непосредственно на картах, изданных ГУГК, либо на фотокопиях с них (не на самодельных ручных выкопировках). Фотографии должны быть представлены в двух экземплярах, контрастные, на белой глянцевой бумаге, хорошо проработанные в деталях. Все необходимые на фотографиях обозначения и пояснения следует делать только на втором экземпляре. Первый экземпляр фотографий не должен иметь никаких дефектов: пятен, надписей, изломов, следов от скрепок, трещин и т. д. Наклеивать фотографии на бумагу или картон не разрешается. На авторских оригиналах иллюстраций с неясной ориентацией необходимо написать «верх» или «низ».

Иллюстрации должны быть пронумерованы в соответствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. Для всех видов иллюстраций дается общая нумерация. На обороте каждой иллюстрации мягким карандашом следует написать фамилию автора, название статьи и номер рисунка. В рукописи на левом поле, в прямоугольнике должны быть указаны номера иллюстраций и таблиц напротив тех мест текста, где желательно их напечатать в издании. Подписи к иллюстрациям прилагаются на отдельном листе, где указываются фамилия автора и заглавие статьи. В подрисуночной подписи должны быть кратко расшифрованы все условные обозначения на иллюстрации. Необходимо тщательно следить за точным соответствием обозначений и нумерации в тексте, подрисуночных подписях и на рисунках.

5. Таблицы, напечатанные на отдельных страницах, подкладываются по тексту при первом упоминании о них. Они должны иметь тематический заголовок и номер. Текст заголовка в таблицах пишется кратко, все слова даются без сокращений. Диагональные линейки в головке не допускаются. Колонки должны отделяться вертикальными линиями и нумероваться только в тех случаях, когда на них даются ссылки в тексте (но не для замены головки при переходе таблицы на следующую страницу).

6. Текстовые пояснения даются внизу на соответствующей странице под цифрой; нумерация сквозная: 1, 2, . . .

7. Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух частей. Первая часть — издания на кириллице, вторая — на латинице. Названия отчетов о полевых исследованиях включаются в соответствующую часть. За фамилией и инициалами указывается год издания и далее сведения

в соответствии с библиографическим описанием. Труды одного автора располагаются в хронологическом порядке. При ссылке на разные произведения одного автора, вышедшие в одном году, в библиографическом списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке алфавита. Источником библиографического описания является титульный лист издания.

Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов//САИ. Вып. ДІ-4.

Псковские летописи. Т. I. М.; Л. 1941.

Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. М.

Чернов С. З., 1977. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. Ч. 4.//Архив ИА РАН. Р-1, № 6695.

В тексте в круглых скобках указываются фамилия и инициалы автора (на языке издания) или сокращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссылка на страницу, рисунок, таблицу (*Смирнов К. Ф.*, 1964, с. 50).

Ссылки на источники — оригинальные работы древних авторов, архивные материалы (кроме полевых отчетов), музейные коллекции — приводятся в скобках в тексте и в список литературы не включаются.

В тексте и списке литературы следует использовать только общепринятые сокращения, список которых публикуется в журнале.

8. К статье следует приложить список сокращений и русский текст резюме (краткое содержание статьи со ссылкой на рисунки, иллюстрирующие основные ее положения, объемом 0,5—1 страница машинописного текста). Для облегчения перевода резюме на английский язык необходимо: а) при употреблении названий периодов, типов, культур, произведенных от географических названий, дать последние в именительном падеже единственного числа (например: кушнаренковский тип от Кушнаренково); б) наиболее специфические термины давать или в переводе, или с пояснением.

9. Статьи следует присылать в двух экземплярах. Текст должен быть тщательно проверен и подписан автором с указанием фамилии, имени и отчества, полного почтового адреса, места работы, телефонов и даты отправления. При наличии нескольких авторов статья подписывается всеми авторами.

10. Статьи, отправленные авторами для доработки, должны быть возвращены с доработки не позднее, чем через 4 месяца. Статьи, полученные позже указанного срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.

11. Книги и журналы, присланные в редакцию для рецензирования, не возвращаются.

Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил,
к рассмотрению не принимаются.

Адрес редакции:

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Телефон 124-34-42

Заведующая редакцией *Е. В. Бубнова*

Технический редактор *Глинкина Л. И.*

Сдано в набор 17.10.94 Подписано к печати 23.12.94 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл. печ. л. 20,8 Усл. кр.-отг. 30,5 тыс. Уч.-изд. л. 23,8 Бум. л. 8,0
Тираж 1443 экз. Зак. 1790

Московская типография № 2 РАН, Москва, 121099, Шубинский пер., 6.